



*Журнал*  
*Редактор Евгений Беркович*

**СЕМЬ**  
**ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

**2/2012**

**Журнал**  
**«Семь искусств»**

**Февраль 2012**

Редактор и составитель  
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

**2012**

**Журнал**

**«Семь искусств»**

**Февраль 2012**

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой

Ганновер  
Издательство «Общества любителей еврейской старины»

## Содержание

Академик Исаак Халатников, Илья Ройзен, Яков Костюковский, Владимир Рубин	
Виталий Гинзбург в воспоминаниях друзей и современников .....	5
Исаак Халатников	
Мой друг – Виталий Лазаревич Гинзбург .....	7
Илья Ройзен	
Штрихи к портрету .....	22
Яков Костюковский	
Мемуаразмы .....	32
Владимир Рубин	
Роскошь человеческого общения .....	37
Борис Горобец	
Неизвестное о подвиге академика П.Л. Капицы .....	43
Владимир Тихомиров	
Лазарь Аронович Люстерник .....	65
Шуламит Шалит	
«Загадочная корреспондентка Корнея Чуковского» .....	72
Соня Тучинская	
«Милая, загадочная Соня», или История одной мистификации ...	88
Лев Бердников	
Три этюда о Потемкине Таврическом .....	101
Нина Воронель	
Юлик и Андрей .....	135
Борис Тененбаум	
Наполеон о Макиавелли, или некая загадка .....	159
Игорь Фунт	
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года .....	175
Александр Журбин	
Феликс, его сестра, Лев Троцкий и музыка .....	192
Владимир Фрумкин	
Новые мифы и старые факты .....	203
Артур Штильман	
«Люлю» – первая встреча с музыкой Альбана Берга .....	222
Владимир Крастошевский	
Интервью с художником Александром Качкиным .....	243
Марк Крымский	
Саша Качкин, киевский художник с Подола .....	257
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом» .....	268
Михаил Фельдман	
«Люблю я родину свою...» .....	290

Юлия Драбкина	
Мой личный бог.....	300
Анатолий Добрович	
Голос и хор.....	307
Григорий Рыскин	
Птицы и бабочка.....	320
Лорина Дымова	
Кое-что из жизни королев.....	353
Римма Глебова	
Последний праведник.....	365
Елена Матусевич	
Дай Бог каждому.....	378
Альберто Моравиа	
Римские рассказы в переводе Моисея Бороды .....	380
Песни Сезарии Эворы	
Переводы с португальского (креольского) Андрея Травина .....	397
Исанна Лихтенштейн	
Жизнь и смерть Стефана Цвейга.....	402
Исаак Юдовин	
Обреченный на страдания.....	420
Игорь Ефимов	
Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) .....	437
Айвор Гест	
Падекатр. Перевод с английского Елены Тамаркиной .....	470
Злата Зарецкая	
Экзамен.....	480
Эстер Пастернак	
«...Бессмертные на время...» .....	515
Виктор Каган	
«Когда трещит завеса дней...» .....	528
Илья Кутузов	
Власть над миром .....	541
Иосиф Рабинович	
Путешествие в край первоисточников.....	549
Об авторах .....	578



**Академик Исаак Халатников, Илья  
Ройзен, Яков Костюковский,  
Владимир Рубин**

**Виталий Гинзбург в  
воспоминаниях друзей и  
современников**

**От редакции**



В конце 2011 г. «Издательство физико-математической литературы» в Москве выпустило в свет книгу «Виталий Гинзбург в воспоминаниях друзей и современников» (составитель и научный редактор Ю.М. Брук).

Книга посвящена памяти выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии, академика Российской Академии наук, замечательного человека Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916-2009).

В.Л. Гинзбург написал множество научных работ по теоретической физике (свыше 500), более двух десятков научных книг, переведенных на многие языки мира. Весьма продуктивной была его многолетняя работа по изданию публицистических, научно-популярных и биографических текстов. Общий замысел и идеи его книг раскрываются в рассказах «о науке, о себе и о других». Выдающийся физик и педагог, он много сил потратил на пропаганду физики и астрофизики, на привлечение в науку и воспитание молодых ученых.

В.Л. Гинзбург – физик-универсал, всю жизнь посвятивший поискам физических истин и построению новых физических теорий. В журналах «Заметки по

еврейской истории» и Альманахе «Старина» В.Л. публиковал глубокие и актуальные статьи, неизменно привлекавшие внимание читателей. О В.Л.-е много писали его коллеги, друзья и ученики. Только в последнее время в наших журналах опубликованы посвященные В.Л.-у статьи Б.М. Болотского, М.Я. Амусьи, Б.Л. Альтшулера, Г.И. Мерзона, Г.Е. Горелика.

И вот – книга, целиком посвященная воспоминаниям о человеке, сыгравшем громадную роль в науке, в общественной жизни страны, в образовании, просто в жизни очень многих людей.

Книга уникальна по своему объему, в ней около 630 страниц, она результат коллективного творчества более 60 человек, знавших и любивших В.Л. Гинзбурга. Среди авторов большинство, конечно, физики и астрофизики. Но есть и писатели, врач, композитор, философ, президент страны, называвшейся СССР. Около 20 авторов являются членами Академии наук России, есть и известные ученые, работающие в других странах.

Несколько статей, вошедших в книгу, уже опубликованы чуть раньше в наших журналах.

В этом номере публикуются статьи академика И.М. Халатникова, профессора И.И. Ройзена, киносценариста Я.А. Костюковского и Народного артиста России, композитора В.И.Рубина.

Редактор выражает искреннюю благодарность им и моему коллеге – редактору книги (и Директору издательства физико-математической литературы) Л.А.Панюшкиной за разрешение на перепечатку указанных материалов и неизменно доброе отношение к журналу «7 искусств».

**Редактор журнала «7 искусств» Е.М. Беркович**



# Исаак Халатников

## Мой друг – Виталий Лазаревич Гинзбург



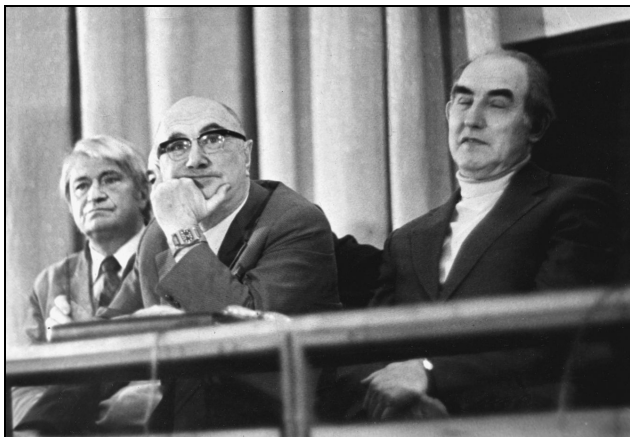
Я считаю своим долгом и хочу рассказать о В.Л. Гинзбурге, выдающемся физике, человеке, с которым меня связывали не только общие научные интересы, но и многолетняя дружба.

Мы формально принадлежали к разным научным школам, но у нас никогда не было никаких препятствий для общения.

Я считаю себя одним из канонических учеников Л.Д. Ландау. Под словами «канонические ученики» в школе Ландау было принято считать тех физиков, которые сдали экзамены «теоретического минимума», придуманного Ландау еще в его харьковские годы. Я сдал эти экзамены еще до войны и числился в списке сдавших под номером 9. В «близкий круг» Ландау входили, однако, не только его канонические ученики. Были «яркие звезды», которые никогда не сдавали теоретический минимум, но очень высоко ценились Львом Давидовичем. Я бы выделил три такие «яркие звезды» – это В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович и А.Б. Мигдал. Они очень много сделали в теоретической физике. Для их отношений с Ландау не играл никакой роли тот факт, что они теоретический минимум не сдавали. Эти звезды-самородки изучали теоретическую физику в процессе самообразования или учились у своих ярких учителей, у которых методы воспитания физиков-теоретиков отличались от того, как это происходило в школе Ландау. В.Л. Гинзбург в своей Нобелевской лекции сказал, что считает себя учеником И.Е. Тамма и Л.Д. Ландау. Думаю, что большое влияние на него оказал также



Л.И. Мандельштам. Но были ли у него с Таммом отношения ученика и учителя, я сказать, пожалуй, не могу, я думаю, что у них все-таки были разные научные почерки.



А.Б. Мигдал, Я.Б. Зельдович, В.Л. Гинзбург на вечере, посвященном 70-летию Л.Д. Ландау. Политехнический музей, 02 февраля 1978 г. (фото И.П. Щербакова)

Основными местами встречи теоретиков были, конечно, семинары. Семинары Ландау в первые годы после войны были не очень уж многочисленными. В близком окружении Ландау были Е.М. Лифшиц, А.Б. Мигдал, А.С. Компанец, В.Г. Левич,... В семинаре участвовали ученики Ландау. Проходили семинары в Институте физических проблем (ИФП), за большим столом собиралось человек 12. Участники семинара были обязаны делать обзорные доклады и реферировать статьи. Чаще всего рассказывали о статьях из *Physical Review*, отобранных самим Л.Д. При этом сами статьи были из разных разделов физики, а доклады поручались тем, кто сдал теоретический минимум. Это было важно, так как каждый участник семинара должен был разбираться в разных областях науки. Для этого нужна была соответствующая подготовка, а это и было одной из главных целей теоретического минимума. Позднее аудитория семинаров Ландау расширилась и за большим столом в зале ИФП уже не все размещались.

Вторым местом встречи физиков был семинар

И.Е. Тамма. На него собирались физики со всей Москвы, и он был более демократичным, чем семинар Ландау. У Тамма докладчики тоже определялись руководителем семинара, но не было условия, что доклады должны делать только сдавшие специальные экзамены.

Надо сказать, что в те послевоенные годы физиков было не так много, как сейчас. Скажем, докторов наук-теоретиков я знал лично. Это упрощало общение.

Я ходил, конечно, на семинары и Ландау, и Тамма. Я не помню, ходил ли В.Л. регулярно на семинары Ландау. Но окружение Тамма и окружение Ландау были в близких отношениях, многие были близкими товарищами. Виталий Лазаревич, например, был близок с Евгением Михайловичем Лифшицем. Вообще эти две школы дружили, никакой конкуренции между школами не было.

Не было в наших научных школах никакой дискриминации и по национальному признаку. Хотя в истории физики в нашей тогдашней стране и упоминается справка генерала Серова (под фамилией Иванов), адресованная в «высшие инстанции», в которой утверждалось, что Ландау набирает учеников-евреев и не допускает не евреев. Правда и то, что евреев в теоретическом отделе ИФП было немало, но никакой селекции Ландау, конечно, не проводил, он никогда не был националистом. С другой стороны, в ИФП и в ФИАНе, как и во многих других учреждениях, кадровики, действительно, ограничивали прием евреев на работу в те годы. Это хорошо известно, но мне кажется, что обсуждать государственный антисемитизм, как и процентное соотношение людей разных национальностей в науке, здесь неуместно. К грехам нашего общества ни Ландау, ни Тамм, ни Гинзбург никакого отношения, безусловно, никогда не имели.

Вернемся к рассказу о научных школах.

Стиль научных школ Ландау и Тамма был разный. Гиганты-самородки вырастали в ходе научной работы, решая конкретные научные задачи. Я.Б. Зельдович вообще не имел формального высшего образования. Но не прослушав стандартный курс математики для студентов, он написал замечательный курс высшей математики для школьников. И

конечно, не это было главным. Он решил так много очень важных и сложных задач, что родилась легенда, что под фамилией Зельдович работает целый коллектив высокопрофессиональных физиков-теоретиков и математиков.

В.Л. Гинзбург неоднократно говорил сам, что математику он знал плохо. Конечно, в этом был и элемент лукавства, он осваивал нужные для работы разделы математики, как и Зельдович, самостоятельно и эффективно. В конечном счете он хорошо владел математикой, нужной для решения физических задач. В школе Тамма теоретики учились у многих выдающихся людей, среди которых упомяну еще раз Л.И. Мандельштама.

Некоторые ученики Ландау, тем не менее, свысока смотрели на людей, не сдавших теоретического минимума, и считали, что математики они не знают. Хотя и могут решать задачи, не требующие «высокой» математики.

Есть разные почерки работы в теоретической физике. Одни предпочитают формально и четко ставить задачу, писать сложные уравнения и решать их. Другие стараются сначала понять физическую суть, предсказать ответ или нащупать подход к получению результата. Разумеется, такое деление условное.

Почерк Гинзбурга, скорее, второго типа. Он быстро переключался на задачи из других разделов физики, учился и осваивал новые идеи. Пример такого подхода – его переключение на астрофизические задачи. Астрофизику нужно очень хорошо знать физику. В.Л. эффективно использовал свое понимание физики для решения астрофизических проблем. Всегда очень важно разглядеть аналогии между явлениями, иногда в совершенно далеких, казалось бы, областях. В.Л. это удавалось хорошо. В период бурного развития астрофизики он реагировал очень быстро и получил много важных результатов.

Через несколько лет после войны группа Ландау в ИФП переключилась на решение некоторых задач, связанных с созданием водородной бомбы. В ФИАНе в работах по этой тематике участвовала группа под руководством Тамма. Мы занимались некоторыми

специальными расчетами в Москве. В.Л. также «не взяли на объект», ставший позже известным, как Арзамас-16, или Саров.

Поэтому параллельно с этими важными государственными делами у меня была возможность заниматься и другой – открытой деятельностью. Это была развиваемая мною в те годы теория сверхтекучести. Гинзбург вместе с Ландау занимались созданием феноменологической теории сверхпроводимости. В 1950 г. была опубликована знаменитая работа Гинзбурга–Ландау.

Пожалуй, именно в эти годы мы активно пересекались с В.Л. по двум линиям: бомба и сверхтекучесть. У нас сложились довольно близкие отношения, а в 1952 г. В.Л. стал моим оппонентом по докторской диссертации. Кстати, другими моими оппонентами были тогда Н.Н. Боголюбов и И.М. Лифшиц. Существовало много разных толкований об отношениях школ Ландау и Боголюбова. Нужно сказать, что многие легенды об этом – только легенды. Отношения с Н.Н. Боголюбовым были у нас вполне дружескими.

Существовавший в те годы режим секретности в «бомбовых» делах был очень строгим. Я никогда не обсуждал с В.Л. физических вопросов, связанных с взрывом. Существовали правила разделения задач. Расчеты, которыми занимались мы по заданию, написанному рукой А.Д. Сахарова, по указаниям генерала Н.И. Павлова, курировавшего работу и нашей группы, и группы Тамма, мы передали группе А.Н. Тихонова в Институт прикладной математики (тогда он назывался Отделением прикладной математики).

Обмен информацией не разрешался. В дальнейшем наши результаты и методики использовались совсем другими людьми, о том, как именно, нам знать не полагалось. Похожая ситуация была с идеями, высказанными Сахаровым и Гинзбургом. Только много лет спустя А.Д. написал в своих воспоминаниях, что в основу создания ядерного оружия легли «первая и вторая» идеи. Первая – «слойка» – принадлежала самому А.Д., вторая – «лидочка» (об использовании дейтерида лития-6) высказана

была В.Л.

Расскажу здесь еще про курьезный случай, несколько выпадающий из основного повествования. П.Л. Капица был увлечен идеей о нагревании с помощью электрического разряда плазменного шнура до таких температур, когда могла бы пойти реакция синтеза водорода.

Он пытался осуществить такой процесс в своей лаборатории. Идея, как потом оказалось, была ошибочной, ну так тоже бывает в физике.

Его сын – С.П. Капица – работал в соседней лаборатории и однажды, зайдя к отцу, пытался дать свои советы по поводу планируемого эксперимента. П.Л. терпеть не мог советов и запретил С.П. заходить к нему в лабораторию. Работа П.Л. была тоже закрытой, каждый должен был знать только то, что ему положено. Вольно или невольно П.Л. распространил действовавшие тогда правила даже на С.П. Принцип формулировался так: «Я ухаживаю за женщиной, а ты приходишь и хочешь воспользоваться моей женщиной, это категорически недопустимо».

Но вернемся к временам работы над бомбой. Не знаю, но возможно, что Ландау обсуждал с Гинзбургом физические процессы при взрыве. Я, как уже говорил, эту тему с В.Л. не обсуждал. Такие были времена. В.Л. был все же очень ограниченно информирован о судьбе его идеи с «лидочкой», главные руководители проекта старались его глубоко не посвящать.

В Сарове я был несколько раз, а в 1955 г. мне пришлось там побывать вместе с В.Л. Мы входили в состав госкомиссии по приемке готового к тому времени «изделия».

Я так и не спросил В.Л. ни тогда, ни позже – как пришла ему в голову идея использовать в водородной бомбе литий-6. Это мне кажется очень интересным. Частично информацию об истории идей «слойки» и «лидочки» в последние годы удалось восстановить благодаря разысканиям Г.Е. Горелика. Один из его текстов опубликован в этой книге, другие в книге «Исследования по истории физики и механики, 2009-2010» (Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. – М.: Физматлит, 2010).

Я еще расскажу дальше о нашей жизни после того, как мы отошли от бомбовой проблемы и целиком занялись мирной физикой. Но и тогда, кроме научных дел, была и частная жизнь. В.Л. принадлежал к кругу близких друзей Ландау. В этот круг входили В.И. Гольданский, В.Л. Гинзбург, А.С. Компанеец, Я.Б. Зельдович, Е.М. Лифшиц, друзья не только по науке, но и по жизни. Аттрактором была, конечно, Нина Ивановна Гинзбург. Она тоже занималась в те годы физикой, работала на кафедре физики низких температур физфака МГУ у А.И. Шальникова. Удивительно умная и красивая женщина – Н.И. активно участвовала во многих встречах, вечеринках, где придумывались занимательные шарады, своего рода маленькие спектакли. Были в этом кружке и свои поэты – Гольданский, Компанеец, Зельдович. Отдыхать физики тоже умели.

Еще и в те годы, когда мы занимались проблемой ядерного оружия, у нас оставались возможности для занятий «чистой» физикой. Я уже упоминал о работах по сверхтекучести и о создании теории сверхпроводимости Гинзбурга–Ландау. Эта деятельность получила важное развитие. А.А. Абрикосов создал теорию вихревых структур в сверхпроводниках второго рода (он, кстати, в нашем ядерном проекте не участвовал). Было важное отличие в нашей работе в те годы от работы по американскому проекту в Лос-Аламосе. У нас не было какого-то психоза и можно было заниматься фундаментальной наукой. Американские же физики были «спрятаны», прекратились публикации и т. п. Конечно, и у нас необходимость решать важные прикладные задачи бесследно не прошла. Ландау это сильно травмировало, и он мало занимался в те годы «чистой» наукой. Но все же в 1954 г. была опубликована широко известная работа трех авторов (Ландау, Абрикосов, Халатников) по квантовой теории поля.

В 1957 г. появилась микроскопическая теория сверхпроводимости Бардина–Купера–Шриффера (БКШ). Активизировалась деятельность по теории сверхпроводимости и в наших институтах.

Продолжались научные семинары. Я как-то

пропустил некий фазовый переход, когда кроме семинара Тамма образовался в 1956 г. отдельный семинар Гинзбурга в ФИАНе. Я продолжал там бывать, но воспринимал оба семинара как семинар Теоретического отдела ФИАН, а потом как общемосковский.

Теоретики Института физических проблем после печальной катастрофы с Л.Д. Ландау в 1962 г. задумали создать отдельный Институт теоретической физики (ИТФ). Мне пришлось заниматься организацией этого института, теперь я хорошо знаю все проблемы и сложности этого непростого дела. В то время мы не знали многих законов, но мне всегда помогала моя любовь к шахматам, умение рассчитывать вперед какие шаги и как нужно пытаться предпринимать. Так было и с присвоением новому институту (он начал работать в 1965 г.) имени Л.Д. Ландау. Я думаю, что В.Л. очень внимательно следил за нашими шагами в этом направлении, он вообще ревниво относился к деятельности ИТФ. Удалось сравнительно быстро добиться Постановления правительства о присвоении ИТФ имени Льва Давидовича.

Имя И.Е. Тамма присвоить Теоретическому отделу ФИАН удалось по инициативе В.Л. меньшими усилиями потому, что этот вопрос мог быть решен не на таком высоком уровне, как в нашем случае. И.Е. Тамм – «высокий генерал» в науке, а его имя Теоретический отдел ФИАНа получил совершенно заслуженно.

Похожая ситуация была с созданием базовой кафедры МФТИ в ИТФ. Так как сам Московский физико-технический институт создавался решениями ЦК и Совета Министров, то и новые кафедры разрешалось создавать теми же высокими инстанциями. Это был единственный период в моей жизни, когда мне пришлось несколько раз побывать в Кремле. Наша кафедра – проблем теоретической физики была организована в 1965 г., а в 1968 г. В.Л. создал еще одну кафедру МФТИ – проблем физики и астрофизики. И именно обе наши кафедры на много лет стали теми учебно-научными центрами, где воспитываются новые поколения физиков-теоретиков, а на кафедре В.Л. еще и астрофизиков.

Расскажу теперь о некоторых наших совместных

зарубежных поездках с В.Л.

В 1965 г. мы еще теснее сблизились с В.Л., участвуя в Международной гравитационной конференции в Лондоне. Я уже начал свою деятельность по гравитации. Была там довольно большая советская делегация. В те времена только некоторые физики на такого рода мероприятия ездили делегатами, значительная же часть ездила в качестве научных туристов.

В почти последний момент меня и В.Л. решили не пускать. Причин те, кто это решал, конечно, не называли. В.Л. отправился просить помощи у М.В. Келдыша, мы были хорошо знакомы с ним во время «бомбовой» эпопеи.

Я пошел к Н.Н. Семенову, который был кандидатом в члены ЦК. Н.Н. помог решить вопрос о моей поездке на уровне соответствующего отдела ЦК.

М.В. Келдыш помог В.Л., по-видимому, на более высоком уровне. И нас пустили. «Система» в те времена работала очень четко. Представьте себе: в понедельник начинается конференция, вечером в пятницу нам привозят наши паспорта. В 3 часа дня в пятницу «принято решение ЦК» о нашей поездке, в 6 часов вечера – паспорта у нас. Кроме въездной визы, которую ставит посольство, нужна была выездная виза. Последняя подписывалась человеком по фамилии Щербаков и на нее ставилась гербовая печать. Только много лет спустя мы узнали, что эту подпись ставят не где-то там «очень высоко». Подпись ставил неприметный человек в Управлении внешних сношений в Академии наук после прихода решения из ЦК КПСС. Скромный такой сотрудник, ходил в домашних тапочках. Я потом его знал.

На конференцию в Лондон мы попали вовремя. Жили мы с В.Л. вместе. После конференции нас пригласили в Кембриджский и Оксфордский университеты. Нас хорошо принимали, мы были известными людьми. Запомнилось общение с известным нам выдающимся физиком Д. Шенбергом (он бывал и даже работал раньше в Москве).

В 1968 г. состоялась инаугурация Института теоретической физики в Триесте, во главе его был А. Салам. Этот институт был создан, как и наш в Черноголовке, в 1964 г. Мне кажется, что в те годы еще наблюдалось некое



последствие хрущевской оттепели, хотя Хрущева сняли в 1964 г.

Но именно в тот год мы начинали наши хлопоты о создании ИТФ. У меня ассоциируются в памяти три события того года – создание института Салама, нашего института и театра Ю. Любимова на Таганке.

А в 1968 г. предстояла месячная конференция в Триесте. Я готовил нашу делегацию, в нее входили наши крупнейшие физики – В.А. Фок, В.Л. Гинзбург, Е.М. Лифшиц, Л.Д. Фаддеев, Е.С. Фрадкин,... На конференцию приглашены нобелевские лауреаты, ожидался П. Дирак. И опять – наших официальных делегатов было совсем мало (два экспериментатора из университета, хотя конференция-то теоретическая!). Мы же были научными туристами.

В.Л. приехал в Триест на два дня позже начала. Но впереди месяц!

В этот раз я жил вместе с А.А. Абрикосовым. В нашем номере в течение этого месяца проходили «посиделки». Приходил и Дирак. Ему очень нравились байка Абрикосова о том, как он встретил медведя в горах. В номере была маленькая кухонька, там и расспрашивал Дирак Абрикосова о встрече наедине с медведем.

Салам решил показать нам Италию. Нам четверым (Гинзбург, Абрикосов, я и Лифшиц) дали машину. Дней 5 мы провели вместе, смотрели достопримечательности, шутили, смеялись. Осмотрели великолепные коллекции картин во Флоренции: Галерея Уффици и Палаццо Питти, масса впечатлений. Поездка нас очень сблизила.

Упомяну еще о большой конференции в 1955 г. в Тбилиси. Мы немного возвращаемся здесь назад во времени, но нельзя об этом не сказать. Хотя и в последующие годы мы не раз ездили в Грузию, с грузинскими физиками мы всегда очень дружили.

Итак, мы едем в Грузию. В тот раз В.Л. с нами не ездил, но ездила Нина Ивановна. Весь поезд из физиков. Гостеприимство неслыханное, очень хорошо все организовано. Был там и П.Л. Капица, и я первый раз в жизни видел, что хозяева – грузинские академики

переговорили Капицу, он говорил там совсем мало. На этой конференции и во время замечательных экскурсий и застолий блистала Нина Ивановна. Танцевать все хотели только с Н.И. Она была очаровательна и навсегда покорила всех нас. Это одно из самых ярких и очень приятных впечатлений. И так было еще много раз и потом, когда мы общались с Виталием Лазаревичем и Ниной Ивановной – удивительной семейной парой, и наверное завидовали им.

Увлечение шахматной игрой помогает мне до сих пор. Я играю в шахматы и сейчас, теперь уже с компьютером по вечерам. Выигрыш всегда гарантирует хороший сон. Хочу сказать, что прямолинейность не всегда приводит к лучшему решению. Умение «считать ходы» – очень полезно было и на выборах в Академии наук. А.С. Боровик-Романов часто бывал председателем на собраниях, посвященных выборным делам. На встречах с ним обсуждались разные кандидатуры, сильные и слабые стороны кандидатов в Академию. В воспоминаниях некоторых физиков и астрофизиков упоминается, что на выборах в АН «черноголовская мафия решала все». Должен сказать, что никакой черноголовской мафии не было.

Мы действительно обсуждали между собой какие-то кандидатуры. Но такие разговоры были, конечно, и в других местах. Приведу лишь один пример.

Много лет назад я, Зельдович и Сагдеев поддерживали на выборах в члены-корреспонденты Р.А. Сюняева. Думаю, что Гинзбург и Шкловский поддерживали В.В. Железнякова. Не всегда у нас с В.Л. были одинаковые мнения, и вовсе не потому, что предлагаемые им или нами кандидаты не заслуживали избрания в Академию. Не всегда оправдывались и мои «шахматные» прогнозы. Конкуренция на выборах при ограниченном числе мест – это нормальное явление. Выборы есть выборы. В приведенном примере конечный итог выборной эпопеи таков: Р.А. Сюняев и В.В. Железняков в конце концов стали и членами-корреспондентами, а потом и академиками нашей Академии.

В начале 80-х годов несколько семей московских физиков проводили вместе отпуск на Куршской косе в

маленьком поселке на берегу Балтийского моря. В эту замечательную компанию входили Гольданские, Гинзбурги, Харитоны и мое семейство. Мы были обеспечены путевками в тамошний дом отдыха в Прейле благодаря тому, что наш друг В.И. Гольданский был значимой фигурой в Правлении Всесоюзного общества «Знание», а дом отдыха как раз и принадлежал этому обществу. Приезжали туда и мои дочери, и дети Ю.Б. Харитона. Я вообще с начала 80-х годов отдыхать на юг не ездил.

В Прибалтике было хорошо. Хотя море было сравнительно холодное, но приятная обстановка в доме отдыха, замечательная компания, разные шутки, нечастые поездки по окрестностям – отдых запомнился на всю жизнь.

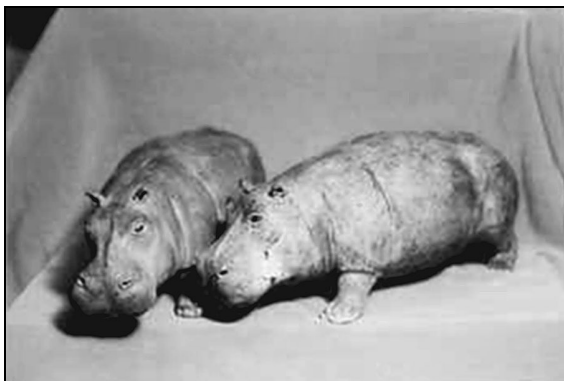
В.Л., кажется, именно там активно увлекался рыбной ловлей, я, впрочем, это помню плохо.

Ю.Б. Харитон был в озабоченном состоянии. Его служебные дела на «Объекте», а он был научным руководителем в Сарове, требовали его внимания даже во время отпуска.

Однажды ему понадобилось срочно позвонить на «Объект», но сделать это можно было только из Калининграда по ВЧ связи. Воспользовавшись этой оказией, мы на небольшом автобусе отправились всей нашей компанией в Калининград, ближе спецсвязи для Ю.Б. не было. Ю.Б. был еще и государственным деятелем, депутатом Верховного Совета. Пока Ю.Б. отыскивал телефон и звонил с помощью местных спецслужб на «Объект», мы решили посетить знаменитый Калининградский зоопарк.

И там В.Л. сразу же обратил внимание на карликовых бегемотов. Не знаю, может быть, он всю жизнь любил этих замечательных, по его словам, и редких животных. Он решил, что они содержатся там в абсолютно нечеловеческих условиях, граничащих с издевательством. Темпераментный В.Л. заговорил на повышенных тонах, он потребовал от сотрудников зоопарка налить бегемотам в бассейн чистую воду, что действия не возымело. Всю обратную дорогу он возмущался и предложил бывшему там с нами мужу моей дочери П. Волковицкому написать вместе с ним статью в газету, со всей прямотой потребовать

улучшить бытовые условия карликовых бегемотов. Об этом, впрочем, мой зять тоже написал в этой книге. В.Л. проявил себя в этой истории как человек, очень переживающий за судьбы не только людей, но и животных.



Карликовые бегемоты

Расскажу теперь о выборах на Съезд народных депутатов в 1989 г. Была выделена квота Академии наук – 25 мест, Общество «Знание» тоже получило 10 мест. С первого раза А.Д. Сахарова не выбрали, выбрали при повторном голосовании. В.Л. был в списке от АН и был избран. В.И. Гольданского избрали от Белорусского Общества «Знание». Создавались разные комиссии, которые должны были рассматривать болевые проблемы нашего общества. В.Л. был в комиссии по борьбе с привилегиями. Были подкомиссии по разным видам привилегий. В.Л. выбрал подкомиссию по персональным автомобилям. А.Д. Сахаров выступал с трибуны с пламенными речами о расширении демократии в нашем обществе. Я с некоторой иронией говорил В.Л., что «автомобильная» подкомиссия не совсем по его специальности. Но В.Л. со всей страстью занимался изучением вопроса о том, кому и когда можно и нужно выделять персональные автомобили. Не знаю, в какой комиссии был Гольданский, но он был более активен, чем В.Л., и выходил иногда на трибуну. Был момент, когда М.С. Горбачев пригрозил уходом со своего места. Гольданский с трибуны и со слезами уговаривал Горбачева

не уходить. В.Л., как и некоторые другие депутаты, много писал предложений по разным вопросам, обсуждаемым на Съезде, отвечал на многие просьбы и письма трудящихся. К депутатским обязанностям он относился очень серьезно.

Антиклерикальная позиция В.Л. по поводу преподавания религии в школе естественно вытекает из его убеждений атеиста и гуманиста. Он основательно образовался в области религии, на профессиональном уровне разговаривал с клерикалами. Сейчас вышло уже третье издание его книги «Об атеизме, религии и светском гуманизме» (М., УРСС, 2011), где собраны его статьи, интервью и выступления, посвященные вопросам атеизма, религии, борьбе с клерикализмом в России, защите науки, светского образования и гуманизма. Он всегда темпераментно и азартно участвовал в дискуссиях, много выступал публично и приобрел популярность. К нему прислушивались не только в обществе, но и во власти. И он благодарил родителей и Бога, в которого не верил, за то, что смог всю жизнь заниматься физикой.

В.Л. много писал и научных статей, и книг – научных, учебных, популярных. Он был трибун, много уделял внимания популяризации и пропаганде науки. В каждую статью и книгу он вкладывал частицу своего темперамента.

Когда В.Л. в последние годы болел, он переносил эту беду очень мужественно. Я восхищался им, радовался, что он продолжает активно интересоваться всеми событиями в нашем обществе и государстве. Его интересовали и новости в нашей Академии, и новые статьи в научных журналах, и последние телевизионные репортажи, и, конечно, футбол.

Всего за несколько дней до печального конца он подписывал в печать новые статьи для журнала «Успехи физических наук» (УФН), главным редактором которого он был. Последняя его собственная большая статья посвящена отцу и истории его семьи. Она опубликована в выпуске УФН в ноябре 2010 г., посвященном памяти Виталия Лазаревича, и поражает своей искренностью и глубоким чувством уважения к тем людям, среди которых он жил.

В моей памяти В.Л. Гинзбург остается выдающимся физиком, негибаемым трибуном, борцом. И замечательным человеком.



## Илья Ройзен

### Штрихи к портрету



еребрав с десятком возможных заголовков, я решил остановиться на самом неоригинальном из них. Я полагаю, что так можно было бы назвать любую статью из этого сборника, потому что каждая из них неизбежно субъективна и фрагментарна, а все в совокупности они призваны воссоздать, по возможности, полно и достоверно многогранный человеческий образ поразительной личности по имени Виталий Лазаревич Гинзбург (В.Л.). И это моя лепта.

В моей памяти В.Л. запечатлелся в трех ипостасях: ученый грандиозного научного масштаба, доброжелательный и обаятельный человек в личном общении и знаковая фигура в социальном и политическом контексте. Его активность и влияние выходили далеко за пределы чистой науки-физики. Это стало особенно заметно после присуждения ему Нобелевской премии. Было и пока еще осталось много людей, хорошо знавших и любивших его. Еще больше тех, кто восхищался им издалека. К нему тянулись и к его авторитету апеллировали люди чести и разума. В последние годы, вероятно, не меньше стало и других – мракобесов всех мастей, которые злобно ненавидели В.Л. за его бескомпромиссное гражданское и научно-просветительское подвижничество. У некоторых отношении было не столь однозначным. Но я не знаю ни одного, кого бы он оставил равнодушным.

Наше знакомство произошло весной 1958 г. и было заочным. То есть я-то, конечно, идентифицировал В.Л., а вот он меня – нет. Я тогда заканчивал учебу на физико-математическом факультете Горьковского госуниверситета, а В.Л. работал по совместительству на радиофизическом

факультете – заведовал там кафедрой. По хорошо известной причине он долгие годы был накрепко привязан к Горькому, обзавелся там учениками и знакомыми и не торопился бросать это дело, хотя к тому времени обстоятельства изменились к лучшему и ничто сугубо личное его сюда уже не влекло.

В те годы ректором ГГУ был невежественный проходимец (кстати, по специальности «физик-ядерщик»), но зато «в доску свой» среди городских партийных бонз, который, разумеется, окружил себя людьми подстать самому себе<sup>1</sup>. Как водится в подобных случаях, это университетское руководство изрядно отравляло жизнь талантливым преподавателям и ученым, особенно, если они были евреями. Не миловали и студентов. Но, конечно же, среди сотрудников были и безусловно достойные, глубокопорядочные люди. Они не заблуждались насчет того, что при распределении на работу студентов<sup>2</sup> вроде меня очень вероятна какая-нибудь гнусность – такой опыт уже имелся. И тогда они, не слишком надеясь на свои собственные силы, попросили В.Л. – уже в те годы ученого с громким именем, чл.-корр. АН СССР – написать в комиссию по распределению письмо с просьбой направить Л.Н. Булаевского (талантливый, широко известный физик-теоретик, сейчас живет в США) и меня (нас считали на курсе самыми перспективными) на учебу в аспирантуре под его руководством. Но и это не помогло – нам было предложено отправиться в Томскую область и там преподавать физику в школе. Другой бы на месте В.Л. отступился – действительно, ведь мы даже не были его

---

<sup>1</sup> Я не хочу называть имя этого человека: его потомки или родственники могут оказаться вполне порядочными людьми – так бывает, хотя и редко.

<sup>2</sup> Для молодых людей напомним, что в те времена человек, окончивший высшее учебное заведение и не принятый в аспирантуру, должен был обязательно «отработать» три года в определенном ему «свыше» месте, принимать его на какую-либо другую работу было строжайше запрещено; и это несмотря на то, что СССР подписал конвенцию МОТ о недопустимости принудительного труда.



студентами. И кто кинул бы в него камень? («Ну, видите, я сделал все, что было в моих силах, – сами понимаете, больше ничего не могу».) Но нет, В.Л. «нажаловался» министру высшего образования – быть может, вспомнил о «злключениях» своей юности – тогда он, круглый отличник, тоже только волею случайного и счастливого стечения обстоятельств не загремел учительствовать в Верею, – но, думается мне, причина намного глубже – просто такой вот был у человека «категорический императив». И произошло неслыханное: нет, не думайте, что мы стали его аспирантами – сделать это университетскому начальству не позволяла пресловутая честь партийно-антисемитского мундира, – но нам заменили Томскую область на Горьковскую. Стало уже существенно легче – кто знает, как сложилась бы «во глубине сибирских руд» судьба двух неоперившихся домашних мальчиков с такой «врожденной инвалидностью».

Нет никакого сомнения, что в этом поступке В.Л. не было и тени протекционизма по отношению к «соплеменникам» – в дальнейшем я многократно убеждался, что подобная мотивация была ему глубоко чужда. А лучше всего он сказал об этом сам много лет спустя:

Я атеист, не считаю еврейский народ избранным, и вообще интернационалист. Кстати, не знаю я и еврейского языка (как иврита, так и языка идиш). Жалею об этом, но у меня нет способностей к языкам, а необходимости изучать иврит не было. Вместе с тем, если негодяем, жуликом или недостойным человеком какого-то другого типа является именно еврей – мне стыдно, неприятно, чувствую за это какую-то ответственность. Одновременно, если еврей является выдающейся, положительной личностью, я это отмечаю, мне это приятно. Конкретно, я рад, что евреем был Эйнштейн и некоторые другие выдающиеся физики. Ничего стыдного и даже просто отрицательного в таком национальном чувстве не вижу. Стыдиться нужно недоброжелательства и вражды к людям «не своей» национальности только в силу их национальной принадлежности. Это и есть расизм и, в частности, антисемитизм. В случае евреев несомненным проявлением

национального чувства является также симпатия к Израилю и желание, чтобы он процветал. Я рад, что имел возможность публично выразить эти чувства. Дело в том, что в 1995 г. я получил премию Вольфа (Wolf prize). Это международная премия присуждается в Израиле представителям ряда специальностей, в частности, физикам, причем вне всякой связи с их гражданством, национальной (этнической) и религиозной принадлежностью. Церемония вручения диплома происходит в Кнессете под председательством Президента Израиля. Получая диплом, лауреат произносит небольшую речь, обычно просто благодарит жюри или говорит кое-что о своей работе. Когда подошла моя очередь, я также поблагодарил жюри, а затем сказал примерно следующее: «Я атеист, но мои родители были евреями, и я счастлив, что существует Израиль, где может найти приют любой еврей». Все встали: Президент, жюри, весь зал<sup>3</sup>.

Так получилось, что с самого начала 1961 г. и на всю оставшуюся жизнь<sup>4</sup> я «прописался» в Теоретическом отделе ФИАН, которым тогда заведовал его основатель Игорь Евгеньевич Тамм, а затем в течение последующих 18 лет – В.Л. Так что взаимодействий и впечатлений наслоилось за полвека более чем достаточно – обо всем не расскажешь. Да и не нужно это – постараюсь вычленить то наиболее яркое и непреходящее, что навсегда врезалось в память.

Ну, прежде всего общемосковский теоретический семинар под руководством В.Л. – не упомянуть о нем невозможно, хотя этой беспрецедентной научной цитадели уже посвящена отдельная книга. Общеизвестно, как трудно держать длительное время толпу креативных личностей в добровольном «повиновении». А тут еженедельно 150-200 человек, и так на протяжении 45 лет! Содержательность и высокий уровень для этого необходимы, но совершенно недостаточны. Примеров тому несть числа. Обязательным является и другое: ходят, конечно же, на руководителя, и это

---

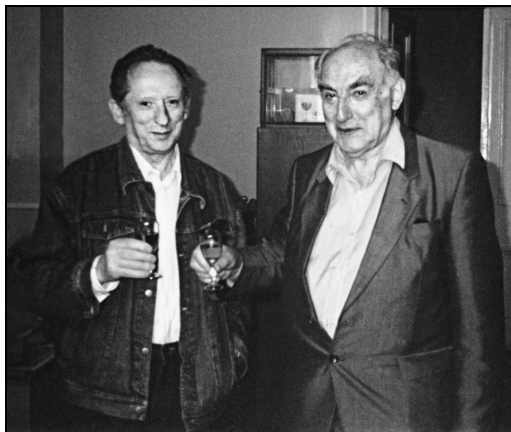
<sup>3</sup> В.Л. Гинзбург: «Несколько замечаний об атеизме, религии и еврейском национальном чувстве», см., напр, <http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Ginzburg1.htm>

<sup>4</sup> Так я думал, когда писал эту статью (*прим. при корректуре*).

своего рода шоу. Необходимое условие обеспечивалось неумной алчностью и изощренной интуицией, с которыми В.Л. выискивал и угадывал все новое и интересное, что появлялось в печати. Каждую неделю он был первым, кто просматривал в библиотеке новые поступления, отбирал то, что ему приглянулось, просил соответствующих сотрудников посмотреть и, возможно, доложить на семинаре в качестве сообщения по литературе. И горе тому, кто пытался об этом «позабыть», – В.Л. все помнил и такой лени не прощал. Но это не главное – главное происходило на самом семинаре. В.Л. являл собой редчайшее сочетание выдающегося ученого и блестящего оратора – я бы даже сказал, оратора божьей милостью. Человек сильных и открытых чувств и эмоций, импозантный и непосредственный эгоцентрик, он обладал способностью фокусировать на себе внимание, комментируя произносимое докладчиком, аккомпанируя и оппонируя ему одновременно; при этом нередко выяснялось, что он настолько в теме, что даже может выдать определенную фору автору работы на лету, прямо тут же, у доски. Одним словом, щедро «транжирил» энергию, вкладывал всю свою душу и скучать не давал. И в таком вот ритме до 85-ти лет...

Конечно, при таком темпераменте В.Л. не всегда мог быть изысканно куртуазным, прекрасно это понимал и во избежание нелепых недоразумений порой извинялся по ничему не стоящим пустякам. Но уж если он считал, что был прав, то оставался непреклонен. Помню, как-то я делал у него на семинаре обзорный доклад по кварк-глюонной плазме. В первом ряду сидел один известный биофизик и докучал мне довольно-таки неуместными вопросами. В.Л. сделал ему одно замечание, потом второе – более внушительное и, наконец, решительно потребовал не срывать доклад, а если уж совсем невтерпеж, то вообще покинуть зал. Тот замолчал, и рассказывать стало легче. Однако после семинара он нашел меня в моем кабинете, и только тут я осознал, что В.Л. действительно меня «спас». Этот – повторю, хороший биофизик – заявил, что сегодня самый радостный день в его жизни, что они (надо полагать, он и его коллеги) точно знают, где у человека находится

душа, а также какого она размера и веса, но только раньше им было неясно, из чего она состоит, – и вот теперь он, наконец, понял, что душа состоит из кварков!



И.И. Ройзен и В.Л. Гинзбург, 2001 г.

Хотя в течение почти полувека мы с В.Л. и встречались в институте чуть ли не каждый день, разность в возрасте (20 лет) и статусе была такова, что определенная степень доверительности в общении установилась лишь в последние 10-15 лет. По всей вероятности, во многом этому способствовал Евгений Львович Фейнберг, ближайший друг всей его жизни, к которому В.Л. всегда относился с трогательной, ничем не замутненной любовью и заботой. Так или иначе, мы стали нередко перезваниваться; приходя в институт, В.Л. все чаще зазывал меня к себе в кабинет «потрепаться», а после того, как он тяжело заболел, я стал время от времени появляться у него – то в больнице, то дома. Вообще-то «трепом» эти беседы можно назвать довольно условно: расслабиться было трудно – слишком уж часто В.Л. знал наперед то, что я собираюсь сказать, порой создавалось впечатление, что он прямо-таки читает мысли. Ладно еще, когда речь шла о науке, – тут при его-то квалификации и интуиции возможны были всякие «чудеса», но ведь мы говорили практически о чем угодно!

Как-то, вскоре после появления первого тома монографии «Двести лет вместе», В.Л. спросил, как бы

между прочим, каково мое мнение о Солженицыне – антисемит он или нет, и вообще, могу ли я дать четкое определение, кого следует считать антисемитом?<sup>5</sup>

Конечно, имелись в виду не примитивные «зоологические» и даже не более «рафинированные» и не столь кровавадные, но все же откровенные антисемиты – те и другие позиционируют себя сами, – а «благорасположенные» и при этом иезуитски фарисействующие особи. Поначалу этот вопрос показался мне слегка надуманным, и я стал довольно уверенно импровизировать. Но очень скоро мне стало ясно, что вопрос был задан не с кондачка – В.Л. уже основательно поразмыслил и, вероятнее всего, обкатывал на мне свои соображения. Насколько мне помнится, в конечном счете, мы все-таки несколько продвинулись – в основном, от противного, т. е. по части определения подлинного неантисемита (если бы это получилось, то тогда остальное было бы делом простой арифметики), но тема неизменно уводила в такую необозримую и туманную даль, что формализовать задачу так и не удалось. Все же примерно в это самое время вялотекущее эпистолярное общение между В.Л. и Солженицыным оборвалось.

Присуждение Нобелевской премии в 2003 г. придало неугомонному В.Л. новый импульс. Это был практически «подарок» к его 87-летию – почти день в день. В.Л. по этому поводу отщучивался, что ему, мол, просто повезло, и он все-таки дождался, потому что долго живет. В шутке была изрядная доля правды – премия действительно сильно запоздала. Но, так или иначе, его вес и влияние существенно возросли<sup>6</sup>. И он развил в высшей степени общественно-полезную просветительскую деятельность по защите науки

---

<sup>5</sup> Я уже упоминал, как далек был В.Л. от того, чтобы с пристрастием радеть исключительно представителям «богоизбранного народа». Априори, он был равно доброжелателен по отношению ко всем. Но это отнюдь не означает, что он был вообще равнодушен ко всему, что связано с извечной проблемой антисемитизма.

<sup>6</sup> Речь здесь, конечно, не идет о научном авторитете – его и раньше было хоть отбавляй.

от суеверия и разного рода псевдонаучных химер, расцвет которых является неременным атрибутом смутного времени. Несколько раз он показывал мне подготовленные к публикации рукописи на этот счет, комментарии и «придирки» всегда принимал с благодарностью и порой даже кое с чем соглашался. Кроме того, он вместе с рядом других известных ученых (и не только ученых) с обостренным чувством справедливости и гражданского долга решительно вступился за попавших «под раздачу» коллег, доказывая власть предрешающим, что люди несправедливо осуждены по облыжным и, подчас, просто смехотворным обвинениям за несовершенные ими преступления. К сожалению, пока мало кого удалось «отбить», но все-таки, похоже, что спланированный тотальный наезд прекратился.

Не все получилось и в «родном доме». В свое время они вдвоем – В.Л. и Е.Л. – с честью провели отдел, сотрудником которого был в то время шельмуемый властью, а потом и просто опальный Андрей Дмитриевич Сахаров, через труднейший период реакции и застоя в нашей стране. Можно сказать, – «по одной половине». Но после того как в 1989 г. В.Л. отказался от дальнейшего руководства отделом (к тому времени он стал именоваться отделением, но это неважно), отдел вздрогнул. Было ясно, что теперь следует ожидать перемен, и были большие сомнения в том, что они пойдут отделу на пользу. Не потому, что В.Л. был блестящим администратором (он, кстати говоря, это занятие не любил) или никогда не совершал никаких ошибок – просто слишком уж ощутима была разница в личностном классе между ним и любым из возможных преемников. Опасения – увы! – оправдались, хотя поначалу и казалось, что урон почти незаметен – сработала мощная благотворная инерция, заданная в свое время Игорем Евгеньевичем Таммом и энергично подпитываемая ими (В.Л. и Е.Л.) – его учениками. Ее хватило лет на десять с небольшим. Но потом негативные процессы стали очевидными, и тогда уже тяжело больной В.Л. предпринял отчаянную попытку переломить этот удручающий тренд: в связи с предстоявшим переизбранием руководителя отдела он во

всеуслышание предложил сделать довольно резкое телодвижение и пригласить на эту должность человека извне – сравнительно молодого академика М.В. Садовского, учившегося когда-то у нас в аспирантуре, – и вскоре поставил его в известность о ходе обсуждения этого вопроса. Казалось бы, перспективность такого шага была очевидной – что и было главным аргументом В.Л., но самые весомые его ученики «почему-то» резко высказались против. А лучшего друга рядом уже не было.

Хотя основным хобби В.Л. была работа, но все же, как говорится, не хлебом единым... Будучи человеком открытым и динамичным, он не особенно жаловал интеллектуальные развлечения – например, был довольно равнодушен к шахматам. Но зато до самых последних дней оставался завзятым футбольным болельщиком – возможно, таким образом релаксировал после интенсивных упражнений по теоретической физике. Он неоднократно пенял мне за то, что я пропустил трансляцию того или иного интересного матча и теперь нельзя обсудить перипетии происходивших там событий.

В.Л. очень отрицательно относился ко всяческой показухе, пустозвонству и неоправданному надуванию щек, фальши и лицемерию.

В частности, активно противился избранию в Академию по разного рода «околонаучным» соображениям. Однажды он спросил меня, что я думаю об одном весьма известном, но уже довольно давно ушедшем человеке. Впрочем, это было и так понятно, но я попробовал было уклониться от прямого ответа, промямлив расхожую фразу, что вот, мол, так уж принято – об умерших либо хорошо, либо ничего. В.Л. встрепенулся и немедленно возразил и притом весьма решительно, как он умел это делать в определенных ситуациях: «Послушайте, я с Вами совершенно не согласен. Что это за должность такая – покойник! Ну ладно, в ходе траурных мероприятий непосредственно после кончины – это еще куда ни шло, но потом нужно обязательно поставить все на свое место. А то так ведь можно договориться и до того, что не следует

воздать «по заслугам» и таким матерым преступникам, как Гитлер и Сталин».

Вспомнив об этом эпизоде, я подумал – вот что уж точно никогда не омрачит воспоминаний о В.Л., так это красноречивая немота или натужная лукавость посмертных речей и оценок. Потому что он принадлежит к очень немногочисленной, но драгоценной, плеяде блестящих и независимых интеллектуалов, которые, как правило, не занимают официально никаких оглушительных должностей, – их с избытком компенсирует высокий и непринужденный пиетет в глазах окружающих. Дела этих людей праведны, и они не нуждаются в подчистках или лакировке ни при жизни, ни после смерти: тут ничего не приходится ни замалчивать, ни выдумывать – ни одно слово не вымучено, и все слова стоят на своем месте.





# Яков Костюковский

## Мемуаразмы



ти воспоминания в форме коротких диалогов называются мемуаразмами, потому что, с одной стороны, это непрехотливые мемуары, с другой, – вполне объясняемый в моем возрасте легкий маразм.

\*\*\*

– Я часто вспоминаю, Виталий Лазаревич, как мы с Вами в Малеевке бегали на лыжах.

– «Бегали» – это сильно сказано. Бегал там только Виктор Шейнберг с сыновьями.

– Ну, ходили.

– Тоже не совсем точно. Ходили на лыжах Ная Лазарева и моя Нина. А мы с Вами, дорогой Яша, не бегали и не ходили, стояли на лыжах. Выбирали тихую поляну, стояли и болтали.

– А помните, как в Малеевке, мы почти ежегодно 5 марта отмечали день смерти Сталина?

– Да, конечно. И Вашу шутку помню.

– ?!

– Мне рассказывали, что когда в 53-м году все гадали, где похоронят Сталина, Вы сказали: «Лишь бы не на Голгофе, там воскресают...»

\*\*\*

Как-то во время наших «лыжных стояний» Виталий Лазаревич обронил фразу:

– Однажды меня вызывают в партком...

– А Вы член партии?

– Да, этот непоправимый шаг я сделал еще во время войны...

Прошло несколько дней, он опять к чему-то упомянул о парткоме. Я сделал вид, что впервые слышу о

его членстве в партии. А он, забыв о нашем предыдущем разговоре, опять стал ссылаться на молодость и войну. Так продолжалось несколько раз. Наши общие друзья умирали со смеху.

И тут не выдержала его жена Нина Ивановна Гинзбург:

– Яша, как не стыдно пользоваться рассеянностью Виталия! Я вот тебе сейчас кое-что расскажу, и ты, надеюсь, прекратишь свой неуместный розыгрыш... Представь себе раннее утро, полумрак, Виталий встает с постели, нащупывает ногами тапочки и говорит: «Сволочи!»... Знаешь, кого он имеет в виду? Партком.

– Ну, раз так, все, сдаюсь...

\*\*\*

– После лыж, перед обедом хорошо выпить рюмку водки. Почему, Виталий Лазаревич, Вы к нам не присоединяетесь? Считаете, что алкоголь вреден?

– И да, и нет. Тут нет однозначного ответа. Знаменитый выпивоха старик Ной прожил 950 лет, но умер, по моим сведениям, все-таки от очередного запоя...

\*\*\*

Как-то в Малеевском Доме творчества во время обеда в столовую вошла дежурная и закричала:

– Гинзбурга к телефону!

Вскочило несколько человек: Галич (Александр Гинзбург), Лагин (Лазарь Гинзбург) и почему-то поэт Сергей Островой (хотя он не Гинзбург, а Фукс).

– А Вы, Виталий Лазаревич, почему не реагируете? Ведь Вы же настоящий Гинзбург.

– Это не важно. У нас сейчас псевдогинзбурги имеют преимущество...

\*\*\*

– Скажите, министр строительства Гинзбург – Ваш родственник?

– Что Вы, мы даже не однофамильцы...

\*\*\*

– Виталий Лазаревич, мне рассказывал мой сосед, Александр Бек, что начиная с 1949 г. Сталин был опасно болен.

– Сталин был более опасен, когда был здоров...

\*\*\*

– Вам привет, Виталий Лазаревич, от моей жены.

– Очень кстати! Это дает мне основание задать Вам давно интересующий меня вопрос: почему Ваша Фира такая молчаливая?

– Не знаю.

– А я, пожалуй, знаю. Она очень красивая и ей незачем привлекать к себе внимание пустой болтовней...

\*\*\*

– На независимую ассоциацию писателей «Апрель» напало общество «Память». Едва я вышел на сцену ЦДЛ и успел сказать «Дорогие друзья!», как какой-то мерзавец крикнул мне из зала: «Твои друзья в Израиле!»

– А Вы знаете, Яша, он по существу был прав.

– Вот-вот, и моя дочь так говорит...

\*\*\*

– Помните, как глушили «Голос Америки», Бибиси?

– Это, Яша, не Бибиси, а нас с Вами глушили...

\*\*\*

– Вся беда, Виталий Лазаревич, что народ безмолвствует.

– Как же он безмолвствует, когда Лубянка получает каждый день почти три тысячи доносов...

\*\*\*

Подслушанный разговор Виталия Лазаревича с одним из авторов в редакции журнала, главным редактором которого был Гинзбург.

– Почему Вы с таким опозданием принесли свою статью? О том, что сегодня будет сто лет со дня рождения Резерфорда, стало известно уже на второй день его жизни...

\*\*\*

– Знаете ли Вы, Яша, что Трофим Денисович Лысенко свою докторскую диссертацию склеил из чужих статей. И когда иногда он говорил, что у него работа не клеится, это звучало буквально...

\*\*\*

Мне пришла в голову забавная мысль: если бы в нашей стране все чтити Уголовный кодекс, у России не было бы истории...

\*\*\*

– Так этот N – чистый еврей.

– Абсолютно чистых евреев не бывает, Яша. Как и, впрочем, чистых немцев. И чистых русских не бывает. Русские – это смесь Рюриковичей с Рабиновичами...

\*\*\*

– Согласитесь со мной на минутку, Виталий Лазаревич, что все на свете создал Бог и создал замечательно.

– Ну, ладно, на минутку могу. А к чему Вы это?

– А вот к чему. Есть исключение. Единственное, что у Бога не получилось, – это человек.

– Согласен. И объяснение здесь очень простое: Бог создавал человека в последний момент, когда уже сильно устал...

\*\*\*

– Меня очень беспокоит судьба Млечного пути.

– Как астрофизика?

– Вот именно. Сейчас в России развелось столько голубятников, и они так интенсивно машут своими длинными шестью, что могут сбить Млечный путь в масло...

\*\*\*

– После моих попыток изучения Космоса я понял, Яша, одну важную вещь: нельзя серьезно относиться к людям, которые не видят дальше своего носа, то есть не видят дальше одного-двух миллионов километров.

\*\*\*

– Виталий Лазаревич, как Вы относитесь к введению единой валюты «евро»?

– По-моему, все, что объединяет Европу, – это хорошо. Но есть и другие мнения. Например, математик Игорь Шафаревич вообще считает, что «евро» означает «еврей России»...

\*\*\*

– Телеэкран все обнажает, Вы видели, Яша, как Жириновский бил в Думе женщину? Больше всего меня потрясло его искаженное злобой лицо. Если воскресну, я узнаю это лицо и через пятьсот лет...

\*\*\*

– Что это Ваш коллега академик Алферов вдруг стал горячим сторонником правящей власти?

– А он как физик просто переполюсовал свои взгляды: сменил минус на плюс, а плюс – на минус...

\*\*\*

– Если человек все время спрашивает у Вас «как здоровье», – это фарисейство. Его Ваше здоровье не интересует, если он, конечно, не гробовщик...

\*\*\*

Когда в Доме ученых с большим размахом отмечали Нобелевскую премию Виталия Лазаревича, он вдруг спросил у меня:

– Ну, и как Вам это торжество?

– Вполне нормальное торжество.

– И Ваша Инна так считает?

– Да, в данном случае моя дочь со мной согласна...

Она другим огорчена. Понимаете, она долго искала для Вас какие-то особые хризантемы, а Вы их передали не Нине, а какой-то тете...

– А мы подаренные нам цветы не домой увозим, а тут же раздаем... Так как все-таки Вам показалось сегодняшнее действо?

– Я же сказал: нормальное торжество.

– А, по-моему, скучно. Лучше бы какой-нибудь капустник устроили. И пасквиль про меня сочинили. Хотя бы завистники были довольны...



**Владимир Рубин**

## **Роскошь человеческого общения**

*«Под старость краток день,  
а ночь без сна длинна...»*



последнее время в моих «длинных ночах» стал часто возникать образ моего доброго и светлого приятеля – Виталия Лазаревича Гинзбурга. Общение и беседы с ним на протяжении многих десятков лет глубоко укоренились в моей памяти. Ее неожиданно яркий и бурный наплыв привел к появлению этих кратких заметок.

Как завязываются дружеские нити, как устанавливаются доверительные отношения между людьми очень разными по мироощущению, по основному занятию в этой жизни, по возрасту – «нам не дано предугадать». Виталий Гинзбург посвятил себя постижению и раскрытию тайных процессов, происходящих в недрах материи самой жизни. Я же всю жизнь занимаюсь сочинением музыки, комбинацией звуков, очень надеюсь, что они произведут благотворное воздействие на души людей. Что нас сблизило известно одному Богу, в которого Виталий Лазаревич, по многочисленным своим высказываниям, не верил. Осмелюсь заметить, что дело с этим кардинальным, таинственным вопросом бытия здесь обстоит гораздо сложнее. Вспоминаю много лет спустя после нашего знакомства, в дивный весенний день, у меня дома мы с ним слушали великое сочинение Малера «Песнь о Земле». Впечатление, которое произвело это сочинение на не намоленное музыкой ухо Виталия было оглушительно, сильно, своеобразно и глубоко. Только душа, испытывающая подлинно религиозное чувство (к какому

Богу она склоняется здесь несущественно), способна на такую пронзительную реакцию.

Наше знакомство и возникшее вместе с ним взаимное душевное расположение на долгие годы произошло в богоизбранном месте, в Сортавале, на берегу Ладожского озера в августе 1974 г. Там находился наш, так называемый композиторский «Дом творчества». Он представлял собой несколько десятков деревянных финских домиков, добротных, но уже тронутых временем. В них мы жили и сочиняли свою музыку. В центре этого поселка – каменное добротное финское строение, в котором находились столовая, библиотека и клуб. Это каменное строение, как впрочем и иные строения такого типа в Финляндии, проходило под мифическим названием – вилла Маннергейма, думается это творимая легенда. Весь поселок расположен был в самой близости Советско-Финской границы и для попадания в него требовался специальный пропуск. Место было замкнутое и довольно пустынное. Как во всяком маленьком корпоративном обществе все обо всех много судачили и знали. Пересуды и слухи были в чести. Я давно слышал от коллег, что в Сортавале среди них летом обосновался и проживал со своей женой – Ниной Ивановной знаменитый физик академик Виталий Лазаревич Гинзбург (Нобелевская премия догнала его много, много, много лет спустя).

К слову, если мы – музыканты жили хоть и в небольших, но отдельных домишках, то академик с женой проживал в одной комнате общего дома, где господствовал запах сушеных белых грибов, собранных неутомимой Ниной Ивановной, удивительно пластично и обаятельно вписывающейся в диковатую приозерную природу, ради общения с которой они жертвовали вполне доступным им цивилизованным комфортом.

Познакомил нас мой ныне покойный друг, прекрасный композитор Алексей Александрович Николаев. Не могу не сказать несколько слов и о нем. Кроме того, что это был замечательный музыкант, он интеллеktуал в подлинном значении этого понятия. Кроме консерватории он окончил как искусствовед Московский университет.

Природа и он в Сортавале были нераздельны. Неутомимый ходок (вся округа им исхожена вдоль и поперек), превосходный рыбак, грибник. Своими руками искусно усовершенствовал наш неприхотливый быт – вообще яркая и обаятельная личность. С его легкой руки стихийно образовалась небольшая, удивительно приятная компания-содружество: Виталий Лазаревич Гинзбург с Ниной Ивановной, Алексей Александрович с Натальей Сергеевной и я со своей Машей Скуратовой. Алеша и Виталий – страстные, умелые и добычливые рыбаки. Виталий, как человек науки вел еще реестр добычи. Пойманные им рыбы были тщательно им вымерены. Вспоминаю эффектное появление на моем дне рождении Виталия и Нины с двумя, уже выпотрошенными и переложенными крапивой щуками весьма солидного размера (около 80 см). Нина и Наташа были великими мастерицами «грибной охоты». Грибы никогда не исчезали из нашего рациона. По вечерам, до глубокой ночи у самой воды Ладоги (Алеша своими «золотыми руками» соорудил специальные для этого мостки) происходили регулярные ритуальные посиделки. Коптилась свежельвовленная рыба, появлялись свежесобранные грибы (жаренные, маринованные, соленые), другая изысканная снедь, все это не без возлияния...

Но главное – беседы, беседы, беседы... О чем? Как водится на Руси – обо всем. От насущной прозы жизни, проблем искусства, политики до сакраментальных вопросов жизни и смерти, до космоса. Правда «черных дыр» в присутствии Виталия касались с любопытством, но осторожно. На протяжении многих лет дальнейшего общения с Виталием Лазаревичем меня не оставляло застенчивое, в некотором роде, мистическое чувство. Думалось: «Боже мой! Куда его сознание, его мозг имеют возможность погружаться. Какие запредельные для меня миры, схваченные его интеллектом, облаченные в знаки-формулы, ему доступны, и какие таинственные процессы жизни материи перед ним приоткрываются».

Смущение овладевало душой моей. Воображение и фантазия застывали. В моем сознании эта сторона жизни души Виталия Лазаревича так и осталась глубокой тайной.



Это неравновесие, а неравновесие заключалось в том, что глубина его научного постижения жизни так и осталась для меня terra incognita, а он посещал концерты, где исполнялась моя музыка, и имел возможность соприкоснуться с некоторыми сокровенными сторонами души моей. Несомненно эта неравновестность наложила ощутимый отпечаток на наше общение, но наличие взаимно притягивающихся точек дало возможность сохранить интерес и сердечное дружеское расположение друг к другу. При всем своем Богом данным огромном глубоком таланте ученого Виталий Лазаревич был прелестно прост, обаятелен и, я даже сказал бы, наивен в общении. Никакого академического дурновкусия, пошлого чванства в сознании своей исключительности и в помине не было. Живой, естественный, чрезвычайно ранимый, пронизательный с большим чувством юмора собеседник. На протяжении десятилетий общение наше происходило по самым разным поводам: на торжествах, юбилеях, на траурных событиях, но большей частью мы встречались просто так, по зову души. Происходили наши встречи на разнообразных широтах: в Москве на квартирах (они у нас менялись) у них и у нас. На дачах (они не менялись) у них в Ново-Дарьино и у нас в Жаворонках, на концертах в Большом и Малом залах консерватории, в доме творчества писателей в Малеевке, где они любили бывать – всего не перечислить. Встречи эти отличала атмосфера дружелюбности, взаимно заинтересованности и, как правило, совпадение взглядов на происходящие вокруг нас события. А они бывали весьма остросюжетны, многочисленны и разнообразны. На наших глазах происходил грандиозный, не всегда осязаемый очевидцами процесс, по выражению Мусоргского «Крушение царств», оползень, распад империи и естественно связанное с этим смятение чувств, хаотическое состояние в душах людских.

Виталий Лазаревич в силу своего темперамента был активно вовлечен в этот космический процесс, а в одно короткое время даже окунулся непосредственно в политику, став депутатом Верховного Совета СССР. С государством он был непосредственно завязан своей научной

деятельностью. Будучи человеком страстным и ранимым все перипетии этих отношений: обиды, несправедливость, подлость, жестокость принимал болезненно близко к сердцу. Вся история с академиком Сахаровым, сотрудником его лаборатории, дорого ему далась. Посещения опального ученого в Горьком часто становились сюжетом его горьких рассказов. Сложные отношения с женой Сахарова его тяготили. Насыщенные, самые разнообразные события быстротекущей российской жизни находили у него необыкновенно яркий отклик, ставя его в центр публичных дискуссий по разнообразным жизненным проблемам, возникающим в полубезумном сознании нашего общества.

В наших беседах разговоры на «Божественные темы» занимали значительное место. Свои письменные высказывания по этому поводу он считал нужным временами пересылать мне по почте. Тема эта, одна из самых таинственных и глубочайших в нашем земном жизненном пути, как и всякого крупной души человека, особенно в преклонном возрасте, не оставляла его в покое. В одном из самых последних, а может быть, и в самом последнем разговоре с моей Машей по телефону он спросил: «А что Володя еще верит в Бога?» Тема эта иногда была прикрыта живительным юмором. Как известно Нобелевский комитет с большим опозданием присудил Виталию Лазаревичу премию, которую он уже давно, давно заслужил. Виталий Лазаревич, обладавший чутким чувством юмора, очень смеялся, когда я, поздравляя его, с присуждением премии сказал: «Виталий, а Бог-то все-таки есть!»

Литература, живопись, скульптура (он был большой неизменный поклонник скульптора Сидура), музыка, по моим наблюдениям естественно, омывали его душу, в разумных пределах, не захлестывая. Но все же, главной доминантой души его была наука и любовь в высшем духовном понятии этого чувства. Нравственный устой души его был непоколебим. Человеческие слабости также были не чужды ему, но проявлялись в столь обаятельной непосредственности, что вызывали только еще более приязненные чувства к его личности. Ощущалось его не совсем утоленное чадолюбие. Его отношение к своей Нине

Ивановне было необычайно трогательное. История их знакомства чисто «советская» по фабуле и дальнейшие сложные хитросплетения их жизни были частым сюжетом его живых рассказов-воспоминаний. Они того стоят и, кроме того, из них всплывает притягательный образ его Нины, образ женщины, про которую чуть перефразировав строчку поэта Наума Коржавина можно сказать: «...и в кибитках снегами настоящие женщины поедут за нами...»

О профессиональных достоинствах ученого Виталия Лазаревича Гинзбурга написаны сотни ценных страниц. В моей же душе он укрепил веру – человек создан по образу и подобию Божьему. Порука тому его нравственная чистота, подлинная органическая честность, прекрасная наивность.

Радостно, что на мою долю выпало испытать одно из самых ценных человеческих состояний (по меткому выражению Экзюпери) – «роскошь человеческого общения» с ним.



## Борис Горобец

# Неизвестное о подвиге академика П.Л. Капицы

### спасшего Л.Д. Ландау из тюрьмы НКВД (новая версия)

Борис Горобец подготовил к печати 3-е, существенно обновленное издание трилогии «Круг Ландау» (2-е изд. 2008. Москва. Книж. Дом «ЛИБРОКОМ» УРСС).

Предлагаем нашим читателям отрывок из новых текстов, вошедших в это произведение.

### Преамбула



В конце апреля 1939 г. академик П.Л. Капица был вызван на Лубянку, где высшие комиссары (генералы) НКВД, выполняя поручение Л.П. Берия и В.М. Молотова, решали, можно ли освободить Л.Д. Ландау. Дело в том, что 6 апреля 1939 г. П.Л. Капица отправил письмо В.М. Молотову, Председателю Совнаркома СССР. Вот текст письма, которое многократно публиковалось (см., например, в книгах: [Петр Леонидович Капица..., 1994. С. 411], [Горобец, 2008. С. 290]):

*Товарищ Молотов,*

*За последнее время, работая над жидким гелием вблизи абсолютного нуля, мне удалось найти ряд новых явлений, которые, возможно, прояснят одну из наиболее загадочных областей современной физики. В ближайшие месяцы я думаю опубликовать часть этих работ. Но для этого мне нужна помощь теоретика. У нас в Союзе той областью теории, которая мне нужна, владел в полном совершенстве Ландау, но беда в том, что он уже год как*

*арестован.*

*Я все надеялся, что его отпустят, так как я должен прямо сказать, что не могу поверить, что Ландау государственный преступник. Я не верю этому потому, что такой блестящий и талантливый молодой ученый, как Ландау, который, несмотря на свои 30 лет, завоевал европейское имя, к тому же человек очень честлюбивый, настолько полный своими научными победами, что у него не могло быть свободной энергии, стимулов и времени для другого рода деятельности. Правда, у Ландау очень резкий язык и, злоупотребляя им, при своем уме, он нажил много врагов, которые всегда рады ему сделать неприятность. Но, при весьма его плохом характере, с которым и мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков.*

*Конечно, говоря все это, я вмешиваюсь не в свое дело, так как это область компетенции НКВД. Но все же я думаю, что я должен отметить следующее как ненормальное:*

*1. Ландау год как сидит, а следствие еще не закончено, срок для следствия ненормально длинный.*

*2. Мне, как директору учреждения, где он работает, ничего не известно, в чем его обвиняют.*

*3. Главное, вот уже год по неизвестной причине наука, как советская, так и вся мировая, лишена головы Ландау.*

*4. Ландау дохлого здоровья, и если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей.*

*Поэтому обращаюсь к Вам с просьбами:*

*1. Нельзя ли обратить особое внимание НКВД на ускорение дела Ландау.*

*2. Если это нельзя, то, может быть, можно использовать голову Ландау для научной работы, пока он сидит в Бутырьках. Говорят, с инженерами так поступают.*

*П. Капица*

**Традиционная версия: «Ландау арестован как немецкий шпион»**

После 1989 г., когда Капицы уже не было в живых (он умер в 1984 г.) близкие к Капице люди (его сын

С.П. Капица, академики И.М. Халатников и Е.Л. Фейнберг) опубликовали версию освобождения Ландау. Она сводится к тому, что во время беседы на Лубянке Капица убедил комиссаров НКВД, что Ландау не мог быть немецким шпионом и дал письменное ручательство за него.

Эта версия не выдерживает пристальной критики, потому что ни в одном документе из «Дела Ландау» он не обвиняется в шпионаже. В то же время реальное тягчайшее преступление Ландау (по меркам тех лет) – подготовка листовки с призывом свержения «сталинского фашистского режима» – не фигурирует ни в одном из вариантов указанной мифологической версии. Тогда как автор очерка считает, что комиссары НКВД не могли не показать Капице эту листовку.

Существует несколько довольно близких друг к другу пересказов о том, как происходила заключительная схватка Капицы с высшим начальством НКВД, решившая судьбу Ландау. Это пересказы академиков Е.Л. Фейнберга [2003, С. 387-408], И.М. Халатникова [2007, С. 42-43], профессора С.П. Капицы в его телефильме [2007]. Я также слышал лично от академика Е.М. Лифшица устный рассказ об этом событии. Все пересказы в главных моментах сходятся между собой, хотя немного разнятся в деталях. Естественно, они основаны на том, что указанные академики слышали лично от П.Л. Капицы. Основным тезисом всех пересказов является утверждение, что Ландау был арестован как немецкий шпион и что Капица переубеждал в этом руководителей НКВД.

Версию, впервые услышанную еще в 1970-х гг. от Е.М. Лифшица, я воспринимал как абсолютную истину и не пытался критически ее анализировать в течение многих лет, до тех пор пока не приступил в 2005 г. к написанию книги «Круг Ландау» [2008. С. 121-128]. Этот процесс потребовал большей вдумчивости и критического рассмотрения, которое обнаружило, что в традиционной версии есть принципиальные противоречия и нестыковки. У меня сложилось впечатление, что П.Л. Капица не договаривал чего-то важного. Я попытался обратить на них внимание читателей в книге «Круг Ландау», в первых двух изданиях

(2006, 2008). Однако «полного решения задачи» по устранению всех внутренних противоречий данной версии и сведению концов с концами я тогда еще не нашел.

Сейчас, работая над подготовкой 3-го издания «Круга Ландау», перечитав снова все варианты пересказов о визите Капицы на Лубянку, я, как мне кажется, наконец, понял главное отсутствующее звено – то, о котором П.Л. Капица умолчал. Ведь он умер в доперестроечном 1984 году, ничего не мог писать на эту тему, и только самым близким людям рассказывал *кое-что* об этом событии, да и то с купюрами и искажениями (как я это теперь понимаю). А слушатели воспринимали его рассказ, не подвергая сомнению ни одного слова.

Оговорюсь: я не могу называть подлинным свой нижеследующий рассказ о том, какой мне видится встреча Капицы с комиссарами НКВД (которых позже стали именовать генералами), поскольку никаких новых документов и свидетельств на этот счет не появилось. Так что буду для корректности именовать свое видение данного события наиболее правдоподобной гипотезой или новой версией. Чтобы читателю стали понятны натяжки и несоответствия в традиционных пересказах «версии Капицы», придется, во-первых, немного повториться, обратившись к известным фактам об аресте Ландау и, во-вторых, процитировать версию его вызволения из тюрьмы Капицей согласно опубликованным ранее вариантам текстов со словами указанных выше академиков.

Теперь уже точно известно, что непосредственной причиной ареста Ландау 28 апреля 1938 г. послужила антисталинская листовка, подготовленная его «странным другом» и коллегой М.А. Корецом, который упросил Ландау прочесть и подредактировать эту листовку. Они собирались сначала распространять листовку во время Первомайской демонстрации, но затем вроде бы изменили планы, решив вкладывать ее в почтовые ящики согражданам. В листовке были слова о том, что «сталинская клика совершила фашистский переворот», «сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности», содержался призыв «сбросить фашистского диктатора». После 1990 г. эта

листовка была многократно опубликована полностью (см. например, в книгах: [Фейнберг. 2003. С. 391], [Горобец, 2008. С. 284]; [Бессараб. 2008. С. 76]).

Когда после освобождения Ландау его племянница М.Я. Бессараб спросила его: «А в чем тебя обвиняли?», Ландау ответил несколько игриво: «В том, что я немецкий шпион. Я пытался объяснить следователю, что я не мог им быть. Во-первых, быть шпионом бесчестно, а во-вторых, мне нравятся девушки арийского типа, а немцы запрещают евреям любить арийских девушек. На что следователь ответил, что я хитрый, маскирующийся шпион» [Бессараб. С. 24]. Ландау, отвечая Бессараб, умалчивает о настоящих причинах ареста – его борьбе с оборонной тематикой в УФТИ (Харьков) и, главное, о листовке. А ведь именно эти и только эти два пункта обвинения прописаны в протоколах допросов, в обвинительном заключении и, гораздо позже, в реабилитационном деле Ландау. Тогда как обвинений Ландау в шпионаже в этих документах нет (см. статью «Лев Ландау...» в журнале Известия ЦК КПСС [1991. № 3. С. 134-57] и статью профессора Ю.Н. Ранюка «Дело УФТИ» [Ранюк. Электронный ресурс]). Очевидно, самому Ландау очень хотелось, чтобы причина ареста выглядела заведомо абсурдной, «в духе 1937-1938 гг.», и не вызвала у собеседников дальнейших расспросов и сомнений. А о подлинной причине ареста (о листовке!), которая в те времена вызвала бы шок у окружающих и наверняка создала бы вокруг него вакуум страха, да и гневного осуждения со стороны части коллег, Лев Давидович не говорил никогда и никому.

Автор данной заметки может подтвердить ключевые слова, которые он сам слышал не раз от Е.М. Лифшица (ЕМ) и З.И. Горобец (второй жены Лифшица). Евгений Михайлович говорил на эту тему крайне мало, коротко и неохотно, примерно так: «Дау обвинили в том, что он немецкий шпион. Капица это оспаривал, Пятигорский (первый харьковский ученик и соавтор Ландау) давал показания против Дау и потому был предан анафеме». Как выяснилось много лет спустя, уже после кончины Ландау в 1968 г. и Лифшица в 1985 г., все эти тезисы оказались



ложными. Но ЕМ не сомневался в их истинности так же, как и, наверное, всё окружение Ландау. Миф успешно «работал» более полувека. Да и сейчас он является основной версией в кругах, интересующихся этой темой, слышавших или читавших только старые источники, механически повторяемые учениками и близкими Ландау. В.Л. Гинзбург любил называть подобный способ закрепления истины в последней инстанции: “adopted by repetition”.

При анализе этой версии важно подчеркнуть, что Капица ничего не знал о листовке, когда он писал Сталину: Иначе не написал бы: «Конечно, ученость и талант, как бы велики они ни были, не дают право человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить. <...> Но... мне очень трудно поверить, чтобы Ландау был способен на что-то нечестное» [Горобец. 2008. Прилож. 3, № 3]. Сталин тогда ничего не ответил Капице, и последний продолжал оставаться в неведении насчет «самоубийственной» листовки Ландау.

Изложу теперь документально, путем строгого цитирования, «версию о немецком шпионе» в четырех вариантах.

*(1) Пересказ мемуаристов о визите на Лубянку от лица самого П.Л. Капицы [Петр Леонидович... 2004. С..323].*

«Вызвали меня к часу ночи. Провели в большой кабинет, где сидели два человека. Оказалось, что это заместители Берии – Кобулов и Меркулов. Оба они потом были расстреляны. “Вы понимаете, – говорят, – за кого вы просите? Это же опаснейший человек, шпион, который во всем сознался. Вот почитайте...” И пододвигают мне огромный том. Но я том читать не стал. “Могу, – спрашиваю, – задать вам только один вопрос?” – ”Пожалуйста!” – говорят. И смеются. – “Скажите, какая ему, Ландау, корысть, каков мотив тех преступлений, которые, вы считаете, он совершил”. Мне отвечают, что мотивы никого не интересуют. Я опять за свое, привожу примеры из литературы... Проговорили до четырех утра. Особенно с Меркуловым, который оказался очень начитанным... Жаль. Оба эти человека обладали, по-видимому, большими организаторскими талантами, но были совершенно

беспринципны. Перед концом нашей беседы один из них говорит: “Хорошо, Капица, если вы согласны поручиться за Ландау – пишите письменное поручительство, в случае чего будете отвечать”. Я написал, и через два дня в институте появился Ландау. Я так и не сказал ему, что это я за него поручился. Только через много лет это все стало ему известно...»

Для историографии важно подчеркнуть, что хотя этот текст подан от лица Капицы в сборнике воспоминаний о нем, он не является аутентичным текстом лично Капицы. Со всей очевидностью, текст напечатан по памяти со слов слушателей Капицы, и в нем заведомо могут быть принципиальные пропуски и искажения. Во всяком случае, никак не оговаривается, что существовали некие личные записи Капицы об этом событии. Если бы они были, то наверняка вошли бы в указанные ниже, в списке литературы, книги Капицы и о Капице, изданные в 1989-2004 гг.

Сразу же подчеркну, что мне представляются неубедительными, непрофессиональными и наивными слова как «самого Капицы», так и ответы, вкладываемые «Капицей» в уста нквдэшников. Для светских коридорно-салонных рассказов «по секрету» они, как показывает жизнь, подходят, но не более того. Замечу попутно лишь, что аргумент «Капицы» об отсутствии мотивов для шпионажа у Ландау профессионалы тут же разбили бы вдребезги, напомнив про шантаж – один из главных мотивов, который повсеместно и изощренно применяют все разведки мира.

А дальше больше...

(2) *Пересказ о том же словами академика Е.Л.Фейнберга [2003. С. 387-408].*

В этом варианте упомянута принципиальная деталь о закладках в томах «Дела Ландау».

«Когда он <Капица> вошел в огромный кабинет, то <...> на отдельном столе лежали тома следственных дел Ландау и других. В разных местах они были проложены закладками, и Капице было вежливо предложено ознакомиться с материалом, чтобы убедиться, что Ландау действительно виновен. Но здесь проявился весь Капица – его мудрость и характер: он категорически отказался читать

эти “Дела”. Никакие уговоры не помогали. Понятно, почему он так поступил. Во-первых, он, конечно, понимал, что пытками можно было выколотить из Ландау любое, самое нелепое признание, например, что он гитлеровский, или английский, или, скажем, боливийский шпион... Доказать, что это самооговор, было бы невозможно, но даже если бы <...> ему предъявили что-нибудь почти невинное, например, действительно добытые признания во вредительстве (дискредитация диамата и стремление разделить УФТИ на два института), о которых Капица, конечно, не знал <прекрасно знал, см. «Круг Ландау. Жизнь гения». 2008. Глава 2. – Прим. Б.Г.>, то он был бы втянут в нескончаемый спор о правомерности признания этого преступлением, о степени необходимого наказания и т.п. Все это сразу отпало благодаря твердости Капицы. Многочасовые уговоры не помогли. Но, очевидно, вопрос об освобождении Ландау уже был предрешен».

В этом рассказе Евгения Львовича, при всем его общеизвестном благородстве, учености и воспитанности именно данные качества, наверно, мешают «подвергать все сомнению», как призывал еще Карл Маркс. Включая и слова своих друзей.

(3) *Еще раз о том же по академику И.М. Халатникову* [2007. С. 42, 43].

Следующий пересказ взят из книги академика И.М. Халатникова, ученика Ландау, основателя Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау (Московская обл., пос. Черноголовка).

«П.Л. был приглашен в НКВД, где его принимала большая <? – уже не двое, как в рассказе «самого Капицы»> группа заместителей Берии во главе <?> с начальником следственной части НКВД Кобуловым. На столе лежали пять <a не один, как у «Капицы»!> больших томов “дела Ландау”. Кобулов предложил Капице ознакомиться с этими материалами. П.Л. мгновенно понял, что после чтения этих томов затем последует дискуссия без всякой гарантии на успех. Тогда он сделал встречный ход – задал Кобулову и всем присутствующим вопрос: “Вот вы утверждаете, что Ландау был немецким шпионом, что является

преступлением. Но всякое преступление должно иметь *мотив*. Объясните, какие могли быть мотивы у еврея Ландау стать немецким шпионом?” *<и этот академик ничего не слышал о мотивации путем шантажа! – Б.Г.>* Тут последовала немая сцена в духе Гоголевского “Ревизора”. Вопрос Капицы поставил генералов в тупик <?>, они никогда до этого не задумывались о мотивах преступлений и даже не очень четко представляли себе смысл этого слова <?>. Кобулов немедленно предложил прервать беседу, и через два дня он же запросил у П.Л. личное письмо Л.П. Берии с просьбой “освободить из-под стражи арестованного профессора физики Л.Д. Ландау под личное поручительство”».

В тексте Халатникова, не лишенном некоторой театральности, содержится по крайней мере одна фактическая неточность: во главе группы «заместителей Берия» стоял заместитель наркома НКВД Меркулов, а не Кобулов, который был рангом ниже и, будучи помощником Берия, не занимал должности замнаркома. Сама по себе эта неточность мелкая, но она иллюстрирует нетщательность проработки исторического материала, излишнюю склонность автора текста к литературщине и театральности и в целом снижает доверие к остальным сведениям в пересказе Исаака Марковича. Так, непонятно, почему Халатников ни разу не упоминает листовку – козырного туза нквдэшников? Ведь, когда Халатников писал свою книгу (издана в 2007 г.), он уже прекрасно знал о том, что в деле Ландау фигурировала листовка (впрочем, как уже знал и Фейнберг). Удивительна эта инерция мышления, управляющая интеллектом и эмоциями крупнейших пожилых академиков, ведущая их по заранее заданной ортодоксальной траектории, “adopted by repetition”. Задумаемся лишь на миг: ведь если бы генералы открыли одну из своих «закладочек» и показали Капице листовку со словами про фашистского диктатора, то сцену из «Ревизора», скорее всего, импульсивно сыграл бы сам Капица, не ожидавший такого информационного удара. А генералы тогда, наоборот, торжествовали бы. Впрочем, наверняка так оно и было, но об этом чуть позже.

*(4) И последний раз о том же словами сына Капицы*

Профессор и академик РАЕН Сергей Петрович Капица – известен как телеведущий научно-популярного сериала «Очевидное невероятное». Пересказ записан мной дословно по телефильму «Десять заповедей Ландау», который был подготовлен к 100-летию Ландау и показан по ТВ в рамках указанного сериала в конце 2007 г. В фильме С.П. Капица говорит:

«Мне отец рассказывал, как это происходило технически. У него была встреча сначала с Молотовым по этому поводу. А потом в 4 часа утра вызвали на Лубянку два помощника Берии, Абакумов <??> и Кобулов.<sup>7</sup> Долго с ним говорили, что, как Вы можете защищать человека, который признался в том, что он немецкий шпион. Вот его показания, посмотрите, что он там сказал.

“Я не буду смотреть этого дела. Но вы мне объясните, какие могли быть у молодого блестящего ученого мотивы быть немецким шпионом. Когда он – признанный работник в самых интересных и передовых областях физики. Заниматься таким мелким и грязным делом. Я не понимаю этого дела. Вы не можете мне это объяснить” *<Как видим, и этот профессор ничего не знает о могущественном методе вербовки посредством шантажа – это я опять к отсутствию стремления указанных ученых к критическому анализу; сам я не сомневаюсь, что шантажу со стороны немцев Ландау не подвергался и шпионом не был, иначе он в этом признался бы и это вписали бы в его обвинительное*

---

<sup>7</sup> В.С. Абакумов там не мог присутствовать. В это время он был одним из множества младших офицеров НКВД, а не помощником Берии. Вместе с Кобуловым, как уже упоминалось выше, был заместитель Берии по наркомату Меркулов. Возможно, это просто оговорка С.П. Капицы. Но исторический телефильм – вещь в принципе ответственная. Ошибки в нем, конечно, могут быть, как и в каждом произведении. Но оговорки, относящиеся к фамилиям исторических лиц, должны быть исключены при редактировании. Ведь текст вошел в запись фильма, был наверняка просмотрен самим автором фильма, т.е. С.П. Капицей. Тем самым снижается уровень доверия и к остальным сведениям, сообщаемым рассказчиком.

*заклучение – Б.Г.>*

Его отпустили. Отпустили на поруки моего отца».

**Завязка новой версии, основанной на предъявлении листовки П.Л. Капице**

Попытаемся критически разобраться в приведенных пересказах.

В первом пересказе от лица самого П.Л. Капицы сотрудники Берии прямо называют Ландау шпионом и предлагают Капице почитать соответствующие обвинения в лежащем перед ним «огромном томе». Но ведь такое предложение, будь оно сделано – детская глупость! Невозможно ее допустить со стороны двух опытных чекистов, высокопоставленных лиц, которые уполномочены Председателем Совнаркома СССР Молотовым и собственным наркомом Берия решить важный вопрос! Ну, никак не могли они предлагать посмотреть Капице в томе то, чего в нем не было, т.е. документальных обвинений Ландау в шпионаже и его признания в этом. Тем самым весь дальнейший диалог о мотивах Ландау шпионить на немцев и его возможной корысти – пустое! Но и это еще не самый верх абсурда.

Меркулов и Кобулов, конечно, не могли рассчитывать на то, что Капица откажется смотреть «Дело Ландау». Зачем тогда закладки в томе, о которых сообщает рассказчик (Фейнберг)? Теперь представим себе, что на предложение Капице открыть тома и убедиться в том, что Ландау – шпион и что он в этом признался, Капица открывает листы дела по закладкам... А там ничего подобного нет! Бериевские сотрудники выглядели бы в глазах Капицы просто посмешищем, и получается, что они на это сами нарывались.

На самом же деле Капица увидел бы там антисталинскую листовку! А вместе с ней и показания друзей Ландау по УФТИ, Шубникова и Розенкевича, которые (вынужденно, конечно, – нельзя их в этом винить!) свидетельствуют об их совместной с Ландау вредительской деятельности в УФТИ, направленной на срыв оборонных заданий правительства. Возможно, что мой воображаемый оппонент и упорный сторонник исходной версии «по

Капице» скажет, что НКВД-шники - народ предельно циничный, дела шили белыми нитками, в них и не такой абсурд встречался. Это же 1937 год, дел то подобных сотни тысяч! Отвечу. Это уже 1939 год, во главе НКВД – Берия, принято постановление Политбюро о массовых перегибах в НКВД, смнен почти весь его руководящий состав, идет массовый пересмотр дел. Но здесь важно даже не это. Важно то, что встреча с Капицей происходит на высшем уровне: новый замнаркома НКВД Меркулов принимает всемирно известного академика, имеющего прямые контакты со Сталиным и Молотовым. Комиссары НКВД выполняют особое поручение Председателя Совета народных комиссаров и своего наркома. Могли ли они позволить себе так слабо подготовиться, что даже не знали основного пункта обвинения своего сверхособого заключенного и сделали ошибочные закладки в его «Деле»? Да завтра же Капица на них нажалуется Молотову, Берия, Сталину... Итак, подобный разговор о шпионаже, в котором легко убедиться по закладкам в томах – абсурд, доказываемый едва ли не с точностью математической теоремы.

Что же происходило на самом деле? Поскольку уже никогда не восстановить в деталях, какие разговоры и действия происходили в описываемых событиях, то предложу приблизительную схему и виртуальные слова, которыми могли обмениваться Капица и комиссары НКВД. Преимущества новой версии состоят в том, что она непротиворечиво объясняет все известные звенья основного события – обвинения Ландау и его освобождения под поручительство Капицы.

Итак... На Лубянке Капице предложили ознакомиться с томом (или томами) «Дела Ландау», сказав, что это опасный государственный преступник. Капица отказался, пытаясь оградить себя от бесперспективной, как он догадывался, полемики с обвинением. Вероятно, в этот первый момент он рассуждал так, как это описано у Е.Л. Фейнберга (см. выше). Но не тут-то было! Почему при отказе Капицы открывать тома по закладкам, комиссары НКВД не стали сообщать Капице об антисталинской листовке? И для чего тогда были сделаны эти закладки в

томах? Ведь подлинная листовка со словами о «сталинском фашистском режиме» была беспронимательной козырной картой следователей НКВД. И раз Капица отказался смотреть «Дело Ландау», то комиссары наверняка сами раскрыли том на одной из закладок и предъявили своего козырного туза».

Этого Капица ожидать никак не мог, он наверняка растерялся, был шокирован хотя бы в первую минуту. Ведь он сам писал как Сталину, так и Молотову, что ручается, что Ландау ни в чем невиновен, что «если Ландау виноват, он должен ответить» (из письма Сталину от 28 апреля 1938 г.). И вдруг Капица разом теряет силу всей своей защитительной аргументации, потому что Ландау уличен бесспорно, без подделок, в тягчайшем преступлении той эпохи — агитации против товарища Сталина, прямом его оскорблении (назван фашистом) и призывом к борьбе со сталинским режимом. И сразу становится неинтересной беспредметная болтовня о Ландау как немецком шпионе.

Как мог предположительно реагировать Капица, увидев эту жуткую листовку? Мог заявить, что это фальшивка, что она написана по принуждению следователей. Но Капица был воистину мудр, он слишком хорошо знал Ландау, и, наверное, интуиция подсказала ему, что листовка подлинная. Не исключено, что комиссары даже предложили вызвать сейчас же Ландау, чтобы он сам рассказал, как было все дело. И Капица наверняка отказался от такой очной ставки, понимая, что когда Ландау повинится и взглянет ему прямо в глаза, то это загонит их обоих в бесповоротный тупик. Наступил, как говорят, момент истины, вероятно, явившийся поворотным моментом во всей истории советской теоретической физики. Именно в этот момент проявились истинная мудрость, дальновидность и несравненный героизм Капицы. Он совершил подвиг, который, к сожалению, не смогли до сих пор в полной мере понять и оценить близкие к нему лица. Все те, которые много позже один за другим обсуждали одну и ту же абсурдную - по факту отсутствия такого обвинения!- историю о том, был ли Ландау немецким шпионом. Окружение Капицы не поняло, что он их всех обвел вокруг



пальца - для их же блага, для блага Ландау и своего собственного. Как и зачем он это сделал?

### **Мгновенное решение продолжать биться за Ландау**

Беседы с комиссарами НКВД о литературе (со слов пересказчиков Петра Леонидовича) – это для наивных интеллигентов. Это – для тех, кто впоследствии узнает о том, как Капице удалось убедить НКВД освободить Ландау, это – антураж построенной им хитрой ложной версии прикрытия. О чем же невозможно было не говорить после предъявления комиссарами Капице ландауско-корецевского аутодафе? Ясно, что комиссары по-настоящему опасались отпускать Ландау, ибо по тем временам он оказался явным антисталинским еретиком, заслуживавшим «сожжения на костре». И, конечно, в случае поддержки ими просьбы Капицы, комиссары боялись ответственности перед Берией, Молотовым и, более всех, перед Сталиным – они не могли не бояться быть обвиненными в «политической слепоте» прямо сейчас или же позже, если непредсказуемый Ландау выкинет еще какой-нибудь трюк, оскорбляющий «великого товарища Сталина». Эти свои опасения они, несомненно, внушали и Капице, наверняка, не советуя ему хлопотать за Ландау. Но Капица выдержал удар в виде предъявленной ему листовки. И выдержал напор комиссаров НКВД. Героический академик быстро принял решение продолжать биться за жизнь Ландау, невзирая на предъявленный ему новый убийственный контраргумент комиссаров.

Как потекла беседа Капицы и комиссаров дальше? Позволим себе рассуждать так, как обязан делать добросовестныйследователь, пытающийся реконструировать возможные разговоры лиц, участвующих в деле, которое он анализирует, если самих этих разговоров этот следователь (исследователь) не слышал. Он строит наиболее вероятную и непротиворечивую цепочку гипотез, исходя из знания доступных ему фактов, обстановки и характеров действующих лиц.

Капица построил свою линию ходатайства за Ландау (а вовсе не его защиты – теперь уже!) как за уникально ценного для советской науки человека. Ландау – ученый,

абсолютно необходимый лично ему, Капице, пользующемуся огромным авторитетом и поддержкой у Сталина и Молотова. Наверное, Капица «пёр на комиссаров НКВД, как танк», рассказывал о своем великом открытии сверхтекучести, о том, что открытий подобного уровня у СССР еще не было, что оно уже получило мировое признание; что оно сулит в близком будущем огромные технические перспективы. Вполне себе представляю, как Капица показывает комиссарам стакан с водой и объясняет, что если вместо воды налить жидкий гелий, то при очень низкой температуре он вытечет через стенки и дно стакана. А чтобы комиссары поверили в это чудо, он приглашает их приехать в свою лабораторию: они в этом убедятся воочию! Но вот объяснить невероятное явление он не может, для этого требуется теоретик на уровне гения.

Далее Капица рассказывает о новых выдающихся достижениях его института в области физики и техники низких температур. Об этом уже знают лично товарищи Сталин и Молотов, они оценили его открытия как чрезвычайно важные для развития криогенной промышленности в стране, и они полностью поддерживают Капицу. На этот счет у Капицы есть на руках подробная переписка с Молотовым, он может ее показать комиссарам. Стране нужны большие количества жидкого кислорода и жидкого азота для промышленности, нужен жидкий гелий, который мы пока импортируем. Для проведения всего комплекса этих работ в Институте физпроблем нужна мощная группа теоретиков во главе с Ландау, составленная из его учеников. Но в первую очередь от теоретиков нужна правильная теория сверхтекучести, а ее может создать только Ландау.

– Как это так? – вероятно, удивлялись комиссары. – Почему клин сошелся на одном Ландау? Возьмите себе пять-шесть лучших теоретиков страны, они решат Ваши проблемы.

– Э, нет! – наверное, возражал Капица. – Открытое явление настолько необычно, что для его объяснения нужен гений физики. А таких гениев, как Ландау, в мире всего 5-6 среди физиков. У нас же в стране он один. Это немного

напоминает спорт высших достижений. Прыгнуть за 8 метров в длину мог тогда только Джесси Оуэнс. Никакие 10 или 100 мастеров по прыжкам неспособны были преодолеть 8 метров. В общем, нашей стране позарез нужен Ландау, живой, здоровый, работоспособный. И очень обидно загубить такую голову для советской науки из-за его глупого мальчишества. Вот вам и тема для трехчасовых обсуждений! А вовсе не о примерах из художественной литературы, которые, впрочем, возможно, тоже приводились, но не играли существенной роли.

И тогда комиссары поставили Капице ультиматум: готов ли он взять на себя ответственность, если Ландау допустит в дальнейшем нечто антисоветское. Пусть Капица даст подписку о том, что он фактически станет отныне персональным информатором НКВД о Ландау (прочтите внимательно текст документа № 10 в Приложении 3 в данной книге [Горобец. 2008]).

#### **Решением Берия Ландау освобожден**

Вопрос об освобождении Ландау был решен, как мне представляется, лично Л.П. Берия, которому Молотов, возможно, с ведома Сталина, поручил изучить вопрос о степени ценности Ландау для советской науки и техники, а затем принять решение о форме его использования: либо в СпецКБ НКВД («шарашке»), либо, в крайнем случае, на свободе в Институте физпроблем у Капицы. Перед Меркуловым и Кобуловым стояла конкретная задача: ознакомить Капицу со степенью вины Ландау и, если академик все же будет настаивать на освобождении Ландау, потребовать подписку-ручательство за него с обязательством следить за Ландау и информировать НКВД о каждом его сомнительном поступке. Поскольку Капица в течение трех часов продолжал настаивать на освобождении Ландау, даже несмотря на предъявленную ему антисталинскую листовку последнего, то Меркулов с Кобуловым доложили об этом своему наркому. И тогда Берия, взвесив все за и против, решил освободить Ландау, повязав Капицу подпиской лично на свое имя, в которой говорилось: «В случае если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом

органам НКВД» [Горобец, 2008, Приложение 3, док. № 10].

Известно (особенно, первому поколению советских ядерщиков), что Берия отличался способностью к нестандартным и смелым решениям. Так, хрестоматийным стал пример с академиком М.А. Леонтовичем, которого в начале 1950 гг. академик И.Е. Тамм рекомендовал привлечь к работам по управляемому термоядерному синтезу. Согласно легенде во время рассмотрения этого вопроса на Спецкомитете при Совете Министров СССР под председательством Берия его старший референт генерал В.А. Махнёв положил перед шефом какую-то записку. Берия прочел ее и изрёк: «Будэм слэдыт, нэ будэт врэдыт» [Естествен, как.... 2005. С.. 193]. Этим же принципом Берия руководствовался, по всей вероятности, и, принимая решение об освобождении Ландау.

**Почему миф о «Ландау – немецком шпионе» живет до сих пор**

После всего сказанного остается как минимум два вопроса. 1) Откуда в пересказах близких Капицы до сих пор постоянно появляется ложная версия об обвинении Ландау в шпионаже в пользу Германии? 2) Почему в пересказах начисто отсутствует истинная причастность Ландау к листовке со «Сталиным-фашистом»?

По первому вопросу можно заметить, что некоторые второстепенные разговоры о шпионаже, *косвенно* затрагивающие Ландау имели место во время его допросов в 1938 г. Комиссары НКВД могли сказать и Капице, что харьковские друзья Ландау: Корец, Шубников, Хоутерманс – немецкие шпионы, которые в этом признались, и это, действительно, зафиксировано в документах [Горобец, 2008, Приложение 3, док. № 10]. Подозревались в шпионаже и еще около десятка сотрудников УФТИ из числа граждан Германии и Австрии. И хотя не было установлено фактов шпионажа со стороны самого Ландау, и ничего о шпионаже не вошло в его обвинительное заключение, но все-таки Ландау был скомпрометирован дружескими отношениями с «немецкими шпионами». Так, следователь говорил Ландау, что тот не мог не знать о связи Кореца с немецкой разведкой [Горобец. 2008. С. 283].

Вот за это обстоятельство и решил зацепиться мудрый и хитрый Капица, который в дальнейшем по секрету сообщал своим близким, что он доказал руководителям НКВД, что Ландау никак не мог быть немецким шпионом, ибо у него не могло быть для этого мотивов. Я уверен в том, что сразу же после освобождения Ландау Капица принимает жесткое решение: *никогда никому* не рассказывать об истинной причине ареста Ландау, т.е. о его участии в подготовке антисталинской листовки. Потому что такие сведения неминуемо принесли бы огромный вред как Ландау, так и самому Капице, а тем самым и всему институту. Эта взрывоопасная информация не должна была просочиться ни к кому – ни к сыновьям Капицы, ни к его жене, ни тем более к сотрудникам Ландау по ИФП, в том числе его друзьям: А.И. Шальникову, Е.М. Лифшицу, а годы спустя – к И.М. Халатникову и другим. Как они *тогда* отнеслись бы к информации о листовке, в которой Сталин назван фашистом? Вероятно, продолжали бы сотрудничать с Ландау, но, постоянно вздрагивая при каждом звонке в дверь. Ведь всё могло опять повернуться в неблагоприятном направлении. И тогда новые репрессии вполне могли коснуться их всех из-за близкой дружбы и работы с заведомым «врагом народа и личным врагом товарища Сталина».

А как реагировали бы истинно убежденные коммунисты из ИФП, такие, как В.П. Пешков, О.А. Стецкая, Е.В. Смоляницкая и многие другие, узнав о листовке Ландау? Они могли демонстративно отказаться иметь дело с таким государственным преступником, заявляя о недопустимости работы в их коллективе столь страшного человека. Как реагировали бы стукачи, имевшиеся в ИФП? Наверняка забросали бы доносами НКВД, правительство и ЦК партии по малейшим поводам, касающимся Ландау, его сотрудников и самого Капицу – поводам действительным и мнимым. Жизнь в Институте тогда превратилась бы в сущий ад, институт стал бы наполовину неработоспособен из-за склок и проверок со стороны НКВД. А теперь представьте себе, что Ландау не удалось бы быстро создать теорию сверхтекучести. Или еще хуже, что ее первыми создали бы и

опубликовали иностранцы (а они шли по пятам, разрыв составлял всего месяцы). Тогда доносчики писали бы, что Ландау с учениками специально вредят советской науке и промышленности, что Капица держит Ландау, для того чтобы мстить Советской власти за то, что его задержали в СССР насильно в 1934 году. Все это вполне вероятные сценарии.

Так что, единственным разумным выходом для Капицы было рассказывать близким людям по секрету очень правдоподобную сказочку о том, что в 1938 г. Ландау обвинили в том, что он был немецким шпионом. А ему, Капице, удалось в НКВД опровергнуть это. Ведь таких «иностранных шпионов», как Ландау, выявляли в 1937-1938 гг. многими тысячами, а, начиная с 1939 г., после прихода в НКВД Берия, кого-то оправдывали, а кого-то из инженеров и ученых переводили в шарашки. Никто из окружающих особенно не удивлялся ни тому, что Ландау арестовали как шпиона во время пика Большого террора (тем более в контексте с известной ситуацией с иностранными специалистами в УФТИ), ни тому, что его освободили после вмешательства Капицы, когда пик террора миновал. Почти безобидная и безопасная маска немецкого шпиона, под которой Капица закамouflировал Ландау, сработала блестяще! В дальнейшем Институт физпроблем прекрасно трудился многие годы с Ландау и его учениками.

### Эпилог

Итак, мы узнаём, наконец, в полной мере, в чем состояли высшие мужество и мудрость Капицы, которые не были оценены до сих пор в путаных пересказах его друзей и близких, не разобравшихся в этом воистину героическом поступке. Жизнь Ландау была спасена и тем самым была спасена существующая школа Ландау, а затем развилась гораздо более широкая его школа. Этому все физики школы Ландау обязаны главным образом двум лицам, оказавшимся способными принимать смелые и нестандартные решения.

В первую очередь, это, конечно, наш великий ученый, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских и Нобелевской премии Петр Леонидович

Капица (1894-1984).

А во вторую очередь, да будет позволено констатировать, следуя историческим фактам, это виднейший государственный деятель СССР Лаврентий Павлович Берия (1900-1953). Ему заслуженно ставят в вину организацию и участие в массовых репрессиях на посту наркома НКВД. Да, такова была эпоха диктатуры Сталина и сталинского террора, в осуществлении которого, впрочем, в не меньшей степени, чем Берия, участвовало всё окружение Сталина, начиная с В.М. Молотова, Н.С. Хрущева и Г.М. Маленкова. Позже они небезуспешно попытаются «слить» почти всю кровь 1930-50-х гг. на Берия, ликвидировав его в 1953 г., захватив и уничтожив папки с расстрельным компроматом на каждого из них, имевшиеся в тайниках у Берия (но это – отдельная тема).

С другой стороны, Л.П. Берия остается почти неизвестен широкой общественности своими позитивными делами: «бериевской реабилитацией» 1939 года, в результате которой была освобождена приблизительно треть посаженных в 1937-38 гг.; эффективным руководством промышленностью тяжелого вооружения в годы войны, за что он стал Героем Социалистического Труда (1943); работами по созданию ядерного щита СССР в послевоенные годы, в результате чего было достигнуто «равновесие страха» между США и СССР, предотвратившее третью мировую войну; спасением советской физики от готовившегося партократами ее разгрома в 1949 г.; немедленным после смерти Сталина освобождением арестованных врачей. Получается, что спасение Л.Д. Ландау от смерти в 1939 г., а тем самым и его школы физиков-теоретиков, сильнейшей в мире на то время, является в немалой мере заслугой маршала госбезопасности, который принял аргументы академика П.Л. Капицы и рискнул пойти ему навстречу, освободив гениального, но непрогнозируемого физика.

Заглянув из тех лет в будущее, констатируем, что Капица и Берия не ошиблись в Ландау. Находясь под пристальным надзором секретных сотрудников НКВД-МГБ-КГБ, он более не позволял себе открытых антисоветских

поступков. А антисоветские разговоры в узком кругу, о которых доносили сексоты и которые записывались подслушивающей аппаратурой (см. в кн.: [Горобец, 2008, Приложение 4]), никак не повлияли на судьбу Ландау. Так, в 1946 г. Ландау был избран академиком АН СССР, минуя ступень члена-корреспондента. Могут быть только две гипотезы о причинах столь редкого скачка наверх: (1) либо Сталину и Берия не доложили об этом заранее из аппарата АН СССР, что почти невероятно, (2) либо эти руководители страны не возражали против такого исключения из регламента в пользу Ландау, несмотря на то, что еще восемь лет тому назад Ландау призывал свергнуть фашистскую сталинскую диктатуру. Наверняка верна гипотеза (2), ибо Ландау, начавший с осени 1946 г. работать над расчетами процессов в атомной, а затем и в водородной бомбах, был щедро вознагражден за свои успехи орденами, званием Героя Социалистического Труда, Сталинскими премиями, дачей под Москвой, подаренной государством.

Таковы были парадоксы сталинской эпохи.

### **Ссылки на источники**

*Бессараб Майя.* Лев Ландау. Роман-биография М.: «Октопус». 2008, 264 с.

*Бессараб М.Я.* Так говорил Ландау. М.: Физматлит. 2004. 128 с.

*Горобец Борис.* Круг Ландау. М.: Летний сад. 2006. 656 с.. (1-е изд.).

*Горобец Б.С.* Круг Ландау. Жизнь гения. М.: изд-во ЛКИ (УРСС). 2008. 368 с.

Десять заповедей Ландау. Телефильм. Цикл «Очевидное невероятное». Телеведущий С.П. Капица. 2007.

Естествен, как сама природа: об академике Михаиле Александровиче Леонтовиче / Сост. В.Д. Шафранов, В.И. Коган, Л.К. Кузнецова. М.: Наука, РНЦ КИ. 2005. 368 с.

Капица П.Л. Письма о науке. 1930-1980. Сост. П.Е. Рубинин. М.: Московский рабочий, 1989. 400 с.

Лев Ландау: год в тюрьме // Известия ЦК КПСС. 1991. № 3. С. 134 –157.

Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. – М.: Наука.. 1994. 543 с.

*Ранюк Юрий.* «Дело УФТИ». Исторический комментарий к книге Александра Вайсберга «Обвиняемый». – Электронный ресурс



<http://www.sunround.com/club/22/ufti.htm>

*Фейнберг Е.Л.* Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания. 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2003. 416 с.

*Халатников И.М.* Дау, Кентавр и другие. Top non-secret. М.: Физматлит. 2007. 192 с.



## Владимир Тихомиров

### Лазарь Аронович Люстерник



Л. А. Люстерник (1899-1991) – один из создателей, наряду со Л. Г. Шнирельманом, нового фундаментального раздела математики – топологических методов в анализе. Он внес значительный вклад в развитие функционального анализа, теории дифференциальных уравнений, численного анализа и ряда других математических дисциплин.



Лазарь Аронович Люстерник

Л. А. Люстерник родился в небольшом польском городке Здунска Воля, близ Лодзи 31 декабря 1899 года. В начале Первой мировой войны, желая избежать немецкой оккупации, он был вынужден перебраться в Смоленск. (Сёстры его остались в Польше и погибли во Вторую

мировую войну).

Люстерник поступил в Смоленскую гимназию (в которой ранее учился и которую в 1913 году закончил Павел Сергеевич Александров). В 1918 году, по окончании Смоленской средней школы (так стала именоваться гимназия), он поступает в Московский университет на физико-математический факультет.

Лазарь Аронович Люстерник принадлежал к блестящей плеяде учеников Николая Николаевича Лузина.

Об этом времени П.С. Александров писал так: «То были годы необычайного подъёма и увлечения внезапно открывшимися новыми творческими возможностями, годы подлинного цветения для многих молодых людей, впервые вкусивших радость творческого соприкосновения с наукой. Мало найдётся в истории математики периодов столь горячего энтузиазма, как начало двадцатых годов в Московском университете, когда в столь короткий срок, буквально в несколько лет, возникла большая научная школа, в значительной степени определившая развитие математики в нашей стране и сразу выдвинувшая целый ряд выдающихся ученых». Одним из наиболее ярких представителей в этом ряду был Лазарь Аронович Люстерник.

По окончании Университета (1921 г.) Лазарь Аронович был оставлен при нем в качестве «научного сотрудника 2-го разряда». С организацией института аспирантуры (1922 г.) он становится аспирантом Института математики и механики МГУ.

В 1924 г., будучи аспирантом, Лазарь Аронович впервые выступает с докладом в Московском математическом обществе и сдает в печать первую научную работу. Лазарь Аронович обладал замечательным чувством юмора. После своего первого доклада на Московском математическом обществе, он был принят в члены этого общества, и тогда же ему был вручен ключ от специального туалета, куда допускались лишь члены Общества. «Это был первый закрытый распределитель в моей жизни», – так комментирует Лазарь Аронович этот эпизод.

Его «выпускная аспирантская работа» «Прямые

методы вариационного исчисления» (1926 г.) по представлению Института математики и механики МГУ награждается премией Наркомпроса. В 1927 году Лазарь Аронович становится приват-доцентом МГУ и начинает читать там свои первые специальные курсы. В 1928 году участвует в работе Международного математического конгресса в Болонье, где он выступил с докладом «Топологические методы в дифференциальной геометрии». В том же 1928 году он избирается на должность профессора Нижегородского Госуниверситета. Но там он работал недолго.

В 1930 году Люстерник становится профессором МГУ (в звании профессора, а одновременно и в степени доктора физико-математических наук, он утверждается в 1935 году с образованием в нашей стране ВАКа).

Широта научных интересов Лазаря Ароновича была необыкновенной: дифференциальные уравнения, топология, вариационное исчисление, функциональный анализ, геометрия, вычислительная математика, специальные функции и многое другое. Люстерник был и геометром и аналитиком. Для его математического стиля характерно движение от простого к сложному, в основе далёких обобщений у него всегда лежала простая модель.

Обо всём этом он впоследствии сказал в стихах:

«Я стал работать в направлениях  
Тогда в Москве совсем не модных –  
Вариационном исчислении  
Задачах в частных производных...  
Я метод сеток развивал».

В 20-е – 30-е годы Лазарь Аронович (совместно со Львом Генриховичем Шнирельманом) создаёт совершенно новую математическую область – топологические методы нелинейного анализа. Лазарь Аронович вводит новый гомотопический инвариант – категорию, и в работе, совместной с Л.Г. Шнирельманом, успешно применяет это понятие к оценке числа критических точек гладкой функции на гладком многообразии. Итогом их исследований явилось решение классической проблемы Пуанкаре о трех

геодезических, и этот результат вошел в число высших мировых достижений нашего века в математике. (Об этом направлении рассказывалось в моей совместно с В.В. Успенским статье о Л. Г. Шнирельмане, опубликованной в альманахе «Математическое просвещение».)

Предвоенные исследования Лазаря Ароновича были посвящены теории обыкновенных дифференциальных уравнений (им были получены замечательные результаты по качественному поведению собственных функций нелинейных задач типа Штурма-Лиувилля), функциональному анализу (доказанная им теорема о касательном пространстве лежит в самой основе современной теории экстремальных задач, об этом также пойдёт речь далее), геометрии (общеизвестным стало его обобщение классического неравенства Брунна-Минковского об объёме суммы выпуклых тел на случай произвольных множеств).

С 1934 года Лазарь Аронович, не прекращая связи с нашим факультетом, стал работать в Математическом Институте им. В.А. Стеклова АН СССР. В годы Войны под его руководством там выполнялись специсследования оборонного значения. В частности, им были разработаны и внедрены таблицы, позволяющие штурманам самолётов быстро определять по данным прибора положение самолёта. Для реализации этой работы требовались вычисления большого объёма. Это привело к необходимости создания и совершенствования вычислительных средств. Л.А. Люстерник проявил глубокое понимание перспектив развития прикладной математики. Некоторые его ученики и сотрудники уверяли меня, что сами термины «вычислительная математика» и «вычислительная техника» были впервые употреблены Лазарем Ароновичем!

В 1942 году Лазарем Ароновичем была в кратчайший срок (что было обусловлено органами НКВД) решена задача о составлении таблицы для определения курсового угла и расстояния – необходимые для пилота сведения. Они до Войны вычислялись достаточно сложно. В разработанной таблице по координатам начального и

конечного пунктов сразу же определялись путевые углы и длина при следовании по геодезической. Для этого две функции трёх переменных были представлены, как суперпозиции функций двух переменных – одна точно, а другая с достаточной степенью приближения.

Лазарь Аронович был избран член-корреспондентом АН СССР в 1946 г., в том же году он был удостоен звания лауреата Сталинской премии – высшего премиального отличия в те времена.

В послевоенные 40-е годы, когда развернулась работа по созданию, как тогда называли, «отечественных АЦМ» (автоматических цифровых машин), Л.А. Люстерник стал заведующим отделом Института точной механики и вычислительной техники АН СССР. Он был одним из инициаторов открытия в СССР такого института, также как и создания в МГУ и в некоторых других вузах нашей страны кафедр вычислительной математики. Лазарь Аронович активно занялся совершенно новым для того времени кругом проблем, связанных с программированием. Благодаря ему в СССР появилась первая научная группа по работе на вычислительных машинах, а затем и первая советская книга по программированию (Л. А. Люстерник, А.А. Абрамов, В.И. Шестаков, М.Р. Шура-Бура «Решение математических задач на автоматических цифровых машинах», М.: Изд-во АН СССР, 1952). Лазарь Аронович явился и первым в СССР лектором по курсу методов программирования.

В 50-е – 60-е годы у Лазаря Ароновича происходит новый творческий взлёт – и появляется блестящий цикл его работ (совместных с Марком Иосифовичем Вишиком) по асимптотическим разложениям решений уравнений с малым параметром, задачам с барьерами и с быстро меняющимися граничными функциями, по возмущению несимметрических матриц и операторов.

Огромную роль сыграл Л.А. Люстерник в самой истории механико-математического факультета МГУ. Он был первым, кто прочел на факультете курс лекций по функциональному анализу и открыл по нему (совместно с Абрамом Иезекииловичем Плеснером) научно-исследовательский семинар. Вместе с Михаилом

Александровичем Лаврентьевым он коренным образом модернизировал университетский курс вариационного исчисления. Одним из первых он объявил факультетский семинар по вычислительной математике – еще до организации соответствующей кафедры, профессором которой он впоследствии работал (до перехода на кафедру Общих проблем управления). Он же организовал затем семинар по математическим вопросам управления производством. Добавим, что он был первым заведующим кафедрой функционального анализа мехмата МГУ, был среди организаторов первых Московских школьных математических олимпиад, первым ответственным редактором журнала «Успехи математических наук». Среди учеников Л.А. Люстерника свыше пятидесяти кандидатов и около двадцати докторов наук, среди них – И.Я. Акушкин, С.А. Смоляк, В.И. Соболев, В.А. Треногин, А.И. Фет, Э.С. Цитландазе.

С приходом на кафедру ОПУ Лазарь Аронович сразу же стал читать на ней специальные курсы и вести научно-исследовательские семинары. Именно на нашей кафедре он занялся разработкой нового научного направления – вероятностных методов в теории специальных функций. Незадолго до своей кончины им была опубликована основополагающая статья и в этой области.

Перу Л.А. Люстерника принадлежит множество замечательных книг: «Топологические методы в вариационных задачах» (совм. с Л.Г. Шнирельманом), «Основы вариационного исчисления» и «Курс вариационного исчисления» (совм. с М. А. Лаврентьевым), «Элементы функционального анализа» и «Краткий курс функционального анализа» (совм. с В.И. Соболевым), «Геодезические линии», «Выпуклые фигуры и многогранники».

С 1969 года под редакцией Л.А. Люстерника на мехмате МГУ стали выходить сборники трудов из серии «Математические вопросы управления производством». Серия возникла в связи с работой одноименного семинара под его руководством, но в дальнейшем включила в свой круг интересов и другие исследования, проводившиеся на

кафедре ОПУ. Всего было издано девять сборников этой серии.

Последние годы своей жизни Лазарь Аронович провёл на кафедре Общих проблем управления. До этого он работал на кафедре вычислительной математики, которая после организации нового университетского факультета – Вычислительной математики и кибернетики, перешла туда. Но Лазарь Аронович не пожелал расставаться с мехматом и из всех кафедр мехмата выбрал нашу. Я всегда воспринимал это как подарок судьбы.

В 1975 году Лазарь Аронович вышел на пенсию. Незадолго до этого он определил тот момент, когда профессор МГУ должен выходить на пенсию. Многие знают, что для того, чтобы открыть парадную дверь главного входа в МГУ требуются немалые усилия. Лазарь Аронович пошутил как-то, что профессор МГУ может работать лишь до того момента, когда он сам без посторонней помощи может открывать эту дверь.

Лазарь Аронович Люстерник скончался 23 июля 1981 года.

В память о нем в сентябре 1999 года кафедра ОПУ, совместно с МИ РАН и Международным Банаховым центром, провели в Варшаве и Бендлево (близ Познани) мини-симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения Лазаря Ароновича Люстерника.





## Шуламит Шалит

### «Загадочная корреспондентка Корнея Чуковского»



« зумительно, невероятно, неужели Соня Г. – не миф, не мираж, не легенда!!!» – писал Корней Чуковский 28 августа 1965 года. Он жил в подмосковном Переделкино, а Соня Г. – в Нью-Йорке.

*А, если – да, миф? Да, мираж? Он перестал бы писать? Да Корней Иванович принял бы участие в любой мистификации, когда бы она давала пищу его пылливому уму и пылкому романтическому сердцу.*

*Как-то в лондонском «Таймсе» появилась заметка о том, что ахматовская «Поэма без героя» нигде не была напечатана. Вслед за этим в газету «Таймс» пришло письмо, где было сказано, что это ошибка, что поэма была помещена в «Воздушных путях» – американском альманахе, выходившем на русском языке. И тогда уже в редакцию этого альманаха пришло несколько строк от Чуковского и проспект его книг. Он мог рассчитывать на несколько слов благодарности, но, к своему удивлению, получил длинное письмо, которое прочел с интересом и несомненным удовольствием.*

«4 октября, 1964 года  
Дорогой Корней Иванович!

Это было удовольствием и чудесной неожиданностью получить от Вас проспект издания Ваших сочинений и записку. Спасибо Вам.

Я хочу воспользоваться Вашим милым предложением и прислать мне что-нибудь Ваше. Некоторые из Ваших книг я с большим интересом читала и сейчас скажу Вам, что именно. Но что меня особенно интересует,

это всё, что написано Вами о Некрасове, и если бы Вы могли прислать мне Вашу монографию о нём или другой какой-нибудь материал, я была бы Вам очень благодарна. Единственное, что у меня есть, это Ваша работа "Жена поэта", напечатанная в Петербургском издательстве "Эпоха" в 1922 году.

Я очень люблю Некрасова, и он несомненно один из замечательных лириков. Меня всегда интересовало также узнать несколько больше о его личной жизни и задевало такое уж слишком отрицательное мнение о нём Герцена. Я знаю, конечно, историю насчёт наследства первой жены Огарёва. Есть у Вас законченное мнение относительно всего этого?

Слышала, что, по мнению некоторых русских образованных людей, три "гражданских" поэта – Державин, Некрасов и Маяковский были заядлыми картёжниками и иногда, не поколебались бы "corriger la fortune?" (*испытать судьбу – Ш.Ш.*). Много ли правды в этой болтовне?



Два издания (1962 и 1966 гг.) книги К. Чуковского «Живой как жизнь»

Должна сказать, что испытала подлинное наслаждение, прочитав несколько недель тому назад Вашу небольшую, но замечательную книжку "Живой как жизнь"! Вы видите, конечно, что у меня огромный интерес к русскому языку. Многое в этой книжке для меня было откровением, и я жалею только, что туда не вошли слова современного русского сленга. Я нашла очень маленькую

ошибку, на которую беру на себя смелость указать Вам.

На странице 183 Вы приводите "малиновый звон" как пример идиоматического выражения ("obikhodnoje slovosochetanie"). Вы считаете, что "малиновый" это от "малина". На самом деле слово "малиновый" в этом употреблении происходит от имени северо-восточного бельгийского города Малин (фламандский Мехлин). В этом старинном городе и поныне производятся замечательные колокола, которые в своё время продавались русским церквам...

Я с радостью буду посылать Вам книги, которые Вы бы хотели иметь, и таким образом создавать так называемый "tovarobmen".

Преданная Вам

Соня Г.»

*Читатель может себе представить, в каком волнении и восторге он сел писать ответ.*

*(Приблизительно конец октября, 1964)*

«Насчёт **малинового** звона Вы неправы, дорогая Соня! Я очень хорошо знаю происхождение этого слова, но в том-то и дело, что употребляющие словосочетание "малиновый звон" не имеют ни капли понятия об истории сего словосочетания. Для них, для миллионов русских людей, слово связано с малиновым цветом. Происхождение слова **забыто начисто**; словосочетание превратилось в метафору, в идиому. Меня при изучении языка больше всего заинтересовала сила забвения, которой держится каждый язык. Только лингвисты знают, что малина здесь ни при чём, что источник этого слова город Малин (Михлин) – а подлинный хозяин языка, народ, уверен, что источник – малина. "Малина" же в народном понимании это счастье, удовольствие, радость – недаром существует поговорка: "Не житьё, а малина"».

*И дальше – увлечённо – о книгах американских писателей, имеющихся в его библиотеке. Это и Андайк, и Чивер, и Болдуин, и даже все книги Эллери Куинн, так как он хотел бы написать эссе об американских детективных романах. Он заканчивает так:*

«Но мне 83 года и вряд ли мне удастся осуществить

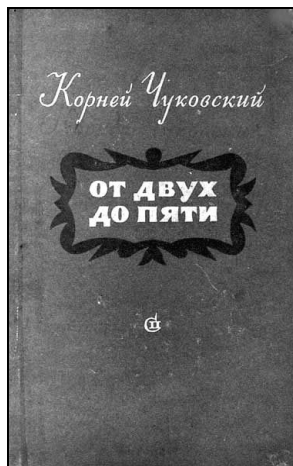
сотни планов, теснящихся в уме... напишите о себе».

*Надо заметить, что его корреспондентка пишет по-английски, а он ей на русском, иногда вставляя английские слова.*

«Вы просите написать меня о самой себе, хорошо!.. Мне 41 год, я одинока (в настоящее время) и работаю в одной большой фирме моделисткой. Моё "хобби" – языки, главным образом – русский. В свободное время я слушаю лекции по русской истории и литературе в Колумбийском университете. Русский язык я знаю, но не так хорошо, чтобы писать; надеюсь, что смогу это делать несколько позже.

Кто, по Вашему мнению, самый большой поэт из живущих ныне в России? Я имею в виду молодые силы. Жду Вашего письма.

Преданная Вам,  
Соня Г.»



От двух до пяти. Изд. 1955

*Чуковский послал ей свою книгу «О мастерстве Некрасова». Он пишет (приблизительно в начале декабря, 1964):*

«Дорогая Соня!

Есть что-то знаменательное в том, что Вы ровно вдвое моложе меня. Когда Вы родились, мне было ровно столько, сколько Вам сейчас. Пожалуйста, не судите обо мне

по той книге, которую я Вам послал. Я не люблю этой книги. И в ней я молодые силы не я. И многое там недосказано. Знаете ли Вы мою "От двух до пяти"? Там каждая строчка – я».

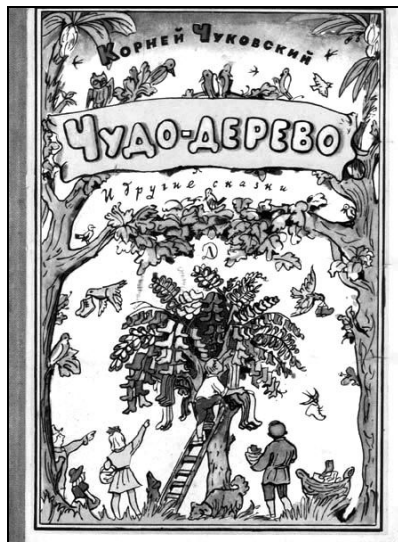
*Он обещает в новом издании книги «Живой как жизнь», указать на бельгийское происхождение и идиомы выражения «малиновый звон». Его чрезвычайно озадачило, что Соня моделистка, и он не скрывает этого.*

«Мне и в голову не приходило, что Вы fashion designer. Пожалуйста, напишите, довольны ли Вы этой работой, много ли времени она у Вас занимает, какое учебное заведение Вы закончили, чтобы заняться такой специальностью».

*Тут же переходит на литературные темы, сообщает, что только что посетил его умный и ироничный Джон Чивер. Что же до лучшего советского поэта, то Чуковский не называет имён, но говорит, что появились сотни даровитых поэтов среди геологов, физиков, химиков, биологов, большинство из которых не печатается и, кстати, среди них много женщин. И все зачитывают его стихами. Однако центрального поэта среди них еще нет... Он спрашивает, бывала ли Соня в России. – Нет, – отвечает она. Но Переделкино она знает по имени... Знает его книгу «От двух до пяти» («Ваша любовь к детям вдохновительна!»). А знает ли он книгу Мандельштама для детей? Поэтика Мандельштама казалась ей «всегда предельно совершенной». Сообщает, что в США опубликовано 60 его стихотворений, прежде как будто неизвестных.*

*Она просит переслать ей «Чудо-дерево» и «Высокое искусство» – об искусстве художественного перевода. Говоря о книге «О мастерстве Некрасова», удивляется – почему он не любит этой книги? Ей никогда не приходилось встречать такой глубокий анализ мастерства какого-либо русского поэта. Её только удивляют параллели между Некрасовым и Маяковским. И с наивностью иностранки она восклицает по поводу последнего: Что происходило с ним? Ей кажется совершенно очевидным, что «благодаря этой нелепой утрате собственного лица», он «загнал сам себя в*

тупик, из которого не было уже выхода». *Что он думает по этому поводу? Бывали вопросы, на которые Чуковский не отвечал. О Маяковском – ответил:*

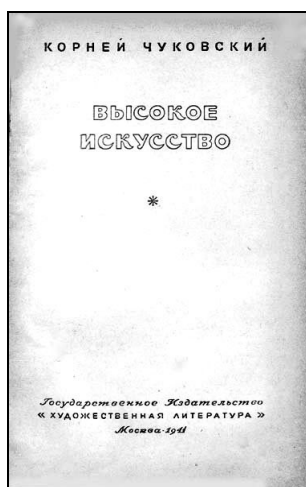


К. Чуковский. Чудо-дерево. Худ. И. Кабаков, изд. 1975

«Маяковский в 15 году жил у меня в Куоккале. Я писал о нашей встрече в моей книге "Современники". Он писал тогда "Облако в штанах" – чудесную новаторскую поэму. Это был очень прямой, очень гордый, очень убеждённый 23-летний человек. В нём не было ни грамма сервизма. Он верил во все, о чём писал. В этой вере было его счастье. Какой он был силач, видно из его стихотворения "Во весь голос", но я согласен с Вами – он часто бывал слабоват, когда "наступал на горло собственной песне". Во всяком случае, это был чудесный образец русского человека, верного своим друзьям, прямолинейного, верующего и бескорыстного. Я не всегда был с ним согласен, но всегда любовался им.

Своей книги "О мастерстве Некрасова" я не люблю, потому что в ней не мой голос. У меня есть другая книга "Некрасов" (1930), там я – я. Книга эта не выходит теперь, но, повторяю, в ней я – я.

Мне почему-то кажется, что вдруг в моей комнате зазвонит телефон – и английский голос скажет по-русски: "Ну вот я и приехала. Еду к Вам в Переделкино". – Кто говорит? – "Sonya"... – Пожалуйста, приезжайте поскорее! Через 40 минут ко мне войдёт милая дама, и мы на смешанном англо-русском языке будем говорить об Анне Ахматовой (которую я знаю с 1912 года), Эмили Дикинсон, о Walt Whitman'e, о Henry James'e, и придут молодые писатели, придёт мой друг Константин Паустовский – а потом пойдём вместе гулять по городку Писателей».



Высокое искусство. Изд. 1941

*Не случилось этой встречи, но переписка становилась всё более сердечной, оживлённой.*

«Января 7, 1965

Дорогой Корней Иванович,

бессонница – опасная вещь. Вы совсем не спите? Как это возможно? Помню, я читала когда-то очень страшный рассказ Вилье де Лиль-Адана, где бессонница фигурирует, как форма смертной казни у китайцев. Это ужасно, по-моему!»

*Они много говорят о переводах. Снова и снова об Ахматовой, Набокове.*

Соня:

«Нет никакого сравнения между тем, как переводят с иностранных языков русские и как это делают американцы. Наши переводы очень неполноценны. Это общеизвестный факт. Причина в том, что у русских в этой области столетний опыт. Я читала переводы на русский рассказов Сэлинджера и нахожу, что сделано это совершенно мастерски. Будем надеяться, что англо-американцы будут совершенствовать это искусство, а редакторы перестанут относиться к нему пренебрежительно. Думаю, что Ваша книга "Высокое искусство" исключительно своевременна. Наш лучший переводчик с русского на англо-американский – Ваш земляк, мастер слова, В.В. Набоков. И последняя его работа, перевод "Евгения Онегина", содержит интереснейшую проблему, обсуждать которую сейчас заняло бы слишком много времени.

Посылаю вам несколько книг, весьма неприятельного характера – детективные рассказы, выбранные мной наугад. Это – в искренней надежде, что они, может быть, помогут Вам "скоротать ночи" ("замечательное русское выражение!").

Ваша книга "Современники" у меня есть. Очень славная книга! Я отметила, что о Маяковском Вы говорите в ней коротко, ограничиваясь лишь ранним периодом. Его портрет того времени вышел очень подлинным, но он изменился в позднейшие годы. Вы знаете, вероятно, что здесь, в Америке, живут некоторые его друзья, знавшие всю его жизнь или большую ее часть».

*С какой лёгкостью переносит нас эта переписка через океан! Туда и обратно.*

*Из Нью-Йорка:*

«Уже поздно. Нью-Йорк, который не спит никогда, всё же успокаивается. Снега у нас здесь нет, читала сегодня, что у вас снега 12 инчей».

*Из Переделкино:*

«У нас чудесный мороз. Лес под снегом, солнце. Я гуляю по лесу в валенках...»

*Мне кажется, что пора, наконец, объяснить, как я узнала об этой занимательной, а в ту пору мало кому известной переписке.*



*После моей радиопередачи о переписке Рахели Павловны Марголиной и Корнея Ивановича Чуковского меня попросили отправить запись обеих частей передачи в музей Чуковского в Переделкино, что я и сделала<sup>8</sup>.*



*И тут вдруг из Нью-Йорка пришла бандероль с «Новым журналом» за 1976 год, номер 123, в котором я и обнаружила публикацию Л. Ржевского, одного из членов редакции журнала. Вот эту самую переписку. В ней 66 страниц. (Разумеется, я цитирую наиболее интересные мне письма).*

*В письме израильским писателям (через Рахель Марголину) Чуковский говорил: «Мне весело знать, что я для вас не чужой. Верю и знаю, что вы достойны своих замечательных предков, обогативших дарованием и мудростью столько литератур всего мира».*

*Израиль он называл «близкой своему сердцу страной». И желал блага всем живущим в ней, от мала до*

---

<sup>8</sup> Эта запись имеется на сайте Чуковских в интернете:  
<http://www.chukfamily.ru/Sounds/Shalit1.mp3>  
<http://www.chukfamily.ru/Sounds/shalit2.mp3>

*велика. А так уж водится, что мы любим любящих нас – как говорил Агнон, а, впрочем, то же говорили и до него. Всё, что касается Чуковского, дорого и нашему сердцу. И я просто делюсь с вами дорогим и сегодня подарком.*

*Получив от Рахели Марголиной открыточку с изображением Стены Плача в Иерусалиме и четырьмя строками из Пушкина, возможно, Чуковским призабытыми, он был очень взволнован, о чём свидетельствует то, что он тут же переписывает их в письмо к другому адресату – Юлии Ратнер: «...Кто сей народ? и что их сила? / И кто им вождь, и отчего / Сердца их дерзость воспалила, / И их надежда на кого?..»*

*Последнее «на кого?» Чуковский подчёркивает. Раздумья над этими строками обретают более глубокий смысл, когда мы узнаём, что он их повторяет всего через две недели после окончания Шестидневной войны.*

*А что же его загадочная корреспондентка Соня? Вернемся к ней.*

*Оказывается, Соня знакома с Набоковым, и даже с Ицхаком Башевисом-Зингером.*

*Чуковский пишет, что получил недавно четырехтомник «Евгения Онегина» в переводе Набокова: «Есть очень интересные замечания, кое-какие остроумные догадки, но перевод плохой, – хотя бы уже потому, что он прозаический. И кроме того, автор слишком уж презрителен, высокомерен, язвительен...»*

*Соня встаёт на защиту Набокова: «Вашу характеристику этого "монстра" разделяют многие. Кроме меня – потому что я очень хорошо его знаю. Набокову приходилось жестоко бороться за признание своего таланта».*

*К Набокову они вернутся ещё не раз.*

*Соня пишет, что прочла несколько советских публикаций, будучи знакома с их оригиналами, и потрясена той страшной трансформацией, которая совершается «в советских лабораториях», дабы доказать, что Чехов и Гоголь, Достоевский и Толстой были предтечами советского режима. А как изменили автобиографию Чаплина в «Иностранной литературе» за 1965 год!*

«Чаплин, – восклицает она в гневе, – неузнаваем!»

Чуковский сообщает, что Ахматова в мае собирается в Оксфорд. В Италии ей не понравилось, но в Оксфорде у неё много почитателей. В журнале «Юность» выходят её стихи, с его, Чуковского, предисловием. Его же предисловие должно войти и в сборник Пастернака. И крутой поворот темы:

«До чего мне хотелось бы повидаться с Вами! Я – в воображении – приписываю Вам такие достоинства, которых, боюсь, у Вас нет. Откуда у Вас такое обширное образование? Почему Вы не пишете книг? Вращаетесь ли Вы в литературных кругах? Знаете ли Дос Пассоса? Чивера? Urdike'a? Сэлинджера? Почему не приезжаете в СССР? Здесь теперь очень интересно – я рад, что дожил до этого времени. 1-го апреля мне исполнилось 83 года и вышел 1-й том собрания моих «Сочинений». Видите, как много я Вам пишу, а Вы – столько недель ни строчки. Прислали бы хоть портретик, если не жалко».

*Она пошлет ему фотографию через год!*

Чуковский:

«У вас отличный диван – чёрный с золотыми цветами – и отличная пёстрая кошка. На полке много книг, но я даже в лупу не могу разглядеть их titles, т.е. названия на корешках».

*Это и было фото? А где она сама? А сейчас представим его фигуру, когда он с лупой наклоняется рассмотреть фотографию, присланную Соней из Америки, как любознательный мальчик, пытаюсь проникнуть в глубь снимка, прочесть в нём больше, чем это возможно, может быть, разглядеть свою Соню?..*

Соня собирается в Оксфорд – присутствовать на торжествах... Ахматову ждут великие почести, и она им рада. Может, удастся с ней встретиться. Но Чуковский предупреждает об одном щекотливом обстоятельстве – у Ахматовой ослабел слух и с ней нужно говорить очень громко. «Уверен, что Вы её полюбите, она подлинно величава и мужественна». Он и сам бы поехал в Англию сопровождать Анну Андреевну, когда бы не был болен. В это время он получает сборник рассказов Ицхака Башевиса-

*Зингера на английском в переводе с идиша.*

*И не дождавшись ответа на предыдущее письмо, буквально раздражается новым, полным восклицательных знаков:*

«Соня! Соня! Милая Соня!

Что Вы сделали со мною? Вы прислали мне “Short Friday” (книгу Башевиса-Зингера – Ш.Ш.) и тем погубили меня. Мне нужно написать статью к сроку, я и так опоздал, но не могу оторваться от этих гениальных страниц. Когда я прочитал первые два рассказа – “Taibele and her Demon”, “Big and Little”, я думал, что это еврейский “Декамерон”, но когда я прочитал: “Blood”, “Esther Kreindel the Second”, и особенно “Jachid and Jechidah”, я понял, что на земле существует великий писатель, о котором я до сих пор не имел ни какого представления!

Новый метод мышления, новый голос, новые интонации, но этого мало – новое небо и новая земля! Воображаю, как великолепен он в подлиннике, если он так магичен в переводах. Так чудесно он реставрирует мировоззрение местечковых еврейских начётчиков. И черпаю здесь столько поэзии! В сущности, им владеют две могучие темы: Смерть и Sex, но как величаво он трактует их, как одухотворённо и мудро! Нет ли у Вас его портрета? Пришлите, пожалуйста!»

«Май 11, 1965

Дорогой Корней Иванович,

Должна признаться, что в отношении Исаака Сингера (*так в письме – Ш.Ш.*) – я ни при чём. Это дело рук какого-то конкурента. (*Это Рахель Марголина послала ему книгу Башевиса-Зингера – Ш.Ш.*). Но признаюсь и в том, что всегда хотела послать. Теперь Вы знакомы уже с этим шедевром, я вижу. Посылаю Вам воздушной почтой две книги его повестей и рассказов... Я постараюсь снабдить Вас дополнительно его книгами и пришлю Вам его портрет. Случайно – он мой сосед».

*Отныне в каждом письме Чуковского есть хотя бы несколько строк о Башевисе-Зингере.*

«9/22/.5.65

Милая, загадочная Соня! "Спиноза с базарной

улицы" великолепен. Какой мастерище!.. Загадочной я называю Вас потому, что, судя по Вашим письмам, Вы принадлежите к литературному цеху. Пишете стихи под псевдонимом...?»

*И он начинает вычислять её псевдоним... Лоуэлл? Уилсон?*

*Соня отвечает:*

«Мне очень лестно Ваше предположение, что я могла бы быть Робертом Лоуэллом в поэзии, или Уилсоном в критике. Но – нет, я просто люблю мастерские вещи... пришлю Вам еще Зингера. Мне хочется, чтоб Вы прочли его роман «"Раб"».

«Июль 12, 1965

Должна извиниться за молчание – только что вернулась из-за границы и так была занята, что времени для письма не находилось... Я последовала Вашему совету – как Вы помните, мне хотелось встретиться лично с прославленной поэтессой. Увы, это мне не удалось».

*5 июля 1965 года в Оксфордском университете Ахматовой вручали диплом о присуждении ей почетной степени доктора. Биографы Ахматовой, впрочем, и она сама тоже, совершенно правильно предположили, что в присуждении ей почетной степени немалую роль сыграл Исая Берлин (1909-1997), английский философ и ученый, специалист в области политических наук, давний знакомый и Ахматовой и Чуковского. На самой церемонии Соня была, но подойти к Ахматовой помешал ей «некий тучный господин», которым и был «церемониймейстер оксфордского торжества сэра Исая Берлин». Вскоре уже сам И. Берлин прислал Чуковскому фото Ахматовой с церемонии этого награждения. Соня пишет, что разочарована была не только она, но и те, что виделись с Ахматовой.*

*По поводу фотографии Чуковский пишет:*

«Я чуть не заплакал от жалости». У Ахматовой в лице он увидел «что-то мрачное, скучное, отчуждённое». И еще: «Для меня она навек останется той гибкой, тоненькой, застенчивой женщиной, к которой подвёл меня её муж».

*Он пишет о доброте Анны Ахматовой, о том, что*

*во время голода она подарила ему жестянку сгущенного молока для его умирающей от голода дочери. И как будто спохватывается:*

*«Почему я пишу Вам так много? Ведь мы не знакомы. А на столе у меня десятки неоконченных писем».*

*Он прочел еще одну книгу Башевиса-Зингера «Сатана в Горае» и пишет из больницы (14) 9 ноября, 1965:*

*«“Satan in Gogay” – одно из самых оригинальных, ни на что не похожих сочинений. Книга создает новое небо над вами и переселяет вас в фантастический мир, который кажется вам более реальным, чем тот, в котором вы приучены жить. Это квинтэссенция еврейства, так густо настоящая на Талмуде, на Торе, на мессианизме, что этой настойки хватило бы на двадцать бутылей».*

*Он говорит, что получил два «дивных» портрета от самого писателя – Соня связала их, и он счастлив:*

*«...в моей палате это единственное украшение».*

*Его мучает бессонница и в этом слове он вычленяет корень:*

*«бес-Сон-ница...Соня».*

*24 письма его, 20 писем её.*

*Десятки, а может и сотни имён. Круг общих интересов обширен. Читается на одном дыхании.*

*Мне дорога эта переписка ещё и тем, что высказывая своё мнение, Чуковский мог признать (допустить!) несправедливость его, учитывая незнание нового поколения, молодой аудитории, таков, к примеру, их спор о Евгении Евтушенко.*

*Я думаю, читатель согласится, что интересно сравнивать, соотносить свои чувства, свою память, свои знания с такими собеседниками, час-другой провести в «хорошей компании», просто насладиться стилем письма, блесками деталей, и, наконец, романтикой чувств Корнея Ивановича Чуковского. Только подумать, что человеку за 80! К концу же их переписки, в 1967 году, Корнею Чуковскому было уже 85!*

*«Мне всё чудится, что откроется дверь и в мою комнату войдёт быстрая, красивая, шумная, моложавая дама и скажет, – я Соня!».*

*Кто такая Соня? Она была и её не было. Софья Михайловна Гринберг (1902-1980) была женою Романа Николаевича Гринберга<sup>9</sup> (1893-1969). Но она только подписывала письма, а писал Чуковскому он. Учился на двух факультетах Московского университета – историко-филологическом и юридическом, изучал латынь, греческий, был человеком образованным. Уехав из России, жил в Германии, Италии, Франции, затем в США. Был и предприимчивым бизнесменом и меценатом, с Набоковым не только дружил, но в определенный период (до коммерческого успеха «Лолиты») помогал ему и материально. Широкая известность пришла к Роману Гринбергу, когда он основал альманах «Воздушные пути» (1960-1967), был его составителем, редактором, издателем, иногда и автором. Софья Михайловна (урожд. Кадинская) – художница, автор обложки журнала «Опыты» (1953-1958), где ее муж был редактором первых трех номеров (из девяти), который издавала в Нью-Йорке Мария Самойловна Цетлина<sup>10</sup>. Софья Михайловна пережила обоих – и Романа Николаевича и Корнея Ивановича. Оба они ушли из жизни в 1969 году, с разницей в два месяца. Как мы видим, Гринберг правильно рассчитал, недаром слыл умным человеком, что если напишет Чуковскому от своего имени, от имени редактора американского альманаха на русском языке, едва ли Корней Иванович станет ему отвечать, и подписался именем своей жены.*

«Милая Соня! Почему я зачислил Вас в друзья – неизвестно. Но с этим уже ничего не поделаешь. Забавно. Люди, разделённые океаном, такие разные, с такими не похожими биографиями, никогда не выдавшие друг друга, заведомо знающие, что никогда не увидят друг друга, и

---

<sup>9</sup> Подробно о Р. Гринберге и его творческой деятельности см. в публикациях В. Хазана «Семь лет»: история издания (Переписка В. Варшавского с Р. Гринбергом) – «Новый журнал», 2010, № 258 и на сайте Toronto Slavic Quarterly, А вся переписка целиком с комментариями Л. Ржевского «Новый журнал», 1976, № 123.

<sup>10</sup> О Михаиле и Марии Цетлиных:  
<http://www.vestnik.com/issues/2003/0625/koi/shalit.htm>  
<http://www.vestnik.com/issues/2003/0709/koi/shalit.htm>

почему ж такая нитка, как подводный кабель вдруг возникает между ними? Говорю, конечно, только о себе. И я сержусь, что ж это давно не было от Сони весточки на тонкой бумаге? Почему она молчит? Неужели не знает, что каждое её письмо для меня радость?»



**Вот такая чудесная мистификация... Люди уходят, а образы их остаются, да, живые как жизнь. Порою уже не верится, что и мы писали письма когда-то, а впрочем, совсем недавно, на бумаге и иногда даже «на тонкой бумаге»...**





## Соня Тучинская

# «Милая, загадочная Соня», или История одной мистификации

*И может быть на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной*



В конце июля отъехала на две недели в Джорджию. За это время принципиально не включала зомбоящик, не заходила в Живой Журнал и упорно избегала разговоров со своими атлантскими друзьями об Обама, победе левых сил и развале экономики. Не курила. Плавала бездумно в озере Чатуге. Любовалась голубыми вершинами хребтов Аппалачи. Еще слушала «blue grass» в ближайшем к озерной стоянке городке, со смешным для русского уха названием “Хайвасиа”. Вернувшись, прочла про грандиозное гулянье Обамы в Чикаго, про очередную победу левых сил в Сенате, про падение Доу-Джонса и дальнейший развал экономики. Прочла и подумала, чем бы мне от этого всего забытья, вернее, куда бы мне еще смыться, но смыться виртуально, не покидая родных пенат.

Ищущий да обрящет. Вскоре по приезде обнаружилось отличное средство для забытья. Нечитанная ранее переписка Чуковского с одной его нью-йоркской корреспонденткой. Растрогал меня этот эпистолярный роман аж до самой селезенки. После чтения новостных сайтов, как будто свернул с воняющего бензином шоссе в благоухающую запахом дождя и прелой листвы осеннюю рощу. Это прелестная история последней любви Чуковского. Можно было бы сказать, - «виртуальной любви», но мы не скажем из простой боязни осквернить старомодно-изысканную вязь этого романа чуждым ему термином из области компьютерных игр. История этой переписки

необычайно трогательная хотя бы потому, что адресаты ее, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте, умерли в один год, так никогда и не встретившись друг с другом.

Загадочную респондентку Чуковского звали Соня Гордон. Первое письмо от нее пришло в октябре 1964-го. Последнее – в мае 67-го. Чуковскому в ту пору было за 80. Соне – чуть за 40. Она пишет ему по-английски, он отвечает ей по-русски. О себе она пишет скупое. Живет в Нью-Йорке, работает модисткой. Слушает лекции по русской литературе в Колумбийском Университете. Вместе с тем, из ее писем Чуковский узнает, что она свободно владеет пятью европейскими языками, лично знакома с Набоковым и подозрительно хорошо для американской модистки осведомлена о современном литературном процессе в России. Эта таинственная fashion designer так раскованно, пронизательно и живо задает вопросы и высказывает свои собственные, иногда дерзко не совпадающие с чуковскими суждения, не только о Некрасове, Чехове и Маяковском, но и о Паустовском, Евтущенко и Бродском, что вконец заинтригованный старик не может до конца поверить в реальность ее существования:

*«Милая, загадочная Соня! ...Загадочной я называю Вас потому, что, судя по Вашим письмам, Вы принадлежите к литературному цеху».*

*«До чего бы мне хотелось повидаться с Вами. Я – в воображении – приписываю Вам такие достоинства, которых, боюсь, у Вас нет. Откуда у Вас такое обширное образование? Почему Вы не пишете книг? Вращаетесь ли Вы в литературных кругах?»*

Старик ждет ее писем, как дети ждут лакомств или новых игрушек и ребячески счастлив любой весточке «подписанной ее небрежной подписью». Благодаря этой переписке он, годами не покидавший своей подмосковной дачи, вовлекается в самую сердцевину интеллектуальной жизни Нью-Йорка, где как раз в то время шла ожесточенная полемика вокруг Владимира Набокова и его нерифмованного перевода «Евгения Онегина». Чуковский, и сам охочий «до журнальной драки», пишет по этому поводу Соне:

*«Кстати я получил недавно четырехтомник «Евгений Онегин» Набокова. Есть очень интересные замечания, кое-какие остроумные догадки, но перевод плохой, – хотя бы уже потому, что он прозаический. И кроме того автор – слишком уж презрителен, высокомерен, язвительен. Не знаю, что за радость быть таким колючим. ....Я знал этого автора, когда ему было 14 лет, знал его семью, его отца, его дядю, – и уже тогда меня огорчала его надменность. А талант большой – и какво трудолюбие!»*

Два великих имени, Набокова и Ахматовой, как две главные музыкальные темы, доминируют в переписке, оставляя, впрочем, достаточно пространства для пестрого калейдоскопа из сотен других литературных имен, изданий, событий, один перечень которых занял бы несколько страниц. Феноменальное многообразие и глубина гуманитарных интересов Чуковского настолько неисчерпаемы, что помимо восхищения внушают читателю его писем некий почтительный ужас. Страстность, полемический задор и, вместе с тем, какое-то детски-очаровательное любопытство ко всему, что попадает в поле его зрения – изумляют, когда вспоминаешь, что речь идет о 85-летнем старце. В своих письмах Чуковский предстает перед Соней в лучшем своем качестве – обворожительнейшего и занимательнейшего собеседника, но сердце таинственной американки не поддается пушенным в ход чарам.

Кроме писем Чуковский дважды в месяц получает «Нью-йоркское книжное обозрение», служившее ему, профессиональному критику и переводчику, великолепным компасом в огромном море текущей англоязычной литературы.

А между тем, саму Соню, подписавшую Чуковского на это издание, живо интересуется современный литературный процесс в Советской России. Как будто не догадываясь, что искренность Чуковского ограничена цензурными опасениями, она в январе 1965 года напрямую задает ему вопрос: «Что, скажите мне, случилось с Бродским и где он теперь?» У Чуковского, деятельно боровшегося в то время за освобождение опального поэта из архангельской ссылки,

не возникало ни малейшего желания посвящать в детали этой борьбы свою заокеанскую корреспондентку и в ответном письме он попросту игнорирует эту опасную тему.

Чуковский, в отличие от Сони, хорошо знал, что почетный статус Патриарха Советской Литературы не защищает его от длинных рук и всевидящего ока властей и, что первыми читателями его зарубежной корреспонденции становятся хотя и не менее любознательные, чем Соня, но весьма далекие от филологии люди. В расчете на это ему порой приходится лукавить и скрывать от своей корреспондентки то, что было известно любому, даже совершенно чуждому литературных интересов жителю советской империи. Интересно, а понимала ли Соня истинную причину, по которой «бодрую, свежую молодежь» не печатают на родине:

*«Вы спрашиваете о лучшем советском поэте. Их очень много, лучших. Сейчас происходит замечательная вещь: появились сотни даровитых поэтов среди геологов, физиков, химиков, биологов. Всё это прекрасная, бодряя, свежая молодежь – хорошо вооруженная знаниями, благородная, новая формация русской интеллигенции – post war. Большинство из них не печатается – типичные миннезингеры, ашуги – они знамениты в своих кружках и вполне довольны этой славой...»*

По заказу неутомимо любознательного старика нью-йоркская модистка шлет ему книги английских и американских авторов. Иногда при выборе книг она руководствуется своими собственными предпочтениями, тем более что Чуковский не раз давал ей понять, что находит ее литературный вкус абсолютно безупречным.

Переписку эту стоит прочесть единственно даже ради тех сверкающих живостью, остроумием и литературным блеском коротких рецензий, которыми Чуковский радостно откликается на открываемые Соней новые литературные имена. Вот его восторженный отзыв на сборник рассказов Исаака Зингера, в котором Чуковский как бы предвосхищает будущую нобелевскую славу этого пишущего на идиш американского писателя.

*«Соня, Соня, милая Соня! Что Вы сделали со мною!*

*Вы прислали мне «Short Friday» – и тем погубили меня. Мне нужно написать статью к сроку, я и так опоздал, но не могу оторваться от этих гениальных страниц. Когда я прочитал первые два рассказа – «Taibele and her Demon», «Big and Little», я думал, что это еврейский «Декамерон», но когда я прочитал «Blood», «Esther Kreindel the Second» и особенно «Jachid and Jechidah», я понял, что на земле существует великий писатель, о котором я до сих пор не имел никакого понятия. Новый метод мышления, новый голос, новые интонации, но этого мало: новое небо и новая земля. Его называют в рекламе Yiddich Hawthorne, но для меня он выше Готорна. Воображаю, как великолепен он в подлиннике, если он так магичен в переводах. Так чудесно он реставрирует мировоззрение местечковых еврейских начётчиков и почерпает здесь столько поэзии. В сущности им владеют две могучие темы: Смерть и Sex, но как величаво он трактует их, как одухотворенно и мудро! Нет ли у Вас его портрета? Пришлите, пожалуйста!»*

Летом 65-го, Чуковского навестила в Переделкино подруга Сони Женя Клебанова. Эта живая весточка «с того берега» послужила неоспоримым доказательством реальности пленившей его стариковское сердце иностранки. Удостоверившись, с приездом Жени, что Соня не мистификация и не игра старческого воображения, он тут же пишет ей восторженно-игривое письмо, в котором милейшим образом притворяется, что огорчен отсутствием у нее постоянного избранника:

*«Милая Соня! Спасибо за японский синий шарф и, главное, за портреты. Для меня они очень большая радость. Мы с Женей очень интенсивно любили друг друга в течение трех часов и остались как будто довольны этим филантропическим занятием. Не знаю, как я ей, но мне она сильно пришлась по душе, и мне показалось, что мы знакомы с ней тысячу лет. (О, если б она меньше курила!). Огорчительно для меня было известие, что у Вас нет бой-френда в настоящее время – но, я надеюсь, она ошибается. Шутки в сторону, я был очень рад, что мне рассказали о Вас из уст в уста. Ради этого я на два дня раньше срока вышел из больницы (получив открытку от Жени)...»*

Теперь старик буквально бредит ее приездом. Если нью-йоркская подруга Сони смогла приехать в Переделкино, почему же этого не может сделать сама Соня? Об этой так и не состоявшейся встрече он неотступно умоляет «милую, загадочную Соню» в своих письмах. И сквозь очаровательно-шутливый тон его молений начинает ощутимо проступать его одиночество и романтическая тоска по ней – прекрасной, далекой и недоступной. По-прежнему пылкое воображение услужливо рисует ему всякие очаровательные подробности их будущего свидания.

*«Мне почему-то кажется, что вдруг в моей комнате зазвонит телефон – и английский голос скажет по-русски: «Ну вот я и приехала. Еду к вам в Переделкино». – Кто говорит? – «Соня»... – Пожалуйста, приезжайте поскорее! Через 40 минут ко мне войдет милая дама, и мы на смешанном англо-русском языке будем говорить об Анне Ахматовой (которую я знаю с 1912 года), Эмили Дикинсон, о Walt Whitman'е, о Henry James'е, и придут молодые писатели, придет мой друг Константин Паустовский – а потом мы вместе пойдем гулять по Городку Писателей, по Неясной поляне, по берегам реки Сетунь, знаменитой в наших древних летописях, и, перебивая друг друга, будем читать стихи...»*

Она вежливо благодарит, обещает тоже когда-нибудь навестить его, но едет отдыхать во Флориду. Или в Оксфорд, на церемонию чествования Ахматовой. Или в Швейцарию, в Монтре, где живут ее друзья Набоковы. Зоркие глаза были у этой Сони. Ее впечатления о Флориде, не меняя в них ни одну запятую, можно запросто публиковать в сегодняшней «Панораме».

*«Во Флориде было лето. Эту изумительный полуостров. Через два с половиной часа вы переноситесь из ледяных метелей в субтропики. ...Но вместе с тем Флорида скучна, и в иных местах такое скопление пошлости, засилье нуворишей, что долгое пребывание там невыносимо».*

После посещения церемонии в Оксфорде, где Ахматову короновали почетным званием Доктора Литературы, Соня жалуется Чуковскому на «некого тучного господина, похожего на евнуха», который не допустил ее

приблизиться к Ахматовой после церемонии. Оказалось, что тучным господином в роли церемониймейстера оксфордского торжества был ни кто иной, как сэр Исая Берлин, сыгравший, как считала сама Ахматова, столь роковую роль в ее судьбе.

Чуковский получил оксфордскую мантию Доктора Литературы двумя годами раньше Ахматовой. Свалившаяся его болезнь не позволила ему сопровождать Ахматову в поездке в Оксфорд. Горечь прикованного к постели старика скрашивалась тем, что о триумфальных почестях, выпавших на долю Ахматовой в Англии, он узнавал из верного, проверенного и дружественного источника – писем Сони Гордон.

В его ответном «ахматовском» письме содержится одно интереснейшее, хотя и довольно спорное признание. Отрывок этот тем более поразителен, что из воспоминаний многочисленных мемуаристов, знавших Ахматову в старости, встает совершенно иной образ, чем привиделся в 60-х Чуковскому.

*«Очень больно мне было читать об А.А. Я помню ее стройной, гибкой, остроумной, магнетической (как сказал бы Walt Whitman). Теперь она рыхлая, больная, с распухшими ногами, – совершенно непохожая на ту, какой она была лет двадцать назад. И большое сердце: она перед своим коронаванием проглотила уйму нитроглицерина. Мне «the gentleman with some traits of a eunuch» прислал фотоснимок: она рядом с vicechancellor'ом, и я чуть не заплакал от жалости: в ней не осталось ни одной обаятельной черты, ни грана женственности, а что-то мрачное, скучное, отчужденное от всех».*

А вот письмо Чуковского, датированное днем смерти Ахматовой, 5 марта 1966 года. Многоликий портрет Ахматовой, набросанный в нем «рукой мастера», очень далек от хрестоматийного. Но если счесть за аксиому, что ценность любых мемуаров обратно пропорциональна времени их отстояния от объекта воспоминаний, то это письмо – бесценно. Можно только представить, каким сокровищем были эти письма для Сони, и как нетерпеливо разрежала она конверт со штемпелем Главпочтамта, чтобы

без промедления вчитаться в это живое и пристрастное свидетельство о жизни и смерти одного из величайших поэтов XX века:

*«А.А. долго была в больнице, потом выписалась и поселилась в Москве у друзей – и здесь у нее случился пятый инфаркт – последний. Хоронить ее будут в Ленинграде. Для меня она навек останется той гибкой, тоненькой, застенчивой женщиной, к которой подвел меня ее муж. Муж ее был поэт, я три года подряд работал с ним во «Всемирной литературе» М. Горького. Главное его чувство было – литературное честолюбие. Он считал себя ее учителем, ее поэтическим ментором, каким-то придатком к своей славе. И вдруг – после войны – оказалось, что вся слава у нее: о ней пишутся статьи и книги, о ней читаются лекции, а он по-прежнему в тени. В те годы я встречался с ним часто. Она была необыкновенно добра: подарила мне во время голода жестянку сгущенного молока для моей умиравшей с голоду дочери, жила бедно, спала под рваным одеялом, охотно отдавала всем последнее и при этом была добродушна, много смеялась, и был у нее кружок "свои", где она вела себя нараспашку – и в то же время у нее под ногами вырос сам собой пьедестал. Пьедестал этот безостановочно рос, и она мало-помалу привыкла относиться к себе как к памятнику. Такой Вы и видели ее в Оксфорде. Даже во времена ее тяжелых страданий этот пьедестал не исчезал ни на миг. Сейчас она два месяца провела в больнице, у нее был четвертый инфаркт, который она перенесла сравнительно легко; бодрая, радостная, она уехала в санаторий Домодедово (а не к друзьям, как писал я в начале письма); там она была светла и звонила друзьям, приглашая их в гости – и вдруг ночью начался пятый инфаркт, и она скончалась. Я как раз закончил небольшую статью о ее первом муже – всё хотел ей прочитать – но вот не пришлось».*

Одно из писем Сони от 1966 года обнаруживает неподдельный интерес корреспондентки Чуковского... к чему бы вы думали? К Израилю! Широта интересов и спектр возможностей этой таинственной иностранки воистину впечатляют. Оказывается, она успела побывать в



Израиле четыре раза:

*«Начну свою историю с конца февраля, когда я довольно неожиданно уехала из Нью-Йорка в отпуск в Израиль. Это моя четвертая поездка в эту самую необычную страну, которая еще не стала нацией. Когда-нибудь я попробую описать Вам подробно жизнь и достижения этого молодого государства, они наверно будут Вам интересны...»*

Но после встречи с Женей Клебановой Чуковского уже ничем нельзя было ни удивить ни насторожить.

Когда от Сони долго нет писем, он ласково ей пеняет:

*«Хоть бы прислали свою карточку, чтобы я понял, почему я, занятый по горло, почти 90-летний старик, с таким удовольствием пишу Вам письмо и так пылко жду Вашего письма с небрежной подписью... Если Вы «busu», я в тысячу раз «busier», так как жить мне осталось самое большее – год или полтора. И все же урываю минуты для беседы с Вами».*

Измученный обычной своей бессонницей, он отвечает на ее письма по ночам, и пронзительную нежность, с которой он говорит с ней, нельзя уже спутать ни с чем:

*«Сейчас я понял, что бессонница не только *sleeplessness* и *insomnia*, но и *Sonyaless*: бес-Сон-ница».*

*«Милая Соня. Наконец-то я вернулся к письменному столу, могу взять перо и даже писать письма друзьям. Почему я зачислил Вас в друзья, неизвестно. Но с этим уж ничего не поделаешь. Когда я читаю книгу, я думаю: "жаль, что этого не читает Соня", или "хорошо, что этой книги нет у Сони". Забавно: люди, разделенные океаном, такие разные, с такими непохожими биографиями, никогда не выдавшие друг друга, заведомо знающие, что никогда не увидят друг друга, – и почему же такая нитка, как подводный кабель, вдруг возникает между ними (говорю, конечно, только о себе), и я сержусь: что ж это давно не было от Сони весточки на тонкой бумаге, почему она молчит, неужели не знает, что каждое ее письмо для меня радость?»*

*«Есть что-то знаменательное в том, что Вы ровно вдвое моложе меня. Когда Вы родились, мне было ровно столько, сколько Вам сейчас»*

*«Почему Вы забыли меня, милая Соня? Мне очень скучно без Ваших пронзительных, умных писем».*

И опять, в который раз, мечтает увидеть ее наяву:

*«Мне всё чудится, что откроется дверь, и в мою комнату войдет быстрая, красивая, шумная, моложавая дама и скажет: "Я Соня"».*

Она как будто не слышит эти жалобные упреки, эти нежные мольбы и романтические признания. Ее письма полны величайшего уважения и даже преклонения перед его писательским даром и воистину энциклопедическими познаниями в истории двух великих литератур: русской и английской. Но никакой надежды на большее они не оставляют.

Следует признать, что отрывки из писем Чуковского подобраны мною весьма прихотливо: чтобы следовать подразумеваемой в эпиграфе теме «последней любви». Хотя, если не хитрить и не подгонять под ответ, придется согласиться, что статус «любовной» не совсем подходит к этой переписке. Вернее, совсем не подходит. Это, скорее, свободный (насколько это было возможно для одного из них) диалог, оживленный обмен мнениями двух литературно одаренных собеседников, которые непринужденно меняя темы, говорят о Некрасове и Уитмене, о Набокове и Уилсоне, о мастерстве перевода и детском словотворчестве. Пером Соня владеет ничуть не хуже, чем ее знаменитый адресат, и читать ее письма истинное наслаждение.

Вот, к примеру, с каким убийственным сарказмом судит она о выступлениях в Америке популярнейшего российского поэта тех лет:

*«Несколько слов о Евтушенко. Я просмотрела страницы "От двух до пяти" (204 и следующие) и, сказать откровенно, нашла, что дети этого юного возраста гораздо изобретательнее, чем поэт Е. в его неизменной заносчивости. Я как раз побывала на его выступлении ("зрелище") и могу только подтвердить, что это*

*совершенная деградация поэзии, снижение ее до нижайшего уровня провинциального балагана. Что же касается его адресованной американцам "проповеди" – как себя вести, чувствовать, как думать, как и что любить – то она конечно из весьма известного источника. Это самая большая дешёвка, какую только можно себе представить. Настоящий "брандахлыст" – простите меня!».*

На это письмо Чуковский откликается так:

*«Соня, милая Соня! По поводу Е. Вы...правы, когда говорите о degradation of poetry to the lowest level of a provincial show... Именно так относилась к его выступлениям Анна Андреевна. В одной из своих статей (не так давно) я говорил, что если бы, скажем, Тютчев или Бороатынский вдруг объявили, что выступают на эстраде с чтением своих стихов, вряд ли бы они собрали аудиторию в 300 человек. А у него бывает 20 000 слушателей! Словом, здесь Вы правы, и я снова люблюсь Вашим вкусом и Вашей чудесной брезгливостью к пошлости...»*

Ну, этак я скоро всю переписку перекачаю в свой текст.

Пора остановиться и сказать, что Соня умерла в декабре 1969 года, т.е. через два месяца после того, как адресат 20-ти ее писем обрел вечный покой на деревенском кладбище подмосковного Переделкино.

Чуковский умер, так и не узнав, что под именем «Соня» с ним переписывался Роман Николаевич Гринберг<sup>1</sup> – его ровесник, друг Набокова, редактор и издатель нью-йоркского литературного альманаха на русском языке «Воздушные Пути». В этом издании публиковались произведения гонимых советской властью прозаиков и поэтов, включая того самого Бродского, судьбой которого была озабочена только что разоблаченная на наших глазах «Соня».

Если бы подзаголовок «переписка века» не содержал некоторой доли ненужного пафоса, именно под ним следовало бы опубликовать сорок четыре письма,

---

<sup>1</sup> <http://www.utoronto.ca/tsq/29/hazan29.shtml> Публикация, вступительная статья и примечания В. Хазана (Иерусалим)

писавшиеся по разные стороны океана 45 лет тому назад. Так или иначе, диалог разделенных океаном, но одинаково умудренных громадной эрудицией и страстной любовью к литературе стариков, один из которых, долгих три года мистифицировал другого под именем своей жены, доступен читателю. Как говорил учитель Мельников из «Доживем до понедельника»: «А потом были только письма, сотни писем... Читайте их, они опубликованы».

Прочтя эту ослепительную переписку, не будем торопиться с обвинениями в адрес Романа Николаевича Гринберга. Ведь Чуковский умер в счастливом неведении относительно истинного адресата своих посланий. И кто знает, быть может, письма «милрой, загадочной Софии» озарили близкую к закату жизнь одинокого старика таким пронзительным светом, что никакая слава, почести, книги уже не могли сравниться с этим призрачным счастьем последней любви. Написал же он однажды «Соне» из больницы, думая, что умирает:

*«...быть может, прощаясь с Вами навсегда, я хочу сказать Вам, как я рад, что Вы хоть на секунду побыли в моей жизни».*

Не знаю, удалось ли мне представить историю этой переписки так, чтобы у читателя возникла охота немедленно припасть к ее первоисточнику. Но если до этого не дойдет, вам и без того открылась та единственная тайна, за разгадку которой так много отдал бы главный герой этого эпистолярного романа – Корней Иванович Чуковский.

**P.S.**

У читателя может возникнуть вполне обоснованный вопрос: А что, собственно, заставило Гринберга пойти на эту не совсем «кошерную» мистификацию вместо того, чтобы открыто переписываться с Чуковским под своим полным именем?

Развернутый ответ на этот вопрос находим у Л. Ржевского, публикатора переписки и переводчика писем Софии, знакомого Гринберга, слависта, литературоведа и прозаика, одного из авторов, печатавшегося в «Воздушных Путиях»:

С Р.Н. Гринбергом познакомился я в начале шестидесятих годов. Его знания литературы, живой и глубокий к ней интерес, помню, поразили меня в первой же с ним беседе. Потом узнал кое-что и из его биографии – москвича, рождения 1897 года, слушавшего курсы двух – юридического и историко-филологического – факультетов Московского университета. Узнал, что литература, несмотря на преданность ей смолоду, так и не стала его профессией, но только «хобби». И вот творческая дань этому увлечению – «Воздушные пути», которых он одновременно редактор и издатель. И автор (статьи, подписанные псевдонимом «Эрге»).

В одну из наших встреч – кажется, в году 66-м – он сказал: «Хотите покажу вам интереснейшее письмо Чуковского? У меня переписка с ним».

И пока я читал, рассказал, как эта переписка возникла: в лондонском «Таймс'е» появилась как-то заметка о том, что ахматовская «Поэма без героя» нигде не была напечатана. Ром. Ник-ч написал туда, что это ошибка, что поэма была помещена в «Воздушных путях». И тогда пришло несколько строк от Чуковского и проспект его книг. Так всё началось.

– Чуковский обращается к Соне Г., – сказал я, возвращая письмо.

– Я так подписался.

– Женским именем?

– Думаете вы, что если бы подписался своим, в качестве редактора альманаха, Чуковский решил бы переписываться?

– Но ведь это...

– Мистификация – вы хотите сказать? Не спешите. Прежде всего: Соня Г. биологически существует. Она знает писателя Корнея Чуковского, читает и почитает его. Подпись ее под письмами подлинна, но слова и мысли мои!..



# Лев Бердников

## Три этюда о Потемкине Таврическом

### Улыбка полубога

*“Это царь?” – спросил кузнец одного из запорожцев.  
“Куда тебе царь! Это сам Потемкин!” – отвечал  
тот”.*

Н.В. Гоголь. “Ночь перед Рождеством”.



Если взять на себя труд перечислить все титулы, ордена и регалии легендарного сподвижника Екатерины Великой Григория Александровича Потемкина-Таврического (1739-1791), перечень получится поистине ошеломляющий: “Светлейший князь, российский генерал-фельдмаршал, командующий всею конницей, регулярною и нерегулярною, флотами Черноморским и многими другими сухопутными и морскими силами; Государственной Военной коллегии президент, Ея императорского величества генерал-адъютант; Екатеринославской и Таврической губерний генерал-губернатор; Кавалергардского корпуса и Екатеринославского полка шеф, лейб-гвардии Преображенского полка подполковник; действительный камергер; войск генерал-инспектор; Мастерской и Оружейной палат верховный начальник; разных иноверцев, в России обитающих, по Комиссии новосочиненного уложения опекун; Российского Святого Апостола Андрея, святого Александра Невского, военного великомученика Георгия и святого Равноапостольного князя Владимира больших крестов, Прусского Черного орла, Датского Слона, Шведского Серафима, Польских Белого орла и Святого Станислава кавалер”.

И всех этих мыслимых и немислимых званий и

наград он был удостоен за подвиги, уже при его жизни признанные геркулесовскими. Как только ни величали этого действительно выдающегося человека: и “вершителем дум войны и мира”, и Исполином, и Колоссом, и Полубогом, и Ахилессом, и могущественным властелином империи, “хотя и не в порфире”. Даже в глазах современников светлейший обрел черты фигуры мифологической, чья жизнь не укладывалась в обычные человеческие рамки, но просилась в былинку, в какую-то волшебную феерию.



Григорий Александрович Потемкин-Таврический

Еще Г.Р. Державин в своей оде “Фелица” обозначил две ипостаси деятеля той поры (в том числе и такого масштаба, как Потемкин). Согласно сему пииту, любой государственный муж непременно являл себя “и в делах, и в шутках”. О деяниях и трудах Потемкина во славу Отечества слагались песни, поэмы и оды, писались панегирики, повести и романы, научные монографии. Нельзя сказать, что и шутки его оставались вовсе не известными россиянам. Они проникли в издававшиеся еще с конца XVIII в. жизнеописания князя Тавриды в виде забавных жанровых сценок. Наиболее яркие из них перекочевали потом в городской фольклор Москвы и Петербурга и образовали целый пласт анекдотов так называемого “потемкинского

цикла”. Некоторые из них обессмертил А.С. Пушкин в своем знаменитом “Table-Talk”. И уже сравнительно недавно Ю.Н. Лубченковым и В.И. Романовым была издана книга “Екатерина II и Григорий Потемкин: Исторические анекдоты” (М., 1990), куда вошли 80 сюжетов о нашем герое. Кроме того, в воспоминаниях о князе, в письмах и мемуарах той эпохи рассыпаны перлы его неповторимого юмора.

Но – увы! – весь этот разнородный материал никак не систематизирован, и живого портрета Потемкина-остроумца нет как нет. Обладал ли он комическим талантом от природы? И если обладал, как развивался сей его дар и какую роль сыграл в жизни и, в частности, в отношениях с Екатериной II? Над чем смеялся Потемкин, и какие шутки казались ему обидными? Ни в коей мере не претендуя на полноту раскрытия темы (что невозможно сделать в рамках одной статьи), попытаемся все же дать ответы на эти вопросы.

С нашей стороны было бы непростительной ошибкой уподобить Потемкина герою классицистической трагедии и рассматривать его только как шутника-юмориста. Светлейший был натурой сложной, противоречивой, порой даже взбалмошной, а потому тем более интересной. Вот что говорит о нем историк: “От него исходила то угроза, то приветливость: он мог быть то “страшен”, то невероятно высокомерен, то остроумен и шутлив, то добросердечен и бодр, то мрачен и угрюм”. Людей, близко общавшихся с князем, обескураживало его неожиданно и разительно меняющееся настроение. “Сколь странна была сия перемена его страстей, - свидетельствует очевидец, - столько же быстро действовала переменчивость его душевного состояния: несколько раз в день можно было его видеть в полном веселии и удовольствии и столько же раз в совершенном унынии. Нередко случалось, что во время увеселений князь ясностию духа и радованием превосходил всех участвующих; но прежде нежели кто мог вообразить, соделывался он столько унывен, как бы произошли в нем все несчастья на свете...Радость и огорчение с равномерною быстротою в нем действовать могли”. Когда верх брали



хандра, горечь и печаль, к князю было не подступиться и не подладиться, и всем оставалось только терпеливо ждать, когда гнев сменится на милость и на устах снова заиграет светлейшая потемкинская улыбка.

Что ж, последуем и мы за гостями князя Таврического и попытаемся остановить эти счастливые мгновения радости и бьющего через край веселья. Но разговор о шутках Потемкина следует начать еще с той поры, когда, не отягощенный ни чинами, ни славой, он был мальчишкой-сорванцом из дворян средней руки и весьма преуспел в озорстве и проказах. Сызмальства обожал он всякого рода переодевания и маскарады. Рассказывают, как однажды сей постреленок нашел в доме медвежью шкуру и, обрядившись в нее, засел в кустах и притаился. Вечером же, когда в околоток возвращались на лошадях охотники и один из них, здоровенный детина и опытный зверобой, поравнялся с кустами, наш топтыгин неожиданно выскочил, встал на задние лапы и зычно заревел. Да так натурально, что лошадь сбросила седока и опрометью убежала, а детина, растянувшись на траве, только захохотал от крепкого ушиба. Взрослые пожурили шалуна лишь для приличия – на самом деле их позабавило, а еще больше удивило столь искусное лицедейство.

Вероятно, именно эту его природную склонность к розыгрышам, подражаниям, лукавому балагурству имел в виду литератор С.Н. Глинка, когда заметил, что в дальнейшую жизнь “Потемкин вступил с медвежьими затеями”. Об удивительном комическом даре Григория речь впереди. Сейчас же поговорим о его остром уме в том значении, которое вкладывали в это слово в XVIII веке. Открыв “Словарь Академии Российской” (Ч. 4, Спб, 1793), читаем, что “острота разума” означала “способность душевную скоро понимать что, проникать во что”. Ключ здесь в умении *быстро* схватывать существо предмета. И этим качеством (вкупе с феноменальной памятью) наш герой владел с самых младых ногтей. Однажды однокашник по университетской гимназии Афонин дал ему почитать многотомную “Натуральную историю” Ж.Л.Л. Бюффона. Потемкин перебирал один лист за другим и скоро пробежал

глазами все сочинение. Афонин посетовал было на невнимание Григория, но, к его удивлению, тот подробно пересказал все содержание Бюффонова труда, не скупясь на мельчайшие подробности.

В другой раз юный Григорий выпросил у приятеля, будущего переводчика “Илиады” поэта Ермила Кострова, дюжину книг и возвратил их уже через несколько дней. – “Да ты, брат, – сказал Костров, – видно только пошевелил страницы в моих книгах; на почтовых хорошо лететь в дороге, а книги не почтовая езда”. – “Пусть будет по-твоему, что я летел на почтовых, – возразил, смеясь, Потемкин, – а все-таки я прочитал твои книги от доски до доски; если не веришь, профессорствуй: раскрой любую книгу, и спрашивай громогласно без запинки!” – “В самом деле, – рассказывал потом Костров, – оказалось, что Григорий Александрович все твердо удерживал в памяти. Он все мне пересказал, как будто заданный урок”.

Достоин внимания и то, что Потемкин, как некогда император Юлий Цезарь, обладал счастливой способностью делать несколько дел одновременно, глубоко вникая в каждое из них. Французский посланник граф Л.Ф. де Сегюр, читая Потемкину обширный доклад с многочисленными выкладками, параграфами и цифрами, был шокирован тем, что к князю в это самое время попеременно подходили то секретарь, то курьер, то священник, то портной, и всем он отдавал какие-то приказания. Сегюр хотел было остановиться, но светлейший настоятельно просил продолжать чтение. Оскорбленный столь небрежным к нему отношением, раздосадованный француз уехал. И сколь неожиданна была радость Сегюра, когда он вдруг узнал, что Потемкин обстоятельно ответил на все пункты донесения и сделал все распоряжения для успеха его дела. “Перестаньте же дуться на меня!” – весело сказал ему при встрече князь.

Но Потемкину не чуждо было остроумие и в современном смысле этого понятия. Он обладал природным даром имитатора-пародиста, причем был настолько переимчив, что самым точным образом изображал чужие манеры, жесты, речь, улавливая характерные особенности интонации и тембра голоса. Он настолько “входил” в чужой

образ, что вызывал у окружающих взрыв искреннего смеха. Будучи вахмистром, он виртуозно передразнивал своих однополчан, и скоро весть об этом его удивительном свойстве облетела гвардию и дошла до влиятельных братьев Орловых. Они-то и наказали о вахмистре-насмешнике великой княгине Екатерине Алексеевне, которая тут же пожелала его видеть.

Господствует мнение, что Екатерина познакомилась с Потемкиным в памятный день низложения Петра III, когда она, одетая в мундир Преображенского полка, на дороге между Петербургом и Петергофом приняла из его рук темляк к сабле. Однако сослуживец Григория по Конногвардейскому полку Д.Л. Боборыкин сообщает, что первая встреча случилась раньше, когда по представлению Орловых наш пародист предстал перед Екатериной. Великая княгиня попросила его показать свое искусство. Он отвечал, что никаких талантов не имеет, но слова эти произнес с легким немецким акцентом, точь-в-точь голосом Екатерины. На мгновение повисла напряженная пауза. Подумать только: передразнивать августейшую особу – дерзость неслыханная! Но великая княгиня ничуть не прогневалась: напротив, она поощрительно рассмеялась, ободряя смелого вахмистра. Следом за ней залились хохотом и обескураженные сперва Орловы. Расплылся в улыбке и сам Потемкин. “Это забавное обстоятельство, – резюмирует Боборыкин, – обратило на [Потемкина] внимание Государыни, скоро перешедшее в склонность, а потом и в страсть”.

Дар пародировать до поразительного сходства Потемкин будет ценить и в других. Сардинский посланник А. Парело свидетельствует, что “при такой склонности князь благоволил к людям, одаренным одинаково с ним способностью, и мы знаем, что многие, в том числе и актеры, вкрались ему в милость с помощью этого средства”. К числу замечательных имитаторов, близких светлейшему, следует отнести генерала С.Л. Львова (о нем мы еще расскажем). Современник сообщает и о таком случае: “Бывши в Петербурге, узнал [Потемкин], что в Херсоне какой-то чиновник хорошо передразнивает несколько известных лиц: тотчас отправил он за ним курьера, как скоро

тот приехал, то приказал передразнивать ему всех, кого умеет, потом и самого себя. Его светлость, позабавившись таковым дарованием, приказал ему отправиться в свое место”.

Но все-таки никто из пародистов не мог заткнуть за пояс самого светлейшего! Особенно уморительно изображал он манеры придворных. А как бесподобно передразнивал он гордую и чопорную княгиню Екатерину Дашкову! Императрица много раз требовала повторить сей номер на бис. Вообще, так смешить Екатерину, как это умел делать Потемкин, не мог никто. И хотя Екатерине и Потемкину посвящено множество исследований (укажем в этой связи на только что вышедшие монографии Д.Н. Шамагонова и К.А. Писаренко), не уделено достаточно внимания тому, что шутка и балагурство одушевляли их отношения, придавали им новый импульс. Вот что пишет английский историк С. Монтефиоре о поре, непосредственно предшествовавшей их бурному роману: “Сведений о Потемкине за эти годы сохранилось немного, и почти все они легендарны. Прослеживая день за днем жизнь екатерининского двора, мы встречаем его, время от времени выступающего из толпы, чтобы *обменяться острой шуткой* с императрицей, - и исчезающего снова. Он делал все, чтобы его появления запечатлевались в памяти”.

Шутки Потемкина действительно крепко запомнились Екатерине. Уже после сближения с Григорием Александровичем она пишет ему письма в интимно-шутливом тоне, хвалит за веселость и сама пытается его позабавить. “Желаю быть здоровым и возвратиться к нам здоровым и веселым, как рыбка”, – напутствует она его в 1772 году. А вот некоторые выдержки из писем Екатерины Потемкину за один только 1774 год: “Куда как нам с тобою бы весело было вместе сидеть и разговаривать... Пожалуй, напиши, смеялся ли ты, читав мое письмо, ибо я так и покатила со смеху, как по написании прочла. Какой вздор намарала, самая горячка с бредом, да пусть поедет; авось либо и ты позабавишься”. В другом послании: “Голубчик мой, я Вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и весел, и забавен”. А вот концовка еще одного ее письма: “Пожалуй,

будь весел сегодня, а я по милости Вашей очень, очень весела, и ни минуты из ума не выходишь”.

Императрица придумывает своему возлюбленному остроумные прозвища, сокровенный смысл которых был понятен только им двоим: “Тяур, Москов, козак яицкий, Пугачев, индейский петух, кот заморский, павлин, фазан золотой, тигр, лев на тростнике”. То она награждает его сумбурно-сбивчивыми, но неизменно ласковыми определениями (“сердитый, милый, прекрасный, умный, храбрый, смелый, предприимчивый, веселый”), то наставляет и подбадривает (“Дурное настроение и нетерпение вредят здоровью”, “Унимай свой гнев, божок!”, “Только будь весел!”). Иногда монархиня прибегает в письмах к образам, заимствованным из народного фольклора: “Душенька, я взяла веревочку и с камнем, да навязала их на шею всем ссорам, да погрузила их в прорубь. Не прогневайся, душенька, что я так учинила. А буде понравится, изволь перенять. Здравствуй, миленький, без ссор, спор и раздор!”. – “Желаю, чтоб ты веселилась, делая мне добро”, – в тон отвечал ей Потемкин. В послании Ф.-М. Гримму от 14 июля того же 1774 года императрица называет фаворита “величайшим, забавнейшим и приятнейшим чудачком, какого только можно встретить в нынешнем железном веке” и добавляет: “Он смешит меня так, что я держусь за бока!”. Она шутливо аттестует его “первым ногтегрызом Российской империи”. Вывесив в Малом Эрмитаже правила поведения в своем кружке, Екатерина именно Потемкину адресовала пункт: “Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и не грызть”.

“Чтобы человек был совершенно способен к своему назначению, потребно оному столько же веселья, сколько и пищи”, – заметил Потемкин. Что же разгоняло его скуку и хандру? Прежде всего, музыка. “Если был он весел, – свидетельствует очевидец, – то приказывал собственным своим музыкантам играть какую-нибудь духовную кантату, которую и назначенные певицы сопровождали своими голосами, для освежения от многого размышления утомленного его духа своими очаровательными голосами”.

Но весьма занимало светлейшего и “многое размышление”, а именно изошренная игра ума. Мемуарист Л.Н. Энгельгардт вспоминает: “Он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось у него навсегда: во время своей силы он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое было его упражнение призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изошрял себя в познаниях”.

Князя привлекали всякого рода оригиналы, и, когда он узнавал о таковых, немедленно приказывал доставить к себе, даже если они находились от него за тысячи верст. Так, будучи под Очаковым, Потемкин прослышал о москвиче, отставном военном Спечинском – человеке на удивление памятливым, якобы выучившим наизусть все святцы. И тут же в Первопрестольную на всех парах полетел курьер. Спечинский принял предложение с восторгом, воображая, что князь нуждается в нем для какого-то важного дела, и, проскакав без отдыха несколько суток, явился в Очаков, в палатку светлейшего. “Какого святого празднуют 18 мая?” – спросил его князь, смотря в святцы. – “Мученика Феодота, Ваша светлость”. – “Так. А 29 сентября?” – “Преподобного Кириака, Ваша светлость”. – “Точно. А 5 февраля?” – “Мученицы Агафии”. – “Верно, - сказал Потемкин, закрывая святцы, - благодарю, что Вы потрудились приехать. Можете отправиться обратно в Москву хоть сегодня же”. А вахмистрам-конногвардейцам братьям Кузьминым повезло больше. Узнав, что они мастера лихо выплясывать цыганочку, светлейший потребовал их в свою ставку и обрядил в костюмы и цветастые шали. “Я лучшей пляски в жизнь мою не видывал, - вспоминал современник. – Так поплясали они недели с две и отпущены были в свои полки”.

Современник сообщал: “Многие, чтобы быть известными его светлости, старались иметь к нему вход и его забавлять”. В его окружении были и заправские бильярдисты, и шахматисты, всякого рода потешники, актеры, дураки и, как образно выразился Ф.Ф. Вигель, “звездоносные шуты” и т.д.

Что же вызывало смех у нашего героя? Однозначный ответ дать трудно, ибо улыбка сего Полубога была всегда

разной, подчас - игриво-веселой. Ф.П. Лубяновский вспоминал, что Потемкин как-то признался ему: “Грусть находит вдруг на меня, как черная туча, ничто не мило, иногда помышляю идти в монахи”. – “Что ж, - отвечал ему тот, - не дурное дело и это: сего дня иеромонахом, через день архимандритом, через неделю во епископы, затем и белый клобук; будете благословлять нас обеими, а мы будем целовать у Вас правую [руку]”. Светлейший рассмеялся. В другой раз его очень повеселило сказанное кстати удачное слово. Рассказывают, в обществе Потемкина находился один калмык, который имел привычку всем говорить “ты” и приговаривать “я тебе лучше скажу”. Однажды, играя в карты и понтируя против калмыка, князь играл несчастливо и вдруг сказал в сердцах банкомету: “Надобно быть сущим калмыком, чтобы метать так счастливо”. – “А я тебе лучше скажу, - возразил калмык, - что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин - как сущий калмык, потому что сердится”. – “Вот насилу-то сказал ты “лучше”! – подхватил, захохотав, Потемкин и продолжал игру уже хладнокровно.

Подчас находчивость собеседника вызывала у него улыбку восхищения. Однажды Суворов прислал к князю с донесением ротмистра Линева, человека умного, но весьма невзрачной и отталкивающей наружности. Принимая депешу, Потемкин с отвращением взглянул на ротмистра и произнес сквозь зубы: “Хорошо! Приди ко мне завтра”. Когда на следующий день Линева снова явился к светлейшему, тот снова скорчил гримасу и процедил: “Все готово, но ты приди завтра”. Такое обращение фельдмаршала оскорбило самолюбивого ротмистра, и он отвечал ему резко: “Я вижу, что Вашей светлости не нравится моя физиономия; мне это очень прискорбно, но рассудите сами, что легче: Вам ли привыкнуть к ней или мне изменить ее?”. Ответ этот привел Потемкина в восторг, он расхохотался, вскочил, обнял Линева, расцеловал его и тут же произвел в следующий чин.

Бывали случаи, когда лицо князя приобретало снисходительно-брезгливое выражение. Некто В. был завсегдаем в доме Потемкина и возомнил себя самым

близким к нему человеком. “Ваша светлость, - доверительно сказал он ему, - Вы нехорошо делаете, что пускаете к себе всех без разбору, потому что между Вашими гостями есть много пустых людей!” – “Твоя правда, – отвечал, улыбаясь, светлейший, – я воспользуюсь твоим советом”. На другой день В. приезжает к Потемкину, но привратник останавливает его и объявляет: “Ваше имя стоит первым в реестре лиц, которых князь, по Вашему же совету, запретил принимать”.

Беспардонная самоуверенность и нахальство вызывали у светлейшего презрительную улыбку. Как-то в лагерь под Очаковым прибыл некто Маролль, французский инженер, коего рекомендовали как крупного военного специалиста. Войдя в ставку князя и не дожидаясь, чтобы его представили, он фамильярно взял Потемкина за руку и небрежно спросил: “Ну что у Вас такое? Вы, кажется, хотите взять Очаков? Ну так мы Вам его доставим! Нет ли у Вас сочинений Вобана и Сен-Реми [труды авторов книг по военному делу, переведенных и широко известных в России в XVIII в. – Л.Б.]? Я их немного подзабыл, да и не так твердо знал, потому что вообще-то я инженер мостов и дорог”. Потемкин только посмеялся наглости француза и посоветовал ему не обременять себя чтением.

Иногда улыбка повелителя Тавриды носила и печать злорадства. Вот как обошелся он с нечистыми на руку игроками в карты. Одного такого обманщика князь пригласил на прогулку в болотистое место, причем отдал распоряжение кучеру, чтобы при первом же сильном толчке коляска с шулером сорвалась и упала. На половине дороги, когда кортеж проезжал через огромную и грязную лужу, кучер хлестнул лошадей и дернул коляску так сильно, что она, сорвавшись с передка, села прямо посреди лужи. Шулер начал кричать и браниться, но возница, не слушая его, уехал на передке. Мокрый насквозь, незадачливый игрок вынужден был тащиться пешком несколько верст, по колено в воде и грязи. Потемкин же ожидал его у окна и встретил громким смехом. Другому картежнику он предложил играть на плевки, и, когда выиграл, не без удовольствия заметил: “Смотри, братец, я дальше твоего носа плевать не могу”.



Вид оплеванного им мошенника доставил князю удовольствие.

Впрочем, гораздо чаще Потемкин улыбался приветливо и доброжелательно. Он любил творить добро и делал это весело, остроумно, изобретательно. Вот как спас он от наказания молодого Ш., надерзавшего влиятельному князю А.А. Безбородко. Светлейший предложил шалуну приехать на другой день к нему домой и “быть с ним посмелее”. Когда гости собрались, все сели за карты. Присоединился к ним и Безбородко, коего Потемкин принял на сей раз подчеркнуто холодно. В разгар игры Таврический подзывает к себе Ш. и спрашивает, показывая ему карты: – “Скажи, брат, как мне тут сыграть?” – “Да мне какое дело, – отвечал тот, – играйте, как умеете!” – “Ай, мой батюшка, – возразил Потемкин, – и слова нельзя тебе сказать; уж и рассердился!”. Услышав такой разговор, Безбородко раздумал жаловаться на Ш.

Существует и такой анекдот. Сельский дьячок, у которого Потемкин в детстве учился читать и писать, прослышав, что его бывший ученик вышел в большие люди, решил отправиться в столицу искать его покровительства. Светлейший принял его ласково и спросил, чем может ему помочь. – “Говорят, дряхл, глух, глуп стал, – жаловался старик, – а матушке царице хочу еще послужить, чтоб даром землю не топтать. Не определишь ли меня на какую должность?”. Таврический на мгновение задумался и вдруг глаза его лукаво прищурились: “Видел ли ты монумент Петра Великого на Исаакиевской площади?” – “Еще бы! Повыше тебя будет!” – “Ну, так иди же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит, и точас мне донеси”. Дьячок в точности исполнил приказание. – “Ну что?” – спросил Потемкин, когда он возвратился. – “Стоит, Ваша светлость”. – “Крепко?” – “Куда как крепко, Ваша светлость”. – “Ну, и очень хорошо! А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси; жалованье же тебе будет производиться из моих доходов”. Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя своего кормильца.

Благотворительность Григория Александровича не

знала границ, причем он, по христианскому обычаю, предпочитал помогать людям тайно: то назначает пенсию в 600 рублей одному дворянину-погорельцу, а тот даже не знает имени своего благодетеля; то анонимно выплачивает ежегодные субсидии тяжело раненному, оставшемуся без средств к существованию офицеру; то определяет в учебное заведение дочерей-сирот скоропостижно скончавшегося чиновника и выделяет каждой по три тысячи на приданое и т.д. Щедро покровительствовал он и видным пиитам, актерам, ученым, снискав себе славу первого мецената своего времени. И всякое благое дело он делал в охотку, с улыбкой радости и умиления.

Светлейший не был ни мстительным, ни злопамятным и редко обижался на критику и шутки в свой адрес. “Должно отдать справедливость князю Потемкину, - признается Г.Р. Державин, - что он имел сердце доброе, и был человек отлично великодушный. Шутки в оде моей Фелице на счет вельмож, а более на него вмещенные, которые императрица, заметя карандашом, разослала в печатных экземплярах к каждому, его ни мало не тронули или по крайней мере не обнаружили его гневных душевных расположений, не как прочих господ, которые за то сочинителя возненавидели и злобно гнали; но напротив того, он оказал ему доброхотство и желал, как кажется, всем сердцем благодетельствовать”. Рассказывают, что, находясь под Очаковым, Потемкин получил от Екатерины экземпляр конфискованной книги А.Н. Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву”, где фельдмаршал изображен таким восточным сатрапом, утопающим в роскоши у стен некоей крепости. И что же князь? Он вовсе не просит наказать дерзкого обидчика. “Я прочитал присланную мне книгу, – пишет он императрице. – Не сержусь. Разрушением Очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, он и на Вас взводит какой-то поклеп. Верно, и Вы не понегодуете. Ваши деяния – Ваш щит!”. При такой душевной широте и терпимости он мог порой разозлиться не на шутку на поступок самый безобидный. Достаточно было прислать к нему одноглазого курьера (а князь, как известно, был крив на один глаз), – и Потемкин негодовал, почитая это личным

оскорблением.

Впрочем, чувство юмора, как правило, не покидало его даже в периоды хандры и уныния. В такие минуты он обыкновенно запирался в кабинете и возлежал в халате на диване, грызя ногти. А поскольку князь возглавлял Военную коллегию, скапливалось много дел, требовавших немедленного разрешения. Нашелся один молодой чиновник по фамилии Петушков, который вызвался нарушить покой светлейшего и побудить его подписать нужные бумаги. Сослуживцы отговаривали его от такого отчаянного шага, но Петушков, подстрекаемый желанием отличиться, взял подмышку кипу бумаг и бодро вошел к Потемкину. Прошло минут пять, и наш смельчак победоносно выходит из кабинета, торжествующе крича: “Подписал! Подписал!”. Все с любопытством и недоверием бросаются к нему, смотрят: бумаги действительно подписаны, но вместо “князь Потемкин”, везде стоит подпись “Петушков, Петушков, Петушков”. Бедный Петушков на долгое время стал всеобщим посмешищем.

Григория Александровича с полным основанием можно назвать и острословом. Его реплики всегда били в самую цель. “Ну, что, Степан Иванович, все кнутобойничаешь?” – обратился он как-то к начальнику Тайной канцелярии, зловещему Шешковскому, одно имя которого приводило окружающих в трепет. – “Кнутобойничаю помаленьку”, – вынужден был отвечать ему в тон Шешковский. А как метко сказал он о великом Суворове, перед военным гением которого преклонялся (хотя их отношения часто толковались историками превратно): “Суворова не пересуворишь!”. И еще – о том, что Суворов строго соблюдал православные посты: “Он хочет въехать в рай верхом на осетре”. Удивительно хлестко припечатал он заносчивого и сурового В.В. Нащокина, коего, между прочим, и сам Суворов побаивался. И было с чего – сей солдафон “никого не почитал не только высшим, но и равным себе”, а “чтобы приохотить молодую жену к воинской жизни”, сажал ее на пушку и (в воспитательных целях) палил что есть мочи. “Нащокин, – говаривал светлейший, – даже о Господе Боге отзывается хоть и с

уважением, но все-таки, как о низшем чине”. А когда Нащокина пожаловали в генерал-поручики (чин 3-го класса), Потемкин съязвил: “Ну, теперь и Бог попал у Нащокина в 4-й класс, в порядочные люди!”

Многие высказывания светлейшего отличает ярко выраженная афористичность. Однажды на вопрос, не страшится ли он своих врагов, Потемкин ответил: “Я их слишком презираю, чтобы бояться”. А его слова, сказанные Д.И. Фонвизину после премьеры комедии “Недоросль” (1782): “Умри, Денис, или хоть больше ничего не пиши! Имя твое будет бессмертно по одной этой пьесе”, – станут поистине крылатыми.

Григорий Александрович был не чужд сочинительства и мог выдать в стихах остроумный экспромт. Однажды во время застолья он, обращаясь к своему давнему знакомцу, московскому сибариту Ф.Г. Карину, продекламировал:

“Ты, Карин,  
Милый крин,  
И лилеи  
Мне милее”.

А другие стихи, ставшие известными всей России, он написал по поводу обмундирования русской армии. Будучи президентом Военной коллегии, он предлагал изгнать косы, пукли, пудру, штиблеты и шляпы прусского образца, заменив их на красивую и удобную одежду: куртки, шаровары и легкие каски. Представляя императрице свои соображения о необходимости новой униформы, он заключил их словами:

“Солдат и должен быть таков:  
Как встал – так готов!”.

Английский посланник Дж. Харрис говорил о “неповторимом юморе” Потемкина, проявлявшемся и в делах дипломатических. Шутки светлейшего приобретали тогда политический смысл. Так, во время приема императрицей прусского принца Генриха князь намеренно

спустил с поводка свою шалуню-обезьяну, дав тем самым почувствовать гостю, что Россия больше не нуждается в союзе с Пруссией. А относительно колебаний австрийского канцлера он афористично писал Екатерине: “Кауниц ужом и жабою хочет вывернуть систему политическую новую. Облекись, матушка, твердостью на все попытки, а паче против внутренних и внешних бурбонцев”.

Между светлейшим и императрицей были в ходу и шутки особого, деликатного свойства. Ведь известно, что именно Потемкин поставлял Екатерине многих будущих ее фаворитов. Случай с Д.М. Дмитрием-Мамоновым свидетельствует о том, что на сей счет существовал определенный ритуал. Дмитриев-Мамонов прибыл ко двору вместе с Потемкиным, при котором состоял адъютантом. Князь послал его поднести Екатерине некую акварель, приложив записочку с вопросом: что она думает о картинке? Оглядев посланца, государыня отписала: “Картинка недурна, но только не имеет экспрессии”. Дмитриев-Мамонов тем не менее занял апартаменты во дворце рядом с покоями монархини, а совсем скоро Екатерина стала ласково называть его “Красный кафтан”. Так шутить с императрицей мог себе позволить только “великолепный князь Тавриды”.

Дюк де Ришелье отмечал в Потемкине поразительное соединение “гениального и смешного”. Многие общавшиеся с сим Полубогом не уставали повторять, что никогда так весело не проводили время, как в его обществе. Однако, князь, который вообще не терпел грубой лести, раздражался вдвойне, когда подозревал, что над его шутками смеялись из подобострастия и угодливости. Памятен случай, когда одного вельможу, громко захопавшего какой-то его остроте, он прилюдно ударил по щеке.

Обращаясь к светлейшему, бельгиец-принц Шарль де Линь выдал следующий стихотворный экспромт:

“Скажи, Потемкин, как соединились вместе  
В тебе и тонкий вкус, и чуткий к гласу чести  
Свободный гордый дух, и юношеский пыл,  
И мудрость старика? Друзьям сердечно мил,

Любезен и остер, то скор и бодр в делах,  
То в думу погружен, философ и монах”.

В этой характеристике де Линь не забыл ни одно из качеств этого самобытнейшего и оригинальнейшего русского человека XVIII века. И остроумие Потемкина, наряду с другими привлекательными свойствами его личности, есть дар, который волею судеб был ниспослан ему и обогащал всех, кому доводилось пользоваться благодеяниями князя, служить под его началом, просто жить рядом с ним. Сей дар светлейший привносил в свои амбициозные планы, военные баталии, масштабные строительные проекты, составившие славу России. Потому юмор Таврического дорог сегодня и нам, его благодарным потомкам, тем более что шутки его не устаревают...

Когда в 2.30 утра 13 октября 1791 г. к императрице прискачет нарочный с известием о внезапной смерти князя, Екатерина, оплакивая столь тяжелую для нее утрату, напишет: “Какой он был мастер острить, как умел сказать словцо кстати!”. А спустя полторы недели она признается Ф.-М. Гримму: “Князь Потемкин своею смертью сыграл со мной злую *шутку*. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне... Ах, Боже мой, опять нужно приняться и все самой делать!”.

### **Светлейший юдофил**

Во время своего путешествия на юг империи в 1787 году Екатерина Великая приняла депутацию новороссийских евреев. Те подали петицию с просьбой отменить употребление в России оскорбительного для них слова “жид”. Императрица согласилась, предписав впредь использовать только слово “еврей”. Сговорчивость Екатерины тем понятнее, что речь шла не об искоренении национальной и религиозной нетерпимости к евреям, а лишь о слове, ни к чему ее не обязывавшем. Слова, слова, слова... Подобный прецедент уже был: императрица незадолго до того издала указ, запрещающий в письмах на высочайшее имя уничижительную подпись “раб”, заменив ее на просвещенное: “верноподданный”. Любопытно, что нашелся пиит (В.В. Капнист), который написал по этому поводу

хвалебную “Оду на истребление звания раба”, где толковал монарший указ не иначе как освобождение от крепостного права. И что же Екатерина? Она велела передать зарвавшемуся стихослагателю: “Вы хотите уничтожения рабства на деле... Довольно и слова!”. Сказанное императрицей можно отнести и к евреям, тем более что табу на бранное слово “жид” распространялось только на официальные правительственные документы; в устной же речи, равно как и в произведениях “изящной” словесности, употребление этого слова отнюдь не возбранялось.

Если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейскому племени, то явственно прослеживается ее неукротимое желание примирить, казалось бы, непримиримое: передовые идеи века Просвещения и вытекающие из них эмансипацию и интеграцию этого малого народа в составе многонациональной империи – и заскорузлую ненависть к нему большинства населения, приправленную вдобавок религиозным антисемитизмом и ксенофобией. Классический пример образа еврея в глазах народа представлен в романе “Отцы и дети” И.С. Тургенева, где мать Базарова, богомольная Арина Власьевна, свято верила, что у всякого жида на груди – кровавое пятнышко.

Екатерина, по счастью, была лишена подобных предрассудков и изначально чужда юдофобии. В ее окружении мы находим евреев, в том числе и некрещеных: эскулапа Менделя Льва, провизора Самуила Швенона, банкира Левина Вульфа, подрядчиков Абрамовича и некоего “жида Давида”. Монархиня закрывала глаза и на незаконное пребывание в Петербурге нескольких иудеев, разместившихся в доме... ее духовника (!). “Их терпят вопреки закону; делают вид, что не знают, что они в столице”, - откровенничала императрица. Вот уж поистине “евреи, которых не было”!

Но то было внутреннее отношение Екатерины к евреям; в государственных же решениях она приспособлялась к требованиям текущего момента. Вот что произошло, когда в Сенате обсуждался вопрос о разрешении евреям селиться в стране. Предоставим слово самой Екатерине. В своих “Записках” она писала: “На пятый

или шестой день по вступлении на престол явилась в Сенат... Случилось по несчастью, что в этом заседании первым на очереди... оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Екатерина, затрудненная по тогдашним обстоятельствам дать свое согласие на это предложение, единогласно признаваемое всеми полезным, была выведена из этого затруднения сенатором князем Одоевским, который встал и сказал ей: “Не пожелает ли Ваше Величество прежде, чем решиться, взглянуть на то, что императрица Елисавета собственноручно начертала на поле подобного предложения?”. Екатерина велела принести реестры и нашла, что Елисавета... написала на полях: “Я не желаю выгоды от врагов Иисуса Христа”. Повторив, что со вступления ее на престол не прошло и недели, Екатерина пишет о себе в третьем лице: “Она была взведена на него для защиты православной веры; ей приходилось иметь дело с народом набожным, с духовенством, которому не вернули его имений и у которого не было необходимых средств к жизни...; умы, как всегда бывает после столь великого события, были в сильнейшем волнении: начать такой мерой не было средством для успокоения [умов], а признать ее вредной было невозможно. Екатерина просто обратилась к генерал-прокурору, после того как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и сказала ему: “Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени”. Императрица резюмирует: “Так-то нередко недостаточно быть просвещенным, иметь наилучшие намерения и власть для исполнения их; тем не менее часто разумное поведение подвергается безрассудным толкам”.

По-видимому, опасаясь “безрассудных толков”, Екатерина на заре ее царствования в Манифесте о дозволении иностранцам селиться в России (от 4 декабря 1762 года) специально оговорила: “кроме жидов”.

Но, укрепившись на троне, прагматичная Екатерина принимает уже другие решения. Руководствуясь идеями “общественной пользы” и “интересной прибыли” (что ранее отвергала ортодоксальная Елизавета), она облегчает положение евреев. Она вполне осознает их роль в торговле и промышленности, почитает их полезными и для государства.



В то же время опасается, что еврейские торговцы составят для русского купечества слишком сильную конкуренцию, “так как (признавалась она Д.Дидро) эти люди все притягивают к себе”. Любопытно в этой связи напомнить, что в свое время Петр Великий, отказывая евреям в праве торговать и селиться в России, говорил прямо противоположное: “Хотя они [жиды - Л.Б] и считаются искусными обманщиками в торговле целого света, однако, сомневаюсь, чтобы им удалось обмануть моих русских”. Кто же прав? Думается, Екатерина, которой были хорошо известны свойства купеческого сословия России и способность евреев конкурировать с ним. Только не о мошенничестве и обмане иудеев надо здесь говорить, а об их особой оборотистости, находчивости и жизнестойкости...

Видя в колонизации Причерноморья важнейший этап в установлении господства России на Черном море, императрица в 1764 году позволяет евреям селиться в пустынной Новороссии, признав за ними право записываться купцами и мещанами. Некоторым еврейским финансистам было разрешено жить в Риге и даже в Петербурге. Тогда же еврейским купцам позволили “временно” приезжать в Малороссию.

Историки обращают внимание на скрытые действия императрицы в пользу иудеев. И действительно, в ее ранних письмах и реляциях мы не найдем ни одного прямого упоминания о евреях. Монархиня словно стыдится произнести это неудобное для нее слово. Так, в письме к генерал-губернатору Риги от 29 апреля 1764 года она требует снабдить новороссийских купцов паспортами, без указания национальности и без различия вероисповедания. Речь-то шла о евреях, и Екатерина приписала своей рукой: “Держите все в тайне!”

Нашелся, однако, в русской истории XVIII века государственный муж, который без обиняков и лавирования говорил о правах иудеев во весь голос. То был всесильный сподвижник и фаворит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791). Блистательный администратор и военачальник, покоритель Крыма и строитель

Черноморского флота, Потемкин был личностью харизматической. “Гений, потом гений – и еще гений, - рисует его психологический портрет современник, - природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздаянии наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей”. Влияние Потемкина на императрицу трудно переоценить. “Усердия и труд твой, - писала ему Екатерина, - умножили бы мою благодарность, есть ли б она и без того не была такова, что увеличиться уже не может”.

Годы головокружительного взлета карьеры этого фактического соправителя императрицы (1772-1790) совпали по времени с первым разделом Польши, в результате которого под российским скипетром оказалось стотысячное еврейское население. И во многом благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения распространились и на новообращенных евреев.

“Почти уникам среди русских военных и государственных деятелей, - подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, - Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покровителем”. Где же искать истоки такой благосклонности светлейшего князя к “сынам израилевым”? Он происходил из Смоленского края, где истари селились евреи (это оттуда вышли прославившиеся впоследствии роды Шафировых и Веселовских). Известно, что родственники Григория Александровича общались с местным еврейским населением. Один из них, смоленский шляхтич Николай Потемкин, в 1740 годы даже расследовал запутанное дело о “претензиях шкловских евреев и российских купцов”. Документальных данных о подобных контактах самого Григория нет, но вполне очевидно, что уже в детские годы он общался с евреями, и его симпатии сложились в их пользу.

Получив в дар от монархини огромное поместье Кричев-Дубровна на Могилевщине, в Белоруссии, частично отошедшей к России после первого раздела Польши, князь

приглашает сюда деловых людей без разбора племени и веры.

Потемкин вообще отличался исключительной веротерпимостью: недаром в 1767 году он исполнял должность “опекуна татар и иноверцев” в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший проявлял живой интерес не только к делам практическим – его занимали и материи высокие: поэзия, философия, греческий и латинский языки, и особенно богословие (“Хочу непременно быть архиереем или министром”, - часто говорил он друзьям). Современник рассказывает о пристрастии Григория Александровича к богословским диспутам: “Он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях”.

Не исключено, что отчасти под влиянием Потемкина Екатерина в 1772 году предоставила евреям присоединенных территорий определенные права гражданства. В официальном плакате от 11 августа 1772 года провозглашалось: “Еврейские общества, жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне в рассуждении закона и имуществ своих пользуются”. Стоит отметить, однако, что, хотя иудеи и получили права отправления религиозных обрядов и пользования имуществом, осторожная Екатерина не уравнила их в правах с остальными новыми подданными: в отличие от последних она лишила евреев возможности свободно передвигаться по всей России.

В 1775 году, когда разрабатывались проекты по привлечению новых поселенцев в южные губернии России, именно Потемкин настоял на добавлении в проект небывалой оговорки: “включая и евреев”. Он представил целую программу привлечения иудеев в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных землях: в течение семи лет не взимать с них налогов,

предоставить право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т.д. В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Новороссию, а впоследствии и в Таврию, женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Известно, что на сем поприще подвизался “еврей Шмуль Ильевич”. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Как и христианам, евреям было предложено записываться в сословия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. Все иудеи оказались причисленными к купечеству или мещанству, платили налоги и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, по существу, христианскому населению верховная власть предложила общаться с евреями, как с равными. Показательно, что в 1783 году на запрос по сему поводу из Петербурга последовал недвусмысленный ответ: граждане облагаются налогами и участвуют в городском управлении “без различия веры и закона”. И указ Сената от 7 мая 1786 года подтвердил полное равноправие евреев. Как отметил американский историк Ричард Пайпс, указ “впервые формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии или происхождения является незаконной”.

Чтобы понять, насколько прогрессивными и беспрецедентными в судьбе евреев стали эти узаконения вдохновленной Потемкиным Екатерины, достаточно бросить взор на “просвещенную” Европу того времени. Мы увидим и венценосного юдофоба, короля прусского Фридриха II, инициатора жестоких гонений на евреев; и императрицу Священной Римской империи Марию Терезию – зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной заразой (заметим в скобках, что в то время единственной страной в мире, уравнившей евреев в правах с основным населением, была Тоскана).

В своей книге “Двести лет вместе” (Т. I, 2001) А.И. Солженицын подчеркивает, что евреи находились в

более привилегированном положении, чем абсолютное большинство русского народа: “Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло еще 80 лет не иметь российским крестьянам”. Что ж, действительно, получается, что к иноподданам правительство относилось лучше, чем к единокрывным крепостным рабам. Только уж не иудеи в этом повинны!

В окружении светлейшего князя было немало выдающихся евреев. Но, пожалуй, наибольшее влияние на Григория Александровича оказал крупный купец и ученый-гебраист Иехошуа Цейтлин (1742-1822). Он путешествовал с князем, управлял его имениями, строил города, оформлял займы для снабжения армии и даже возглавлял монетный двор в Крыму. Ученик раввина и талмудиста Арье Лейба, Цейтлин был неизменным участником всех богословских диспутов, сохраняя набожность и нося традиционную еврейскую одежду. По свидетельствам очевидцев, он часто “расхаживал вместе с Потемкиным, как его брат и друг”. По воле своего сиятельного покровителя, Иехошуа в 1791 году стал обладателем богатого имения в Могилевской губернии. Некрещеный еврей вдруг стал владельцем сотен христианских душ – случай в России беспрецедентный! Но кто мог тогда перечить всесильному властелину Тавриды?!

Не исключено, что именно Цейтлин привил Потемкину интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с “Пятикнижием Моисеевым”, написанный, предположительно, в IX веке.

В беседах друзей родилась сколь дерзновенная, столь и фантастическая по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом “попытку связать “стратегические” еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина”. Вот что сообщает современник: “Он [Потемкин – Л.Б.] стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим будет не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев... На родине же своей они возродятся”. Таким образом, можно без

преувеличения сказать, что наш светлейший юдофил стал первым (и единственным) в российской истории государственным мужем – ревностным сторонником сионистской идеи!

И важно то, что князь не ограничился бесплодными разглагольствованиями на сей счет - он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1786 году Потемкин создает сформированный целиком из иудеев так называемый “Израилевский” конный полк, который, по его мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок Палестину. Со времени римского императора Тита, разрушившего в 70 году н.э. Иерусалимский Храм, это была первая в мировой истории попытка вооружить евреев!

Надо признать, что “Израилевский” полк Потемкина не походил на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. В дошедших до нас характеристиках боевой выучки еврейских ратников сквозят комизм и издевка. Так, историк и романист Л.Н. Энгельгардт с иронией живописует их лапсердаки, бороды и пейсы, говорит об их неумении держаться в седле и т.д. В этом же духе высказывается о “жидовском полке” и принц Шарль де Линь, хотя он всегда симпатизировал евреям: его даже называли одним из первых “сионистов” XVIII века.

Израильский историк С.Ю. Дудаков полагает, что подобные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого полка доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Что же касается Потемкина, российские евреи героизировали его, понимая, что нашли в его лице надежного защитника и покровителя. Сохранились свидетельства об их радушных приемах светлейшего, о величальных одах в его честь. И в самом деле, пока был жив князь Тавриды, их благополучию и покою, казалось, ничто не угрожало. Но 5 октября 1791 года, в дороге под Яссами,

что на бессарабских холмах, светлейший князь испустил дух.

И сразу же после смерти Потемкина в отношении правительства к евреям намечается заметный откат от прогрессивных реформ. Уже 23 декабря 1791 года Екатерина II подписывает известные дискриминирующие евреев указы, отмененные лишь Февральской революцией 1917 года: для них вводится пресловутая “черта оседлости”, принимается реакционнейший антисемитский закон: “Все, что прямо не разрешено евреям, им запрещено”, и т. д.

Историки сходятся на том, что внезапная немилость монархини к евреям вызвана причиной косвенной – Великой Французской революцией с ее Национальным собранием, осенью 1791 года уравнившим евреев с другими гражданами.

Может статься, будь жив Потемкин, он остудил бы ее антиеврейский пыл. Но, как известно, история сослагательного наклонения не имеет...

Неоспоримо одно: Григорий Потемкин знаменует собой целую эпоху, которая может быть названа “золотые годы русского еврейства”. Неутомимые заботы князя о сынах Израиля делают его фигурой знаковой и исключительно притягательной не только для евреев, но и – шире! – для всех поборников прав личности и общечеловеческих ценностей.

## **Еврейская конница князя Потемкина-Таврического**

В русской истории XVIII века подлинную славу снискал государственный муж, который без обиняков и лавирования во весь голос заговорил о правах иудеев. То был всесильный сподвижник и фаворит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791). Блистательный администратор и военачальник, покоритель Крыма и строитель Черноморского флота, Потемкин был личностью харизматической. “Гений, потом гений – и еще гений, - рисует его психологический портрет современник, -

природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздавании наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей”.

Головокружительный взлет карьеры этого фактического соправителя императрицы (1772-1790) совпал по времени с первым разделом Польши, в результате коего под российским скипетром оказалось стотысячное еврейское население. И во многом благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения распространились и на новообретенных евреев. Именно Потемкин представил и воплотил в жизнь целую программу привлечения иудеев в империю, чтобы с их помощью как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных землях. При этом он призвал Екатерину Великую предоставить им ряд льгот: в течение семи лет освободить от налогов, дать право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т.д. Дабы увеличить народонаселение, поощрялся ввоз в Новороссию, а затем и в Таврию, женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Как и христианам, евреям было предложено записываться в сословия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. Все иудеи оказались причислены к купеческому или мещанскому сословиям и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, по существу, высшая власть предложила христианскому населению общаться с евреями, как с равными. Показательно, что в 1783 году на запрос по сему поводу из Петербурга последовал недвусмысленный ответ: граждане облагаются налогами и участвуют в городском управлении “без различия веры и закона”. И указ Сената от 7 мая 1786 года подтвердил полное равноправие евреев с христианами. Как отметил американский историк Ричард Пайпс, указ “впервые формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии или



происхождения является незаконной”.

“Почти уникам среди русских военных и государственных деятелей, - подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, - Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покровителем”. И, действительно, Григория Александровича вполне можно назвать “светлейшим юдофилом”.

Князь вообще отличался исключительной веротерпимостью: недаром в 1767 году он исполнял обязанности “опекуна татар и иноверцев” в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший проявлял живой интерес не только к делам практическим – его занимали и материи высокие: поэзия, философия и особенно богословие. Рассказывают о пристрастии Григория Александровича к религиозным диспутам: “Он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях”.

Под началом Потемкина было немало выдающихся евреев, крещеных и некрещеных. Каждый из них достоин обстоятельного разговора. Назовем лишь некоторых. Карл Иванович Габлиц (1752-1821), выходец из Кенигсберга, вице-губернатор Тавриды, почетный член российской Академии наук и тайный советник; Николай Штиглиц (1772-1820), родом из Мюнхена, видный откупщик; под патронажем князя осуществлял соляные промыслы в Крыму; Нота Хаймович Ноткин (1746-1804), уроженец Могилева, недюжинный купец, надворный советник, поставлявший для воюющей армии Потемкина провиант и фураж, рискуя при этом жизнью, еврейский печальник (“защитник своего народа”, как его назвали), основавший еврейскую общину в Петербурге.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на Григория Александровича оказал Иехошуа Цейтлин (1742-1822). Вместе с князем он путешествовал, строил города, а также оформлял займы для снабжения армии, возглавлял монетный

двор в Крыму. Уроженец Шклова, ученый-гебраист и тонкий толкователь Талмуда, Цейтлин был одновременно крупным купцом и управляющим Потемкина и часто вел с ним талмудические дискуссии. Друг светлейшего, этот некрещеный еврей по воле своего покровителя получил титул надворного советника и имение Устье в Могилевской губернии с 910 крепостными душами. В сем имении Цейтлин, как подлинный еврейский меценат, создал свой бет-га-мидраш, где собирались талмудисты, пользуясь собранной хозяином уникальной библиотекой. Поддержку “еврейского помещика” получали и маскилим, и среди них – известный писатель и педагог Менахем Мендл Лефин, знаток ивритской грамматики Нафтали Герц Шулман, раввин, астроном и популяризатор науки Барух Шик.

Ученик раввина и талмудиста Арье Лейба, Цейтлин сохранял набожность и носил традиционную еврейскую одежду. Он часто ездил в Берлин, где неоднократно навещал одного из основоположников движения Хаскала, философа Мозеса Мендельсона. Представитель первого поколения еврейских просветителей в России, Иехошуа находился под значительным влиянием раввинистической культуры, ярчайшим выразителем которой был тогда знаменитый Виленский гаон, р. Элияху бен Шломо (1720 – 1797), и объединял в своем мировоззрении идеалы европейского Просвещения и еврейской интеллектуальной традиции. По свидетельствам очевидцев, Цейтлин часто “расхаживал вместе с Потемкиным, как его брат и друг”.

Между прочим, Иехошуа представил Таврическому своего зятя, впоследствии общественного деятеля и крупного откупщика Абрама Израилевича Перетца (1771-1833), получившего как традиционное еврейское, так и широкое общее образование. По совету и по протекции Потемкина тот переселился в закрытый для иудеев Петербург, где открыл финансовую контору тестя.

Несомненно, не кто иной, как Цейтлин привил Потемкину интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с “Пятикнижием Моисеевым”, написанный, предположительно, в IX веке. Именно в беседах двух друзей

и родилась сколь дерзновенная, столь и фантастическая по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом “попытку связать “стратегические” еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина”.



Абрам Израилевич Перетц

И важно то, что князь не довольствовался бесплодными мечтаниями - он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1787 году Потемкин решает вооружить евреев. Историк Н.А. Энгельгардт живописует:

“— Теперь, господа, прошу вас на смотр нового сформированного мною Израилевского Эскадрона, — сказал светлейший и пошел к стоявшей в конце сада декорации, изображавшей ипподром византийских царей. За нею был широкий плац, усыпанный песком, достаточный, дабы произвести эволюцию хотя бы целому полку.

— Что за Израилевский батальон? — шепотом вопрошали в свите светлейшего.

Никто не знал. Но когда батальон внезапно выехал на арену, без объяснений все поняли, что это было за войско. Потемкину пришла в голову единственная в своем роде идея — сформировать полк из евреев, который и наименовать Израилевским конным его высочества герцога Фердинанда Брауншвейгского полком, конечно, в том случае, если бы

герцог согласился быть шефом столь необычной войсковой части.

Покамест представлялся светлейшему один эскадрон будущего полка. В лапсердаках, со столь же длинными бородами и пейсами, сколь коротки были их стремяна... Батальонный командир, серьезнейший немец, употребивший немало трудов, чтобы обучить сколько-нибудь сынов Израиля искусству верховой езды и военным эволюциям, командовал, и все шло по уставу порядком.... Кажется, этого только и добивался светлейший. Он прекратил эволюции, поблагодарив батальонного командира.

– Ничего, они уже недурно держатся в седле и если еще подучатся, из них выйдет отличное войско, – пресерьезно говорил Потемкин. И он стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет, наконец, разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим более не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев.... На родине же своей они возродятся. И вот, в предвидении сего и готовится будущее палестинское войско”.

Иные современники и литераторы живописуют еврейских конников с нескрываемой иронией. Так, русский историк XIX века Сергей Шубинский: высмеивает их “длинные седые бороды, простиравшиеся до колен, ермолки, короткие стремяна”. В этом же духе высказался и бельгиец-принц Шарль Жозеф де Линь – живой наблюдатель экзерциций “Израилевского” эскадрона. А русско-еврейский писатель Лев Леванда заметил: “Хасиды и ружье – в самом деле, очень странное сочетание... Вооруженные хасиды, разумеется, фигурировали на первом плане. Их фузии... служили неисчерпаемым источником острот и анекдотов, в которых очень много было забавного”.

Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что подобные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого полка

доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Но какой бы комичной ни казалась еврейская конница Потемкина, важно то, что со времени римского императора Тита, разрушившего в 70 году н.э. Иерусалимский Храм, это была первая в мировой истории попытка вооружить иудеев. И можно без преувеличения сказать, что светлейший князь Таврический стал первым (и единственным) в российской дореволюционной истории государственным мужем – ревностным сторонником сионистской идеи! Не случайно, как сообщает Н.А. Энгельгардт, один из присутствовавших на смотре еврей ”пришел в совершенный восторг от сего [сионистского – Л.Б.] проекта и стал одушевленно развивать прекрасную и человеколюбивую, как он выражался, мысль светлейшего”.

Светлейший князь замышлял тогда и паломничество большого числа евреев в Палестину. И дабы разведать обстановку на месте, отправлял туда лазутчиков. Известно, что по его представлению 1 июля 1784 года был выдан паспорт некоему Юзефу Шишману, следующему в Иерусалим вместе с группой иудеев.

“Израилевский” конный полк просуществовал недолго и уже через пять месяцев был расформирован. Шарль де Линь говорил, что Потемкин распустил сие еврейское воинство, “чтобы не ссориться с Библией”. И Шубинский заявляет: “Кто-то уверил Потемкина, что составление такого полка противно Священному Писанию, и он велел распустить его”.

Однако вовсе не в Библии тут дело, а в ложном, превратном ее толковании “христолюбивыми” церковниками. Ведь исстари попы (равно как и католические и протестантские служители культа) внушали пастве мысль о том, что народ Израиля навеки отвергнут и проклят Богом, и возлагали на иудеев коллективную вину за распятие Иисуса. Иерусалим трактовался отцами церкви как “Гроб Господен”, они непрестанно указывали, что рассеяние иудеев – живое доказательство истины учения Христа и его предсказаний. А во время Пасхальных богослужений

многожды и настойчиво втолковывали: “Еврейское племя, которое осудило Тебя на Распятие, отплати им, Господи! Христос воскрес, а еврейское семя поггло!” Слова первосвященника Иудеи Каифы: “Кровь Его на нас и на чадах наших!” они интерпретировали не иначе как гибель и проклятие небес целого народа. Воинствующая нетерпимость и ненависть к народу Книги бьют в глаза в инвективах ректора Киевского коллегияума Иоанникия Галытовского (XVII в.): “Мы, христиане, должны ниспровергать и сжигать еврейские божницы, отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять [иудеев] из городов, убивать мечом, топить в реках”. На самом же деле, подобных людоедских призывов и в Новом Завете не находится. Апостол Павел (сам этнический еврей) писал о богоизбранном народе: “Ибо что же если некоторые и неверны [учению Христа – Л.Б.] были, неверность их уничтожит ли верность Божию?” (Рим 3:3), “Не отверг Бог народа Своего, который он наперед знал” (Рим 11:2), “Ибо дары и призвание Божие непреложны” (Рим 11:29). И далее о евреях: “Это народ Закона и пророков, мучеников и апостолов, ‘иже верою победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования, заградиша уста львов’ (Евр 11:33).

По-видимому, князь Потемкин, при всей широте своего мышления, проницательности и веротерпимости, едва ли раздумчиво и глубоко изучал Писание и, хотя и любил богословские диспуты, был все же в плену у своего времени с его заскорузлым религиозным антисемитизмом. В светлейшем не было, конечно, и тени мистического страха перед иудеями (как, например, у тургеневской Арины Власьевны из “Отцов и детей” - та свято верила, что у каждого жида на груди кровавое пятнышко). К евреям он относился без предубеждений, даже симпатизировал им, но преодолеть вполне, подняться над православными предрассудками, заповеданными еще Иоанном Златоустом и Василием Великим, никак не мог. Потому-то, надо полагать, его сионистский проект так и остался нереализованным.

Знаменательно, однако, что идея создания национального очага иудеев продолжала будоражить просвещенные еврейские умы. Известно, что она весьма

занимала Абрама Перетца. Сохранились воспоминания литератора Федора Глинки о его беседах с сыном Перетца, Григорием, и тот поведал о сокровенных мыслях отца. “В одно утро, - рассказывает Глинка, – он [Григорий Перетц] очень много напевал о необходимости общества к высвобождению евреев, рассеянных по России и даже Европе, и поселению их в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного народа; он говорил, что, кажется, отец его... имел мысль о собрании евреев; но что для сего нужно собрание капиталистов и содействие ученых людей и проч. Тут распелся он о том, как евреев собирать, с какими триумфами их вести и проч. и проч. Мне помнится, что на все сие говорение я сказал: “Да видно, вы хотите придвинуть преставление света? Говорят, что в Писании сказано (тогда я почти не знал еще Писания), что когда жиды выйдут на свободу, то свет кончится”.

Как и Потемкин, Глинка апеллирует здесь к Библии, однако заглянуть туда он не удосужился и принял на веру рассказы церковников. Зато искушенный в изучении Торы Абрам Перетц твердо знал пророчества, радовавшие его сердце: “Возвратит Господь Бог твой, изгнанников твоих, и смилуется над тобою, и снова соберет тебя из всех народов... И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и станешь ты владеть ею” (Дварим, 30: 3,5). И еще – “Соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их” (Иер. 23:3).

Сионистскому проекту Потемкина, равно как и мечте Перетца об обретении своего еврейского дома, не суждено было сбыться в XVIII веке. Однако этот исторический эпизод волнует и вызывает живой интерес. Пусть конники “Израилевского” эскадрона мало походят на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. Но сама попытка “светлейшего юдофила” Потемкина вооружить иудеев и направить их в Палестину заслуживает уважения и признания.



# Нина Воронель

## Юлик и Андрей



спрашиваю себя – зачем я это пишу?  
Андрея уже нет в живых. И Юлика тоже.



Андрей Синявский, Нина Воронель и Юлий Даниэль

Они все дальше удаляются от нас, и человеческие их черты стираются, затуманиваются, бледнеют, превращаясь в некое обобщенное псевдогероическое лицо. Тем более что круг тех, кто их помнит, с каждым годом становится все уже. И скоро исчезнет вместе с памятью о них.

Нужно ли сохранять истинную правду о тех, кого уже нет с нами, – не о мифических фигурах, а о живых людях со всеми их достоинствами и пороками?

Не знаю.

Но какая-то сила заставляет меня ворошить прошлое, выкапывая оттуда несущественные мелочи, осколки событий, обрывки разговоров.

Сложить цельное полотно из этих мозаичных осколков оказалось довольно сложно. Ведь моя дружба с Даниэлями и Синявскими – не просто с Юликом и Андреем,



но и с их женами, Ларкой и Майкой, как мы их привыкли называть в молодости, - охватывает несколько десятилетий.

Поворачивая то так, то этак многогранную картину своих запутанных переживаний, я обнаружила, что она не плоская, а объемная, и не поддается примитивно-линейному изложению. Поэтому я построила это изложение так объемно, как это возможно на бумаге. Будь это в интернете, я бы скомпоновала из этой картины нечто вроде «сада разбегающихся тропок», но здесь мне пришлось ограничиться разбивкой своего рассказа на четыре различные версии, иногда дополняющие одна другую, а иногда одна другую исключают:

ВЕРСИЯ ФАКТИЧЕСКАЯ  
ВЕРСИЯ МИСТИЧЕСКАЯ  
ВЕРСИЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ  
ВЕРСИЯ ЖЕНСКАЯ

#### **ВЕРСИЯ МИСТИЧЕСКАЯ**

Все началось с кошки. Я понимаю, что люди рационально мыслящие мне не поверят и, скорей всего, будут правы. И все же я настаиваю – для меня все началось с кошки. В кошке этой не было ничего из ряда вон выходящего, – обыкновенная кошка, серо-черная, беспородная, немолодая и не очень красивая. И даже имя у нее было самое обычное - Мурка. Совсем как в известной одесской песне: «жила в том доме кошка, звали ее Мурка».

Вот только дом был не совсем обычный для Советской России тех лет - это был даже не дом, а нарядная двухэтажная вилла под красной черепичной крышей, щедро украшенная всевозможными архитектурными излишествами – лоджиями, портиками, террасами, балконами и балстрадами. Стояла эта вилла на берегу Волги на опушке прелестной сосновой рощи на окраине не менее прелестного, абсолютно не российского, городка Дубна, несущего в себе, как раковина драгоценную жемчужину, Международный институт ОИЯИ – Объединенный Институт Ядерных Исследований. По вычурному фасаду виллы, в которой жила кошка Мурка, хорошо гармонирующему с фасадами соседних фешенебельных вилл, можно было с легкостью догадаться, с кем был объединен институт

Ядерных Исследований. С кем-то достаточно иноземным, чтобы законно претендовать на хорошо налаженный буржуазный быт и нероссийский комфорт.

На уютных, окаймленных тополями и кленами, улицах институтского городка свободно и часто звучала разнообразная иностранная речь, не совсем, правда, буржуазная, а больше народно-демократическая, но все же иностранная – немецкая, венгерская, чешская, польская, а в добрые старые времена даже и китайская. Мы этих добрых старых времен уже не застали – к моменту нашего переезда в Дубну от них осталась только легенда о том, как в одно прекрасное утро все китайские ученые, числом до пятисот, одновременно вышли из своих нарядных домов, споро построились в колонну по четыре и с громкой песней двинулись на вокзал. Там они, не переставая петь, организованно погрузились в специально поданный для них поезд, и с тех пор никто их больше не видел.

Поскольку ни кошка Мурка, ни ее хозяйева, С-Ф-Ш, к великому переселению китайцев никакого отношения не имели, то в момент нашего появления в соседней с ними вилле они продолжали спокойно наслаждаться своим комфортабельным бытом. Хозяйева Мурки были милейшие люди: он – крупный ученый, директор одной из четырех лабораторий, составляющих основу ОИЯИ, она – редактор какого-то престижного физического издательства, - которых их благополучная жизнь сделала еще милее и добрее. И наш быт, продлись он какое-то время, мог бы сделать нас не менее благополучными и добрыми, - хоть досталась нам всего лишь четверть такой виллы, как у С-Ф-Ш, но нам и эта четверть казалась невыносимой роскошью. Мы сгрузили свои пожитки и начали осторожно вращать в новую, почти фантастическую не только для нас, но и для всего нашего босяцко-интеллигентского круга, обстановку: просторно расставили мебель, кое-что даже прикупив, посадили вдоль террасы нарциссы и тюльпаны и записали сына в теннисный клуб.

Работа у Саши была прекрасная, я только-только получила премию Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для кукольного театра, - и казалось, что мы уже

преодолели взлетную полосу и вот-вот взмоем в небо. Вполне возможно, что все так бы и случилось, если бы кошке Мурке не вздумалось завести котят. Котят было штук пять – похожих на мать, серо-черных и ничем не примечательных. Я не знаю, куда девались четверо из них, но пятого, менее серого и более черного, по имени Котофей, пылко полюбила тринадцатилетняя дочь С-Ф-Ш, Ася, и из-за этой любви все и произошло.

Ася, девочка взбалмошная и балованная, считалась в семье трудным ребенком, - в отличие от своего старшего брата Бори, студента Физтеха или Физмата, точно не помню. Своими капризами она держала родителей в постоянном напряжении – иногда не ела, иногда отказывалась ходить в школу, а время от времени демонстративно складывала какие-то вещички в школьный ранец и объявляла, что уходит из этого дома, где ее никто не понимает.

С появлением Котофея ее словно подменили – к восторгу папы и мамы она вдруг превратилась в пай-девочку: начала охотно есть, регулярно делать уроки и совершенно перестала угрожать уходом из дому. Все свободное время она проводила с котенком, сосредоточенно играя с ним в «дочки-матери» - она его пеленала, кормила молоком из бутылочки и, напевая колыбельные песни, часами возила под деревьями в кукольной коляске. Единственным отрицательным явлением, сопровождавшим Асину новую горячую любовь, стала ее неукротимая ненависть к несчастной Мурке, не желающей отказываться от своих родительских прав.

Окрыленные неожиданным преображением дочери, С-Ф-Ш готовы были на все, лишь бы эта благодать продлилась. И потому они без раздумий согласились устранить недавно еще любимую кошку, хоть при доме был сарай и огромный участок, так что места было достаточно и для матери, и для сына. Они взялись за дело с большим рвением - им и в голову не приходило поостеречься, поскольку оба были воспитанниками рационального материализма и не верили ни в какую нечистую силу.

Несчастную Мурку пытались выжить из дому всеми доступными способами – домработница увозила ее в

автобусе за Волгу, сам Ф-Ш увозил ее в служебной машине на другой конец Дубны и выпускал из корзинки на территории института. Однако ничего не помогало – пусть через день, пусть через два, умная кошка всегда возвращалась домой. Отчаявшиеся С-Ф-Ш умоляли Асю смириться с присутствием кошки, но та и слышать об этом не хотела. «Выбирайте, или я, или кошка!» - объявила она. Наши милые соседи, конечно, выбрали дочь, и обратились за помощью к нам. Так как у нас была машина, на которой мы регулярно ездили в Москву, они попросили нас завезти кошку подальше от Дубны, например, в Димитров, и высадить ее там.

Сейчас я не могу понять, как я согласилась выполнить их просьбу. Конечно, С-Ф-Ш были наши друзья и благодетели, и мы были им многим обязаны, но все-таки какая мерзость – увезти из чьего-то дома кошку, которая там выросла и не хочет уходить! Сегодня я ни за что бы этого не сделала, - за прошедшие с тех пор годы я поняла, что не все так просто, как видится, и не стоит рвать тайные нити, натянутые над нами и вокруг нас.

Но тогда мы доверчиво подъехали к усадьбе С-Ф-Ш и распахнули дверцу машины в ожидании кошки. Вся семья собралась у ворот, Ася – с Котофеем в коляске, С-Ш – с Муркой на руках. Однако Мурка, наученная печальным опытом прошедших недель, вовсе не торопилась к нам присоединиться. Напротив, при виде распахнутой дверцы автомобиля она вывернулась из рук своей любимой хозяйки и бросилась наутек. Правда, убежала она недалеко, а спряталась за лестницей, ведущей на террасу, – странно, почему бы ей было не удрать в лес, где никто не смог бы ее догнать? Наверно, она еще не окончательно разуверилась в своих хозяевах, которые вырастили ее из крохотного котеночка и кормили всю жизнь.

После чего начался получасовой спектакль, состоящий из нежных уговоров и неудачных погонь. Ничего не помогало – Мурка меняла место, пряталась так, чтобы не терять нас из виду, но упорно отказывалась подойти к машине. И тогда на сцену выступил до сих пор молчаливый студент-Боря. Борю Мурка любила больше, чем других

членов семьи, - он возился с нею в ее, кошачьем, детстве с той же преданностью, с какой Ася возилась с Котофеем, а главное, его не было в Дубне в те ужасные недели, когда все близкие и родные стремились изгнать ее и лишить крова.

Боря сделал несколько шагов к кустам, окаймляющим террасу, и ласково-ласково позвал: «Кис-кис-кис!». Мурка попятилась, но не убежала. Тогда Боря подошел ближе и протянул руку:

«Иди ко мне, глупышка. Это же я, Боря».

Кошка, не мигая, смотрела Боре в глаза огромными зелеными глазами, как бы проверяя, обманывает он ее или нет. И он ответил ей честным прямым взглядом, не подозревая, что подписывает себе смертный приговор. Он, воспитанный рационалистичными реалистами, твердо знал, что материя первична, и не верил ни в чох, ни в глаз.

«Иди ко мне, Мурочка, не бойся. Это же я, Боря».

И Мурочка к нему пошла. Она нерешительно вышла из-за куста, за которым пряталась, и остановилась, как бы выжидая, что будет. Тогда Боря наклонился, взял ее на руки и понес к машине.

Как она взвыла, осознав, что он ее предал! Как рванулась из его рук, извиваясь всем телом и пытаясь его укусить! Но это ей, конечно, не помогло – Боря держал ее крепко, бедный-бедный Боря! Такой славный, такой интеллигентный, с таким прелестным чувством юмора, ему бы жить и жить! Он просунул голову в заднюю дверцу нашей машины и бросил Мурку под сиденье, она черной молнией метнулась в проем, но Боря оказался быстрее и стремительно захлопнул дверь. «Езжайте быстрее!» - крикнул он, и мы тронулись с места. Пока машина набирала скорость, Мурка с остервенением всем телом билась о стекло и кричала Боре почти внятным человеческим голосом:

«Сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!»

Через месяц Боря поехал с экспедицией в сибирскую тайгу, там его укусил энцефалитный клещ и он умер страшной медленной смертью, постепенно теряя речь, зрение, слух, способность двигаться и дышать. Но Мурка не удовлетворилась проклятиями Боре – она прыгнула на

заднее окно, распласталась по стеклу и выкрикнула свою ненависть кучке остальных предателей, растерянно глядящих нам вслед.

Вскоре у Ф-Ш обнаружили опухоль мозга, и он тоже умер. С-Ш она почему-то пощадила, - возможно, считала, что мучительная смерть мужа и сына должна служить той достаточным наказанием, а Асю оставила жить – наверно, в награду за ее любовь к Котофею.

Покончив с семьей С-Ф-Ш, кошка принялась за нас. Она стала метаться через наши головы между сиденьями машины и окнами, то и дело ударяясь о двери и стекла и ни на миг не прекращая свой выразительный ненавистный монолог, на этот раз адресованный нам. Меня начала бить дрожь - мне редко приходилось видеть зрелище, страшнее полыхающих глаз этой разъяренной тигрицы. Наконец я сказала Саше:

«Я больше не могу. Останови машину и пусть она убирается ко всем чертям».

Саша тоже устал от нескончаемых волн кошачьей ярости. Он остановил машину среди леса и открыл дверцу, но кошка и не подумала выходить. Правда, она замолчала и улеглась на заднем сиденье, всем своим видом показывая, что покидать нас не собирается. Когда Саша попытался к ней прикоснуться, она так страшно зарычала и засверкала глазищами, что он тут же отдернул руку, и мы решили ехать дальше. Мы как бы заключили с нею негласный договор – мы оставляем ее в покое, при условии, что она тоже оставит нас в покое.

В полном молчании доехали мы до Димитрова – между собой мы тоже не разговаривали, подавленные ее тягостным присутствием. Ощущение было такое, словно через весь салон автомобиля натянуто напряженное силовое поле, враждебно направленное на нас. В Димитрове мы остановились возле булочной – из-за всех этих передрыг с кошкой мы сильно задержались и опасались не успеть в Москву до закрытия Гастрономов. Саша выскочил из машины, чтобы купить хлеба, оставив дверь приоткрытой, а я как бы задремала, опустошенная пережитым эмоциональным взрывом.

Когда Саша вернулся с батоном и бутылкой кефира, кошки в машине уже не было – я даже не заметила, как она оттуда выскользнула. Мы было вздохнули с облегчением, и напрасно: буквально со следующего дня у нас началась бесконечная полоса бед и несчастий, продолжавшаяся несколько лет подряд.

Сначала внезапно тяжело заболела моя мама, и мне срочно пришлось умчаться в Харьков, чтобы сидеть у ее постели после операции, от которой мама так и не оправилась и к концу года умерла. А через пару дней после того, как я уехала в Харьков, арестовали Андрея и Юлика, и начался мучительный период следствия по их делу. В день их ареста за Сашей в Дубну приехала машина со следователями КГБ и увезла его в Москву на допрос, после чего стало совершенно ясно, что пришел конец нашему едва начавшему расцветать дубненскому благополучию.

Сашу даже не уволили, а просто не возобновили заключенный с ним незадолго до этого временный контракт, что означало немедленное выселение из только что любовно обставленной четвертушки виллы нашей мечты. На Сашу никто не донес, он сам счел себя обязанным рассказать о случившемся Ф.-Ш., директору лаборатории и бывшему хозяину мстительной Мурки. Однако можно не сомневаться, что того уже ввели в курс дела другие, более авторитетные, инстанции – ведь приехавший за Сашей следователь пригласил его для предварительной беседы в кабинет начальника отдела кадров ОИЯИ, с которым, как видно, перед тем тоже провел надлежащую беседу.

С сентября 1965 года наша жизнь превратилась в кошмар – вдобавок к маминой болезни и нервотрепке все ширящегося следствия, тяжело заболел наш сын Володя. У него неожиданно началось обострение сахарного диабета, и после неудачной попытки лечения в московской больнице мы вынуждены были положить его в больницу в Донецке, где детским отделением заведовал наш друг, выдающийся педиатр Эмиль Любошиц. Тиски времени и обстоятельств смыкались у нас на горле - ведь мы не могли надолго оставить без своего присутствия ни умирающую маму в Харькове, ни больного ребенка в Донецке, ни неустойчивую

оппозицию властям, которую в значительной степени возглавлял в Москве Саша.

В течение полугода мы непрерывно совершали челночные поездки – я из Донецка в Харьков, Саша – из Москвы в Донецк, – и соответственно обратно. И ни разу не вспомнили о проклятиях разъяренной кошки Мурки, пока, наконец, черные тучи, клубившиеся в нашем небе, не выпали черным градом – правда, Володю Эмиль все же умудрился вырвать из лап смерти, но маму мы похоронили, а Юлика и Андрея оплакали возле здания суда на площади Восстания.

Люди рациональные, твердо знающие, что материя первична, могут спросить: при чем тут обиды кошки Мурки? И привести полдюжины разумных объяснений для бедствий, обрушившихся на головы всех участников предательского вывоза несчастной кошки в далекий чужой город, где ей скорей всего суждено было погибнуть. Я не могу с ними спорить – им трудно возразить разумно, а неразумных возражений они все равно не примут.

Я и сама, поставив себя на их место, могла бы насчитать несколько хоть и противоречащих одна другой, но зато вполне реалистических, версий, приведших к нашумевшему процессу Синявского-Даниэля без всякого участия кошки Мурки. Попробую перечислить некоторые из них.

### **1. ОЧЕВИДНАЯ** – и потому сомнительная.

Советские власти, и впрямь обеспокоенные появлением в зарубежной печати хулиганских произведений Абрама Терца и Николая Аржака, пригласили лучших экспертов-литературоведов для выяснения личностей этих злостных «клеветников». Характер работы подобных экспертов, не жалеющих сил ради выявления истины, отлично описан в романе А. Солженицына «В круге первом». И потому неудивительно, что кто-то из них, возможно даже по фамилии Рубин, нашел-таки ключик к хитроумному ларчику и отправился в секретный фонд Ленинской библиотеки. Там, тщательно просмотрев список всех, кто брал цитируемые злокозненным Абрамом книги, – благо, их было не так уж много, – он методом исключения



отмел благонадежных и выявил истинное лицо двуличного сотрудника института Мировой Литературы Андрея Синявского. А дальше все уже было проще простого – в квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Юлику, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.

## **2. БЫТОВАЯ** – и потому весьма вероятная.

Никто никого не искал, а если и искал, то неумело. Но Юлик, брошенный Ларкой, с горя отчаянно загулял, чтобы доказать самому себе, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Юлика бросила Ларка, я еще расскажу в обещанной истории про вторую кошку, а о том, что вытворял сам Юлик, могу рассказать уже сейчас. Одному из наших общих друзей, неплохому харьковскому поэту К., вздумалось зачем-то – я надеюсь, не по заданию, а по собственной инициативе, - стать эротической тенью Юлика, то есть заводить романы со всеми его женщинами, которым не было числа.

К чести этих бесчисленных дам выяснилось, что не только Юлику, но и харьковскому поэту К. удавалось соблазнить их без особого труда. И все они, как одна, нежась в постели с любознательным К., признавались, что неверный, но обожаемый Даниэль каждой из них – каждой, без исключения! – читал свои опубликованные «за бугром» повести. Нетрудно предположить, что кто-то из участников этого спектакля, - возможно даже не один или не одна, - сообщали обо всем куда надо, а дальше все уже было проще простого: в квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.

## **3. ДРАМАТИЧЕСКАЯ** – вполне вероятная.

Ни для кого из современников процесса не секрет, что первая волна пошла по московским салонам после того, как где-то в конце 1963 года Сергей Хмельницкий потерял власть над собой за чайным столом Елены Михайловны Закс. Саша Воронель так хорошо описал этот небольшой эксцесс в 48 номере журнала «22», предваряя напечатанную там исповедь С.Х. «В чреве китовом», что мне не остается

ничего другого, как его процитировать:

«Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были коржики, скромные, но изысканные.

Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: «Что я сейчас слышал! Что слышал...» - и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: «Только что... По автомобильному приемнику... Радио «Свобода»... Потрясающая повесть... «День открытых убийств»... Какой-то Николай Аржак... Невероятно... Невообразимо талантливо ... Вся наша жизнь...»

Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: «Да это ведь Юлька! Я – я сам – подарил ему этот сюжет. Больше никто не знал. Больше никто и не мог. Конечно, это Юлька...»

Я не знаю, ... сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно...»

Было много пересудов насчет мотивов Сережиного эмоционального взрыва. Находились и такие, которые утверждали, что он закричал нарочно, чтобы, когда Юлика посадят, отвести подозрение в доносе от себя и распределить его между всеми присутствующими. Сам же Сережа, даже спустя много лет, настаивает на том, что закричал просто сдуру, потрясенный услышанным – ведь он и вправду подарил Юлику этот сюжет. Хорошо зная его несдержанную манеру, мы склонны в это верить, особенно потому, что потрясен он был не случайно – ведь он абсолютно ничего не знал о кознях своих закадычных друзей.

Как бы то ни было – один ли из гостей Елены Михайловны сообщил кому надо имя предполагаемого

автора крамольной повести или сам Сережа, испуганный происшедшим, поспешил об этом сообщить, неважно. Важно, сообщил ли кто-нибудь? В случае положительного ответа все уже было просто. В квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.

**4. ОФИЦИАЛЬНАЯ** (опубликованная через много лет в «Литературке») – и потому совершенно неправдоподобная.

Е. Евтушенко поведал миру, как один американский писатель, будучи у него в гостях, украдкой вывел его в ванную комнату, открыл краны на полную мощность, - чтобы перехитрить встроенные в стены микрофоны, - и поделился с ним добытыми откуда-то сведениями о том, что ЦРУ раскрыло КГБ настоящие имена Абрама Терца и Николая Аржака. Дальше все уже было проще простого, и даже подслушивающих устройств не потребовалось, чтобы двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.

Но хоть сама Марья Синявская, по утверждению «Литературки», с готовностью подтвердила рассказ Евтушенко (а может быть, именно поэтому), версия эта слишком пестрит несовместимостями, чтобы можно было в нее поверить. Зачем, к примеру, было запирается в ванной комнате, чтобы рассказать историю, известную и ЦРУ, и КГБ, да еще немедленно после рассказа опубликованную в советской газете? А если ЦРУ и впрямь зачем-то выдало КГБ провинившихся писателей, как об этом стало известно таинственному гостю Евтушенко? Они что, сами ему об этом сообщили? И откуда Марья узнала, что все случилось именно по вине ЦРУ, - неужто они перед нею покаялись? И вообще...

**5. ПОЧТИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ** – и потому соблазнительная.

А что, если на миг предположить, будто весь этот непостижимо громогласный судебный процесс был задуман и затеян советскими властями специально для того, чтобы помочь Андрею стать в будущем крупномасштабным

агентом влияния? Не простым скромным журналистом, в нужную минуту попискивающим из угловой колонки своей либеральной лондонской или парижской газеты в пользу тех или иных действий Советской власти, а настоящей международно-признанной фигурой, к мнению которой прислушивается даже американский президент? Потому что именно такой фигурой Андрей Синявский стал после процесса 1966 года.

Естественно, что такие идеи приходят не в каждую голову, а именно в мою – сюжетно-слагающую, но материала для их подкормки можно набрать больше, чем достаточно. Материал этот я кропотливо собирала по крохам в течение двадцати лет жизни за пределами России и просуммировала его, руководствуясь пушкинским «Кто жил и мыслил, тот не может, в душе не презирать людей». И хочу на этих страницах подвести черту.

Начнем с самой идеи агента влияния. Разговоры о том, что такие агенты существуют, всегда бродили по интеллигентским салонам, особенно по зарубежным, но мне пришлось вживе встретиться и даже подружиться с сыном одного из них, архитектором Осей Чураковым. Само это знакомство началось при сомнительных обстоятельствах, в период отчуждения, когда после подачи заявления на выезд Саша затеял одновременно самиздатский журнал и неофициальный научный семинар, в результате чего мы оказались в некоем специфическом вакууме. Кажущуюся цельность этого вакуума то и дело нарушали разные непредвиденные, жаждущие общения, нонконформисты, среди которых непросто было отделить зерна от плевел, то есть понять, кто из них рвется к нам по заданию, а кто по собственной инициативе.

Проникнув к нам летом 1973 года при помощи одной весьма подозрительной богемной дамы неопределенной профессии, которая тут же исчезла с горизонта, Ося Ч. продержался в нашем кругу несколько месяцев, чтобы в один январский день 74-го покинуть нас внезапно и навсегда. Можно было подумать, что его «бросили» на новый объект, заменив кем-то другим. В Зазеркалье он еще пару раз «выходил на нас», словно призрак из прошлого, но

об этих встречах я расскажу потом.

В любом случае, чтобы, раз к нам ворвавшись, надолго при нас задержаться, необходимо было вызвать у нас интерес к продолжению знакомства. Нужно признать, что Ося Чураков справился с этой задачей блестяще. Он заинтриговал нас не только своим живым умом и богатой эрудицией, но и подробностями своей биографии. Выявив перед нами свое совершенное знание английского языка, он, не скрываясь, признался, что получил образование в частной школе в Кройдоне, поскольку его папа много лет подвизался в Англии в должности политического комментатора одной из ведущих английских газет. Ося даже называл папину английской имя, что-то вроде Эрнста Генри, но не в точности, - которое папа после выхода на пенсию и поспешного отъезда в Советский Союз гордо сменил на вполне заурядное имя генерала-лейтенанта КГБ Чуракова. Осино отчество и соответственно папину подлинное – а впрочем, кто его знает? – имя, к сожалению, испарилось из моей перегруженной памяти.

Но идея агента влияния застряла там прочно, помогая мне время от времени находить ответы на затруднительные вопросы, которые ставила передо мной жизнь. Например – зачем Советским властям понадобилось поднимать такой шум вокруг, вообще-то говоря, незначительных прегрешений Аржака и Терца? Кому было выгодно привлечь к ним внимание всей мировой общественности? Кто бы заметил крохотные лодчки их произведений, вышедших в необъятное море западной культурной жизни, переполненное литературными крейсерами и линкорами, не будь они взметены на гребень волны своим непропорционально шумным судебным процессом?

Можно, конечно, объяснить случившееся поразительной неуклюжестью и некомпетентностью советской системы. Но, насмотревшись за эти годы на действия других систем, я стала все больше и больше сомневаться в некомпетентности бывшей нашей. Я убедилась, что в некоторых областях международной жизни, особенно в пропагандистской войне, Советские власти

проявили себя очень ловкими манипуляторами. Хитро используя иллюзию единства интересов мирового пролетариата, а позже лозунги антифашистского движения, они сумели создать многочисленные «боевые отряды» либеральной интеллигенции, которая не без их помощи прибрала к рукам многие контрольные вершины западного культурного мира.

Эти отряды, укомплектованные немногочисленной группой козлов-provokatorov и широкой массой не склонных к раздумьям идеалистов из студентов, профессоров и художников свободных профессий, хорошо сохранились и до наших дней. Они оказались на редкость жизнеспособными благодаря простой и мудрой системе недопущения инакомыслящих к контролируемому козлами-provokatorami интеллектуальному пирогу.

Хоть козлы-provokatory обычно хорошо знают, с какой стороны хлеб намазан маслом, основная масса обычных членов их групп простодушно доверяет их умелой демагогии, много лет назад сформулированной в отделах дезинформации КГБ. Так, например, в начале восьмидесятых охарактеризовал покинутую нами «великую твердыню равенства и братства» один израильский актер, недовольный предложенной ему ролью диссидента в моем фильме: «Я не хочу разоблачать страну, где каждый гражданин может лечить зубы бесплатно». Играть роль диссидента он, правда, в конце концов, согласился – соблазн оказался выше убеждений.

Агенты влияния, несомненно, играли, а возможно и сейчас продолжают играть немалую роль в сохранении стройности боевых когорт прекраснотушных либералов. Я не знаю, кто их финансирует сегодня, но кто-то финансирует – тот, кому надо. Задача агентов – разрешать сомнения наивных и разоблачать «происки клеветников», а для этого им необходимы авторитет и доверие окружающих. Неправда ли недурно было придумано – создать грандиозную героическую фигуру преследуемого властями писателя, а потом выслать его на Запад для вящей убедительности того, что он скажет и напишет?

Внимательно вчитываясь в труды писателя А.

Синявского, я невольно задалась вопросом: насколько его литературное наследие соответствует тому культовому образу, в который его превратил процесс Синявского–Даниэля?

И начала опрашивать встречных интеллигентов, как русскоязычных, так и западных, - читали ли они Синявского? Ответ я получила довольно однозначный: практически никто не читал, но все относились с почтением, - не как к личности, а как к мифу. Миф был создан умело и непререкаемо, культовая фигура была изваяна рукой скульптора-профессионала.

Мне могут возразить: не слишком ли высокая цена – целый судебный процесс ради такой малости? Но хороший агент влияния вовсе не малость, а крупная удача. Особенно если учесть, что к середине шестидесятых годов советским властям стало все трудней и трудней удерживать при себе капризных западных либералов. Так что имело смысл потратиться на судебный процесс. Как сказал по другому поводу Давид Самойлов после чудовищного землетрясения в Ашхабаде:

Господь, поскольку было надо,  
не пожалел и Ашхабада.

А тут даже не Ашхабад – а всего лишь один зал суда, оплаченный из государственного кармана по безналичному расчету, и полтора десятка газетных статей, оплаченных тем же способом. При том нельзя отмахнуться от того факта, что это был первый политический процесс, о котором писали в советских газетах – зачем ИМ это понадобилось? И как получилось, что фотография наших друзей на скамье подсудимых, сделанная якобы исподтишка во время процесса и появившаяся сразу во многих западных газетах, оказалась по недосмотру фотографа снятой не из зала, а со стороны судебных заседателей? Неужели ее сделал сам судья? Или, может, даже прокурор?

А если да – то зачем?

Конечно, остаются еще вопросы, на которые нелегко ответить. Самый трудный из них – а как же Юлик? Его-то за что?

Ни при какой погоде не мог он быть посвящен в такой план, и ни при какой погоде не согласился бы в нем участвовать. Он не стал бы ничьим агентом, хоть сидел тяжело, в Европу на льготных условиях не уехал и на обед к президенту США приглашения не получал. Однако мировую известность за компанию с Андреем все же приобрел. Согласился ли бы он за мировую известность на пять лет отправиться в лагерь тяжелого режима? Похоже, согласился бы – уж я-то знаю, как он радовался каждой новой вышедшей книге: мы по этому поводу всякий раз устраивали небольшой выпивон в узком кругу. Тем более что он, как и любой нормальный человек, бессознательно надеялся на удачу – авось, его псевдонимное авторство сойдет ему с рук? Но что бы он сказал, если бы знал наверняка, что пять лет ему обеспечены?

А сам Андрей? Уж он-то, если поверить этой соблазнительной версии, не сомневался, что его ждут тюрьма и лагерь. Неужели его тщеславие было так велико, что он готов был смириться со всеми лишениями лишения свободы?

Во-первых, зная своих собратьев по перу, я склонна и на этот вопрос ответить положительно. Но писательское тщеславие - всего лишь верхушка айсберга. Там, в глубине, скрытые мощной толщей воды, хранятся более сложные тайны. Вряд ли нам когда-нибудь удастся узнать, что могло бы заставить Андрея принять предложение властей стать агентом влияния такой дорогой ценой, разве что Марья выдаст под занавес какой-нибудь свой вариант.

Остаются только догадки. Ради какой непонятной миссии возили Синявского в 1952 году в Вену на военном бомбардировщике для свидания с дочерью французского военного атташе Эллен Замойской, как он сам туманно описывает в автобиографическом романе «Спокойной ночи»? Ведь он этого не объясняет и даже завесу тайны не приподнимает ни на миллиметр. Почему бы не предположить, что миссия состояла именно в соглашении о том, каким образом задуманная Андреем крамольная повесть «Суд идет» по написании будет передана Замойской и издана ею во Франции ко всеобщему удовлетворению?



Причем вовсе не обязательно, что Замоискую посвятили во все тонкости хитроумного плана вездесущих органов, ей, небось, предложили какое-нибудь не слишком правдоподобное объяснение, которое она вынуждена была принять. Или притвориться, что принимает. Тем более что скорей всего ни у нее, ни у Андрея не было большого выбора – я ясно представляю себе, как во время этих переговоров они печально склоняют друг к другу головы, зажатые большими ржавыми тисками, чтобы не вздумали своевольничать. Они и не вздумали, а то бы им век свободы не видать! Как Раулю Валленбергу, например, который наверняка не понял, с кем он имеет дело.

А кто из нас бросит камень в того, кто в подобных обстоятельствах сдался бы на милость всемогущего? Уж во всяком случае, не я – откуда я знаю, как бы повела себя в подобном случае я сама? Вряд ли бы стала своевольничать, но мне просто повезло, и никто мне голову ржавыми тисками не зажимал.

А что до лагерных мук, то надо еще выяснить, как велики были муки Андрея в лагере. Если верить слухам, Андрей свои шесть лет сидел на весьма сносных условиях, и на работу его гоняли не слишком усердно. Во всяком случае, не на такую тяжелую, как беднягу-Юлика, который шил варежки, до умопомрачения выполняя норму, так что у него обострился оставшийся от фронтового ранения остеомиелит, и кость предплечья начала расслаиваться, вонзаясь в мясо сгнившими осколками.

Впрочем, можно ли верить слухам? Злопыхателей и завистников на свете много, так что лучше всего полагаться на собственные наблюдения. Основываясь на собственных наблюдениях, я могу сказать наверняка – Андрею в лагере никто не мешал и не запрещал писать. Я своими глазами прочла великое множество законно присланных им Марье из лагеря писем – это были готовые главы из «Прогулок с Пушкиным» и из «Голоса из хора». Это означает, что у него была бумага и ручка, было время и силы писать, и возможность отправлять написанное по почте.

И невольно хочется сравнить все эти блага с судьбой другой книги, написанной в тех же Мордовских лагерях, – с

«Мордовским марафоном» главного героя «Самолетного процесса», Эдуарда Кузнецова, в расшифровке и издании которой мне пришлось принимать непосредственное участие.

Когда уже в Израиле нам предложили заняться тайно переправленной из СССР рукописью этой книги, мы открыли коричневый бумажный пакет, вытряхнули его содержимое на стол и обомлели – на столе высилась небольшая кучка крошечных (2,5 см. на 4 см максимум) листочков какой-то странной, тонкой, как кисея, особенной бумаги. Каждый листочек был густо исписан с двух сторон мельчайшим бисерным почерком, так что невооруженным глазом невозможно было прочесть ни слова.

Что можно было с этим сделать? Мы нашли единственный выход – сфотографировать каждый листочек с большим увеличением. Эта работа оказалась очень дорогой, своих денег у нашего скромного культурного фонда на нее не было, и, я помню, мы долго торговались с заинтересованной в рукописи Кузнецова конторой о том, какую часть они оплатят. Полученный после проявления и увеличения результат требовал огромной работы по расшифровке, потому что каждый отпечаток был покрыт плохо проступившими слипшимися строчками. Расшифровкой рукописи занялась Наталья Рубинштейн, бывшая специалистка по расшифровке рукописей из ленинградского музея Пушкина, которая воистину героически довела ее до читабельного вида.

Но не в расшифровке листочков Кузнецова состояла главная трудность создания книги «Мордовский марафон». Главную трудность должен был до того преодолеть сам автор, чтобы ее написать и переправить из лагеря на волю. Э. Кузнецову было запрещено не только писать, но даже просто иметь ручку и бумагу, причем за каждое мельчайшее нарушение запрета его сажали в карцер. И все же книга была написана, переправлена в Израиль и издана нашим фондом «Москва-Иерусалим».

Как же Кузнецов сумел это сделать? Проще всего обстояло дело с ручкой. Ее в виде шарикового стержня умудрялась передать ему при свидании тогдашняя его жена

Сильва Залмансон, а он этот стержень – благо маленький, – прятал на день в каком-то тайнике. Ночью, когда сотоварищи по бараку – и друзья, и стукачи, – засыпали, Эдуард, отвоевавший себе место на верхних нарах, пристраивался у слепого окошка и писал свой роман мельчайшим почерком при свете мигающего неподалеку сторожевого фонаря.

На чем же он его писал? Откуда брал эти крохотные листочки? Это были обрывки промасленных бумажных прокладок для конденсаторов, которые он тайком уносил из своего рабочего цеха. Их нужно было долго варить в кипятке, чтобы превратить в писчую бумагу. Поскольку передавать тайком такие листочки было очень трудно, Кузнецов писал на них самым убористым почерком, на какой был способен, выгадывая каждый квадратный миллиметр. После чего нужно было хорошенько спрятать исписанный листочек, чтобы его, не дай Бог, не нашли при шмоне. А главное – нужно было потом тщательно упаковать пачечку исписанных листочков в расчете на долгое хранение для последующей транспортировки на волю.

На упаковку шла верхняя оболочка разрешенной в лагере стограммовой пачки чая, сделанная из тонкой свинцовой фольги. Кузнецов сворачивал пачку листов рукописи в тугий свиток, заворачивал его в фольгу и обжигал полученный цилиндрик на горячей спичке, чтобы он запаялся. Когда наступало время трехдневного свидания с Сильвой, он перед уходом на свидание проглатывал цилиндрик вместе с большой дозой слабительного. В комнате для свиданий супруги Кузнецовы дожидались благополучного выхода цилиндрика из кишечника Эдуарда, после чего его тщательно мыли, и теперь уже Сильва проглатывала его перед уходом. Не знаю точно, сколько таких сдвоенных «заглатываний» понадобилось на передачу всей рукописи «Мордовского марафона», но я была среди первых, кто видел эти листки своими глазами. Они нисколько не напоминали красивые, белые, свободно заполненные крупным почерком Андрея листы рукописи «Прогулок с Пушкиным».

Кроме несоответствия ситуации с пересылкой текстов из лагеря я могла бы назвать еще несколько

смущающих мою душу историй. Ну, как объяснить письмо-донос в ЦРУ на парижскую эмигрантскую газету «Русская мысль», не теряя при этом благорасположения к его авторам? Письмо, обстоятельное, на многих страницах, было написано где-то в начале 80-х. Оно обвиняло газету в самых чудовищных грехах:

В недостаточном знании и понимании поэтики А.С. Пушкина.

В недостаточном понимании событий, происходящих в СССР, в особенности в диссидентском движении.

В излишнем потакательстве православной церкви, тогда как интеллигенция СССР в массе своей состоит из атеистов.

За эти грехи предлагалось «Русскую мысль» поскорей закрыть, а положенное ей скромное финансирование передать авторам письма, гораздо глубже понимающим Пушкина, дабы они смогли издавать другую, лишенную указанных недостатков газету. Письмо подписали три богатыря: А. Синявский, Член Баварской Академии Искусств, Е. Эткинд, профессор-литературовед, специалист по современной французской литературе, и К. Любарский, главный редактор журнала «Страна и мир».

Не в силах противостоять богатырскому натиску именитых авторов письма, ЦРУ поступило тем проверенным гнусным образом, к какому склонны многие бюрократические образования, - оно переслало письмо в «Русскую мысль», предлагая, чтобы они сами разобрались с доносчиками. «Русская мысль» прореагировала стремительно – она немедленно опубликовала письмо-донос на своей первой полосе.

То-то шуму было! Ведь авторы письма все это время продолжали изображать из себя лучших друзей редакторов самой старой и престижной газеты российского эмигрантского сообщества. Они дружили как с Ириной Иловойской-Альберти, так и с Ариной Гинзбург, регулярно перезванивались и ходили друг к другу в гости, обмениваясь при встрече нежными поцелуями.

Я понимаю, что главная вина падает на коварное ЦРУ – ну зачем им понадобилось пересылать письмо в

«Русскую мысль»? Только, чтобы посеять рознь и недоверие в эмигрантской среде. А не то, там бы и по сей день царили взаимная любовь и благолепие, которые Ф. Достоевский когда-то очень верно охарактеризовал словами – «стакан, полный мухоедства».

И все же, понимая пагубную роль адресата письма, хочется заглянуть и в личные дела его авторов. Трудно представить себе, что Андрей стремился издавать газету – он ведь терпеть не мог ни многолюдья, ни спешки, ни житейской суеты. Конечно, захватить в свои руки газету могла возжаждать Марья, обнаружившая, что издание «Синтаксиса» не приводит к так точно сформулированному ею желанному результату – «чтобы ее боялись». Газета этой цели, несомненно, могла бы служить лучше. Но стал ли бы Андрей пачкать руки доносом ради пустого Марьиного каприза?

А что насчет следующего «подписанта» – профессора Ефима Эткинда? Я не могу о нем написать ничего, – ни хорошего, ни плохого, – поскольку видела его всего один раз в жизни. Но не могу не пересказать любопытную историю, рассказанную лично нам с Сашей бывшим атташе французского посольства в СССР, Степаном Татищевым.

Началась она еще в те незапамятные времена, когда чтение и хранение произведений А. Солженицына каралось в Стране Советов тюремным заключением. Среди моих друзей есть, по крайней мере, трое, получивших изрядные сроки за чтение «Архипелага ГУЛАГ».

Опасаясь за сохранность своих рукописей, А. Солженицын отозвался на серию дружеских писем одной из своих почитательниц, жены Эткинда – Кати, и тайно передал ей эти рукописи в Ленинград на хранение.

Когда над головой А. Солженицына собрались грозные тучи и его арестовали, Эткинд с женой, естественно, испугались – ну кто бросил бы в них за это камень? И решили от рукописей избавиться. Но как люди интеллигентные, они не хотели уничтожать такую ценность и выбрали другой путь. Эткинд лично упаковал рукописи в большую хозяйственную сумку и повез их в Москву. Там, он

положил их в локер при камере хранения на вокзале и запер ящик секретным кодом. Потом подошел к ближайшему телефону-автомату и набрал номер культурного атташе французского посольства, с которым до того имел дела как специалист по современной французской литературе.

Забыв почему-то, что все посольские телефоны прослушиваются, он четко продиктовал С. Татищеву номер локера и секретный код. Естественно, что когда Татищев приехал на Ленинградский вокзал, открыл локер и вынул оттуда сумку с крамольными рукописями, на плечо ему легла тяжелая рука майора Пронина, и он обнаружил, что окружен группой людей в штатском. В результате рукописи Солженицына были конфискованы, а Татищев и Эткинд почти одновременно отбыли во Францию – Эткинд, снабженный разрешением на постоянное жительство за границей, а Татищев, лишенный дипломатической неприкосновенности за попытку переправить за рубеж литературу, подрывающую существующий строй.

На чей-то вопрос, почему он вызвал Татищева по посольскому телефону без всяких предосторожностей, Эткинд ответил, что мысль о подслушивающих устройствах ему даже в голову не пришла. В этой точке своего рассказа Татищев, рожденный в аристократической семье в Париже, вдруг позабыл весь свой аристократизм и перешел на обыкновенный русский мат, выученный им за годы его дипломатического пребывания в Москве.

«Ему, трам-та-ра-рам, эта мысль в голову не пришла! – завопил он, трясясь от бешенства. – Хотел бы я увидеть, трам-та-ра-рам, такого советского интеллигента, у которого эта мысль хотя бы на миг в его трам-та-ра-рамной башке перестала гвоздить!» Надеюсь, никому не нужно объяснять, на что этот аристократ намекал.

Ничего не скажешь, в хорошем обществе оказался Андрей со своим письмом, предлагающем закрыть старейшую газету российской эмиграции! Правда, о покойном Крониде Любарском я ничего компрометирующего сказать не могу, - и потому думаю, что его взяли в компанию именно, как ничем себя не запятнавшего, – для камуфляжа.

Я понимаю, что все приведенные мной соображения – всего лишь косвенные свидетельства в пользу версии об агенте влияния, и вполне могут оказаться случайным набором разрозненных фактов. Но если в этой версии есть хоть доля правды, мне немного жаль Андрея-авантюриста. Ведь, садясь в тюрьму, – пусть хорошую, пусть милосердную, но все же тюрьму, – он вырвался из рядов и стал первым писателем земли Русской. Это немало, за это можно и пострадать! Но когда он вышел, он обнаружил, что место первого писателя земли Русской занято другим – за эти годы высоко взошла звезда Александра Солженицына.

И Андрею пришлось признать первенство Солженицына. Он, конечно, сделал это по-своему, по-Синявски, двулико и лукаво. Он сказал нам:

«Солженицын – писатель большой, он может позволить себе писать плохо. А я – писатель маленький, я должен писать только хорошо!»

Похвалил он Солженицына или обругал? Понимай, как знаешь.

\*\*\*

Версий у меня получилось слишком много, и каждая грешит несовершенством. И поэтому ни одна не может конкурировать с цельным образом кошки Мурки, изрыгающей проклятия в наглухо закрытой машине. Я не говорю о Юлике и Андрее – у них были свои дела и свои отношения с властями, я всего лишь настаиваю, что для нас все началось с кошки.



## Борис Тененбаум

# Наполеон о Макиавелли, или некая загадка

I



еловек, возглавлявший вторжение в Италию в 1796 году, спустя примерно два с половиной века после смерти Макиавелли, был не государем, а всего лишь генералом Республики. Но определению идеального государя как "...комбинации льва и лисы..." он соответствовал просто идеально. Качества "льва" он продемонстрировал совершенно наглядно, сокрушив все посланные против него армии Империи. А "лисой" оказался такой, что самые изощренные австрийские дипломаты называли его не иначе, как "...бессовестным сутягой..." и "...вымогателем...". Но подписали все, что он им продиктовал - у них не было другого выхода. Конечно, генерал Наполеон Бонапарт был не Чезаре Борджиа, он не приказывал удавить людей, с которыми у него возникали мимолетные разногласия. Но вот Венецианскую Республику, пережившую Республику Флоренцию на две с лишним сотни лет, ликвидировал без всяких колебаний, и в точном соответствии с рекомендацией Никколо - из соображений целесообразности. Ему был нужен разменный материал для завершения войны с Австрией, вот и все - а Венеция, хоть и была нейтральна, но подвернулась под руку. Он вообще широко относился к чужому имуществу. Во Францию хлынул поток денег и прочих ценностей, включая конфискованные мимоходом предметы искусства.

В этой связи есть смысл заглянуть в "Государя", мы найдем там вот что:

*"...Если ты ведешь войско, которое кормится добычей, грабежом, поборами и*



*чужим добром, тебе необходимо быть щедрым, иначе за тобой не пойдут солдаты.*

*И всегда имущество, которое не принадлежит тебе или твоим подданным, можешь раздаривать щедрой рукой...”.*

Позднее, когда Наполеон станет уже не генералом, а повелителем половины Европы, он будет слыть весьма экономным и даже прижимистым государем. И Макиавелли объясняет нам, почему это произошло:

*“...ради того, чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать по неволе алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – это один из тех пороков, которые позволяют ему править.*

*Если мне скажут, что Цезарь проложил себе путь щедростью и что многие другие, благодаря тому, что были и слыли щедрыми, достигали самых высоких степеней, я отвечу: либо ты достиг власти, либо ты еще на пути к ней.*

*В первом случае щедрость вредна, во втором - необходима. Цезарь был на пути к абсолютной власти над Римом, поэтому щедрость не могла ему повредить, но владычеству его пришел бы конец, если бы он, достигнув власти, прожил дольше и не умерил расходов...”.*

Что же касается неслыханных контрибуций, которые он выжимал из побежденных, то и тут все ясно:

*“...А если мне возразят, что многие уже были государями и совершали во главе войска великие дела, однако же слыли щедрейшими, я отвечу, что тратить можно либо свое, либо чужое. В первом случае полезна бережливость, во втором - как можно большая щедрость...”.*

Как мы видим, Наполеон, великий практик науки власти, с большой точностью следовал всем рекомендациям Макиавелли, великого теоретика власти - но при этом очень охотно говорил, что Макиавелли, как истый теоретик, *“...ничего не понимал в делах правления...”.*

А Наполеон, надо сказать, в политике очень не любил теоретиков:

*“...Я никогда не мог одолеть больше одной страницы Тацита, это – невероятный болтун...”.*

## II

Хотя казалось бы - к Никколо, великому стороннику реальности, великий император мог бы подойти и поспиходительнее? Скажем, вот эта мысль Наполеона кажется чуть ли не буквальной цитатой из *"Государя"*:

*"...Девятнадцать из двадцати тех, кто управляет, не верит в мораль, но они заинтересованы в том, чтобы люди поверили, что они пользуются своей властью не во зло: вот что делает из них порядочных людей..."*.

Может быть, и мог бы, но он видел Никколо Макиавелли глазами великих философов своего века. А как видели его они? Ну, в качестве примера можно сослаться на Руссо[1], который был свято убежден, что все, написанное Макиавелли, есть скрытое поучение народам, красноречиво описывающим им весь ужас тирании правления одного над многими.

И это было в полном согласии с тем, что думали на этот счет знаменитые энциклопедисты, в первую очередь Дидро[2]:

*"...Когда Макиавелли писал своего "Государя", этот труд был как бы предупреждением согражданам: прочтите эту книгу самым внимательным образом. Если вы позволите кому бы то ни было стать вашим хозяином, он поведет себя так, как я описал для вас во всех подробностях. Вот он, дикий зверь, которому вы отдадите себя ...Ошибкой современников было то, что они приняли злую сатиру за хвалебный гимн..."*.

А поскольку Наполеон именно и основал во Францию совершенно самодержавный режим Империи, и к написанию конституционных документов подходил с точки зрения, которую он выразил однажды с истинно военной лапидарностью: *"...да, да, пишите так, чтобы было коротко и неясно..."*, то понятно, как он мог отнестись к работе Никколо.

*"Государь"* написан коротко, но очень, очень ясно. Оговоримся - написан ясно, если говорить только о его содержании, а не о его цели.

Вот она действительно неясна...

А неясность цели, с точки зрения Наполеона - и

вправду раздражающий фактор. Если Дидро прав, и это сатира, то Макиавелли опасный агитатор, желающий возродить "... прискорбные воспоминания ..." о ликвидированном Наполеоном республиканском режиме. А если "Государь" все-таки не сатира, а объяснение сути системы правления самодержавного владыки, то тем более книга эта вредная и совершенно излишняя.

Если уж император Наполеон гневался на газеты, которые его хвалили (не ругали, а хвалили) за то, что они смеют судить о принимаемых им мерах, то как же он должен был сердиться на автора, объяснявшего даже не меры, а мотивы, на основании которых эти меры принимались, или могли быть приняты?

На острове Св. Елены, он сказал Лас-Казу следующее:

*"...Я перечитываю Макиавелли всякий раз, когда позволяют мои болезни и занятия, и все более убеждаюсь, что он – профан..."*

Примем это высказывание с долей сомнения - у императора Наполеона для его столь негативной оценки были свои мотивы.

Ну, например – досада на то, что его поняли слишком хорошо?

### III

Когда Макиавелли убрал из своего политического трактата "*Государь*" идею этики как ненужную ему для его логических построений, он сделал нечто подобное Лапласу, убравшему идею бога из астрономических выкладок на основании того, что в этой гипотезе он не нуждается[3].

Эта зияющая пустота на месте, "*...где должен быть Бог...*", сводила его современников с ума.

То, что католики считали Макиавелли порождением Дьявола - это понятно само по себе без всяких объяснений. Если даже не прибегать к сильным определениям кардинала Поупа вроде его знаменитого "*...палеца Сатаны...*", и использовать выражения помягче, то все равно получится вот что: "*...соучастник дьявола в преступлениях...*", "*...писатель без чести и без веры...*", ну, и так далее.

То, что протестанты относились к нему не лучше,

тоже само собой разумеется - к вере они относились очень серьезно. Для английских публицистов елизаветинской поры Макиавелли - для них это человек, которого "...*дьявол уполномочил вести добрых людей к погибели ...*", это "...*великий разрушитель...*", "...*учитель зла...*", и даже почему-то "...*вдохновитель Варфоломеевской ночи...*".

Утверждалось, что он – прототип всех шекспировских злодеев, начиная с Яго. Его именовали "...*кровожадный Макиавель...*" - и даже его имя, Никколо, обыгрывалось как псевдоним Сатаны, который в английской традиции именуется "*Старина Ник*".

С течением времени это ставшее уже чем-то вроде ритуала поношение продолжалось - Фридрих Великий называл Макиавелли "...*врагом рода человеческого...*", хотя в своей государственной деятельности следовал советам Макиавелли с неуклонной последовательностью...

В свое время "*Государь*" был отвергнут и гуманистами. С богом у них отношения были не больно-то ясны, многие из них были атеистами, но вот в отношении нравственности и установления справедливости – тут они были тверды.

Но у Макиавелли нет никаких ссылок на идеальный порядок Платона или Аристотеля, и нет ровно ничего о месте человека в природе, "...в великой цепи бытия...", и отсутствие в книгах Никколо этих понятий как "...*истинной цели правления...*" раздражало их просто безмерно.

Так он и жил себе в своем "*посмертном существовании*" - таким же одиноким и изолированным, каким он был и в своей земной жизни.

Было, правда, некое формальное облегчение - Макиавелли стали именовать "...*темным гением Ренессанса...*". То есть идея тут состояла в том, что совершенно так же, как и другие гении того времени - например, Леонардо да Винчи - он глубоко верил в неограниченные возможности человека, считал его "...*мерой всех вещей...*", а в суждениях своих опирался на эмпирический опыт и на собственный разум. Фрэнсис Бэкон, знаменитый ученый, утверждал, что Макиавелли подошел к проблеме политики научным образом. В общем, Никколо

включался в плеяду гениев-гуманистов своего времени, ну, а то, что он заглянул, так сказать, на темную сторону человеческой природы - так на то он и ученый, чтобы не пропускать и эту сторону бытия человеческого...

Первым из крупных мыслителей, кто попытался примирить понятие "*справедливость*" с именем "*Макиавелли*", был, по-видимому, Спиноза. Именно ему принадлежала идея рассматривать "*Государя*" не как инструкцию для тиранов, а как сатиру и предостережение. И мы уже знаем, что эта мысль была подхвачена и развита позднее такими людьми, как Руссо или Дени Дидро.

Но в 1802 году в Германии в обращение было пущено совершенно новое истолкование "*Государя*".

#### IV

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel) родился в 1770, в Штутгарте в семье крупного чиновника, секретаря казначейства при дворе герцога Вюртембергского.

Предки его жили в наследственных владениях императора Карла V, в Каринтии, но в споре Мартина Лютера с Церковью встали на сторону Лютера, и им пришлось бежать туда, где их единоверцев не преследовали.

За два с половиной столетия, прошедших со времен Лютера, религиозные страсти улеглись, лютеранство стало вполне признанной конфессией, и юный Гегель учился в Тюбингенском теологическом институте (богословской семинарии) при Тюбингенском университете.

Он даже был членом студенческого политического клуба, увлекавшегося идеями Французской революции - веяния нового века не обошли своим влиянием и студентов-теологов.

Этот новый век, оптимистично названный Веком Разума, вызвал потрясения по размерам не меньшие, чем те, что сотрясали Европу в эпоху Реформации. Французская Республика, очень скоро ставшей Империей, понесла за границы Франции уже не только идеи - ее экспансия стала носить самый что ни на есть осязаемый характер вторжений. И не только в Италию, о которой мы уж поговорили в самом начале этой главы, отнюдь нет - военные операции шли и на

Рейне.

И вот в 1802 году Гегель, обладатель невероятного по силе интеллекта, обратил свой взор в сторону Никколо Макиавелли. И в рукописи “Конституция Германии” сказал он о нем следующее:

*“...Если рассматривать "Государя" в его историческом контексте - раздробленная, оккупированная, униженная Италия - ... он предстанет перед нами как истинно великое творение подлинного политического ума высокой и благородной направленности...”*.

Дело тут не в том, что Гегеля вдруг заинтересовала политика - в конце концов, для человека, который поставил своей задачей опровержение формальной логики Аристотеля и замену ее логикой диалектики[4], это была мелкая прикладная проблема.

Нет, его интересовала проблема германской государственности. И в ходе исследования он приходит к защите *"властной руки завоевателя"* (die Gewalt eines Eroberers), который станет объединителем германских земель, высказывает надежду на возрождение Германской империи, на воссоздание в Германии единой государственной организации.

И в этой связи Гегель находит Макиавелли своим предшественником, жившим в аналогичной ситуации в Италии, написавшим совершенно правильные вещи. Действительно, политика и этика не пересекаются. Они существуют, если так можно выразиться, в разных плоскостях. И Государь вовсе не сатира, чтобы там ни говорил Руссо и прочие, а руководство к действию. Нужна только небольшая поправка.

Вместо слова *"Государь"* следует употребить слово *"Государство"*.

## V

Ну, что бы там ни говорил Маркс, а философы все-таки не изменяют мир. Вселенскую Церковь взорвал не Мартин Лютер, а всеобщее негодование ее разложением и тленом, и в этом смысле *"...агитационный вклад..."* папы Александра VI в дело Реформации, был, пожалуй, не меньше лютеровского. Это он, и очень многие, подобные ему,

совместными усилиями создали тот пороховой склад, спичку в который бросил Мартин Лютер.

Во вспышке национализма, происшедшем в Европе в XIX веке, свою роль сыграло многое - и идеи Французской Революции, согласно которым суверенитет принадлежит не государю, а нации в целом, и завоевания Французской Республики, и неслыханные успехи ее армий под командованием Наполеона, и неистовый грабеж побежденных, который установила его Империя, и ответную реакцию на все это в Испании, в Германии и в России - в общем, факторов было много.

В частности – вереница побед императора Наполеона. Но и "... спичка Гегеля ..." сыграла свою роль, и его идея о наличии национального Духа, находящего свой выход в национальном Государстве, тут очень пригодилась.

Объединенное Королевство Италия Кавура, созданное в 1861, и Германская Империя Бисмарка, созданная в 1870, оказались логическим следствием слов Гегеля, сказанных им в 1802, и получилось, что такие разные люди, как Мольтке и Гарибальди, сходились друг с другом "*...на почве преданности национальной идее...*".

Но, как-никак, мы говорим сейчас не об истории Европы в XX веке, и не о Гегеле, и не о национализме, докатившемся в конце концов из Европы к местам и подальше от нее - нет, мы говорим об учении Никколо Макиавелли. Мощный интеллект Гегеля мимоходом модифицировал важнейшую из работ Макиавелли: оказалось, что слово "*государь*" не константа, а всего лишь переменная, примерно как "*икс*" в алгебраическом уравнении. Гегель заменил этот "*икс*", сменив понятие "*государь*" на понятие "*государство*".

Но, как оказалось, возможны и другие варианты.

## VI

Лет эдак через 130 после работы Гегеля, связанной с германской конституцией, наследием Никколо занялся еще один человек, на этот раз не немец, а итальянец. Он был четвертым из семи детей в семье мелкого служащего, поэтому собственных средств у него не было, да к тому же еще и отец его сел в тюрьму за служебные злоупотребления,

так что всему семейству пришлось нелегко. Но у него оказались исключительные способности – и он все-таки сумел получить образование – учился в Туринском университете, на филологическом факультете. Очень увлекся социализмом. В 1922-1923 годах был делегатом в Исполкоме Коминтерна и жил в Советском Союзе, даже встречался с Лениным. Женился на русской девушке, да еще из семьи революционера, друга семьи Ульяновых.

В мае 1924 года вернулся в Италию. В том же году создал газеты компартии «l'Unità» («Единство»), занимался не только газетой, а и политикой.

В общем, Антонио Грамши - так звали нашего героя - стал основателем коммунистической партии Италии. Возглавлял в 1924-1926 годах парламентскую группу коммунистов, выступал с жесткой критикой фашизма. А надо сказать, что с 1922 года премьер-министром Италии был человек по имени Бенито Муссолини, основатель фашистской партии Италии.

Можно понять, что Грамши с Муссолини друг друга сильно не любили.

7 апреля 1926 года англичанка Виолета Гибсон стреляла в Муссолини из револьвера. Не попала - пуля лишь задела его нос. Как ни странно - отделалась она легко, ее признали ненормальной и быстренько отправили в Великобританию.

Английский паспорт – и английский флот, полностью господствовавший в Средиземном Море - в то время пользовались в Италии таким уважением, что даже покушение на итальянского премьер-министра было спущено на тормозах, причем распорядился на этот счет как раз сам премьер-министр. Но, понятное дело, со своими можно было разобрататься покруче.

Заглянем по установившемуся у нас уже обыкновению в энциклопедию:

*“...8 ноября 1926 года за революционную деятельность фашисты арестовали Грамши и сослали на остров Уstica. В 1928 году фашистский трибунал приговорил его к 20 годам тюремного заключения (затем в результате нескольких амнистий этот срок был сокращён*



— он истекал в 1937 году). Там и были написаны почти три тысячи страниц, составивших ядро творческого наследия Грамши — знаменитые *"Тюремные тетради"*...".

Как ни странно, Антонио Грамши был действительно освобожден в 1937, но умер буквально через несколько дней после освобождения от кровоизлияния в мозг. Так что, как правильно сказано в энциклопедии, ядро созданного им - это его *"Тюремные Тетради"*.

И вот в них есть работа, посвященная нашему старому другу, Никколо Макиавелли.

## VII

Грамши был основателем итальянской компартии. Отзывы *"отцов-основателей"* марксизма о человеке, его заинтересовавшем, были самые положительные: Маркс называет *"Историю Флоренции"* *"шедевром"*, а Энгельс (в *"Диалектике природы"*) говорит о Макиавелли как об одном из "титанов" Возрождения, как о человеке, свободном от petit-bourgeois взгляда на мир.

Русский читатель, разумеется, может предположить, что работа Антонио Грамши была немедленно переведена на русский и издана в Советском Союзе немалым тиражом?

Коли так, то читатель очень ошибается. Во-первых, *"Тетради"* далеко не сразу дошли до СССР — тут вмешались многие факторы. И то, что рукописи было нелегко разобрать и привести в порядок, и нелегко переправить в СССР. А в 1939 началась Вторая мировая война, и стало как-то не литературного наследия.

Во-вторых — и в главных — в дело вмешалась политика. Недаром же Никколо Макиавелли утверждал, что политика главней идеологии?

В 1934 году в Москве в русском переводе вышла книга Макиавелли *"Государь"*. Предисловие к ней написал Каменев[5]. Ну, и в предисловии было сказано несколько лестных слов в адрес Никколо. Он там назван и как *"...активный публицист, исследующий механизм борьбы за власть внутри и между итальянскими принципами..."*, и как *"...социолог, в совершенстве проанализировавший социологические "джунгли"..."*, и даже говорится, что

“...подход Макиавелли к проблеме власти и свобода от метафизических и теологических фантазий делают его достойным предшественником Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина...”.

Ну, что сказать? Каменев был уже в ту пору в опале, все свои высокие посты в руководстве потерял, и занимался только делами издательства “Academia”. В конце того же 1934 года его арестовали, в конце августа 1936 – расстреляли, предварительно протаскив по трем процессам[6].

Ну, а хвалебные слова о Макиавелли и кощунственное сравнение его с “*корифеями марксизма*” поставили в вину – на чем настаивал прокурор Вышинский. После этого надолго исчезла из обращения и сама книга “*Государь*”. Не знаю, была ли она формально запрещена, но изъята из библиотек – безусловно. Хотя бы из-за предисловия.

Вместе с книгой Макиавелли канул в небытие и посвященный ей текст Грамши.

### VIII

Времена, однако, менялись и в СССР. В 1982 году в СССР вышла книга “*Макиавелли. Избранные Сочинения*”. Тираж - аж 75 тысяч экземпляров, по теперешним временам дело очень редкое. При книге имеется огромное предисловие, написанное К. Долговым – и добрая треть этого текста вертится вокруг Грамши.

Автор предисловия, я думаю, был человеком очень знающим, но сейчас читать его текст довольно тяжело. Забираться в глубины философии – задача для огромного большинства людей непосильная. Да и время публикации пришлось на такой политический момент, когда обильное цитирование Ленина, Маркса и Энгельса все еще считалось абсолютно необходимым, вне зависимости от контекста. Лично видел статью, где на основании телеграммы Ленина с инструкцией послать на Южный Фронт пару аэропланов утверждалось, что “...*Владимир Ильич был родоначальником штурмовой авиации...*”.

Так что отложим текст К. Долгова в сторону и попробуем поглядеть в оригинал, то есть непосредственно в

то, что написал Антонио Грамши. У него есть, например, сочувственно процитированное высказывание другого исследователя, Короче, о "науке Макиавелли" как о техническом учебном пособии:

*"...будучи наукой, макиавеллизм служит в такой же мере реакционерам, как и демократам, подобно искусству фехтования, которое служит как порядочному человеку, так и разбойнику, как для того, чтобы защищать свою жизнь, так и для того, чтобы убивать..."*.

Задается извечный вопрос - о целях написания "Государя"[9]. Отмечается, что все крупные политические деятели отрещиваются от макиавеллизма, но неизменно следуют его правилам:

*"...Преследовал ли он моралистические или политические цели? Принято говорить, что правила, установленные Макиавелли для осуществления политической деятельности, «применяются, но не провозглашаются»; говорят, что великие политики начинают с проклятий Макиавелли, с объявления себя антимакиавеллистами именно для того, чтобы иметь возможность свято следовать его правилам, претворяя их в жизнь..."*.

Задается логичный вопрос:

*"...Не был ли Макиавелли нукудышным макиавеллистом, одним из тех, кто знает «правила игры» и по глупости обучает им других, тогда как вульгарный макиавеллизм предписывает прямо противоположное?"*.

Дальше делается весьма спорное утверждение:

*"...Учение Макиавелли не было в свое время чисто книжным, достоянием одиноких мыслителей; «Государь» не был сокровенной книгой, имевшей хождение только среди посвященных..."*.

Вообще говоря, это неправда. Книга "Государь", в принципе, писалась буквально для аудитории из дюжины людей: кого-нибудь из Медичи, двух-трех их советников, и нескольких личных друзей Никколо Макиавелли. Ее опубликовали уже после его смерти - а то, что книга разошлась в рукописных копиях, самиздате того времени, объясняется только взрывной силой самого текста, а вовсе

не намерениями автора.

Но спорить с Грамши мы не будем, а просто послушаем, что он говорит дальше:

*“... Стиль Макиавелли – это никак не стиль тех систематических трактатов, которые сочинялись и в средние века и в пору гуманизма; это стиль человека действия, писателя, который хочет побудить к действию, это стиль партийного манифеста...”*

То есть Антонио Грамши утверждает, что сказанное Макиавелли есть вовсе не *“...инструкция по фехтованию...”*, и уж тем более не сатира, а партийный манифест. Партийный манифест какой партии? Ну, как какой? Народной, естественно:

*«...Государь» Макиавелли мог бы рассматриваться... как порождение конкретной фантазии, воздействующей на разъединенный и распыленный народ, с тем чтобы всколыхнуть его и организовать в нем коллективную волю...”*

Методы действия, изложенные в “манифесте”, Грамши представляются вполне правильными:

*“...Макиавелли рассуждает о том, каким должен быть Государь, чтобы привести народ к созданию нового Государства, и его рассуждения ведутся строго логично, научно отрешенно...”*

А дальше следует взрыв эмоций – но эмоций не Никколо Макиавелли, а Антонио Грамши:

*“...сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, ...вся «логическая» работа оказывается не чем иным, как саморефлексией народа, внутренне целостными рассуждениями, ... завершающимися страстным произвольным криком...”*

Мы уже несколько знакомы с Никколо Макиавелли, не правда ли? Представить себе этого очень умного и очень ироничного человека, испускающего *“...страстные произвольные крики...”*, можно только в одном случае – в случае, если он наконец-то остался наедине со своей любимой Барбарой Раффагани, и она как бы не против...

Какие все-таки чудовищные глупости пишут революционеры, целиком задвинутые на своих

политических страстях...

### IX

Но не будем колоть глаза Антонио Грамши теми явными нелепостями, которые он нагородил насчет Макиавелли, якобы сливающегося в экстазе с восставшим народом. Посмотрим на то, что есть в сухом остатке - Грамши делает примерно то же, что и Гегель: он тоже рассматривает понятие "*государь*" как переменную, как некий "*икс*" - но в отличие от Гегеля подставляет вместо "*икса*" не "*государство*", а "*компартию*". Это уже кое-что, потому что понятно - на это же место можно поставить и другую партию.

Что, как не "*макиавелизм*" революционеров, изображено в "*Бесах*" Достоевского?

И знаменитый призыв Макиавелли "*...освободить Италию от варваров...*" – помещенная им в самом конце "*Государя*" цитата из Петрарки - вполне можно вывернуть наизнанку? И превратить его в чисто технический совет тем же "*варварам*" – вот как вам надо действовать, чтобы завоевать Италию? Собственно, ведь однажды сам Макиавелли именно это и сделал – указал первому министру Франции, кардиналу Руанскому, на его опасные для дела Франции ошибки?

В общем, по-видимому, "*загадки Макиавелли*" нам с вами не решить[7]. Над Грамши сейчас, из нашего безопасного далека, нетрудно и посмеяться, но если уж такой человек, как Гегель, придумал, что во имя государства и высшего блага можно делать что угодно - нам остается только сложить руки. Правила завоевания власти вечны и едины, первым указал на эти правила Никколо Макиавелли - и втиснуть в них этику не удастся даже таким гигантам, как Гегель или Спиноза.

Можно, однако, добавить пару слов на тему ограничений, накладываемых социумом. Ограничения эти касаются не столько методов, сколько "*...социально приемлемой доли насилия...*".

Чезаре Борджиа, столь живо изображенный в "*Государе*", действовал в мире, сравнимом с миром теперешних гангстеров. Ограничения были сняты

полностью, он, в принципе, мог делать что угодно. Кстати - что угодно могли сделать и с ним. Это правило "...сделать что угодно..." волей или неволей оказывается в силе в обществе, где нет законной процедуры периодической смены власти, и в точности так, как было в случае Цезаре Борджиа - правило работает в обе стороны.

Сталин, конечно, убил Каменева, и расправился с его семьей. Но и сам он до конца дней своих опасался заговора, и по сей день существуют подозрения, что умереть ему все-таки помогли.

А его партнер и противник, Уинстон Черчилль, после всех своих взлетов и падений, и даже после того, как он был свергнут со своего второго премьерского поста партийной интригой в духе чистого макиавеллизма, все же благополучно дожил до глубокой старости и умер в своей постели.

Может быть, такое положение дел, когда бой идет по правилам, и побежденных не убивают, а отправляют в отставку, можно назвать суммарным успехом британского парламентаризма?

## Примечания

Жан-Жак Руссо (фр. Jean-Jacques Rousseau) — писатель, мыслитель, композитор. Разработал прямую форму правления народа государством — прямую демократию, которая используется и по сей день в Швейцарии.

Дени Дидро (фр. Denis Diderot) - писатель, философ-просветитель и драматург. Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескье, Д'Аламбером и другими энциклопедистами основал «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел».

1. Наполеон как-то спросил Лапласа: “Ньютон в своей книге говорил о Боге, в Вашей же книге я не встретил имени Бога ни разу”. Лаплас ответил: “В этой гипотезе я не нуждался”.

2. Гегель предлагает т. н. спекулятивную логику, включающую в себя диалектику — науку о развитии. Последнее, согласно ей, проходит три стадии: тезис — антитезис — синтез.

3. Лев Борисович Каменев (1883-1936) – советский партийный и государственный деятель, большевик, революционер. В 1936 осужден по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.

4. По делу так называемого “Московского центра”, по делу

“Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля”, и по делу “Троцкистско-зиновьевского объединённого центра”.

5. Вопрос о том, что же все-таки Макиавелли считал достойным моральным основанием для действий по его системе, настолько растиражирован, что получил даже специальное название - "загадка Макиавелли".



Игорь Фунт

**200-летию победы в  
Отечественной войне 1812 года  
посвящается**

Viva la muerte!<sup>1</sup>

**Предисловие к войне, плавно переходящее в  
послесловие**

*...Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe,  
Comme un boeuf ayant soif penche son front vers l'eau.*

(Hugo)<sup>2</sup>

*Русский народ не дорос ещё до братства.*  
(Из воспоминаний А. Дюма)



«...лядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о ещё большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих».

«Война и мир?» Да.

Когда читаешь письма людей того времени, видишь ту же хаотическую картину, что наблюдается и сейчас, в Европе XXI века. За год, за несколько месяцев до наступления всемирно-исторических событий, самые выдающиеся люди (за исключением, может быть, Наполеона и впоследствии Гитлера) совершенно не знали, куда они идут и что их ждёт: мир? война? с кем война? с кем союз? кто друг? кто враг? Можно бесконечно спорить, нужна ли была России война с Наполеоном, продолжавшаяся, с

---

<sup>1</sup> Да здравствует смерть! (*Исп.*)

<sup>2</sup> (*Фр.*): ...И моя душа устремляется к могиле, как жаждущий бык тянется к воде. (Гюго)



перерывами дружбы, около десяти лет, стоившая Москве сотен тысяч людей, не давшая ничего, кроме военной славы, которой и так, после суворовских походов, было вполне достаточно.

«Произведение революции» Наполеон – величайший военный гений; Франция в ту пору переживала период, который, будем надеяться, ждёт и Россию, – отмечал «русский Анатоль Франс» Марк Алданов в 1935 году. – После кровавых революционных лет образовалась прочная и мощная власть во главе с очень умным человеком, обеспечившим стране человеческие условия жизни. По непонятным законам, освободилась накапливавшаяся веками потенциальная энергия народа; обозначились сказочные успехи во всех почти областях, разве что кроме литературы (для которой, помимо известного уровня свободы, необходима устойчивость быта; зато Великая революция в «Письмах русского путешественника» Карамзина вознесла автора в первые ряды российских литераторов!); – за счёт своего огромного национального подъёма Франция ещё могла в течение многих лет вести борьбу со всей остальной Европой. «Хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня» (фр. Посол в России Сегюр); правда, не лишним будет заметить, что Пугачёв осуществил ту же программу, что и французские бунтовщики, не читая французских книг...

Всё творчество Толстого могло бы называться «Жизнь и смерть» – Смерть вдохновляла художника в той же мере, что и Жизнь. В романе «Война и мир» частное и общее сплавляются в огне горящей Москвы, который освещает и преображает судьбы страны, мира и всего человеческого сообщества, не менее, – как живой встаёт перед нами Кутузов, воплощающий в себе русскую душу, и родственный ему образ тринадцатилетней «волшебницы» Наташи Ростовской, наделённой, казалось бы, всеми чертами «героини романа» и вместе с тем такой неповторимой, незабываемой,

родной: «Я взял Таню (Т.А. Берс), перетолок её с Соней (С.А. Толстая), и вышла Наташа». Люди разные. Народ единый. История. Страна. Как всё это соприкасается с временами нынешними, как это неразделимо! – надвигающееся натовское ПРО, не зарастающие раны непрошедших недавних войн; да и прошедшая Великая Отечественная – до сих пор откликается святыми слезами воочию увидевших XXI век ветеранов... но не увидевших воочию благоденствия. Жаль. «Война и мир?» Да. Борьба – вот смысл жизни!!

Начну свой очерк с излюбленного вступления: «Нам легче вернуться в прошлое...» В далёкое предвоенное прошлое.

Писать книги считалось в ту пору дурной приметой; этого доставало, чтобы взять человека под подозрение, потому что для европейской реакции культура стала козлом отпущения: реакция восстанавливала обскурантизм, мистическим образом предваряя обскурантизм аракатеевский 20-х годов следующего столетия. В конце XVIII века люди погружены в глубокий мрак... Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия» и Вольтер взрывали старую Францию, европейские монахи кричали доброму народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, – совершенно напрасный труд... Слова «свобода, справедливость, счастье для большинства людей – гнусны и преступны, они порождают привычку к спорам и недоверие», – писал Стендаль. К несчастью, Революция породила весьма жизнеспособное чудовище – общественное мнение. Поскольку его нельзя окончательно уничтожить, надо им руководить. Стендаль отмечал, что мелкие деспотические режимы сводят на нет значение общественного мнения; сегодня же мы добавим – крупные деспотические режимы используют технику пропаганды для *фабрикации* общественного мнения; официальная ложь – повседневное её оружие – уже фигурирует на видном месте в «Пармской обители».

«Влияние Жозефа Бальзама́ на трансформацию Великой французской революции» – тема отдельной историографии, но в шутку отмечу, что, объездив Египет,

всю Европу, заглянув даже в Россию, преследуемый за воровство, франкмасонство и преподавание демонологии аферист Балъзамó – граф Калиостро – в том году наконец-то был отловлен и заключён в крепость св. Ангела в Риме и приговорён к смерти. Франция 89-го года предлагала миру не рабство, невежество и магическую алхимию, а счастье и прогресс. Верная памяти великих умов своего народа, принадлежавших эпохе Возрождения, она была привержена гуманистической цивилизации, составляющей основу всякой науки и всякой культуры. В это же время великий зодчий Матвей Казаков превращал Москву-деревню в великолепный остров Счастья – град Русского Просвещения, вдыхая жизнь в «безмолвную громаду камней холодных», запечатлённую потомкам лишь чертежами и гравюрами.

Итог борьбы жизненных, общественных и внутренних противоречий в сознании человека, как правило, воплощается в произведении искусства – ибо человек не может создать ничего – и никогда не создал ничего, что не родилось бы из брэнного нашего «каждодневногo утешения», и на каком-то творческом этапе в нём неизбежно возникает борьба между ангелом и демоном: он оказывается на перепутье. Начиная с эпохи Регенства и кончая временем Марии-Антуанетты в манерном искусстве придворных творцов, живописцев XVIII века выступает уйма чисто французских достоинств, впрочем, так же как и недостатков. Но для историка, умеющего просчитать то, что скрывается, например, за жеманством, условностью и восхитительным колористическим даром «какого-нибудь» Ватто, драматизм борьбы за самостийную ценность бытия более чем когда-либо ощутим в творчестве любого описателя-художника той эпохи – эпохи легкомысленных забав, румян и галантных празднеств. «Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в значении историческом...» (Толстой). – История даёт факты, задача художника – облечь эти скупые, а порой противоречивые и сбивчивые сведения в живые формы характера человека.

Реализм, выставленный за дверь ливрейными лакеями знати, не желающей более терпеть скромных, но бедных мужиков братьев Лененов – простонародья, прячущегося под разными личинами на самых причудливых полотнах, созданных фантазией художника, этот не востребовавшийся пока реализм то и дело напоминает о себе в весьма далёких казалась бы от натурализма картинах – комедиях масок – за декоративным изяществом которых скрывается горечь и ирония: как, например, в арлекине «Жиль» упомянутого Антуана Ватто – картине, оставшейся непонятой вплоть до революции 1789 года. Национальное самосознание, как и искусство живописи, черпает свою жизненную силу во французской действительности; стоит ей пренебречь – и рождается что-то напоминающее искусство «в почёте», но искусство это, как и сама жизнь – всего лишь кривлянье, смерть, дым: чтобы познать мир, надо прежде всего познать собственную страну, и недостатка в таких людях, веками отдававших лучшее – душу, творчество, превращавшиеся в зрелый плод прогрессивной мысли, – требующих познать и переделать действительность, – недостатка в таких людях Франция не испытывала.

Старый мир должен рухнуть!

Ещё не прогремели барабаны начальника парижской национальной гвардии Санterra на казнь Людовика XVI, а во французской живописи уже пробуждается национальное самосознание и, воскрешая свою давнюю мощь, обрётённую в средние века, трубит сбор, приказывая восстать против чужеземных вкусов: простота Шардена – это не «сельская» простота версальского королевского двора – она самым блистательным образом заставляет позабыть всяких псевдопастушков – античных Тирсисов и Хлой, которые в угоду «австриячке» Марии-Антуанетте или Помпадурше и ей подобным сменили героев величавой «Энеиды», героев, навязанных помпезными вкусами королей из рода Медичи – Екатерины, Марии и их сыновей – восседавших на французском троне; Шарден (1699-1779) – это уже смертный приговор Людовику XVI! Вместе с Республикой родится чувство патриотизма, и тогда-то начнётся величайший век – XIX, который враги Франции объявят безмозглым, – великий

век! – от Давида и через Пуссена, отголоска Декарта в искусстве, от побед через поражения ведущий Францию к триумфу.

Двойственный Пуссен со своей «итальянщиной», лишённой реальной почвы, восходит к той же двойственности почерка Руссо – оба они мечутся между далями будущего и жизнью, уготовленной им в будуарах великосветских дам – какая удивительная карикатура на самих себя в придворных пасторалях, где «естественный человек» и «чувство природы» воспеваются в оперных куплетах! Стоит им отступить в угоду сильному миру от реалистического изображения действительности, для верхов неприемлемого, – и творцы превращаются в убогих рифмоплётчиков. В сравнении с ними «перековщик» абсолютизма Дени Дидро, любимец Екатерины II, – гигант на все времена, сумевший охватить художественной критикой и живопись, и литературу, возвышенно пытавшийся представить жизнь такую, какой она есть, во всей её обескураживающей и восхитительной сложности, предвосхитив необычайные возможности для всеобъемлющего творчества французской интеллигенции.

Но чёрная реакция, с помощью иноземного оружия возвратившая во Францию королей и паразитическую знать – «обнаглевших эмигрантов» (Арагон), – внесла смуту в умы французов. Желая сказать своё слово, представители французской мысли снова были вынуждены выискивать окольные пути – тоска интеллигенции по родине облачилась в мишурные отрепья, не лишённые, правда, величия; – отрепья эти, захваченные во время наполеоновских войн или вытасканные из эмигрантского багажа, оставались всё же экзотикой, заставлявшей позабыть действительность. «Гнусное эмигрантское искусство Шатобриана – если оно вообще было когда-либо искусством – наиболее характерный продукт того времени», – писал Луи Арагон, да ведь и он не без греха (Ленинская премия – грех?). ... Законы расселения эмиграции в Париже изучены слабо – к примеру, у поляков было два центра: беднота жила в районе Сен-Дени, богатным же Отейлем (Auteuil) польских эмигрантов оказался остров Сен-Луи, где ещё в XVII веке

богатенький чиновник Ламбер выстроил огромный по парижским меркам дом, выкупленный изгнанным из России князем Чарторыйским, по происхождению поляком, – таким образом «Отель Ламбер» стал главным центром польской эмиграции, откуда, вооружившись «гайдамацкими ножами», недовольные поборники Королевства Польского «квкали» на русский имперский царизм после Венского конгресса, как в своё время (1564) сбежавший в Литву воевода Курбский «квкали» на Иоанна.

Легитимист-«талейрановец» и приверженец Бурбонов Франсуа Шатобриан извлял возвышающегося над веком исполина Гюго; – нарядив старый словарь в шутовской колпак, Гюго делается апологетом аргю, зацепив в водоворот натуралистических превращений «богохульника» Делакруа, который дал в свою очередь толчок великолепному грубовато-смешному сатирику от живописи Домье... – но мы убежали в историческую перспективу...

Вернусь на секунду к «Коронованию Наполеона», «Жанне д'Арк», «Торжеству Гомера» придворного живописца Энгра, увековечившего себя не пышными композициями, а тем, что воскресил былое величие французского портрета, величие, некогда уже достигнутое Жаном Фуке и Клуэ; – такова непрерывная цепь, свитая из поколений сентиментальных душ, пленённых колониальной экзотикой: от доисторических стенописных пещер Эйзи – через героическое возрождение гражданственности и родного языка «Плеядой»\* Дю Белле и Ронсара – до триумфа Мане и Сёра, Пьера Лоти и Поля Морана, ставших впоследствии творцами для биржевиков и пассажиров спальных вагонов.

## Москва

*«Французам, погибшим во время и после оккупации».*

(Эпитафия на Новодевичьем кладбище)

«Москва! Москва!» – замедлив шаг, возглашали французские солдаты, исполненные радости, надежды и гордости на вершине Поклонной горы, подняв кивера на

---

\* См. «Французская “Бригада”»:

<http://www.rummuseum.ru/portal/node/1334>

штыки и мохнатые шапки на острия сабель. На этом месте извозчики, по обычаю, снимали картузы-малахаи и кланялись золотым куполам. Великолепный легендарный город, узревший катастрофы, подобные крушениям персидского Камбиза и вождя гуннов Аттилы, – крайний пункт, где Франция вознесла своё знамя на севере, после того как водрузила его на юге, в Фивах. Вся революционная и имперская эпопея, величайшая после Александра Великого и Цезаря, заключена меж именем Бонапарта, начертанном на пилонах Фив, и именем Наполеона на стене Кремля в городе Юрия Долгорукого. Если Санкт-Петербург считает годы своих несчастий по наводнениям, то Москва – по пожарам, начиная с Татарского Наполеона – Батья (1238); само собой разумеется, пожар 1812 года наиболее ужасный – тринадцать тысяч восемьсот домов были превращены в пепел, от шести тысяч остались одни стены.

Россия! Жги посады и деревни! (П. Антокольский)

– Пожар!!! – раздался страшный крик в тот момент, когда должна была осуществиться мечта, когда, постучавшись в двери Индии на юге, он обратился к северу, в тот момент, когда после Смоленска он занимает Кремль – дворец древних московских царей – и может сесть на орехового дерева трон Владимира I, слоновой кости – Софьи Палеолог и золото-бриллиантовый – Петра Великого; в тот момент император, подобно Христу, омылся кровавым потом.

«Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук – всё осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чём основать надежды?» (из письма К. Батюшкова). «Если кто, хоть бы простой казак, доставит ко мне Бонапартишку – живого или мёртвого – за того выдам дочь свою!» – рыдая, объявил окружающим знаменитый атаман войска Донского – «летучего корпуса», участник всех российских войн конца XVIII – начала XIX вв. граф М.И. Платов, оплакивая адское зарево над первопрестольной. «Поутру с самой зари началось шествие

из-за Дорогомилова моста через Москву российской армии; ...и как только кончилась, то за пятами оной вступить начала неприятельская конница... Не прошло двух часов, как против дому моего неприятельские уланы ограбили на мостовой мушину и женщину, отняв у последней ...ассигнаций и серебро до полутора рубля. А как только наставать начала ночь, сделался пожар в Китай-городе, а после услышали, что зажжена, идучи от Спасских ворот, за лобным местом правая сторона лавок, и пожар увеличился, простёр пламя к Москворецкому мосту и к Яузе, и за оную, и продолжался во всю ночь. В сие время было в Москве так светло – что хочешь делай!» – писал неизвестный автор («Библиографические записки», 1858), одновременно вспоминая, возможно, китайгородские кулачные бои позади Мытного двора, на Каиновой горе...

Наполеон подходит к окну, и перед ним предстаёт весь город: за этим горизонтом, что скрывает от него дым пожара, он, согбенный, высаживается с английского линейного корабля на Святую Елену в последнюю ссылку-пытку, что вознесёт его после забвения и смерти... к апофеозу! ...Огонь занимается одновременно в двадцати разных местах, – спустя пятьдесят лет после тех событий, закрыв глаза, представлял Дюма, сын славного наполеоновского генерала, начало грандиозного падения, стоя, быть может, перед тем самым окном. – Посмотрим, говорил при вторжении в Москву император, что будут делать русские, – раз они отказываются идти на переговоры, надо будет этим воспользоваться, зимние квартиры нам теперь обеспечены. Мы представим миру необычайное зрелище: французская армия мирно зимует в окружении вражеского народа. Французская армия в Москве будет как корабль во льдах. Весной – оттепель и победа!.. – но корабль оказался не во льдах, а в бушующем огне, символе русского гнева.

– Так вот как они воюют! – горестно воскликнул Наполеон, выйдя наконец из оцепенения, – мы были обмануты цивилизованным Санкт-Петербургом, они так и остались скифами!!

Из всех несметных сокровищ и роскоши



подражавших своим греческим соседям великих князей – скипетров, корон, шлемов, кирас, щитов, золотой утвари – восхитительной посуды, кубков, чаш, гигантских серебряных блюд – Наполеон, покидая Москву, взял лишь знамёна, завоёванные русскими у турок за последние сто лет, икону Божьей Матери в окладе, украшенном бриллиантами, и крест с колокольни Ивана великого, который, по мнению черни, был сделан из чистого золота, а на самом деле был лишь позолоченный, к тому же окроплён кровью тысяч безвинно погибших душ, слышавший безумные вопли погрязшего в нечеловеческих расправах царя Иоанна, переплывшего преступной утончённостью Фалариса, Калигулу и Нерона: «Я – ваш Бог, как Он – мой!» – демонически кричал Иоанн Грозный, со зверской жестокостью убивая собственного сына рогастиной... Но мы не забыли и то, что звался он когда-то «Любимым», а не «Грозным» – в благодные времена строительства храма Василия Блаженного в память завоевания Царства Казанского.

Опёршись об оконную раму в кремлёвской башне, Александр Дюма представлял императора, взиравшего на сгорающую мечту... «Сципиону, – говорит Полибий, – когда он глядел, как пылает Карфаген, пришло печальное предчувствие, что и Риму может быть уготована подробная участь!» – У пожара больше нет ни границ, ни направлений – пламя стонет, клоочет, сто отдельных кратеров превращаются в один; Москва становится просто океаном огня, колышимым порывами ветра. Принц Евгений, маршалы Лефевр и Бессьер, генерал де Ларибуазьер именем Франции смиренно заклинаят покинуть это место. Генерал встаёт на колени...

– Найдите проход, господин де Мортемар, – говорит побеждённый Наполеон, – и уходим. Хотя, возможно, лучше было бы умереть здесь, – добавляет он совсем тихо.

Через пару месяцев, в простых санях, вместе со своей свитой он остановится у Немана. Местный крестьянин переправит замёрзший, простуженный генералитет на противоположный берег. Наполеон, всегда стремившийся получать сведения из первых рук, спросит у лодочника:

– Много ли дезертиров переправилось через реку?  
– Нет, барин, вы первый, – последует простодушный  
ответ.

Само собой, старик-лодочник не знал про точь-в-  
точь африканское бегство «барина».

### **Sperare contra spem<sup>3</sup>**

Войной и огнём не шути... (нар.)

«Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться ещё ярче в эпоху неудач и поражений...» Эрфуртское свидание Александра I с Наполеоном (1808), возвышение Сперанского (1809), захват Наполеоном герцогства Ольденбургского (1810), появление кометы, смерть Кутузова...

Характер эпохи. Война и мир. Ужасы крепостного права, закладывание жён в стены, сечение взрослых сыновей, жестокая помещица Салтычиха... В те времена так же, как сейчас, любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; кипела чрезвычайно сложная умственно-нравственная жизнь, более утончённая, чем теперь; одновременно непримиримая отчуждённая высшего круга от других сословий, – «имущему дастся, а у неимущего отнимется» (Ев. от Луки), – вытекающая из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык въяве и в сочинениях, поэтому Толстой, занимаясь эпохой начала XIX века, изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французов, имевших прямое участие в жизни описываемого времени, невольно увлёкся формой выражения чуть не сгубившего Безухова «того французского порядка» и того французского склада мысли больше, чем это было нужно – отсюда разногласие в воссоздании исторических событий с рассказами историков, хотя и руководствовался Толстой материалами исключительно как историк; но разногласие это не случайное, а неизбежное: скажем, «сумасшедший Федька» (как звала его Екатерина II), главнокомандующий Москвы граф Ростопчин «не всегда с

---

<sup>3</sup> Без надежды надеяться (*лат.*).

факелом зажигал вороновский дом (он даже никогда этого не делал), и императрица Мария Фёдоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опёршись рукой на свод законов: а такими их представляет себе народное воображение», – писал Л.Н. И в то же время: «Читал Михайловского-Данилевского – плоско», – не доверяя официальной русской историографии.

Эпоха столь трагическая, столь богатая громадностью событий и столь близкая нам, о которой живо столько разнороднейших преданий со всей очевидностью не доступна нашему уму причинами совершающихся исторических событий – причин этих бесчисленное множество и ни одну из них нельзя назвать причиной: «Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиную волю одного человека: как один человек не мог один подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч. ...Но как же миллионы людей стали убивать друг друга, кто это велел им? – спрашивает Толстой в послесловии к «Войне и миру», вновь и вновь возвращаясь в канву романа, мучительно «оправдывая» истину, не в силах её «отпустить»: – Кажется, ясно для каждого, что от этого не могло быть лучше, а всем хуже; зачем же они это делали? ...Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что это и физически и нравственно дурно?»

А вот и ответ (по Толстому).

Роковая деятельность всех этих людей является иллюстрацией того закона предопределения, который управляет историей, и того психологического закона, который заставляет человека, исполняющего самый несвободный поступок, подделывать в своём воображении целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих целью доказать ему самому его Свободу: «Самая сильная, неразрываемая, тяжёлая и постоянная связь с другими людьми есть так называемая власть над другими людьми, которая в своём истинном значении есть только наибольшая зависимость от них!» – При всём своём величественном размахе «Война и мир» – «история прошедшего, настоящего

и частью будущего» (Григорович) – лишь звено грандиозного и не вполне осуществлённого замысла Толстого, охватывавшего несколько важнейших эпох русской жизни, но... Психологическая мотивировка поступков, скрытый смысл работы сознания человека, утверждает Е.В. Тарле, самый процесс рождения мыслей и чувств – вот что прежде всего занимает художника и что для историка представляет побочный интерес как своего рода подспорье для широких обобщений и выводов об «историческом значении» этих поступков: «Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь...» – резюмирует Толстой.

### **Да, смерть – пробуждение!<sup>4</sup>**

К концу XVIII века Москва, разжалованная императором Петром из царских столиц, вновь стала обретать значение общенационального исторического центра. Творениями великих русских зодчих В.И. Баженова, М.Ф. Казакова и их сподвижников Москва приобретала новый архитектурный облик. Его неповторимое своеобразие и живописность поражали воображение современников, особенно иностранцев, впервые оказавшихся в России. «...по усмотрении Москвы я нашёл столько прекрасных предметов для картин, что нахожусь в недоумении, с которого вида прежде начать», – писал президенту Академии художеств Строганову живописец Фёдор Алексеев, посланный «достойно запечатлеть московские древности» по указу Павла I в 1800 году. Выполненные с натуры акварельные и живописные виды принесли художнику громкий успех и всеобщее признание, по праву определив его совместно с учениками Мошковым и Кунавиным основоположниками жанра городского пейзажа и иконографии Москвы. Московские виды приобрели особенно большое значение благодаря тому, что передавали первопрестольную в неразрушенном ещё пожаром состоянии.

От коровьего брода на Яузе в Немецкой слободе, не

---

<sup>4</sup> «Война и мир». Понятие сна – смерти заимствовано Толстым у нем. философа Гердера.

носившего пока названия «Лефортово», ставшего колыбелью Петровских реформ, – потом свежевыбритые бояре с обрезанными полами и рукавами длинных одежд, – через «Историю Российскую» Татищева – через наплевательское отношение Екатерины II, верной преданиям седой старины, к обветшавшим дворцам: сиречь через секуляризацию – затем обгоревшие стены безвозвратно погибших величественных казаковских интерьеров, гениально восстановленных ранее по указу «романтического» Павла I... до «партизанских дневников» Дениса Давыдова, прославленного вояки, поэта и военного писателя. Через забвение к жизни, от смерти – к возрождению. Живя большой семьёй, из тех, кто выжил, с соседями, в шалаше рядом со сгоревшим домом, простой русский мужик, обученный грамоте, пишет в своём дневнике, ставшем впоследствии литературным памятником, что, к примеру, в среду, 18 сентября 1812 г. был «прекрасный день!»: *«...Погода прекрасная, день тёплый; я ничего не ел, да почти ничего и не было. Поплакавши с печали, едва ходил».* – Ему хватало душевных сил писать о погоде... – а ведь вокруг творилось бесчинство оккупантов!

Вот ещё пара строк:

*В воскресенье, 15-го числа, поутру разгулялось (!!!). День был очень хорош. В обеденное время в Новодевичьем монастыре был благовест и звон (сгоревшая Москва жила!), о коем после услышали, что началась в монастыре служба. Французы, как прежде, так и в сей день прихаживали беспрестанно и в соседнем шалаше у одного старика разрубили руку в двух местах за то, что он не отдавал с чем-то своего мешка; однако, француз недёшево заплатил за это, и, как я слышал, что его русские тут же в скорости укололи. Под вечер был я у Ивана Ивлича, и ещё какой-то пришёл и пересказывал, что французы будут в Москве зимовать. Сие слово поразило до крайности меня, ибо и так уже в пище мы нуждались чрезвычайно, особливо без хлеба, а холод ещё усугублял наше страдание.*

*4-е октября. День был пасмурный, и шла сверху какая-то мокрая обледица. Случилось быть в это время на дворе с хлебником, а на Пречистенке остановились едущих*

*под Девичий द्वое в шинелях, а оттуда в синем с красными обшлагами, в кивере с позументом, на серой лошади. Хлебник говорил мне, что это Наполеон в синем и без плаща, он никогда в своём мундире не ездит. ...Тут вскоре из Зубова прошли один за другим три полка пехотных в Кремль; но оттуда не возвращались, и после слышали, что они пойдут наскоро по Калужской дороге, куда и другие уже вчерась вышли. Также приходили к нам французы, просили вина, пива, хлеба, но им отказали. Тут после их в сумерки пришёл генерал, лет уже пожилых, с ним фельдфебель, спрашивали у нас: какие мы люди; и хотя мы им отвечали, но, однако, они, кроме что не разумеют, ничего не говорили, и после, сожалея об нас, ушли, и только что генерал плакал...*

Четыре разрушительных пагубных эпохи, предполагающих физическое и культурное уничтожение-перерождение испытал этот простой русский мужик, незамысловато и непосредственно описывающий «прекрасный день» во время мора и невероятных страданий: первая – набег татар, которым «мщение проникло в их мозг и кровь» (Л. Гумилёв); вторая эпоха – истребление царём Фёдором Алексеевичем местнических книг, в коих находилось хотя бы одно слово, касающееся родово́й, особенно дворянской фамилии (а мы знаем, в то время нередко вся библиотека состояла из одного всего лишь толстого фолианта со вписанной родословной, избранными молитвами, происшествиями и преданиями, дошедшими от предков). Третья эпоха – чума; четвёртая – 1812 год. «После сих опустошений тем удивительнее найти ещё в древней столице нашей несметные богатства по всем частям», – говорит П. Свиньин в «Отечественных записках» (1820), перечисляя сохранившиеся после пожара коллекции и достопримечательности. Так, по чудесному стечению обстоятельств, из известной библиотеки рукописей и старопечатных книг графа Фёдора Андреевича Толстого французы взяли только сочинения на их родном языке, остальные сохранив в целости!

В этом контексте интересны воспоминания знатного собирателя старины Е.Н. Опочинина (1858-1928), –

ближайшего помощника Вяземского, – писателя, историка, театроведа, журналиста-фольклориста, находившегося в кипящей гуще культурной жизни России конца XIX века.

Однажды в далёкой лесной глубинке Арефинской волости Опочинин наткнулся на преинтереснейшего крестьянина, у которого обнаружилась целая коллекция раскрашенных Теребеневских карикатур 1812 года! Коллекционера поразили несколько картин оттуда, изображающих «российский танец смерти», под стать средневековым европейским *Totentanz* (нем.) – иконографиям Смерти:

**«Поезд века сего».** На колеснице, запряжённой четвёркой лихих коней в богатой сбруе, едет несколько дам в ярких платьях с утрированным декольте и в необычных шляпах с необычными цветами. Рядом с ними восседают с кубками в руках какие-то развесёлые молодые люди в голубых и красных кургузых фраках и с цилиндрами на головах. На козлах сидит, вместо кучера, огромный коричневый чёрт, который направляет колесницу к виднеющейся бездне, откуда языками бьёт пламя и среди него выставляется голова змия с жадной раскрытой пастью...

**«Ов пшеницу сеет».** Изображён человек босой в рубахе с растёгнутым воротом, без шапки, идущий по полю с огромным ситевым, висящим на шее.

**«Ов молитву деет».** Мужик, молящийся на коленях перед иконами.

**«Ов же власть имеет».** На троне в золотой шапке, с державой в руке сидит царь.

**«А Смерть всеми владеет».** Сеятель, богомолец и царь лежат бездыханны, а над ними смерть в виде скелета в золотой короне и с косой в руке.

Необыкновенно наивные композиции, изображающие могущество смерти, удивительным образом перекликаются со сложным и противоречивым явлением русской истории VXVII – начала XVIII вв., распинаемым упомянутым выше Фёдором Алексеевичем, предшественником и единокровным братом Петра Великого, – искусством старообрядцев (иконопись, песнопения,

поэзия, фольклор и т.д.), тесно связанным с изображением народного движения: посадом, стрельцами, крестьянством, казачеством, нетерпением своим и стоическими мотивами-молитвами богоборческого существования провозглашавшими величие несломленного духа, противопоставившего себя величю Смерти во имя Веры, несмотря на гонения и «Раскол».

Что ни мужик – то вера, что ни баба – толк (р. н. посл.).

Вера эта и напитала мощью своей негибавший партизанский дух 12-го года и продолжала питать Россию далее, опровергая некоторые морально-этические оценки Отечественной войны (вырезанный Наполеоном и не восстановленный генофонд и культурный фонд, по Л. Гумилёву, Савицкому, Вернадскому), в то же время оживляя и поднимая недостижимо самоочищающее и неостанавливаемое цунами,двигающее историю, воспевающее нравственное достоинство силы народной: созидание, волю и патриотизм, взрывающиеся торжеством неизбежного возмездия перед угрозой потери национальной независимости.

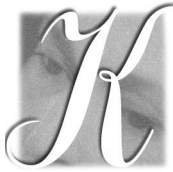
Да цветёт Россия! – ...по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой! (Н.М. Карамзин).





## Александр Журбин

# Феликс, его сестра, Лев Троцкий и музыка «мелкой буржуазии»



Как вы думаете, кто самый популярный композитор на свете? Чья музыка исполняется статистически чаще других, причем не в какой-то отдельной стране, (конечно, в каждой стране есть свои локальные знаменитости), а именно во всем мире?

Первое, что приходит в голову – Моцарт. Или Бетховен. Или Чайковский. Именно эти три имени, пожалуй, самые частые авторы на мировых концертных подмостках.

Потом возникают мысли о поп-музыке. А может «Битлз»? Ведь недавно “Yesterday” официально признали самой популярной песней всех времен и народов. Или «Бесаме Мучо»? А может «Jingle Bells» – неперемное сопровождение всех рождественских праздников во всем христианском мире? Или «Дорогой Длинною» – супершлягер и для русских, и для всего остального мира.

Все эти предположения близки к истине, но все же неверны.

Самым популярным статистически композитором является... Феликс Мендельсон-Бартольди. А его «Свадебный Марш» – самым часто исполняемым на свете музыкальным произведением. Это – официальный, так сказать, медицинский факт.

Если мы чуть задумаемся, то поймем, что так оно и есть. Ведь этот «марш» сопровождает свадьбы везде – от Америки до Японии, от Исландии до Австралии. А поскольку на земле еженедельно происходит сотни тысяч свадеб, то и «Свадебный Марш» исполняется в миллионах

вариантов – и по количеству исполнений ничего не может с ним сравниться.

Поскольку брак является одной из важнейших основ буржуазного общества, то можно смело утверждать, что Мендельсон - самый буржуазный на свете композитор.



Но о Мендельсоне – чуть позже.

\*\*\*

Пока же выскажу предположение, что любое искусство само по себе является порождением буржуазии. Причем именно «мелкой буржуазии». Словосочетание – «антибуржуазное искусство» – оксюморон, нонсенс. Все художники, артисты, писатели, музыканты – в той или иной мере представители мелкобуржуазной среды. И именно представители мелкой буржуазии – врачи, юристы, брокеры, владельцы небольших бизнесов – являются самыми активными потребителями искусства.

Крупной буржуазии, президентам банков и нефтяных компаний, «владельцам заводов, домов, пароходов» как правило, не до искусства. Говорю это на собственном опыте, зная некоторых «капитанов российского бизнеса». Они очень много работают, и голова у них бесконечно забита миллионом вопросов, требующими немедленного решения, заботами о своих компаниях, активах, акциях, месторождениях, политических рисках. На

искусство остается крайне мало времени и сил. Нет, конечно, когда речь идет об инвестициях в искусство, типа покупки картины Пикассо или Ван Гога, или о строительстве Центра Искусств, типа Нью-Йоркского Линкольн-центра, здесь вступают в бой акулы капитализма: только им, Ротшильдам, Вандербильдам, Рокфеллерам, разным там Эвери Фишерам и Элис Талли это под силу. Потом в их честь назовут концертные залы (Карнеги Холл, Эвери Фишер Холл, Элис Талли Холл) и музыкальные произведения («квартеты Разумовского» Людвига ван Бетховена). Но они, эти 5 процентов очень богатых, не являются ни потребителями, ни производителями искусства. У них – другие заботы.

"Давайте я расскажу вам о богатых, очень богатых людях, – писал Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, – они очень отличаются от вас и от меня". И правда – они другие, иногда совсем другие, часто не понимающие, чем живет окружающее их общество. *При этом, как ни странно, именно очень богатые могут быть истерически жадными. По свидетельству недавней "Дейли Телеграф" богатые обожают торговаться, даже если речь идет о паре пенсов, собирают различные купоны со скидками, которые другие люди просто выбрасывают, и могут купить все что угодно, если объявлена распродажа. Большинство из них ведут себя как мелочные скряги и крохоборы. Но это так, к слову.*

Бог с ними, с очень богатыми. Будем говорить о тех, кого называют «мелкая буржуазия». Это словосочетание звучит по-русски немного презрительно и оскорбительно. Не знаю, есть ли этот презрительный оттенок во французском *petit-bourgeois* или в немецком *Klein burger*. Но уверен, в России этот оттенок просто внушен нам за долгие годы большевистского правления. Ведь уже в понятии «мелкий бизнес» в наше время нет абсолютно ничего негативного, не говоря уже о «мелкий жемчуг» или «мелкая заводь».

Но «мелкая буржуазия», внушил нам Ленин, это лавочники, гниды, «мелкобуржуазная контра», «они - главный враг социализма» (в статье «О продналоге» в 1918 году.) Ненавидя «буржуев», Ленин (хотя сам был абсолютно

буржуазным человеком, и по происхождению, и по складу жизни) всю жизнь старался их унижить, и даже физически уничтожить. Может быть, сказывалось его комплекс вины за свое непролетарское происхождение, и за то, что тайно от всех он делал революцию на деньги, полученные от европейских «лавочников» (теперь это доподлинно известно).

А вот что писал в своих заметках 1932 года о «мелкой буржуазии» главный теоретик коммунизма Лев Давыдович Троцкий:

*«Всякий серьезный анализ политической обстановки должен исходить из взаимоотношения трех классов: буржуазии, мелкой буржуазии и пролетариата. Могущественная экономически крупная буржуазия сама по себе представляет ничтожное меньшинство нации. Чтобы упрочить свое господство, она должна обеспечить определенные взаимоотношения с мелкой буржуазией, а через ее посредство – с пролетариатом».*

Ну, отбросим спекуляции насчет пролетариата и беднейшего крестьянства. В 1932 году такая болтология была необходимой данью эпохи, но сегодня в эти байки давно никто не верит. Да, есть пролетариат – бедные люди, нищие, неудачники, лентяи, бездельники, пьяницы, они есть в каждой стране. Но разговоры о том, что это самые прогрессивные члены общества, что за ними – победа, что они поведут общество в светлые дали – давно исчезли и отпали. Рабочие на Западе – я имею в виду сотрудников автомобильных, сталелитейных или каких-либо иных крупных компаний – очень обеспеченные и полноценные члены западного общества. Никаких революций там в ближайшее время не предвидится.

Но по сути, разделение общества «по Троцкому» верно и сейчас. Любое общество – и западное, и российское – состоит из этих трех слоев – 5 процентов сверхбогачей, 10 процентов нищих, а остальные 85 размещаются в слое, который и есть мелкая буржуазия. (Конечно, тут тоже есть градации, мелкая-средняя, средняя-мелкая, крупно-средняя и т.д. – но мы в это вдаваться не будем, не это цель наших заметок).

Дальше Троцкий пишет:

*«...В массе своей мелкая буржуазия есть эксплуатируемый и обиженный класс. Она завидует крупной буржуазии и нередко ненавидит ее. С другой стороны, и крупная буржуазия, прибегая к поддержке мелкой буржуазии, не доверяет ей, ибо боится, с полным основанием, что та всегда склонна переступить указанные ей сверху пределы».*

Замечено точно. Каждый мелкий буржуа мечтает стать крупным, каждый миллионер хочет быть миллиардером. Вопрос – что я, дурней Рокфеллера? (или Трампа, или Абрамовича, или Дерипаски?) всегда носится в воздухе. С другой стороны, каждый миллиардер понимает, что много крупной буржуазии (сверхбогатых, олигархов) быть не может. Поэтому вход туда, на самый верх, очень сильно сужен, как горлышко бутылки, пройти туда могут или очень сильные, или очень пронырливые, или те, кто обладает какими-то сверхъестественными способностями сужаться, проскальзывать, проникать.

Крупным буржуа стать трудно. Почти невозможно.

Но «мелким буржуа» может стать каждый. И обязан стать.

Перефразируем классика: «Поэтом можешь ты не быть, но буржуа ты быть обязан». Даже если по рождению ты из бедных, из рабочих-крестьян, из учителей-врачей советского типа (то есть из беднейших) если твои родители жили в коммуналке, и никогда не имели автомобиля – не беда. Зато в тебе наверняка есть запал, завод, пассионарность – ну хотя бы потому, что ты сейчас читаешь эти строки, и держишь в руках этот журнал. Дерзай, борись, смело иди вперед – и удача тебя найдет!

\*\*\*

Но вернемся к «счастливому» Мендельсону (имя Феликс ему поистине подходит). Он как раз из очень богатых, из тех 5-ти процентов, которые, как я написал выше, искусства не производят и не потребляют. Наш Феликс – счастливое исключение, можно сказать единственное в своем роде. Родился он в 1809 году в очень богатой семье, его отец был одним из крупнейших банкиров

Германии своего времени, а дед – известным философом. Однако юный Феликс твердо решил стать композитором, и стал им, несмотря на некоторое удивление и сомнение окружающих. К сожалению, он прожил на свете только 38 лет, но за это время успел сделать необыкновенно много. Финансовое благополучие не помешало ему прилежно и скрупулезно писать ноты, по многу часов в день. Им написано огромное количество партитур, клавиров, переложений, при этом ему удалось много дирижировать, преподавать, ездить по Европе, основать Лейпцигскую консерваторию. Кроме того, к 18 годам он свободно говорил на всех европейских языках, был почти профессиональным наездником, обожал конный спорт, был прекрасным пловцом, превосходно играл в бильярд, и изящно танцевал. Поистине, фантастический человек! Вот пример, когда природа дала все – и огромный талант, и много денег, и все это сразу, еще до рождения...

Конечно, наличие изначально денег – это всегда плюс, лучше их иметь, чем не иметь. Но к сожалению, обладание от рождения очень большим состоянием проводит часто к анемии, бездеятельности, изнеженности, и как результат – к творческому бесплодию.

Вспомню совсем не бездарного композитора Гордона Гетти (Gordon Getty), с которым я однажды познакомился в Калифорнии. Он – сын знаменитого нефтяного мультимиллиардера Жана Поль Гетти, и, естественно, уже при рождении был сказочно богат. Как и положено, он учился в престижных колледжах, потом принимал участие в семейном бизнесе, но любовь к музыке пересилила, и он решил стать профессиональным композитором. И стал им, написав некоторое количество произведений. Однако у него не было необходимости зарабатывать себе на жизнь, его не подгоняла ни нужда, ни голод, ни карьера. Конечно его произведения были исполнены лучшими оркестрами и записаны на диски лучшими фирмами (в Америке это все легко покупается, как и в остальном мире, хотя может и не делается слишком откровенно и явственно для публики). Но позже он скис. И ничего значительного не написал. В общем, Гордон Гетти – типичный пример испытания богатством. И

он его не выдержал. Возможно, он был гений. Но мир об этом уже никогда не узнает.

А вот Мендельсон – особый случай. Уже с ранней юности он продемонстрировал невероятную работоспособность. Ребенком, когда ему было 6-7 лет, он с легкостью писал фуги в строгом стиле (музыканты знают, какая это адская работа). А в 19 лет в его творческом багаже уже было такое количество произведений, которое украсило бы иного нынешнего композитора в конце его творческой деятельности: октет, три фортепианных квартета, две сонаты, двенадцать симфоний, струнный квартет, несколько кантат, множество песен без слов, вокальные циклы, баллады.



Кстати знаменитый «Свадебный марш» был написан как один из номеров для драматического спектакля по комедии Шекспира «Сон в Летнюю ночь» (там еще есть другие замечательные номера, в частности гениальная «Увертюра», написанная автором в 17 лет. Остальное было написано позже, когда Мендельсон был уже «пожилой» – ему было 34 года.). Впервые «Свадебный марш» исполнялся в Потсдамском театре в 1843 году.

Мендельсон был любимым композитором английской королевы Виктории и Принца Альберта. Королева однажды даже пела в его присутствии, но застенялась и сказала: «Я вас боюсь!»

Когда ему было 20 лет, он основал оркестр «Гевандхауз» (до сих пор один из лучших оркестров Германии) и исполнил там 11 марта 1829 года (напоминаю, ему только что исполнилось 20 лет), впервые в мире «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Успех был настолько велик, что 21 марта по просьбам публики, концерт был повторен.

Собственно говоря, именно с этого момента Бах стал известен образованному человечеству, и со временем его творчество было признано одной из главных музыкальных вершин всех времен. Не было бы Мендельсона – вполне возможно, Бах так никогда и не был бы открыт.

Мендельсон шутил по этому поводу, что, мол, странно, христиане 69 лет ждали (Бах умер в 1750 году) чтобы пришел еврей, и возродил для них великую христианскую музыку.

Кстати о еврействе Мендельсона. По крови он был стопроцентный еврей (мать его звали Лия Саломон). Однако его дядя, брат матери, который был в звании генерального консула, принял христианское имя Бартольди и крестился. Подражая ему, крестился и муж Лии, Абрахам, он первым стал Мендельсон-Бартольди. Это же двойное имя унаследовал его сын, Феликс, ставший великим композитором.

Когда французы под водительством Наполеона захватили Гамбург в 1811 году, семья Мендельсонов перебралась в Берлин, и основали там банк, который существует до сих пор.

Хотя бы кратко стоит сказать о деде композитора, Моисее Мендельсоне. Он был религиозный еврей, философ и горбун. В Берлине он основал еврейскую школу. Среди еврейских философов он считается «Отцом Эмансипации».

Видно он очень сильно настаивал на эмансипации, поскольку все его наследники изменили еврейской религии. Так, его дочь изменила свое имя на «Доротей фон Шлегель», и была одной из самых эмансипированных женщин своего времени, у нее был свой светский салон, где она иногда переодевалась в мужские одежды.



Забавная деталь – прусский король Фридрих издал указ, по которому все евреи, если хотели иметь какие-то привилегии, должны были покупать фарфоровые статуэтки производства берлинской фабрики, владельцем которой был... как раз король Фридрих. Евреи, естественно, безропотно покупали, хотя цены были безумные, а качество – низкое. Двенадцать таких статуэток были в семье Мендельсона. Они существуют до сих пор и называются «еврейский фарфор». Сегодня они действительно стоят безумных денег.



Впрочем, одна из наследниц старика Мендельсона категорически отказалась перекрещиваться. Это была старшая сестра Феликса, Фанни Мендельсон. Она никогда не подписывалась Мендельсон-Бартольди, но иногда подписывалась Мендельсон Медем Бартольди (что означает по латыни «Мендельсон и *никогда Бартольди*»)\*.

---

\* Здесь есть неточность. Эти слова принадлежат не Фанни, а младшей сестре Феликса Мендельсона – Ребекке (1811-1858), которая выделялась в семье хорошим знанием греческого и латинского языков. Ребекка Мендельсон стала женой знаменитого математика Петера Густава Лежен Дирихле (1805-1859). Хотя Ребекка, как и другие дети Абрахама Мендельсон-Бартольди, была крещена в детстве, она не порывала со своими еврейскими корнями. Подробнее см. в работе *Беркович Евгений*. Альфред Клебш и его школа. «Заметки по еврейской истории», № 10 2009 (прим. ред.).

Фанни вообще загадочная и даже мистическая фигура в семье Мендельсонов. Про нее долгое время было мало что известно, но все знали, что Феликс ее обожал, старался с ней не расставаться. Когда она вышла замуж за художника Хензеля, Феликс впал в дикую депрессию, и только поездка в Лондон вернула его к нормальной жизни. Еще про нее было известно, что она была неплохой пианисткой, и что-то любительски сочиняла...

Но что – никто не знал, пока вдруг, совсем недавно, не обнаружили большое количество ее рукописей. Как утверждают критики – прекрасной музыки. Ничуть не худшей, чем музыка ее знаменитого брата.

Любопытна история женитьбы Феликса Мендельсона. В 1835 году (ему было 26) умер отец, и Феликс понял, что пора жениться. Среди своих знакомых он отыскал дочку пастора, красивую и набожную Сесиль, которой было 17. Они полюбили друг друга, но Феликс решил проверить свои чувства, (а по другой версии он не мог жениться без одобрения сестры) и на два месяца уехал в Голландию. И только проверив, что он действительно не может без Сесиль, он вернулся и женился. Брак был счастливым. И сестра Фанни смирилась и одобрила этот брак, что было для Феликса крайне важно.

Феликс сделал после этого много прекрасных дел – основал Лейпцигскую консерваторию, поставил памятник Баху в Лейпциге, написал много прекрасной музыки.

Но в 1846 году умерла сестра Фанни. И Феликс был потрясен этим, и никогда не смог вернуться к прежней жизни. После смерти сестры он пришел в те комнаты, где жила Фанни, долго по ним бродил, и сказал величественные и таинственные слова: «Великая глава нашей жизни закончена, а в следующей главе не написано даже заглавие...»

Через год после этого (за этот последний год он ничего не написал) с ним случился апоплексический удар – по-современному инсульт. Он потерял сознание, и на следующий день скончался. Как уже было сказано, ему было 38 лет.

В музыкальных кругах до сих пор бродят слухи о

том, что на самом деле все его произведения сочинила Фанни, или по крайней мере она была его соавтором, и что она была его не только сестрой и наперсницей, но и любовницей, и что она была сильнее его как личность – да чего только не говорят!!!

Но для нас это не имеет значения. История некоторые вещи утаивает, и это хорошо – мы можем что-то предполагать, о чем-то догадываться, и опровергать глупую поговорку, что в истории не бывает сослагательного наклонения. Бывает, да еще как!

\*\*\*

Музыка Феликса Мендельсона – настоящая буржуазная музыка. Она элегантна и изящна, в ней бездна обаяния, и мелодизма, она очаровывает вас с первого раза, а с третьего вы просто не можете без нее жить. Я буду рад, если читатели, прочтя эту статью, начнут слушать Мендельсона, и обнаружат в его наследии огромное количество брильянтов чистой воды – Увертюру к «Гебридам», Итальянскую Симфонию, два скрипичных концерта, из которых менее известный – ре-минорный, еще лучше, чем знаменитый ми-минорный.

И нам, сегодняшним слушателям, совершенно все равно, что про него говорил гадости Вагнер, что его музыка не исполнялась при Гитлере, что до сих пор в антисемитских семьях на свадьбах играют «Свадебный Марш» не Мендельсона а Вагнера (из «Лоэнгрин»)..

Какое наслаждение – поставить диск на прекрасный проигрыватель, включить суперколонки, и услышать сочную музыку «Итальянской Симфонии» Мендельсона. Это и есть настоящее, и при этом – назло Троцкому – вполне мелкобуржуазное счастье!



# Владимир Фрумкин

## Новые мифы и старые факты

### Открытое письмо Лидии Чебоксаровой

*Уважаемый музыковед Фрумкин!  
И вы серьезно можете говорить о тех и этих песнях?  
Это же несовместимо! Вы же умный человек,  
неужели вам не стыдно этого контраста?*  
Записка из зала, 1965.



Дорогая Лидия!

Один из мотивов, прозвучавших в Вашей интересной, отлично написанной статье «Семь мифов о бардовской песне» (*Муз. жизнь. 2011. № 9*), вызвал у меня целую гамму эмоций, главная из которых – недоумение, граничащее с легким шоком. Речь идет прежде всего о главке «Миф 2. Авторская песня – альтернатива официальной музыкальной культуре», в которой Вы утверждаете:

*На мой взгляд, авторская песня не была альтернативой эстраде, а, скорее, частью общей музыкальной культуры, органично сосуществовала с другими музыкальными явлениями.*

Ну, хорошо, не довелось Вам застать то время по молодости лет. Вы ведь не только не жили, но и не родились еще в те далекие уже 1960 годы. Но, если вдуматься, не так уж они и далеки: еще имеются в наличии вполне живые экземпляры вымирающего племени «шестидесятников». К тому же песни тех лет у Вас и на слуху, и в репертуаре, и талант у Вас несомненный, и ум незаурядный. Как же сложилась у Вас эта идиллическая картина, откуда эта розовая дымка, через которую видится Вам (а возможно, и

другим Вашим сверстникам) культура послесталинской России – этакое сказочное благоухающее поле, на котором произрастают рядышком сто цветов и мирно пасутся волки и овцы?

1.

В самом начале Вашего «Мифа 2» Вы признаёте, что он «охотно поддерживается многими теоретиками жанра». Но это Вас ни капельки не смущает. У Вас своя теория, своя логика, свое видение эпохи, предшествовавшей Вашему появлению на свет. Более того, Вы убеждены, что в этом утверждении теоретиков «есть некоторое лукавство». И тут мне, честно говоря, стало немного не по себе. Неужто и я лукавил, утверждая, что на рубеже 1960 годов в России возник второй, «андеграундный» песенный поток, вольно или невольно противопоставивший себя официальной, разрешенной поэзии и песне?

Ничего подобного не было! – говорите Вы. Всё это от лукавого, потому что тогдашние «ценители поэзии, увлеченные, в том числе, и творчеством бардов» были, в сущности, «самыми обычными людьми», так что ценили и любили они всё подряд, ничего особенно не выделяя:

*Они слушали радио и пластинки, посещали филармонию, танцевали на вечеринках под эстрадные шлягеры, и не было никакого противоречия в том, что отдыхая дикарями в палатках в Крыму или Пицунде, те же самые люди пели песни Новеллы Матвеевой под собственный гитарный аккомпанемент. И то и другое и третье – равноценные части их музыкального поведения (есть такой забавный термин в социологии музыки).*

Смешно и грустно признаваться в этом, но когда-то я рассуждал почти так же, как Вы, мой сегодняшний оппонент. Вот какой преамбулой я открыл в Ленинграде 20 октября 1965 года нашумевший впоследствии цикл абонементных вечеров самодеятельной песни «Молодость, песня, гитара» в клубе «Восток» при Доме культуры пищевой промышленности:

– Нам хотелось бы слить воедино... две песенные культуры, которые до сих пор существовали и развивались параллельно, – говорил я, сидя за столиком ведущего рядом

с поэтом Львом Куклиным и композитором Андреем Петровым. – Мне вспоминается почему-то такое сравнение: торжественное открытие канала, который соединяет две реки. Вынимается последний кубометр земли... и две реки благодарно сливаются вместе. Правда, бывают два способа: либо взорвать перемычку, либо вынуть оттуда последний оставшийся кубометр. Нам хотелось бы надеяться на мирный способ. Цель этих вечеров будет достигнута, если и те, и другие, – и профессиональные, и самодеятельные авторы, – почерпнут для себя много нового и свежего. В этом случае не останутся в накладе и зрители...

Цитирую по книге Александра Городницкого «И вблизи, и вдали» (*М.: Полигран, 1991. С. 320-323*). Расшифровка магнитофонной записи была сделана энтузиастом самодеятельной песни Н. Ф. Курчевым.

В первом отделении выступили скромно одетые и столь же скромно державшиеся барды – москвич Александр Дулов и ленинградцы Борис Полоскин, Евгений Клячкин, Валентин Вихорев, Виталий Сейнов и Валерий Сачковский. Публика принимала их очень тепло, порой – бурно и шумно, как истинно «своих». Но когда пришло время обменяться впечатлениями – замолчала, стушеввалась. Выручили профессионалы – Куклин и Петров. Последний сообщил залу, что песни самодеятельных авторов слушает впервые, но знаком с песнями Окуджавы и Матвеевой, которые ему нравятся прежде всего «прекрасными стихами». Перейдя к только что выступившим авторам, Андрей заметил, что в профессиональных песнях такие блестящие стихи встречаются редко. Музыкальная же сторона почти всех прозвучавших песен слабее и уступает стихам.

Андрей говорил уверенно и авторитетно, очевидно, предвкушая тот фейерверк, который он подготовил для второго отделения... Контраст и на самом деле вышел разительный. Композитор явился на песенный поединок с дилетантами в сопровождении целой свиты оруженосцев. Его песни исполняли лучшие эстрадные певцы, которым аккомпанировал Ленинградский Концертный Оркестр под управлением Анатолия Бадхена. Когда все это отзвучало, публику, словно подменили. Зрители заговорили, и как!

Радиоинженер Михаил Дмитрук:

– Вот композитор Петров говорил, что есть разрыв между официальной и самодеятельной песней. В чем же все-таки разрыв? В том, что, по-моему, в официально пропагандируемой песне нет права на конфликт, на переживания. Какой там конфликт? Единственный, который бывает – это: он уехал, она осталась. Или наоборот: она уехала, он остался. И чем (*аплодисменты, шум*) разрешаются эти конфликты? – Скоро придет! (*аплодисменты, шум*). А послушайте Окуджаву. Он первым отважился петь про переживания, про жизненные конфликты, а что касается полублатного мотива – ну что ж, несмотря на такой мотив, все же песни получились гуманистичнее – в смысле любви к человеку, – чем профессиональные песни (*аплодисменты, шум*).

Молодой человек (физик), обращаясь к А. Петрову:

– Ваши песни не несут никакой информации! (Эту фразу привел питерский бард Борис Полоскин в статье «Путь к “Востоку”» (*Нева. 2006. № 6*).

– Пусть больше поют самодеятельные авторы, – прочитали мы в одной из розданных слушателям опросных анкеток. – Петрова мы слышим и по радио.

– Товарищи, где ваше чувство меры? – говорилось в другой анкетке. – Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом – с песнями эстрады.

– В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями... Сравнение, увы, не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности.

– В принудительном порядке отправить профессиональных поэтов и композиторов в турпоходы.

– Нельзя ли обойтись без пошлости во втором отделении? Зал смеялся, когда пела Нонна Суханова о «первой встрече». Хорош контрастец!.. Неумение Дулова держаться перед микрофоном в тысячу раз лучше кокетничанья (особенно отвратительного, когда оно исходит от мужчины, а было и это) исполнителей из второго отделения. Уважаемый музыковед Фрумкин! И вы серьезно

можете говорить о тех и этих песнях? Это же несовместимо! Вы же умный человек, неужели вам не стыдно этого контраста? Да, были и во втором отделении неплохие песни (хотя они и исполнялись манерно), но в общем – тягостное впечатление.

Вот так, дорогая Лида. Не в бровь, а в глаз. А я-то хотел как лучше, пригласил для сопоставления с бардами молодого композитора новой волны, автора мелодически свежих и ярких песен, в которых и слова были свежее и интереснее, особенно те, что написали для Андрея Геннадий Шпаликов и Григорий Поженян.

Короче, для меня этот вечер стал сеансом шоковой терапии, устроенным не какими-то там «теоретиками жанра», а публикой, теми «ценителями поэзии», которые, как Вы подчеркиваете, были «самыми обычными людьми», для которых эстрада и гитарная песня были «равноценными частями их музыкального поведения». Поверьте, я до сих пор поеживаюсь, вспоминая эти разящие слова: «Это же несовместимо!.. неужели вам не стыдно этого контраста?»

## 2.

Понимали ли эту несовместимость, этот контраст авторы нового жанра, вольной «гитарной поэзии» (термин, предложенный моим приятелем, профессором Оксфорда Джерри Смитом)? Послушать Вас, так нет:

*Не думаю, что сами барды каким-то образом осознанно противопоставляли себя официальной музыкальной культуре...*

В самом деле? Официальная культура встретила в штыки неизвестно откуда явившихся людей с гитарами, принявших нарушать все и всяческие правила, согласно которым сочинялись и распространялись песни в стране Советов. Пресса и «творческие союзы» накинулась на них чуть ли не с площадной бранью – а бардам, значит, хоть бы хны, они и бровью не повели и никому и ничему себя не противопоставляли? Позвольте мне ответить на этот вопрос чуть позже, а сейчас – давайте вернемся к выступлению Андрея Петрова на том самом злополучном концерте-диспуте в ДК пищевиков.

К чести Андрея, молодого председателя



Ленинградского Союза композиторов, он, в отличие от ряда своих коллег, не стал поносить самодеятельных авторов, а честно признал, что их песни пользуются любовью «широкого круга слушателей». И добавил, что эти слушатели сплошь и рядом проявляют «равнодушие к официально пропагандируемым песням профессиональных авторов». Последние, однако, не остаются в долгу: «песни, пользующиеся широкой популярностью, встречают резкую критику профессионалов». «Большой разрыв» – так обозначил Петров ситуацию, сложившуюся к тому времени на российской песенной сцене. Происхождение этого разрыва он объяснил так:

– Началось это лет десять тому назад, с эпохи культа личности: всем надоело холодное искусство, появилась тяга к искусству эмоциональному, сложному по чувствам, и простому, но проникновенному исполнению. Однако многие композиторы и поэты по инерции продолжали творить по-старому. Отсюда – расхождение во вкусах, симпатиях, в тематике. Одна из причин, я думаю, появления и популярности самодеятельных авторов состоит в том, что они восполнили отсутствие песен, которые не написали профессиональные поэты и композиторы. Отмахиваться от этого явления нельзя.

Вслед за Андреем Петровым о коллизии «барды-профессионалы» высказался молодой ленинградский композитор Валерий Гаврилин:

– Года два назад я познакомился с песнями наших бардов и был потрясен. Оказывается, от нас, профессионалов, ускользнул целый мир человеческих чувств, целая сложившаяся в обществе психология. Эти прекрасные Клячкины, Кукины, Городницкие, Кимы оказались в каком-то отношении более чуткими и внимательными к жизни общества и создали искусство очень и очень важное и серьезное... (*Гаврилин В. Путь музыки к слушателю // Совет. музыка. 1967. № 5. С. 4*).

Примерно в это же время до меня дошло, что нечто подобное происходило и за рубежами СССР:

– Современная песня, – отмечал французский автор Пьер Барлатье, – отличается от песен прошлого прежде

всего лучшим подбором текстов. Если посредственная музыка с хорошими словами еще может быть как-то принята слушателями, то пустые и глупые слова текста никак не привлекают ни широкую публику, ни специалистов... Слова стали сильнее, правдивее, чем раньше, и проникновеннее, в соответствии с запросами человека наших дней». Революцию во французской песне, по словам Барлатье, произвел поэт-певец Шарль Трене, и разразилась она «сразу по окончании войны, после Освобождения». Произошло это так: «Мы пережили пять лет молчания, и у нас появилось непреодолимое желание кричать о том, как мы хотим свободы. Потому-то наша песня и приобрела такие качества. Заряды, накопленные людьми в течение пяти лет, произвели настоящий фейерверк (*Цит. по: Песни французских композиторов: Для голоса в сопровожд. фортепиано... / Сост. П. Барлатье. М.: Музыка, 1964*).

«Как говорится, нам бы его заботы, – заметил я, приведя эти строки на полуофициальной конференции бардов под Петушками в мае 1967 года. – У них молчание продолжалось пять лет...». После которых, добавляю я сегодня, наступила Свобода, так что их песенная революция не встретила никакого противодействия – по той простой причине, что в нормальном, свободном обществе государство не вмешивается в развитие культуры и не создает обслуживающие его творческие «министерства» (помните окуджавское: «Министерство Союза писателей возвышается на Поварской»?). Нам же, после сталинской эпохи ледяного, тотального молчания был дарован лишь глоток свободы, нам была спущена хилая, капризная и короткая хрущевская Оттепель. Ваша юность, Лида, совпала со следующей оттепелью, которая зашла гораздо дальше нашей. При ней опубликовали, наконец, «непроходимые» песни и стихи Окуджавы, даже Высоцкого, Галича и Кима начали издавать!

В годы нашей молодости не только бардам, но и давно почившим классикам приходилось порой несладко. Вот, скажем, написан (ленинградским композитором И.Б. Финкельштейном) вокальный цикл из пяти романсов на слова Тютчева, но издательство берет только четыре.

Выброшена «Последняя любовь»: «О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней...». Композитор в ужасе, рушится замысел, рассыпается драматургия цикла! И слышит в ответ: не может советское издательство воспевать суеверия и прочие религиозные бредни. (Примерно в то же время «Юность» долго уговаривала Булата изменить строчку в его «Песенке об Арбате»: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия». Слава Богу, не изменил.) Как напомнила мне из Питера (в связи с Вашей статьей в «Музыкальной жизни») Тамара Л., редактор и продюсер популярной в 1960 годы передачи ленинградского телевидения «Турнир старшекласников», где я вел музыкальные конкурсы, начальство однажды вымарало из нашего сценария строки Пушкина (!): «И чувства добрые я лирой пробуждал. Причина: «Вы протаскиваете так называемые о б щ е ч е л о в е ч е с к и е ц е н н о с т и (!). А ценности бывают только к л а с с о в ы е ».

Вот такая у нас была Оттепель. И уж совсем захудалой была она в сфере «культуры для масс». Кратко и точно сказал о ней московский литературовед Николай Богомолов в статье «Булат Окуджава и массовая культура» (*Вопр. лит.* 2002. № 3. С. 3-14.): «Нигде тоталитаризм сталинского типа не господствовал с такой решительностью, как в этой сфере, – разве что на зоне».

### 3.

Однажды, в слабой надежде достучаться до ленинградских профессиональных песенников (к каковой, наверное, примешивалось и желание подразнить гусей), я представил им на заседании «Секции массовых жанров» сочинение нашего, «советского Шарля Трене» – первопроходца авторской песни Михаила Анчарова. Вот, уважаемые композиторы и поэты, какие песни увлекают сейчас образованную молодежь; в них затрагивается то, о чем категорически молчат песни, выходящие из этих стен; их герои и ситуации взяты из реальной, неприкрашенной жизни. Затем был исполнен анчаровский «МАЗ». Встречен он был минутой оторопелого молчания, сменившегося бурным негодованием. Песня была признана непотребной, низкой, воспевающей людей дна, искажающей нашу

действительность.

Следующую попытку я совершил перед более широкой аудиторией, на всероссийской музыковедческой конференции в Ленинграде. На сей раз выбрал «Тридцать лет» Юры Кукина, песню умную и серьезную, слегка ироничную, глубоко личную по тону. Почтенная публика поеживалась, недоуменно переглядывалась, а на словах «Тридцать лет – это время свержений Тех, кто раньше умами вершили» многие лица испуганно вытянулись....

В июле 1968-го по клубу «Восток» распространился тревожный слух: «Известия» заказали В.П. Соловьеву-Седому большую разгромную статью о самодеятельном песенном движении, которое и без того поносилось в печати как дилетантское и идеологически вредное. Активисты клуба решили, что единственное, что может остановить статью, – личная встреча с Седым. Отговорить композитора от этой затеи должен был Александр Городницкий, который попросил меня составить ему компанию.

– Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарово, на литфондовской даче, где раньше жила Анна Андреевна Ахматова, а в тот год – ленинградский поэт Лев Друскин и его жена, – вспоминает А. Городницкий. – ...Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора... На стол было выставлено сухое вино... Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары СС, в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а, бросив взгляд на стол, произнес: «Водки нет – разговора не будет», и, вытирая платком со лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой» (*Городницкий А. «И жить еще надежде...»*. М.: Вагриус, 2001. С. 403).

Разговор получился длинный – мы провели у моих друзей Друскиных около трех часов. Городницкий напевал Василию Павловичу фрагменты из песен разных авторов и «пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо

знает об этом направлении».

Увы, как и следовало ожидать, «встреча наша оказалась бесполезной. Несмотря на заверения СС о поддержке авторской песни, 15 ноября 1968 года... в газете «Советская Россия» появилась его статья «Модно – не значит современно», направленная против нее... Однако закрыть авторскую песню не удалось», – оптимистично завершает Городницкий свой рассказ.

Отчетливо помню, как, вернувшись в Ленинград из Одессы, где снимался фильм с его музыкой, Василий Павлович рассказал в гостиной Дома композиторов, что в съемочную группу как-то пришел Высоцкий и спел несколько своих песен. Они ему не понравились, а «Штрафные батальоны» и вовсе возмутили: «Да это же искажение истории войны, поклеп на нашу армию!» – кипятился обычно спокойный, флегматичный Вася...

#### 4.

Владимир Новиков как-то сравнил эту (так и не увидевшую свет при жизни Высоцкого) песню с опубликованным стихотворением Евтушенко на ту же тему, «Балладой о штрафном батальоне». И «Черного кота» Окуджавы с евтушенковскими же «Наследниками Сталина». Вывод критика – разница между разрешенной поэзией и бардовской песней «не столько в степени информационной откровенности, сколько в степени внутренней личностной свободы пишущего». (К сходным выводам пришли в своих блестящих диссертациях молодые американские исследователи Мартин Дотри и Рейчел Слейтер-Платонова.)

А знаете, Лида, как Новиков назвал свою статью? «Авторская песня как поэзия сопротивления». (Вестник. Балтимор, 2002. № 290). Сопротивление! Представляю, как режет Вам слух это слово. Ведь у Вас, в творимом Вами новом мифе, авторская песня «органично сосуществовала с другими музыкальными явлениями», в культуре царили мир и благолепие. И тут я хочу вернуться к Вашей удивительной фразе, которую я уже приводил:

*Не думаю, что сами барды каким-то образом осознанно противопоставляли себя официальной музыкальной культуре.*

Нет, дорогой мой оппонент. Они прекрасно сознавали, что между напеваемыми ими на примитивные «Астры», «Днепры» и «Яузы» стихами и тем, что звучало по радио, с телеэкранов и в концертных залах, различия были, и еще какие!

Судите сами.

Булат Окуджава:

*– До этого в большом ходу были песни официальные, холодные, в которых не было судьбы; песни, проникнутые дешёвым бодрячеством (это называлось оптимизмом), примитивными стандартными риторическими мыслями о Москве, о человеке, о родине (это называлось патриотизмом). Я стал петь о том, что волновало меня... (Из предисловия к французскому изданию романа «Бедный Авросимов». Париж, 1972).*

Да и запел он, можно сказать, «в пику» этим самым «песням без судьбы», сочинил свое, отмежевавшись от того, что было «в большом ходу». Булат сидел с другом в московской квартире при включённом радио. Играли какой-то советский шлягер, и приятель заметил, что песня, наверное, обречена быть глупой. Окуджава возразил, предложил пари и написал нечто такое, что друг был посрамлён. Это была его первая (после юношеской «Неистов и упрям») зрелая песня. Он рассказал мне об этом эпизоде середины 1950-х вскоре после нашего знакомства осенью 1967 года.

Владимир Высоцкий:

*– Есть, например, такая песня, которая начинается так: «На тебе сошёлся клином белый свет. На тебе сошёлся клином белый свет. На тебе сошёлся клином белый свет. Но пропал за поворотом санный след»... Никакой информации! И два автора там!»*

Володя отвечал на поставленный им же вопрос о том, почему молодёжь отворачивается от профессиональной песни и переключается на «самодеятельную». Аудитория весело смеялась, живо реагируя на модное тогда словечко «информация». Высоцкий прибегал к этой шутке не раз в своих выступлениях конца 1960-х. Однако, если верить сайту «Записки мизантропа», вина за «информационную

недостаточность» этой песни лежит не на «двух авторах» слов, а на авторе музыки:

– Композитор Оскар Фельцман весьма вольно обошелся с текстом песни «На тебе сошелся клином белый свет», которую ему принесли два начинающих поэта-песенника – Михаил Танич и Игорь Шаферан. Они принесли балладу – четыре куплета по двенадцать строк в каждом. Фельцман поморщился, и механически взял из каждого куплета по две первых и по две последних строчки, чем лишил песню вообще всякого смысла. Что, впрочем, не отразилось на ее популярности.

У самого Высоцкого плотность поэтической информации высока даже в его ранних песнях, виртуозно стилизованных под блатную лирику. Юрий Кукин любил рассказывать, как он, будучи в геологической экспедиции в Сибири, пел эти песни Высоцкого их героям – бывшим уголовникам. «Представляют, они ничего не поняли. Не успевали за смыслом. Слишком много информации на единицу времени...».

Александр Галич:

– *Для России 60-х годов поэзия под гитару была открытием, потому что оказалось, что песня может вместить огромное количество человеческой информации, а не только «расцветали яблони и груши...»* (Цит. по: Ковнер В. Золотой век магнитиздата).

А вот слова других свидетелей той эпохи, современников и друзей поэтов с гитарой.

Юрий Нагибин:

– *Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней... нам открылось, что... уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми* (Там же).

Марк Розовский:

– *Это ведь была неофициальная культура, огромный пласт нашей неофициальной культуры – вот что такое бардовская песня. Она всегда была вне официоза и противостояла этому официозу – и правдой чувств, и*

*правдой размышлений* (Цит. по: Фрумкин В. Певцы и вожди. Ниж. Новгород: Деком, 2005. С 111-112).

Странно, что Вы, Лида, прошли мимо этих, и м н о ж е с т в а подобных им, высказываний и оценок.

## 5

Но не будем упрощать: «противостояние официозу», о котором говорил со мной Розовский в интервью по «Голосу Америки», несли не только слова бардовских песен. Оно ощущалось нами и в том, как эти слова интонировались, каким тоном произносились-напевались. Не кто иной, как поэты-певцы первыми нащупали новую, более человечную, более «личностную» интонацию, которая – после смерти Сталина – начала постепенно вытеснять фальшивый, пафосный тон, угнездившийся в послевоенные годы на радио, съездах, собраниях, в печати, в театрах, в поэзии и прозе, в кантатах и ораториях, славивших «великого вождя».

Во-первых, это было принципиально невокальное пение. «Нам слишком долго лгали хорошо поставленными голосами», – любил повторять Галич слова американки Мальвины Рейнолдс, известной исполнительницы песен протеста. (Мы тогда не очень задумывались над тем, против чего протестовали западные левые, симпатизировавшие Советскому Союзу. Насколько их ценности отличались от наших, нам стало очевидно уже потом.)

Во-вторых, барды интуитивно обратились к тем пластам русской и зарубежной мелодики, которых решительно сторонилась официальная песня – к старинному романсу, уличной городской песенке, Вертинскому, шарманочным наигрышам, лирике социального дна, мелодике английских баллад и современных французских песен (типа тех, что входили в репертуар Ива Монтана).

В-третьих, другим было и соотношение мелодии и стиха – менее прямолинейным, чем в массовых и эстрадных песнях. Дело, очевидно, в том, что авторское пение сродни авторскому (не актерскому) чтению и народной песне, которая, как и большинство бардовских песен, создается одним лицом, «синкретично». Поэты, читая или распевая свой стих, не стремятся дублировать и усиливать то, что уже есть в словах, как это зачастую делают



профессиональные композиторы. Поэтому мелодия нередко идет «по касательной» к стиху, а иногда и контрастирует с ним. Она вносит новые краски, передает внутреннее состояние певца и рождает доверительную атмосферу общения со слушателем.

Однажды я, в порядке эксперимента, попросил нескольких моих приятелей, ленинградских композиторов, придумать музыку к словам оруджавской песни «Неистов и упрям, гори огонь, гори». Выбрал тех, кто никогда не слышал мелодию Булата – неспешную, меланхоличную, в ритме вальса. Мои подопытные – все как один – сымпровизировали музыку в характере героико-драматического марша...

По тому же пути – дублирования музыкой внешнего, наиболее заметного смыслового слоя текста – пошел и замечательный песенник Матвей Блантер, который решил озвучить по-своему пять широко известных песен Оруджавы. «Мне нравится его поэзия, – сказал мне Матвей Исаакович, когда нас познакомили в августе 1965 года. – Она настоящая, это не ремесленные поделки наших текстовиков, из-за которых молодёжь отворачивается от советской песни. Песне, как воздух, нужны хорошие слова, которые мы должны брать и у бардов, но – отбрасывая их музыку, потому что – какая же это, простите, музыка? Ведь у этих людей – никакого музыкального образования! Я, между прочим, специально выбрал те стихи Оруджавы, которые он поёт на свои мелодии – пусть увидит, как нужно писать песни!»

Вскоре пять оруджавских стихотворений, увенчанные музыкой знаменитого мастера, были опубликованы и выпущены на пластинке в исполнении Эдуарда Хиля и эстрадного инструментального ансамбля «Камертон». И что же?

Оказалось, что простые напевы поэта бережнее, тоньше и многозначнее соединены со стихом, чем мелодии талантливейшего музыканта-профессионала. Усилиями Блантера и Хиля оруджавская лирика попала в абсолютно чуждую ей интонационную среду. Стихи зазвучали натянуто и плоско. Исчез подтекст, испарилась оруджавская щемящая

ирония, пропало чувство меры. Там, где у Булата тихий и сдержанный марш («Песенка о ночной Москве»), у Блантера – сентиментально-страстное танго. Грустная и серьезная «Песенка об открытой двери» превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» – в бойкий водевильный куплет. Лишь в одной из пяти песен («В Барабанном переулке») композитор проявил жанровую чуткость и, как и Булат, выбрал неторопливый лирический марш.

Молодые слушатели, которым я во время своих выступлений (два из них шли в прямом телеэфире) проигрывал в записи обе интерпретации окуджавских стихов, реагировали живо и, как правило, отстаивали авторскую трактовку. Некоторые из высказываний я включил в свою статью для журнала «Советская музыка», которую напечатали только после того, как я согласился, чтобы вслед за ней шла «контрстатья» от редакции (*Совет. музыка. 1969. № 10*). Моя статья называлась скромно: «Песня и стих». Редакционный ответ, написанный Лианой Гениной, был озаглавлен «Ответ перед будущим». Новелла Матвеева, поверив призыву журнала вступить в полемику, разразилась большим эссе, которое было отвергнуто. И тогда она написала посвященное мне полемическое стихотворение на ту же тему. Назвала она его «Ласточкина школа».

## 6

Перечитал сейчас Ваш «Миф 3. Бардовская песня – искусство диссидентов».

Отметив и приняв в начале главки тот непреложный факт, что

*...политическая сатира действительно занимала основную часть песенного творчества Александра Галича и значительную часть творчества Юлия Кима,*

– Вы переходите к опровержению мифа о «политизированности данного жанра». Ваш основной аргумент заключается в том, что

*...в целом шестидесятники, к которым относятся и классики-основоположники бардовской песни, сформировавшие философскую базу жанра, ни в коем случае не были противниками социалистического строя.*

*Напротив, они непостижимым образом совмещали в своих убеждениях, казалось бы, несовместимое: коммунистические идеи и либеральные ценности индивидуальной свободы... никакого разительного противоречия с официальной идеологией в системе ценностей, исповедуемой бардами, не было.*

По части либеральных ценностей – я с Вами. Но коммунистические идеи?! Где Вы их обнаружили, Лида, чем Вы можете подтвердить это смелое утверждение, на что опереться? На высказывания «классиков-основоположников»? Никогда ничего подобного не читал и лично от них не слышал. На их поэзию? Но и в ней, при всем желании, не найти и намека на симпатии к «коммунистическим идеям». Как и доказательств того, что система ценностей авторов «магнитиздата» не противоречила официальной идеологии. Могли ли люди, запоем читавшие самиздат и тамиздат – Мандельштама, Цветаеву, «Доктора Живаго», «Крутой маршрут», «Всё течет», «В круге первом», «Раковый корпус», «1984-й», «Технология власти», «Большой террор» и многое другое – продолжать верить в кровавый социализм советского толка?

Да что там неприкаянные, оппозиционные барды! Даже творческий истеблишмент засомневался в разумности социализма советского толка и то и дело вступал в «противоречие с официальной идеологией».

Вспоминаю поездку в «Красной стреле» в Москву с В.П. Соловьевым-Седым, когда он еще был председателем Ленинградского Союза композиторов. Меньше всего говорили мы о музыке или делах Союза. Италия – вот что было на уме у моего собеседника. Впечатления о недавней итальянской поездке явно не давали ему покоя и требовали выхода. Центральное место в его рассказе заняла маленькая римская trattoria, где его обслуживала пожилая пара. Встретили тепло, накормили вкусно, подавали быстро, все блистало чистотой и порядком.

– «Спрашиваю – через переводчика, конечно: кто же тут повар?» – «Да мы сами и готовим». – «А бухгалтер, счетовод, кассир у вас есть?» – «Да нет, сами управляемся». – «А закупки кто делает?» – «Тоже мы». – «А хозяин кто,

владелец?» – «Опять же мы»...

«Соображаете?» – вдруг повысил голос раскрасневшийся от коньяка рассказчик. – «Пока не очень...» – «А я сообразил! Извлек урок! Знаете, сколько работничков было бы у нас в таком ресторанчике? Дюжина, не меньше. А то и больше. Потому и вечный дефицит, разгильдяйство, экономика в кризисе. Теперь поняли, как со всем этим можно покончить?» – «Как же, Василий Павлович?» – «Безработица нам нужна! Как на Западе. Разогнать лентяев, оставить лучших. А кто будет плохо работать – увольнять безжалостно! Уверяю вас, люди будут стараться, кому захочется быть выгнанным взашей? Только кто же у нас на это пойдет...», – добавил он, снизив тон и безнадежно махнув рукой.

Вот тебе и раз, подумал я. Вирус инакомыслия добрался до робкого и косного композиторского болота. И кто бредит реформами – обласканный режимом музыкальный номенклатурщик, титулованный советский вельможа, один из высших генералов композиторской армии!

7

Во второй половине 1960-х песни, заполнявшие эфир советской России, услышал инопланетянин. Ему было восемьдесят с лишним, и звали его Корней Иванович Чуковский. Судя по его дневниковой записи, раньше он этих песен не знал или просто не прислушивался. Столкнулся он с ними в больнице. И пришел в ужас:

– Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио, и теле, и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни – дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. И массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни, и никто не знает Пушкина, Жуковского, Фета, никто. В этом океане пошлости купается вся полуинтеллигентная Русь, и те, кто знают и любят поэзию, – это крошечный пруд... (*Лукьянова И. Корней Чуковский. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 950*).

Совсем иначе реагировал «инопланетянин» на впервые услышанные песни Галича:

– Переделкино. Дом творчества. У нас в комнате поет Александр Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы испугались. Ведь песни Галича, их язык, стиль, страсти прямо противоположны тому, что он любит. Но слушал он благодарно, увлеченно... И пригласил Галича петь у него в доме. Концерт состоялся через несколько дней... Чуковский подарил Галичу свою книгу и написал: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» (*Копелев Л., Орлова Р. Мы жили в Москве. М., 1990*).

Думаю, что если бы Чуковский хоть раз оказался на вечере бардовской песни в «Востоке», увидел лица зрителей и услышал, что говорят они «о тех и других песнях» и о поэзии, его пессимизм бы несколько поубавился, и ее знатоки и любители уже не показались бы ему «крошечным прудом» рядом с морем пошлости и примитива.

Я перестал вести эти вечера вскоре после разгрома Пражской весны, когда стало ясно, что Оттепель окончательно накрылась. Начальство Дома культуры потребовало, чтобы барды – за несколько дней до концерта-диспута – приносили на проверку тексты своих песен.

– Спасибо, – сказал я, – занимайтесь этим без меня.

– Да это не от нас исходит, – замялась заведующая массовым отделом, горячая поклонница бардовской песни В.С. Войналович. – Это всё Большой дом, славные органы. Я не хотела говорить вам раньше, но они проявляют сугубый интерес к этому жанру. Мы им оставляем два билета на каждый наш вечер.

Я не обольщаюсь, Лида, и не очень-то рассчитываю на то, что приведенные мною факты и доводы мгновенно и безоговорочно подействуют на Вас, человека другой эпохи, не хлебавшего «наших советских щей», как выразился мой питерский приятель и коллега, познакомившись с Вашей статьей о мифах.

И все же я не теряю надежды. Потому и взялся за это разросшееся письмо, адресованное Вам, а также тем из Ваших сверстников, которые воображают и изображают не прожитую ими эпоху так, что у тех, кто ее прожил, удивленно поднимаются брови и слегка темнеет в глазах.

Хочется верить, что Вам захочется ответить на это

послание. Я – за диалог, как бы далеко ни находились друг от друга его участники. Хронологически, географически, идеологически. Давайте говорить – «через годы, через расстоянья», как пелось в милой эстрадной песенке тех стремительно отдаляющихся лет...



**Артур Штильман**

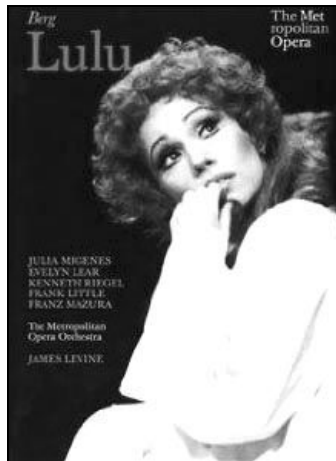
**«Люлю» – первая встреча с  
музыкой Альбана Берга**

**«В Большом театре и Метрополитен Опере»**

Из книги воспоминаний  
(продолжение)



чень удивляла, поначалу, достаточно «тяжёлая» инструментовка «Люлю». Несмотря на это, Джулия Мигенес-Джонсон легко перекрывала оркестр в самых кульминационных местах, и казалось, без всякого напряжения и форсирования.



«Люлю» – Джулия Мигенес-Джонсон

Это тоже было для меня совершенно новым – как это вообще возможно перекрыть голосом звуки оркестра,

состоящего из ста исполнителей? В чём был секрет этого? По-видимому, всё-таки гений композитора это как-то учёл и создал такую возможность для певцов. То есть в местах эмоциональных кульминаций, раскрывающих душевное состояние героев, инструментовка всё же не была настолько перегруженной для певцов-солистов, насколько это казалось изнутри оркестра. Как бы то ни было – опера эта, как уже говорилось, несмотря на столь сложный музыкальный язык, имела у публики триумфальный успех.

Параллельно готовились и оперы Верди: «Бал Маскарад», «Сила судьбы». Начали репетировать его «Реквием Манцони» - для последующих концертов, довольно трудную детскую оперу Хумпердинка «Ханзель и Гретель», обычно шедшую в рождественские каникулы.

Только когда на репетиции «Бала маскарада» я услышал Карло Бергонци, то понял что такое настоящее итальянское «бельканто». Конечно, никакого «секрета» в нём нет – просто подходящие для этого направления вокального искусства певцы готовятся соответствующими педагогами-репетиторами в течение многих лет. И не обязательно, чтобы певец или певица, были бы непременно итальянцами. Рождённые для этого голоса – лишь почва, из которой вырастает певец-артист. Система упражнений развития голоса, специальный репертуар, постоянная коррекция со стороны педагога- репетитора – всё это создаёт в конечном итоге исполнителя оперной классики, поющего в этом традиционном итальянском стиле. Карло Бергонци – вероятно один из самых изумительных представителей этой школы и один из самых прекрасных наследников великого певца Беньямино Джильи. Я помню, что на репетиции в оркестр заглянул Миша Райцин, пришедший в театр для того, чтобы услышать Бергонци. А в антракте я увидел и подошедшего к Левайну Пласидо Доминго. Он также не пропустил репетиции своего замечательного коллеги. В одной из теноровых арий, если не ошибаюсь во 2-м Акте, Бергонци спел начальные такты с такой невероятной гибкостью фразы, свободой и теплотой, что сам голос, казалось, нёс в себе солнце Италии, под которым рождались такие чудеса.



Позднее я вспоминал, как пел в 1974 году Зураб Соткилава на одном из концертов после возвращения в СССР из Италии. Его голос звучал тогда так, что напоминал действительно великих итальянских певцов прошлого. Если в 1974 году были бы для певцов в СССР такие же возможности, которыми они пользуются сейчас, я уверен, что Соткилава занял бы место одного из величайших теноров своего времени. А при тех обстоятельствах его пригласили в Большой театр, где он должен был исполнять текущий репертуар. «Иоланта» Чайковского не была противопоказана его голосу, но русские оперы – безусловно противопоказаны. Тоже самое происходит, когда итальянские певцы, или певицы этой школы начинают выступать в русских операх. Увы, их результаты становятся более чем скромными.

Вероятно потому-то Метрополитен Опера всегда приглашала на свою сцену лучших певцов мира – но каждого, так сказать в своём специфическом амплуа – итальянцы выступали в итальянских и французских операх, русские певцы – в русских, французы - в современной музыке Пуленка, Дебюсси, Равеля, а также нередко и в операх Доницетти. Во второй половине XX века начали выходить на мировую арену испанские певцы – из Испании, Мексики, и других южно-американских стран. По природе своих голосов, вне зависимости от места рождения, они были ближе к итальянской манере пения и, как правило, снискали себе славу именно в этом качестве.

Конечно есть небольшое количество «всеядных» певцов мирового класса, но именно их уникальность пожалуй лучше всего говорит о том, что это исключение подтверждает правило. О выступлениях российских певцов на сцене МЕТ будет рассказано позднее. А сейчас – продолжение первого сезона в оркестре Метрополитен оперы.

\*\*\*

В начале марта меня пригласил в свой офис Эйб Маркус и сказал, что согласно юнионным правилам, все постоянно работающие в МЕТ как и в других оркестрах, должны быть прослушаны конкурсной комиссией. Так как я

не играл публичного прослушивания, то теперь мне следовало это сделать. Жаль только, что в основном при всех прослушиваниях – конкурсных или внеконкурсных – в американских оркестрах не слушают, как правило, сольное исполнение Концертов для скрипки или частей Сонат и Партит Баха. Слушают же только кусочки из оркестровых партий – по 16 тактов, или по 32 такта, то есть лишь отрывки из партий первых скрипок различных опер или симфоний.

Кажется, в ту пору лишь с приходом в «Нью-Йорк Филармоник» Зубина Меты на финальном туре конкурсного прослушивания требовалось играть части из Сонат Баха и часть Концерта для скрипки. В большинстве оркестров давались – и заранее! – только отрывки из оркестровых партий. Всем нам, приехавшим в 1970-80 годы в Америку, пришлось считаться с этими сложившимися правилами. То есть единственным и главным критерием игры исполнителя в оркестре считалось лишь качественное исполнение этих кусочков музыки из оркестровых партий. Иными словами, никто не интересовался действительным уровнем скрипача или виолончелиста. Все оценки исходили из «выступления» с этими крохотными отрывками оркестрового репертуара. Не знаю, за сколько лет до моего появления в Америке сложилась такая практика, но она, на мой взгляд, и сегодня представляется не всеобъемлющей для оценки возможностей исполнителя, претендующего на работу в оркестре.

Но это лишь мои личные соображения, что-нибудь изменено в этом плане быть не могло.

Конечно, человек со значительным концертным исполнительским опытом мог лучше совладать со своими нервами и реализовать свои возможности в максимально законченной игре этих отрывков. И всё же естественное волнение иногда может сыграть злую шутку с самым первоклассным солистом, поставленным в такую ситуацию.

Вот при таких условиях начиналось нашествие азиатских исполнителей из Китая, Японии, Кореи, Тайваня. Эти люди обладали двумя главными преимуществами по сравнению с их европейскими и американскими коллегами:

как правило, у них прекрасные нервы и их концентрация и способность ежедневно механически заучивать такие отрывки – практически беспредельны.

Такое положение с азиатскими струнниками возникало лишь постепенно. Теперь большинство скрипичных групп лучших американских оркестров состоит часто на 50% из исполнителей азиатского происхождения!

Всё это весной 1981 года было пока что в будущем, а тогда я прошёл это прослушивание очень удачно и получал много комплиментов за «отличное и артистическое исполнение»... чего? Отрывков из нескольких тактов! Но правила Юниона и его отделения № 802 были соблюдены. «Ты прекрасно прошёл прослушивание и работаешь теперь на совершенно законном основании», – сказал мне Эйб Маркус.

Понятно, что мои внештатные коллеги не были в восторге от того, что «заполучили» меня в свою компанию. Но к их чести, никаких шероховатостей или выражения несогласия с моим приходом в театр не было с самого начала. Правда, их согласия никто и не спрашивал.

Вполне естественно, что «большие пятёрки» или «десятки» лучших оркестров Америки и Канады хотели принимать на работу людей в возрасте максимум 25-30 лет. То есть они желали по понятным экономическим причинам платить в будущем пенсию своим членам оркестра через сорок лет, а не через двадцать. В США тем не менее, дискриминации по возрасту официально нет. Но неофициально ситуация с фактором возраста вполне понятна. В Европе в те годы принимали в оркестры на постоянную работу лиц не старше 32-35 лет. А в 65 лет в той же Европе следовало без всяких исключений уходить на пенсию. В Америке такого положения не было – любой член оркестра, если он был в состоянии выполнять свои обязанности, мог работать хоть до 90 лет. Двое моих коллег в начале 2000-х ушли на пенсию в возрасте 88 лет! Да и то, ушли сами, без какого-нибудь давления и просьб руководства оркестра.

Так началась моя работа в оркестре MET Оперы, которая продолжалась до 2003 года, когда мне исполнилось

68 лет, и я решил уйти на пенсию. Пришедший на смену Маркусу в 1988 году новый менеджер Роберт Сиринек – бывший трубач оркестра МЕТ, детально расспрашивал меня о причинах моего желания уйти с работы. Я мотивировал своё желание состоянием здоровья – небольшие симптомы астмы часто мешают мне полноценно дышать, а находясь в театре избежать витающей в воздухе пыли от декораций и всего театрального реквизита – невозможно. Для меня лично были и другие мотивы, но я не счёл нужным приводить их в качестве реальных причин моего желания удалиться на пенсию.

Возвращаясь к весне 1981 года, результатом моего успешного прослушивания было приглашение на весь шестинедельный тур МЕТа по городам США: Вашингтон, Кливленд, Бостон, Миннеаполис, Детройт, Атланта, Мемфис, Даллас, а также летние концерты в Нью-Йорке. Это было первым и настоящим знакомством с Америкой. О нескольких городах и публике в них нужно немного рассказать особо.

В Вашингтоне в том году я чувствовал себя уже «старожилом». Мы с моим коллегой Владимиром Барановым снова посещали все музеи, снова пришли в Библиотеку Конгресса, ходили по магазинам грампластинок – очень хороших в те годы. Той весной оперой «Самсон и Далила» Сен-Санса дирижировал в туре Неэме Ярви. Когда я работал в Большом театре он там появился, если не изменяет память, лишь раз с оперой «Травиата» (Живя и работая в Эстонии, он обладал исключительно высокой репутацией среди музыкантов, и я тогда ещё в Москве, очень сожалел, что не был назначен на спектакли в те вечера, когда он дирижировал). Ярви с семьёй иммигрировал в Америку за полтора месяца до нашего прибытия в Нью-Йорк.

В первые дни нашего пребывания в Вашингтоне из Европы пришла очень грустная весть – скоропостижно скончался дирижёр Кирилл Кондрашин, оставшийся два года назад в Голландии и не вернувшийся в СССР. Теперь, насколько мы знали, его контракты по Америке с САМІ (Columbia Artists Management Inc.), были предложены Неэмэ Ярви. Ему приходилось дирижировать спектакли в МЕТ и

иногда ночью садиться в самолёт, чтобы на следующее утро репетировать симфонические программы в разных Штатах и с разными оркестрами. Ярви обладает поразительным дарованием выступать с произведениями любой сложности так, как будто это не представляет никаких трудностей – с такой свободой и лёгкостью он дирижировал! Оркестры были всегда рады встречам с ним, так как репетировать и выступать на концертах с Неэми Ярви было скорее большим удовольствием, чем работой. Хорошее настроение, лёгкость репетиционного процесса, абсолютная свобода владения материалом – всё это поражало в нём с самой первой встречи. В МЕТ Опере он завоевал своим искусством много поклонников в оркестре, хоре и, конечно, среди солистов. Он позднее дирижировал в МЕТ много сезонов и под его руководством была осуществлена новая постановка «Хованщины» (14 ноября 1985 года).

\*\*\*

Как и в 1980 году, вторым городом в гастролях МЕТ по Америке был Кливленд. Самым интересным тогда было приглашение артистов МЕТ на парти в дом знаменитой семьи сталепромышленников – Блоссом (Blossom). Это они в 1968 году организовали для одного из лучших оркестров Америки и гордости Кливленда – «Кливленд-Симфони» – летний фестиваль: «Блоссом фестиваль». На открытии тогда дирижировал Джордж Селл, и фестиваль сразу стал привлекать всемирных знаменитостей – дирижёров и солистов.

Фестиваль значительно увеличивал годовые заработки оркестра в летнее время – самое уязвимое в смысле занятости американских оркестров. Так что на первых порах фестиваль преследовал цель улучшения финансового положения оркестра и, конечно, привлечения к фестивалю международных знаменитостей (помню выдающееся выступление дирижёра Владимира Ашкенази с этим оркестром в программе с сочинениями Рихарда Штрауса: «Так сказал Заратустра» и «Жизнь героя», которое я слушал по радио в конце 1980 годов).

Приём для нас устраивала жена последнего Блоссом. Возможно, что финансовые интересы семьи к

этому времени уже были «перебазированы» в другие отрасли промышленности и финансов, так как заводы города казались в 1981 году полностью необитаемыми. Всё закрывалось и переводилось в Китай и другие страны третьего мира. Но такие старые состояния, конечно, не гибли, а находили для себя иные возможности.



Автор на фоне дома семьи Блоссом

Наша хозяйка миссис Блоссом рассказала историю их дома: в 1929 году, в годы Великой депрессии семья посчитала неприличным жить в большом дворце, построенном ещё в конце XIX века и переехала в довольно скромные коттеджи, соединённые в одну линию семейного компаунда. Она пригласила нас зайти в дом и устроила маленькую экскурсию, чтобы показать некоторые реликвии живописи и скульптуры, предупредив нас, что всё самое ценное, чем владела семья давно передано музеям разных городов США.

Этот приём, отношение во всем работавшим в MET Опере, приглашённым миссис Блоссом, совершенно не вязался с представлениями, вдолбленными нам в головы с детства о «кровопийцах-капиталистах». Возможно, что такими и были некоторые предприниматели на заре XX века, но никак не в середине его. Да, борьба профсоюзов за свою легализацию в Америке носила долгий и кровавый характер, но в конце концов она увенчалась полным успехом (сегодня очень модно произносить антипрофсоюзные лозунги,

особенно в среде бывших советских иммигрантов, но музыканты Америки никогда бы не достигли ни такого финансового благополучия, ни уверенности в своих законных правах при заключении самых благоприятных контрактов без участия и помощи профсоюзов. Я говорю здесь только о профсоюзах музыкантов).



Миссис Блоссом с нами во время приёма

Нам представили членов семьи миссис Блоссом – её двух дочерей и маленьких внуков. Все они себя вели необычайно скромно, никак не заставляя предполагать об их столь знаменитом происхождении. Мы получили большое удовольствие от посещения их дома, а для нас с Барановым это было действительно «пищей для размышлений».

Из Кливленда мы полетели в Детройт.

В 1981 году это был пугающий воображение город-призрак. Всё напоминало Ньюарк. Пустынные улицы, тени нищих негров, просящих у редких прохожих доллар, несколько гостиниц недалеко от более не менее обитаемой небольшой береговой полосы, застроенной корпорацией «Форд» высотными зданиями, и редкие уцелевшие уголки старого города, среди которых был универсальный магазин «Хадсон». В местной газете я прочитал, что и он на днях должен был закрыться, что у него была славная история – поколения жителей приходили в магазин в рождественские каникулы, где устраивались представления для детей, где можно было провести целый день, делая покупки для

праздников, и одновременно дети получали удовольствие от целого комплекса развлечений. Всё это теперь было в прошлом... Жители покинули город и переселились в пригороды.



Новые друзья в MET (все более не менее говорили по-русски):  
Майкл Бартон, Владимир Баранов, Майкл Морган, Харри Пирс и  
автор за кулисами MET, 1983 год

Теперь по статистике 2010 года город заселён на 80% негритянским населением и только на 10% белым. Остальные 10 процентов – арабы, азиаты, латиноамериканцы. В Детройте одна из самых больших мусульманских общин Америки.

А тогда были лишь грустные ассоциации с Ньюарком. «Рейганомика» обещала прогресс, но обещала лишь в будущем, которое вырисовывалось совсем неясно.

\*\*\*

Спектакли MET проходили в старом театре «Масоник Темпл», находившимся недалеко от центра в более не менее сохранившемся районе. Оркестровая яма была очень небольшой и многие штатные скрипачи покинули тур на несколько дней, уехав домой. Первым спектаклем должен был быть «Дон Жуан» Моцарта. Мы проиграли его один раз в Нью-Йорке перед отъездом. Понятно, что раньше я его никогда не играл – в Большом театре в моё время он не шёл. Но это был Моцарт! Тот, кто достаточно хорошо знает хотя бы Сонаты для скрипки и фортепиано, Концерты, да вообще знает досконально хотя



бы и несколько сочинений австрийского гения, вполне легко потом может ориентироваться в его Симфониях и операх, Концертах для фортепиано и «Реквиеме», Мотете и Ариях для различных голосов или в камерных ансамблях.

Завышенная самооценка всегда выглядит во всех воспоминаниях нелепой и претенциозной. Но как можно быть объективным в отношении самого себя, если отвлечься от элементарной статистики технических ошибок? Вот тогда в Детройте, я вспомнил слова профессора Московской Консерватории Константина Георгиевича Мостраса, сказанные мне после Конкурса московского Фестиваля молодёжи весной 1957 года. Что же он тогда сказал? Почему его слова подтвердили мою веру в себя – пусть теперь уже не в качестве солиста, но зато в лучшем в мире оперном оркестре, где каждый, в идеале, должен быть почти солистом? Вот его слова:

«Вы проявили себя музыкантом исключительной культуры, глубоко мыслящим, и по моему мнению - вы являетесь одним из самых передовых молодых музыкантов-скрипачей сегодня». Понятно, что он тогда имел в виду, конечно только Москву и главным образом порадовавшее его исполнение Концерта для скрипки Моцарта. Естественно, что я был тогда очень польщён таким отзывом старейшего профессора Консерватории.

К чему было вспоминать их в Детройте через 24 года в 1981 году? К тому, о чём говорилось выше – кто постигает стиль Моцарта, тот может играть все его сочинения без риска впасть в стилистические и даже текстуальные ошибки. На этот раз Моцарт «явился» в своей музыке в том спектакле в Детройте как мой добрый ангел – я чувствовал себя так ощутимо «на своём месте», что это очень заметил и оценил наш дирижёр – Джимми Левайн. Как уже говорилось, много первых скрипачей по согласованию с директором оркестра покинули тур на неделю из-за небольшой оркестровой ямы в детройтском театре. И снова - «Его Величество случай» - по выражению Ю.Б. Елагина, пришёл в нужный момент и в нужное время. В результате я должен был играть на втором пульте первых скрипок – в видимой и слышимой досягаемости дирижёра. Моя партнёрша по пульту держала

скрипку, как многие оркестровые музыканты – «на животе», вперившись в ноты и не обращая никакого внимания на дирижёра. Я ничего не делал нарочито – но действительно играл почти наизусть партию первых скрипок, как играл бы скрипичный Концерт Моцарта. Чувство было знакомое – такое же чувство единения с дирижёром я испытал за 8 лет до того с Геннадием Рождественским в Большом театре. Это несравненное музицирование в одной духовной сфере создаёт чувство скорее партнёрства с дирижёром по ансамблевому исполнению, чем оркестровой «работы» скрипача, даже лучшего оперного оркестра.

Левайн наслаждался музыкой «Дон Жуана», и он явно ощутил в одном из своих скрипачей то музыкально-исполнительское единство, которое столь ценно для всех нас, посвятивших свою жизнь музыке.

Никто не произносил никаких слов. Никто не отдавал никаких приказов на бумаге. Всё было ясно без слов. С этого момента в течение 23-х лет я играл все без исключения премьеры новых постановок с Джимми Левайном.

\*\*\*

Из Детройта мы перелетели в Атланту (Джорджия). Этот город и пребывание в нём запомнились по-своему. Запомнились не только благодаря чудесному южному городу, но главным образом увиденной нами на спектакле публики. Все были одеты как в старые добрые времена: дамы – в длинные вечерние платья, мужчины в смокинги и даже фраки. Вот это было действительным посещением оперы просвещённой публикой! А больше всего поразили шикарно одетые в невероятно красивые платья и смокинги несколько негритянских пар – вероятно их было человек около двадцати, но с каким достоинством они держались! Они не смешивались с белыми зрителями, но тем не менее были видимой иллюстрацией собственного процветания в этом бывшем рабовладельческом Штате. Вообще чёрное население города были исключительно дружелюбно, вело себя очень просто, никак не давая понять о своей «отдельности» от остального населения. Тогда Юг казался совершенно отличным от Севера – в самую лучшую сторону.

Атланта обладает замечательным музеем изобразительных искусств. Во время наших гастролов в нём проходила выставка «Современники Рафаэля». Выставка была уникальной – многие музеи одолжили для неё свои картины, как и индивидуальные владельцы. Это был «парад» итальянской живописи эпохи Рафаэля. Насколько помнится, там были лишь несколько его картин, остальную экспозицию заполняли его современники. Большинство незнакомых имён, но какое поразительное мастерство! В сущности они были не менее талантливыми живописцами, чем сам Рафаэль. Все они были художниками мирового класса – их мастерство поражало и удивляло, если можно так выразиться – «массовостью».

До Рафаэля всем им не хватало только одного – его гения. Вот в этом-то и был урок той уникальной выставки.

Побывали мы в Мемфисе – тоже со стороны Джорджии. Только переехав на другой берег Миссисипи на колёсном пароходе времён Марка Твена, начинаешь понимать величие этой легендарной реки. Действительно сестра Волги в её самых широких местах. Страшно представить себе эту «Старик-реку» – «Old Man River», как поётся в одноименном спиричуэлсе, во время наводнения.

И здесь на спектакли МЕТ собиралась просвещённая публика, хотя и шли такие спектакли, как «Взлёт и падение города Махагонни» Курта Вайля и Бертольда Брехта. Эта политическая сатира никого не оставляла равнодушным.

Спектакль был поставлен лишь за год до моего приезда в Нью-Йорк – в 1979 году. Дирижировал премьерой Джимми Левайн. Он с удовольствием дирижировал спектаклем в том туре – всё ещё было свежим, лишь недавно поставленным выдающимся режиссёром Джоном Дэкстером. Вторым спектаклем, которым в Мемфисе дирижировал Левайн был «Отелло» Верди. Театр был заполнен каждый вечер и обе оперы имели огромный успех. Публика мне никак не казалась «провинциальной». Она точно так же реагировала на музыку Верди и на спектакль Вайля и Брехта, как и нью-йоркская.

Из Мемфиса мы полетели на север – в Миннеаполис. Мои новые друзья и коллеги говорили, что город очень

напоминает шведский Стокгольм. Возможно, в Швеции я не был. Чем я был удивлён в Миннеаполисе – вся труппа прилежно ходила по магазинам, как в былые времена мои московские коллеги по Большому театру за границей! В Миннеаполисе оказались исключительно хорошие и элегантные универсальные магазины благодаря экспорту из соседней Канады.

Теперь наш путь лежал в Даллас – финансовый центр Техаса. Город в нашем сознании имел зловещую репутацию – здесь на площади Дили 18 лет назад убили Президента Кеннеди.

Оставив чемодан в отеле, я немедленно пустился пешком на Дили-плаза. Там ещё функционировал музей, где демонстрировались все вещественные доказательства – ружьё Освальда, карты города, фотографии, и наконец – уникальные кинокадры. Лично у меня и до сих пор никакой уверенности в «убийце-одиночке» нет. Но музей, как будто, и не преследовал цели убеждать посетителей в официальной версии – он просто знакомил с информацией, а зрители сами могли для себя делать собственные выводы. Мне казалось, что большинство зрителей, выходявших со мной из музея, также думало о том, что правда скрывалась, скрывается и будет скрываться.

Выйдя из музея, я стал спускаться по Элм-стрит – дороге, на которой произошло несчастье - она шла вниз под железнодорожный мост. Направо на пригорке был небольшой заборчик, отделявший место для парковки автомобилей от площади. Я повстречал там какого-то вполне интеллигентного парня в очках. Он обратился ко мне, как к знакомому: «А ты знаешь, многие критики считают, что стреляли и отсюда?» Я заверил его, что, конечно, знаю. Действительно, вид на площадь с этого места открывался как на стрельбище – самый удобный для стрельбы по медленно движущейся цели. Тем более что стреляли мастера своего дела. К этому времени погибло 50 свидетелей, которые хотя бы что-то видели или знали. В общем, место события века производило впечатление.

\*\*\*

Театр Далласа был скорее всего подходящим

помещением для спектаклей мюзик-холла или бродвэйских шоу.

Теперь в Далласе изумительный концертный зал, первоклассный симфонический оркестр и современный театр. А в 1981-м публика Далласа на фоне предыдущих городов тура показала не слишком просвещённой, и не особенно заинтересованной.

Но жизнь меняется. В 1998 году мы были в Далласе с симфоническими концертами – публика была совершенно иной, так как пришло новое поколение. Большое впечатление произвёл и Музей изобразительных искусств Далласа. В 1981-м всё было иным.

Конечно, мы повидались тогда с моим бывшим соучеником Юрием Аншелевичем – концертмейстером группы виолончелей Даллас-Симфони. Это они с женой нашли для меня работу на один семестр в Университете Остина во время забастовки в МЕТ восемь месяцев назад. Я очень ценил и ценю такое дружеское расположение семьи Аншелевича и до сего дня.

После шестинедельного тура было приятно вернуться домой в Нью-Йорк.

Теперь мы проводили своё второе лето в Кэтскильских горах – популярном месте отдыха тысяч ньюйоркцев. Поражали нас доступность и удобство сдаваемых на лето дачных бунгало – в каждом домике было всё необходимое: холодильник, плита для готовки, душ с туалетом, комфортабельные кровати и освещение. Всё говорило о желании хозяев обеспечить лучшие условия своим жильцам-отдыхающим. Недалеко располагались два исторических отеля – «Грессингерс» и «Конкорд». В обоих пели в своё время выдающиеся канторы в дни еврейских праздников «Рош ха Шана» и «Йом Кипур» - Жан Пирс и Ричард Таккер. На этих сценах выступали суперзвёзды американской эстрады – Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис, Джуди Гарланд.

Осенью 1982 года в отеле «Грессингерс» я впервые услышал в качестве кантора своего друга Мишу Райцина. Об этом событии немного позднее.

### **НОВЫЕ ДРУЗЬЯ В НЬЮ-ДЖЕРСИ И МЕТ`е**

Осенью 1981-го открылся наконец и Симфонический оркестр Нью-Джерси Симфони. Так как работы там было не так много, но оркестр давал мне медицинскую страховку на семью, то я начал сезон и там. Первая программа включала Увертюру Верди к опере «Сицилийская вечерня». Мне она запомнилась на всю жизнь после незабываемых гастролей Вилли Ферреро в Москве осенью 1951 года. Томас Михалак тем не менее сделал её очень интересно – что-то в его интерпретации напоминало Ферреро – прежде всего умение извлекать великолепный тон из своего оркестра. Звук виолончелей, несмотря на то, что виолончелисты были не лучшей частью оркестра, очень напоминал по своей насыщенности игру виолончелистов Госоркестра с Ферреро. Действительно, Михалак всегда был интересен в своих интерпретациях. И оригинален! Это и свидетельствовало о его большом музыкальном таланте – он почти ничего не объяснял, но каким-то чудесным образом оркестр играл превосходно.

Так как мне разрешали пропускать одну репетицию в неделю – а их всего было три – то я мог совмещать полную нагрузку в Метрополитен опере с двумя-тремя концертами в NJSO. Конечно, это было очень, очень нелегко – количество «сервисов» то есть репетиций, концертов и спектаклей иногда доходило у меня до 11-12, а в некоторые недели и 14-и! Восемь сезонов – до 1988 года, когда я покинул оркестр Нью-Джерси – я работал без единого воскресенья, так как днём всегда был концерт в Нью-Джерси (*matinee*). Но я никогда не жалел о том времени. Оно было захватывающе интересным и по причине моего «открытия Америки», и по причине того, что работа в симфоническом оркестре дала мне возможность сыграть там всего Бетховена (все Симфонии, Концерты для ф-но, скрипки, даже играли в концертном исполнении оперу «Фиделио»); всего Брамса, Симфонии Брукнера, сочинения Рихарда Штрауса, Симфонии Чайковского, Рахманинова (всё, написанное им для симфонического оркестра, включая все фортепианные Концерты и «Рапсодию на тему Паганини»). Кроме того с оркестром выступали такие суперзвёзды, как Натан

Мильштейн и Айзик Стерн.

Судьба подарила мне знакомство с одним из старейших участников оркестра – альтистом Хилбертом Сербиным. Он был в возрасте моего отца, тоже 1905-го года рождения. Мы с ним сдружились за время наших репетиций и поездок по городам «Садового Штата» - Нью-Джерси называют также «Garden State».



Хилберт Сербин и автор на фоне пристани в Нью-Джерси, где причалила Семья Сербина в 1922 году

Настоящее имя его было Гилель Щербаков. Почему у еврейской семьи из Харькова была такая фамилия он и сам точно не знал. Его отец со своими братьями были поставщиками шпал для Южных железных дорог России. Всё благополучие семьи немедленно кончилось в 1917 году. Как-то они просуществовали до 1920-года, а в 1921-м эмигрировали в США – через Ригу и Лондон. После карантина на Эллис Айленде, они приземлились на другой стороне реки – в Нью-Джерси. Его отец стал маляром и умер через два года от рака желудка, а семья стала работать – кто, где мог. Сам Хилберт, как я понял с его слов, учился музыке ещё в Харькове – занимался на скрипке, а его сёстры на рояле, что стало в будущем их профессией. Хилберт прошёл,

что называется «трудовой путь», типичный для Америки тех лет – много раз бросал занятия музыкой, работал в цехах какой-то фабрики по изготовлению чемоданных замков, купил со старшим братом в кредит квартирный дом в Нью-Йорке, потом в конце 30-х был приглашён как руководитель камерного салонного оркестра на Багамах для Герцога Виндзорского и его жены Уолис Симпсон. Герцог был несостоявшимся британским Королём Эдуардом. Хотя даты работы Сербина на Багамах, где Герцог был Губернатором, не совсем совпадают с официальными, но возможно, что уже в конце 30-х сиятельное семейство и навещалось туда. По рассказам Сербина, мадам Симпсон была достаточно «весёлой» и не отказывала себе в удовольствии от общества мужчин (меня не удивил его рассказ, так как сам Сербин был исключительно представительным джентльменом и в свои 77 лет!)



Хилберт Сербин и автор на фоне Нью-Йорка. 1985 год

Году в 1943-м Хилберт получил повестку из Армии США о призыве его в один из отделов, занимавшихся военными переводами, учитывая его знание русского языка. Как-никак, а старая Гимназия, даже неоконченная, давала знания совершенно иные, чем школа советская, не говоря уже о современной американской.

Итак, Хилберт провёл большую часть Второй мировой войны в штабах на территории США, а после высадки союзников его довольно скоро послали в Европу. В 1945-м после развода с женой, он взял свою 10-летнюю



дочку в Европу, что было, конечно, большой привилегией даже для офицера Армии США. Дочь его, моя ровесница, ходила в английскую школу – таких детей, как она оказалось в Европе довольно много.

Сербин, как я понял, занимался весьма деликатным делом – он проводил допросы Ди-пи – перемещённых лиц из России и Украины – иными словами людей, попавших во время войны тем или иным путём в Германию, и теперь, подлежавших выдаче СССР.

Американская комиссия обладала большим количеством документов и массой свидетельств о коллаборантах, так как в одних и тех же лагерях часто «застреливали» и жертвы, чудом избегшие смерти, и их потенциальные палачи. Сербин мне рассказал самую примечательную историю, которую я услышал от него за все 8 лет нашей совместной работы. Вот она:

«Как-то мне дали задание – посетить одну семью в лагере Ди-пи, которая до войны жила на Украине. О главе семьи – довольно уже пожилom человеке – были сведения, что он активно сотрудничал с оккупантами и даже выдавал евреев, которых знал до войны. Словом, мне предстояла малоприятная миссия. Когда я вошёл в жуткую квартиру, где жило ещё несколько семей из других стран, я узнал своего бывшего учителя географии в Гимназии! Это он оказался коллаборантом. Он меня, конечно, не мог узнать – прошло 25 лет, мне уже исполнилось сорок, да ещё в форме офицера. Но я его сразу узнал! Он был очень болен, его дочери сказали мне, что у него рак, и что он доживает последние недели, если не дни. У одной из дочерей был сын – мальчик в возрасте моей дочери – примерно 10-и лет. Бывший учитель на мои вопросы отвечал очень туманно, ничего конкретного не говорил, а как говорят – юлил и петлял. Но это было не так важно. Фактически это было просто «установлением личности». Одним словом, я написал в своём рапорте, что из-за его состояния семью выдавать не следует. Моему совету последовали».

«Но как вы могли, всё-таки, так или иначе оправдать коллаборанта?» – спросил я в большом волнении. «Видите ли, Артур, – сказал Хилберт – мы, евреи часто делаем такие

гуманные жесты. Часто... Это глупо, никто в отношении нас этого себе почти не «позволял» в течение мировой войны. А мы делаем. Мне стало жаль мальчика, ровесника дочки. Если бы я дал рекомендацию о выдаче семьи, то он бы наверняка погиб в Сибири – с матерью и её сестрой – они скоро погибли бы там от голода. Скорее всего. Да, англичане вероятно бы их всех выдали, а я, видите, сделал вот так...» «Жалели ли вы когда-нибудь об этом?» – спросил я его тогда. «Пожалуй, что нет. Ведь старик всё равно умер – ну, не вешать же больного раком?! А семья его... не знаю, думаю, что я сделал тогда, возможно, правильно...» «В общем – роль сыграл его внук, ровесник вашей дочери, как я понимаю?» «Наверное так».

Позднее я как-то с ним заехал к его дочери. Её муж был довольно процветающим архитектором. У них был сын – студент и две приёмных дочери. История её тоже примечательна. Так как её мать ирландка, она, выходя замуж в 1955 году, приняла иудаизм, так как её муж еврей. Но не только поэтому. Едва поженившись, они с мужем – оба 20-летние – уехали на три года в Израиль – «вспахивать целину» в полном смысле этого слова. Работали в кибуце и внесли свой вклад в строительство Израиля. Много американцев разных возрастов тогда уехало в Израиль, помогая деньгами и трудом. Нам в СССР всё это было неведомо. Узнали мы об этом лишь незадолго до отъезда из Союза в 1979 году, прочитав «Экзодус» Леона Юриса. А до того всё, что касалось Израиля было в основном покрыто тайной. И всё же, как интересно было обо всём этом узнавать! Лучше поздно, чем никогда.

В Метрополитен опере у нас с Барановым тоже сложился круг людей, с которыми мы наиболее охотно общались, Все они были американцами, но все более не менее были знакомы с русским языком. Мы не говорили с ними по-русски, но иногда они сами спрашивали о тех или иных выражениях, часто, конечно и о популярных ругательствах. На фотографии, сделанной кем-то случайно, мы все ещё сравнительно молодые и радостные. Альтист Майкл Бартон был канадцем. Он отлично говорил по-русски. Говорил, что происходил из казаков, когда-то

иммигрировавших в Канаду. Ну, у человека, служившего по рассказам коллег во время войны в военной разведке, конечно много вариантов биографии. Майкл был очень милым, дружелюбным и воспитанным человеком. На мой вопрос, где он так выучил русский, он отвечал, что «слушал окружающих» - кого не уточнял – и вот так и выучил. Это, естественно была его фантазия, и язык он знал возможно с детства, но это придавало ему некоторый ореол таинственности, как и впрочем, всем бывшим разведчикам. Фамилия его, скорее всего была не настоящая. Но всё это было не так важно. Другим моим действительно близким другом на долгие годы стал трубач Гарри Пирс. Его отец тоже приехал из России – из «Гродно-губернии», как рассказывало большинство американцев. Мать его была ирландкой, но он чувствовал себя потомком русских евреев. Он играл какие-то годы в Филадельфийском оркестре с Юджином Орманди, потом был в действующей американской армии во время вторжения в июне 1944 года. Очень был дружески к нам настроен, всегда помогал, когда у нас были какие-то затруднения с решением новых жизненных проблем. Последним «русскоговорящим» – хотя в действительности он почти ничего не говорил, но понимал, был замечательный контрабасист – концертмейстер группы Майкл Морган. Все мы и зафиксированы на дорогой мне теперь фотографии примерно 1983 года. В такой дружеской атмосфере мы чувствовали себя исключительно уютно и вполне дома. Как-то Сербин сказал мне: «Я на вас смотрю, и не представляю себе вас в Москве. Вы настолько тут дома, что, по-моему, вы везде на Западе вполне дома! Вы – настоящий космополит!» Я на это заметил, что в Москве за «космополитизм» выгоняли с работы, а в некоторых случаях бывало и похуже, но... но я рад, что ему кажется именно так, как это и есть на самом деле.



## Владимир Крastoшевский

### Интервью с художником Александром Качкиным



очу предварить это интервью категорическим заявлением: Александр Качкин – художник мирового уровня. Его работы расходятся по частным коллекциям в разные страны. Его картины могли бы украсить коллекции любого музея, но музейные закупочные комиссии – это неповоротливые бюрократические структуры. Их планы расписаны на годы вперед.

Свой мир, свою «галерею действующих лиц» художник Александр Качкин заселяет, в основном, детьми и стариками. Причем, дети у него серьезны, а вот старики и старухи выделывают такие штуки! Они стучат в детские барабаны, шьют куклы и управляют марионетками, дрессируют собачек и диких зверей. Добрый человек Саша Качкин своей художнической волей возвращает старикам их детские мечты и дарит им их реализованные фантазии.

Впрочем, признаюсь, я сознательно несколько погрешил против истины. Сюжеты его картин, конечно же, значительно разнообразнее. Среди персонажей – не только дети и старики. Но мне захотелось, чтобы читатели, которым предстоит открыть мир художника, хотя бы по репродукциям, пристальней взгляделись в лица этих стариков, самозабвенно играющих с куклами и дрессирующих собачек, а потом обратились к своей душе: сохранилась ли где-нибудь там, в глубине, память о детских мечтах и фантазиях. И если где-то там, в закоулках души, еще сохранилось детство, значит мы с вами еще живые и совсем не старые.

\*\*\*

*- Люди, которые видели ваши картины, отмечают,*

*что вы часто используете «рембрантовский» прием. То есть глубокий темный фон, и высвечено только главное: лицо, руки, минимальное количество деталей... как вы пришли к этому стилю?*



Художник Александр Качкин в мастерской

- Среди живописцев существуют две достаточно условные группы - "тоновики" (художники классической школы) и "цветовики" (импрессионисты и постимпрессионисты - Мане, Ренуар, Матисс, Дега). Для "цветовиков", естественно, нужен яркий свет. Цвет в такой картине самоценен. Эта живопись ближе к музыке.

"Тоновики" же ближе к литераторам, а именно, к драматургам. Работы часто повествовательны, с большей нагрузкой на сюжет, с более глубокой пластической разработкой образов. Как паузы в сценических действиях, так пустые и темные места на моих работах служат для усиления главного, доминирующего объекта. А излишний свет наполняет "паузы" ненужным шумом и ослабляет, на мой взгляд, впечатление от работы.

Относительно «рембрантовского» варианта... Нельзя сказать, что только Рембрандт – многие художники прошлого писали так, понимая, что светлый силуэт выгодней всего смотрится на темном фоне. Это в 20-м веке импрессионисты и постимпрессионисты, художники русской школы стали использовать светлый фон, когда надо было добиться впечатления как бы мгновенного снимка. Давайте скажем по-другому. Картина должна быть немного банальна. Если сюжет усложняется, появляется уже какая-то

литературщина, это живописи противопоказано. В работе нужно сказать нечто главное и спрятать лишние подробности. Картина должна быть сиюминутна.



«Свет свечи»

Как я к этому пришел? Я люблю художников, которые писали в такой манере: Веласкес, Рембрандт, Гойя... И мне кажется - это способ выразить себя наиболее полно. Мне легче и естественней передать свой замысел, используя темный фон. На самом деле, я не задумываюсь над этим, это получается естественным образом. Иногда, наоборот, фигуры у меня темнее фона. Это зависит от задачи, которую я ставлю перед собой. Иной раз сама картина ведет и подсказывает дальнейшее движение. Задумываешь одно, а в результате получается совсем другое.

- *Что значит - картина должна быть сиюминутна?*

- Давайте для примера возьмем знаменитую работу русского художника Федотова «Сватовство майора». Эта некая театральная мизансцена, там каждый персонаж играет определенную роль. Если бы пьеса разыгрывалась в театре, движение продолжалось бы. Но на картине - застывшая мизансцена. Что было до, и что могло бы случиться после, зритель должен домыслить сам.

- *В чем, как вы считаете, отличие изобразительного искусства от других его видов, от литературы, театра, музыки?*

- Ну, возьмите, хотя бы, роденовского «Мыслителя». Как объект искусства – это совершенно выдающаяся вещь. Но представим себе некоего зрителя-формалиста, что он видит? Сидит человек, подперши кулаком голову – и что? Если попытаться описать скульптуру словами, получится чистая банальность. Здесь живопись проигрывает литературе. В отношении эмоциональном живопись проигрывает театру или, скажем, музыке. Но в том-то и дело, что в изобразительном искусстве магия, завораживающая зрителя, создается своими особыми приемами, которые невозможно описать словами. Возможно, эта некая энергетика, которая создается на плоском прямоугольном пространстве. Энергетический импульс должен передаваться зрителю. Тот, кто его воспринимает, готов часами выстаивать перед картиной, а другой говорит: «не мое».



«Починка куклы»

- Вы заметили, что часто картина в процессе написания уводит художника туда, куда он не ожидал попасть.

- Я говорю о себе. Я знал и знаю многих хороших художников, которые не начинали картину, пока не нарисуют себе на бумаге подробнейшим образом всех персонажей, вплоть до поворота руки и постановки пальцев. Для меня написание картины – это некая игра. Вот, например, картина,

которая висит у вас в доме: женщина, бегущая за счастьем; а счастье, жизнь - в виде петуха, который от нее улетает. Вот эта задумка в голове крутилась, когда я начинал работу. Получались разные варианты, но все - не то. Но однажды, где-то в 2005 году, получилось то, что совпало с моим замыслом. Кстати, работа почти не подвергалась доработке, переделкам. А многие картины, к примеру, «Бесконечный разговор», я раз двадцать переписывал. Обычно у меня первая идея, с которой я приступаю к работе, такая, скажем, простоватая. Когда заканчиваешь работу, думаешь: «Боже, с чего я начинал – и к чему пришел!»

- *Насколько четка ваша первоначальная идея?*

- Абсолютно нечетка. Возникают какие-то лица и настроение, как некая музыка. Ну, не музыка, конечно, буквально, а образы тонально-цветовые. Когда-то была – помните? – популярна цветомузыка, попытка сопроводить музыку образно-цветовым рядом. Вот у меня что-то в этом роде происходит. Ну и еще воображение приносит какое-то выражение лица, какой-то жест.

- *Хочу вас немного подробнее расспросить об энергетике картины. Помните, когда мы были у вас в гостях, вы повели нас в галереи Торонто? В одной из них висела абстрактная работа, на которую мы бы не обратили внимания, если бы вы не сказали, что у нее замечательная энергетика.*

- Физически измерить эту энергию невозможно, это на уровне ощущений. Такое бывает со старой фотографией. На нее до вас смотрели десятки лет, десятки раз. Попробуйте эту фотографию переснять – и вы наверняка почувствуете разницу между оригиналом и копией. От старой вещи исходит что-то нематериальное, но явно ощутимое, а новая вещь – это всего лишь кусок бумаги с неким изображением. То же самое относится к любой старинной вещи. Попробуйте, сделайте реплику – и очарование пропадет. Я это чувствую. И картины я, именно, воспринимаю по их энергетике. Поэтому для меня особой разницы нет: картина в реалистической манере написана, или это абстрактная вещь.

Кстати, много профанаций в абстрактном искусстве,



но работы Кандинского очень энергетичны. Это невозможно объяснить. Он писал труды по теории живописи, по построению пространства – это его мировоззрение, его взгляды. А вот на его картинах строй цветов, пятен, линий создает настроение, о котором мы говорим. То, что, собственно, является самым ценным в картине.



«Гитарист»

У нас в Киеве был такой художник, профессор Виктор Григорьевич Пузырьков, народный художник СССР. Он рассказывал, что когда он был в Италии (тогда в семидесятые это было все равно, что слетать в космос) и посетил один из музеев, он вдруг почувствовал, что в спину ему кто-то смотрит. Он ощущал это физически. Оглядывается и видит – эта работа Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X».

Вот еще одно, уже мое впечатление. Получилось так, что я в Лувре оказался за полтора часа до закрытия, а на следующий день надо было уезжать из Парижа. И вот я бегу по залам, взглядом мажу, и вдруг что-то останавливает. Смотрю - это работы Рембрандта. Рядом висели картины его современников, они не остановили, а Рембрандт остановил. Это все к вопросу о внутренней гармонии, энергетике картины. Кстати, когда художник теряет свой жизненный потенциал, и картины его становятся такими же

немошными.

- *Саша, люди, которые населяют ваши картины, это конкретные лица или обобщенные персонажи?*

- Это, скорее, синтезированные образы. Потом, когда я уже напишу человека, он вдруг становится похож на кого-то, кого я раньше видел. Замечают, что некоторые женские персонажи похожи на мою маму. Какие-то мужские лица вдруг напоминают моего деда, который умер, когда мне было пять лет. Я пишу до тех пор, пока не получается человек, с которым мне комфортно существовать в этой картине. А ведь в процессе работы персонаж может мне сопротивляться, гримасничать, строить рожи. Но я работаю до тех пор, пока не получается то, что я хочу. Конечно, это происходит, когда мне нужно выразить себя. Если же мне заказан портрет – никаких проблем с идентичностью нет.

- *Когда вы рисуете, вы наделяете своих героев биографиями?*

- Обязательно. Мне нужно, чтобы у персонажа была биография, чтобы за ним была прожитая жизнь. Опять же, эта внутренняя работа художника, которую я не контролирую. Я рисую глаз – вижу, вдруг, он смотрит, как надо, стал живой. Какой к этому глазу должен быть нос? Нет, это не тот характер...а вот этот то, что надо. Рот – это самое сложное. Рот и глаза передают больше всего эмоции человека и, пожалуй, его интеллект. Бывает, неделями бьюсь над каким-то лицом.

- *Вот вы добились, чего хотели. Человек на картине ожил. У вас устанавливаются с персонажем какие-то личные отношения? Вы его любите, вы над ним подсмеиваетесь?*

- Да, конечно, я люблю всех моих героев. Даже если они не очень положительные, как, скажем, на картине «Моя соседка». Когда-то я в шутку сказал, что герои моих картин – это мои дети. Знаете, как бывает: какой-то ребенок более удачный, какой-то менее... но они все мне дороги.

- *В своих картинах вы явно отдаете предпочтение старикам. Это как-то связано с наделянием героев биографиями?*

- Да, именно так. Лицо человека – это книга, которую

можно читать. Чем длиннее прожитая жизнь, тем книга интереснее. Я с детства помню тот восторг, когда мне попадалась толстая книга, например, «Граф Монтекристо». Ведь ее можно было читать долго!



«Моя соседка»

К сожалению, приходится иногда идти на компромисс, учитывать и коммерческие интересы. Картины, где изображены пожилые люди, пользуются меньшим спросом у арт-дилеров и покупателей. Тем не менее, я считаю своей сильной стороной умение написать живого человека. Мне всегда было интересно не просто сделать похожий портрет, но передать эмоцию. Когда-то, давным-давно, году в 70-м, в магазине «Дружба» на Крещатике я купил книгу «Рисунки Рембрандта», и, решив похвастаться, принес ее своему первому учителю, замечательному художнику Анатолию Лаврентьевичу Постоюку. Пролитав альбом, Анатолий Лаврентьевич сказал: «Молодец, хорошую книгу купил. Сейчас ты еще не все понимаешь, но осознаешь со временем, что это не просто хорошие рисунки, это ЖИВЫЕ ЛЮДИ». Я это запомнил. И хотя в дальнейшем, во время учебы в художественном институте, и затем на выставках психологичность не очень была востребована, я к этому шел. И к своей манере пришел годам к тридцати.

Очевидно, к этому времени у меня сформировалось умение выражать то, что я хочу.

Знаете, живопись, как правило, не обеспечивает материальный достаток, но когда тебе удастся написать полотно, которое приносит радость оттого, что сделал то, что хотел, материальное благополучие отступает на второй план. И ты какое-то время чувствуешь себя сродни творцу.



В квартире коллекционера. На стенах картины А.Качкина

*- Когда вы поняли, что будете рисовать?*

- Рисовать я любил с детства, но, практически, не выделялся среди других детей. Потом, может быть, сработало тщеславие. В одной компании был мальчик, старше меня года на четыре, и все говорили: «вот как он хорошо рисует. Ему в художественную школу поступить». Да нет, - отвечал мальчик, туда таких, как мы, не принимают». Он намекал на свое еврейство. Для меня сработал принцип запретного плода. Туда тяжело попасть? – значит там интересно.

Потом я попал в изостудию при Дворце пионеров и там зацепился. В жизни многое зависит от случая. Мне повезло, что я попал к замечательному педагогу Постоюку Анатолию Лаврентьевичу. Он много мне дал, и не только в смысле мастерства. Он был человек увлеченный, и нам прививал любовь к искусству, рассказывал о художниках.

Мы с мамой жили небогато. Когда он узнал, что я собираюсь поступать в художественную школу, где при

поступлении нужно будет написать натюрморт маслом, он принес пакет с красками и за несколько занятий научил с ними работать, писать маслом. Я пропадаю у него в студии, рисовал гипс, писал натюрморты. А в девятом классе я поступил в эту школу. Так и пошло дальше.

Оглядываясь назад, я понимаю, что всегда хотел быть художником. На художников я смотрел, как другие дети смотрели бы, наверное, на космонавтов.

*- Где-то в статье о вас я встретил упоминание о влиянии отца на формирование ваших вкусов.*

- Прочитанные мне отцом в детстве сказки, сформировали у меня такую особенность: я мог бесконечно фантазировать на сказочные темы. Эту мое умение активно использовали воспитатели в детском саду: приводили меня в какую-нибудь группу, и я мог и час, и два импровизировать на темы известных сказок, добавляя вымышленные на ходу истории. Тишина и порядок в этой группе были обеспечены. То же продолжалось в школе, но там я уже рассказывал не сказки про царей и богатырей, а детективы и всякие приключения.

Это мое умение рассказчика пропало, но склонность к фантазиям проявляется иногда в картинах, когда появляется вдруг какой-то совершенно неожиданный сюжет. В этом сказалось влияние отца. И, конечно, отец сформировал меня как личность. Его не стало, когда мне было 7 лет. Мама помогла мне развить то, что заложил отец.

*- На многих ваших картинах, за исключением тех, что написаны на заказ, мы видим еврейские лица. Что вас заставляет вновь и вновь возвращаться к этим характерным чертам?*

- Знаете, это такое подсознательное желание, чтобы человек, которого я пишу, был мне симпатичен. Это не значит, что я к каким-то другим людям отношусь с предубеждением. Но так получается, что с моими героями у меня должен быть какой-то внутренний комфорт.

Может быть, это еще какая-то остаточная реакция на то, что во времена социалистического реализма еврейская тема была, практически, закрыта. Само слово «еврей» звучало почти неприлично. С «перестройкой» ситуация

несколько изменилась. На выставках уже спокойно относились к моим национальным персонажам.



«Воспоминание»

- *Саша, вы рисуете людей. А пейзажи, натюрморты вам неинтересны?*

- Когда надо в картине написать натюрморт, я с удовольствием его пишу. Пейзажи у меня тоже неплохо получаются. Но вот такая штука: найдутся сотни художников, которые напишут пейзаж не хуже, а другие сотни напишут лучше меня. Но передать в портрете нюансы настроения, теплоту, доброту, внутренний мир человека... Я знаю не много современных художников, которые способны на это. Возможно, это покажется вам нескромным, но у меня получается. Поэтому я занимаюсь тем, в чем считаю себя сильнее других.

- *У вас в нескольких работах присутствует петух. В чем тут дело?*

- Вы заметили в начале нашего разговора, что картины у меня очень лаконичны. Чем меньше слов, тем каждое из них значительнее. Петух – такой многосмысловый персонаж. Во-первых, он присутствует в еврейских традициях: это обряд капурес в Йом Кипур. Петух

фигурирует также в эпосе северных европейских народов. Там петух – символ времени, и в таком качестве я его тоже воспринимаю. Но самое главное – петух очень красивый и замечательно смотрится в картине.

Меня часто спрашивают, что означает та или эта деталь в картине. Но знаете, если бы я мог описать словами все, что изображаю, то я был бы писателем, а не художником. Художник изображает то, что видит и чувствует, а потом оказывается, что там какие-то глубокие смыслы, о которых он и не задумывался.

*- Саша, вопрос, который я хочу задать, такой немножко каверзный. Вот вы в Киеве были довольно успешным человеком, членом Союза художников Украины, у вас были выставки в Киеве, Москве, Ленинграде. И, вроде бы, к вам местная власть неплохо относилась. Почему вы уехали?*

- Как всякий советский человек, я мечтал побывать за границей, посмотреть, как люди живут, по музеям походить. В 1988 году я побывал в Венгрии. Просто пошел в Интурист и купил путевку. Потом как-то я с приятелем, очень хорошим художником, разговаривал, рассказывал ему про Венгрию, как там люди живут... Он вдруг говорит: «Саша, что мы тут делаем? Надо уезжать». А мы идем с ним по Подолу. И он продолжает: «Ты посмотри, какая тут убогая жизнь». И знаете, он мне как будто какую-то инфекцию передал, смутил мою душу. Я к этому моменту достиг уже всего, что только можно было в тех условиях. Мои картины покупает украинский музей, меня признают хорошим художником. Следующий этап – это начать борьбу за звание Заслуженного, Народного, но зачем, мне это не нужно, не интересно. И, кстати, оказалось, что все покупатели мои живут на Западе.

Потом я и сам побывал в Германии, в Голландии, увидел другой мир. Вот иду я по Амстердаму и чувствую: здесь я хотел бы жить. Писателю трудно уезжать, у него есть языковой барьер, у художника таких проблем нет. Потом мои близкие родственники оказались в Канаде, и я уехал вслед за ними. Ностальгии у меня нет, я не скучаю по Украине. Разве что с друзьями, которые там остались,

хотелось бы повидаться, побывать на могилах, где отец, деда похоронены.

- *Ваши работы, в основном, в частных коллекциях. Где их больше всего?*

- В Канаде – ведь я живу здесь почти 15 лет, в Америке много, в Германии, Англии. Несколько работ в Израиле, во Франции – десяток-полтора. Несколько картин в Японии.



«С любимцем»

- *Саша, спасибо, с вами интересно разговаривать, не только смотреть ваши работы.*

\*\*\*

Картины Александра Качкина – это энциклопедия человеческих эмоций и характеров. Есть работы глубоко драматические. Такова, например, картина под названием «Ожидание». Голова старика. Взгляд его устремлен на часы, застыл на этом символе быстротекущего времени. Все. Минимум деталей и максимум чувств.

От этой работы трудно оторвать взгляд.

Другие картины полны мягкого юмора. Художник слегка подтрунивает над своими героями. Перед нами дуэт. Певица, весьма довольная собой, и музыкант, который, кажется, немного сконфужен, ибо его напарница не всегда



попадает в ноты.

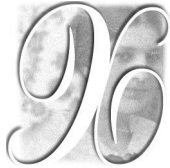


У нас дома висят две работы Александра, и мы счастливы, что сумели их приобрести.



## Марк Крымский

### Саша Качкин, киевский художник с Подола



отя мы оба выросли на Подоле – киевской Молдаванке, районе еврейской бедноты – и жили совсем рядом и в одно время – Саша в 36-м номере на Константиновской, а моя бабушка в 22-м, возле кинотеатра «Октябрь», а другая бабушка тоже недалеко, на Спасской возле Днепра – познакомились мы только в мое последнее киевское лето 1991 года, незадолго до отъезда в Штаты, когда у Саши проходила его первая персональная выставка. Мне позвонил приятель и сказал, что у его знакомого художника Саши Качкина открылась выставка, и очень посоветовал на нее сходить. Был конец перестройки, и выставка в Киеве молодого художника с еврейской фамилией сама по себе уже почти не удивляла.

Дома у Саши висит одна из немногих его не портретных работ «Футбол на Подоле»: школьная спортивная площадка огорожена высокой сеткой; глухой, без окон, брандмауэр старого доходного дома освещен заходящим солнцем; теплые киевские сумерки, игра идет, пока ещё различим старый потемневший мяч – эта площадка была как раз между нашими домами, сразу за «Октябрем», а вообще таких на Подоле было много, почти возле каждой школы, и на всех, с ранней весны до поздней осени, по вечерам, играли в футбол. Составы команд непрерывно менялись, вновь подходившие ребята включались в ту из команд, где было меньше игроков, и всегда можно было выйти из игры, если нужно было срочно бежать домой делать уроки. Могли бы и мы с Сашей там гонять мяч, и даже за одну команду, но, похоже, нет, тогда не пересеклись

– детская память цепкая, я бы его запомнил.



Футбол на Подоле

Символично, что первая персональная Сашина выставка проходила на Подоле в только что открытом музее Киева – похоже его потом закрыли. Это было старое двухэтажное здание, стоявшее у подножия Андреевского спуска, если не ошибаюсь, прямо на Боричевом току. Сверху нависала Андреевская церковь Бартоломео Растрелли, а чуть пониже, сквозь кусты ивняка, покрывавшего гору, мог просматриваться и булгаковский дом номер 13. От шумной Контрактовой (тогда Красной) площади музей отделяла Покровская церковь Григоровича Барского с тремя куполами в ряд на карпатский манер; и тут же, через дорогу, белела церквушка Николая Доброго с наружной галерейкой, в которой отец Александр отпевал мать Булгакова – «светлую королеву» из «Белой гвардии» - там, что ни шаг, то киевская история.

Будучи по каким-то предотъездным делам на Подоле, я зашел в музей в будний день в сонное послеобеденное время. Дверь на втором этаже, где был сам музей, оказалась заперта. Я спустился вниз и пошел по длинному коридору, трогая подряд ручки дверей. Наконец одна из них открылась. Сидевшая за столом девушка на мой вопрос о музее сказала,

что сейчас его для меня откроет. Мы поднялись на второй этаж, она повернула ключ, толкнула дверь и, включив свет, оставила меня одного.

Думаю, мало, кто может похвастать, что ему довелось побыть пару часов наедине с целой выставкой Сашиных картин.

С тех пор у Саши прошло много выставок в разных странах и на разных континентах. Я дважды бывал на его выставках в Торонто, где он сейчас живет, и оба раза, даже в будние дни, в залах галереи, где они проходили, было полно людей.

Уже позже, но тем же последним киевским летом, была Сашина мастерская на Оболоне с огромными окнами на Днепр, песчаные острова и бесконечные левобережные пляжи. В мастерской стояло старое продавленное кресло. Из-под наброшенной накидки выглядывал истертый красный бархат. В это кресло Саша усаживал посетителей, когда неторопливо показывал свои картины. Сиживал в нем и я. Лишь спустя много лет, когда мы оба уже жили в Западном полушарии, Саша как-то рассказал мне, что это кресло ему подарил приятель художник, у которого была мастерская в 11-м номере по Андреевскому спуску, отделенном от дома Булгакова узкой щелью, в которой Николка прятал конфетную коробку с пистолетами, если кто ещё помнит «Белую гвардию». Через эту щель Сашин приятель и перетасил это кресло с чердака 13 номера, когда там шел ремонт. Быть может, это в нем до меня сиживал капитан Тальберг, жених Елены или старший брат Алексей. (Как-то начав перечитывать Роман, я сразу наткнулся на описание квартиры: «вот этот изразец, и мебель старого красного бархата...» - и тут же вспомнил Сашину мастерскую).

Большинство Сашиных героев вышли из мечтаний еврейской бедноты: они храбрые тореадоры («Тореадор»), катаются на тиграх («Верхом на тигре») и летают по небу с неугомонными петухами («Полет»). Они играют на скрипке, как Яша Хейфец («Скрипач»), и на трубе в прокуренных джаз клубах, как великий Сачмо («Свинг»). Они дирижируют оркестрами («Дирижер») и веселят соседей на

общей кухне («Праздник»). Они разговаривают с птицами («Разговор»), и грозные львы охраняют их одинокий сон («Сон»). Они знают цену исчезающему и даже остановившемуся времени («Уходящее время», «Ожидание»), а потому, как никто, ценят его неспешное течение («Вышивание»).



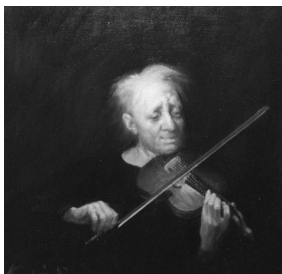
Тореадор



Верхом на тигре



Полет



Скрипач



Свинг



Дирижер



Праздник



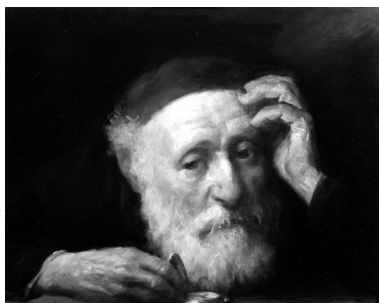
Разговор



Сон



Уходящее время



Ожидание



Вышивание

Глупо пытаться перечислить все, что грезится этим людям, вышедшим из мира в котором «отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили её на костях

маленьких людей – учили детей музыке». На первый взгляд Саше ближе главный герой этого рассказа Бабеля («Пробуждение»), тот, который сбегал с уроков и «днем рассказывал небывлицы соседским мальчикам, а ночью переносил их на бумагу». Но все же это не сам Саша – сам он как раз в это время старательно учился: вначале в художественной студии при Дворце пионеров, затем в Республиканской Художественной школе, которую закончил с отличием, и, наконец, в знаменитом Киевском Художественном институте, диплом которого оставил себе на память. (Я написал: «красный диплом», но Саша меня поправил: «четверки по политэкономии, научному коммунизму и английскому»). Так, что, как почти все великие модернисты, те, кто навсегда остался в истории живописи, Саша начал с того, что получил хорошее классическое образование.

Открою один Сашин секрет: у него, портретного художника, нет и никогда не было моделей (!). Но самое удивительное, что, хотя все его герои родились на холсте под его кистью, я хорошо был знаком с ними и раньше. Я могу подробно рассказать не только о них самих, но и об их семьях, их детях и родственниках и, иногда, даже припомнить, как их звали. Я хорошо помню эту вечно улыбающуюся старушку из 20 номера со Спасской, единственную уцелевшую во время войны из большой подольской семьи – она всегда кормила голубей перед нашими окнами, – хотя в жизни она выглядела совершенно иначе, чем на Сашиной картине («Подруги»). Я помню и этого веселого старичка – в жизни у него не было трех пальцев на левой руке и уж точно никогда не было такой шляпы–колпака («Сюрприз»). Он стоял со своим допотопным сатуратором на подольской набережной возле причала, откуда пассажирские баржи – «лапти» – отходили на Труханов остров, на пляж, к старому яхт-клубу, и продавал колючую газировку с сиропом. А это я сам, читаю «Трех мушкетеров» – и хоть было мне тогда чуть меньше – всего лет десять, но это не важно – это я сам. («Чтение»). (На Сашином месте я бы и назвал эту картину «Три мушкетера» – для тех, кто не знает, ЧТО можно ТАК читать).

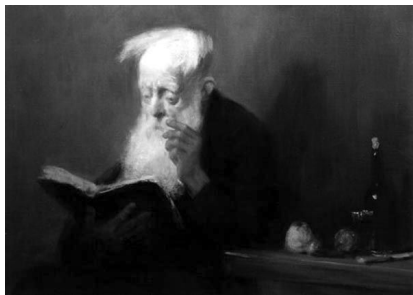
А это моя бабушка задремала на старом диване, на котором и я спал, когда оставался у нее ночевать, и это ей поют во сне слетевшиеся птички («Спящая»). И это она же ведет бесконечный разговор со своей подружкой Анютой, такой же, как и она сама, навсегда послевоенной вдовой («Бесконечный разговор»). (И дело тут, конечно, не в том, что Саша точно мог видеть мою бабушку - она была на Подоле заметным человеком: работала в «Октябре» билетёром, - это благодаря ей я уже в пятом классе три раза посмотрел «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро и провел на первый утренний сеанс в полупустой зал весь наш двор, чем и покорила свою первую любовь).



Подруги



Сюрприз

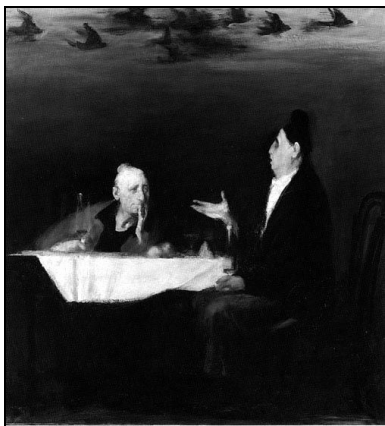


Чтение



Спящая





Бесконечный разговор



Фантазия на тему Веласкеса



Ансамбль



Соблазнение шампанским

Как все писатели и художники первого ранга, Саша описывает не окружающий его мир, а свой собственный. Этот мир только очень похож на настоящий, но на самом деле это, конечно, мир Саши Качкина! И в изобразительных средствах Саша тоже художник первого ранга. В авторстве Сашиних картин не ошибешься - для этого не нужно быть искусствоведом. Как не нужно быть и искусствоведом для того, чтобы увидеть, как многому Саша научился у старых мастеров, тем более что он это и сам не скрывает. Как ещё один навязчивый сон-мечта, возникает рядом с его немолодыми героинями веласкесовская инфанта со скрипкой

или флейтой – знал бы Веласкес, что она умеет играть... («Фантазия на тему Веласкеса», «Ансамбль»). Но Саша уже не пытается рассказать нам всё о своих героях, как это делали старые мастера – его не интересуют мелкие подробности их материальной жизни, – он рисует нам только их внутренний мир. Но опуская детали, Саша не заставляет нас впадать в транс самосозерцания, чтобы представить их. На его картинах удивительно точно выбрано соотношение пути, пройденного художником, и той его сладкой части, которую предстоит пройти зрителю.

Я много раз спрашивал Сашу – как, откуда возникают у него в голове эти лица? В ответ Саша всегда утверждает, что ничего не придумывает. Он говорит, что его проблема только правильно нарисовать нос, правильно нарисовать ухо, правильно положить цвет и свет, и его герои сами, и порой неожиданно для него самого, возникают из этой «скучной ремесленной» работы. Точнее Мандельштама тут не скажешь:

«Ладья воздушная и мачта-недотрога,  
Служа линейкою преемникам Петра,  
Он учит: красота - не прихоть полубога,  
А хищный глазомер простого столяра».

И если красота спорна, то бесспорна энергия добра исходящая от Шашиных холстов.

Саша по натуре не богемный человек. Он трудяга. С богемой его роднит разве что работа по ночам, но и тут он мне больше напоминает рабочих ночных профессий.

Работает он неторопливо, но без остановок. Готовые работы иногда месяцами отстаиваются в мастерской, ожидая последнего мазка, который вдохнет в них жизнь. «Тайна заключается в повороте, едва осязатимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два» (все тот же Бабель, «Гюи де Мопассан»). Но иногда, видимо мучительно не найдя этого последнего движения, Саше не жаль полностью переписать уже готовую работу, от которой не отказался бы ни один ценитель живописи.

Переехав в Канаду, Саша не потерялся. Его старики повеселели («Соблазнение шампанским», «Танец») и

помолодели. В своих снах они теперь летают не только по небу, но во вполне земных по своей безумности танцах («Конкурс», «Движение»).



Танец



Конкурс



Движение



Мальчик с дудочкой

На Сашиних картинах появляются дети. Саша мудреет. Дома у меня висят «Мальчик с дудочкой» и «Девочка» («Новая кукла»). У моих друзей - «Кукольник». И если, глядя на его стариков, безошибочно и подробно читается их прожитая жизнь, то в растерянных перед открывающейся жизнью глазах детей столь же подробно и неотвратно читается их будущее, от которого, иногда, становится не по себе. Кажется, что Саша обладает магическим кристаллом, который американцы называют «crystal ball» - кристаллом, позволяющим заглянуть в

будущее. Секрет тут прост: его дети той же породы, что и старики, а сказано Экклезиастом: «Что было то и будет» («Первый внук»).



Новая кукла



Кукольник



Первый внук

И ещё, глядя на Сашиных детей, вспоминается дзен буддизм: «Истину знают только дети, взрослые её забывают».

Саша её сохранил на всю жизнь.



# Лариса Миллер

## «СТИХИ ГУСЬКОМ»

### Книга VI: декабрь 2011 г. – январь 2012 г.

«Стихи гуськом. Книга V: октябрь-ноябрь 2011 г.  
«Стихи гуськом. Книга IV: август-сентябрь 2011 г.  
«Стихи гуськом. Книга III (июнь-июль 2011 г.)»  
«Стихи гуськом. Книга II (апрель-май 2011 г.)»  
«Стихи гуськом. Книга I (февраль-март 2011 г.)»

**31 января 2012 г.**

\*\*\*

Мир – не кроссворд, не пазл, не шарада.  
Он без затей, чему я очень рада.  
И у него от нас секретов нет.  
И, что ни день, он проливает свет.  
Он проливает свет на то, на это,  
Темня про то, откуда столько света.  
2012

**30 января 2012 г.**

\*\*\*

Я конформист. И я согласна  
Терпеть, что то темно, то ясно,  
То ясно, то опять темно.  
Мне даже кажется: умно,  
Умно устроено всё это –  
То стужа зимняя, то лето,  
То лето, то опять зима.  
Но почему ж она сама –  
Природа-мать - не захотела  
И с нами так поставить дело:  
Чтоб то мы есть, то нету нас,  
То снова есть и звёздный час  
У нас, то вновь сплошные нети,  
То мы опять живём на свете?  
2012

**Поздравление с Первой годовщиной:**

*Эмиль Сокольский*

**ЧИСТО И СТРОЙНО**<http://emil-sokolskij.livejournal.com/116899.html>

30 января 2012 г.

Сегодня год как длится литературный эксперимент Ларисы Миллер: её Живой Журнал (<http://larmiller.livejournal.com>). Каждый день – по два стихотворения (новое и перекликающееся с ним старое). Я видел отзывы... «Мы не ощущаем воздух, которым дышим, пока не начинаются трудности с дыханием. Мы уже привыкли, что в "Семи искусствах" (одно из «зеркал» блога) живёт Лариса Миллер». «Глубокоуважаемый автор, по моему, Ваши стихи невозможно комментировать, как невозможно комментировать природное явление. Это своего рода поток, как бы течение некоей реки – как прокомментировать закат над Волгой? Но, поверьте мне, отсутствие комментариев означает не отсутствие читателей, а отсутствие слов у читателей, хоть сколько-нибудь годных для должной оценки того, что вы создаёте».

В чём загадочность стихов Ларисы Миллер? Её «простые» строки – совсем непростые, «элементарные» рифмы на редкость точны, а «природные» образы – лишь символы для разговора о самом главном. В своё время это высоко оценили Арсений Тарковский и Владимир Соколов. Очень интересно мне было узнать, что стихи Миллер восхищали Вениамина Блаженного. Полное взаимопонимание у меня обнаружилось с Александром Городницким: приобняв меня, он тихо сказал: «У неё далеко не так всё просто, как многие думают, далеко не так...».

«Радость тихую дышать и жить» у Ларисы Миллер не способна заглушить тоска от болезненного осознания краткости земного срока, напротив: ее тоска способна до предела усилить любовь к жизни! И жизнь тогда предстает в своём истинном, единственно возможном для творческого человека свете.

Насколько тревожно мне было читать многие давние стихи Миллер, настолько легко – стихи последних лет.

**Одно из давних:**

Иссякло время, и со временем ушло  
Всё то, что ранило и мучило, и жгло,  
Иссякло время, значит некуда спешить  
И наконец-то можно жить себе и жить,  
Читать нечитанное, петь или гадать  
О чём – неведомо... Какая благодать!  
Я почитала бы, да строк не видит глаз,  
Ведь время кончилось и значит свет погас.

**Сегодняшние:**

Столько было того, что, казалось, нет сил пережить,  
Столько было того, с чем нельзя, невозможно смириться.  
Как же мне удастся по-прежнему с миром дружить,  
На его небеса голубые, любые молиться?

И сама не пойму, как решаюсь ему доверять,  
В доме свет погашу и надену ночную сорочку,  
Чтоб в его темноту безоглядно, бесстрашно нырять  
И легко засыпать по-младенчески – руки под щёчку.

\*\*\*

Скажи мне, жизнь, ты что – уходишь, да?  
Меня уже не будет никогда?  
Скажи мне, жизнь, ты от меня устала?  
А я как раз сегодня рано встала  
И строю планы, и пишу стихи,  
Где много всякой нежной чепухи.

\*\*\*

А я не хочу кое-как, еле-еле,  
Хочу, чтоб внутри меня ангелы пели  
И чтоб не покинули душу они.  
Вот снег серебрится. Он первый. Взгляни.  
Такое событие песни достойно.  
Так пойте же, ангелы, чисто и стройно.

**29 января 2012 г.**

\*\*\*

Сказала слово «жизнь», не зная как ещё  
Назвать, определить, что происходит с нами.  
Ведь если назову всё это явью, снами,  
Скажу совсем не то и допущу просчёт.

А в слове «жизнь» есть «и», связующее две  
Согласных «ж» и «з», жужжащих, точно пули.  
Пока они жужжат, позолотим пиллюлю  
Хотя бы тем, что всласть походим по траве.

Поскольку есть просвет, пространство в виде «и»,  
То можно всё решить или на всё решиться:  
Достичь любых высот, любых высот лишиться,  
Влюбиться, разлюбить. О жизнь, дела твои...

2012

**27 января 2012 г.**

\*\*\*

А темнота – перед зарёй,  
А немота – перед стихами.  
Перед какими чудесами  
Разлука с грешною землёй?  
Когда и кто мне нашептал:  
«Уход с земли – ещё не вечер,  
Разлука с нею – перед встречей,  
Которой даже и не ждал»?

2012

**26 января 2012 г.**

\*\*\*

Не откажу себе ни в чём:  
Открою дверь своим ключом,  
Войду туда, где ждут и ждали.  
О как меня избаловали!  
В какой я роскоши живу!  
День начинаю, как главу  
Поэмы той, что в полной власти  
Моей назвать: «Ещё о счастье».

2012



**25 января 2012 г.**

\*\*\*

Но я найду, ей-богу, я найду –  
Ни в этом, значит, в будущем году –  
Другой финал, другой аккорд финальный,  
По-новому звучащий, не банальный,  
Найду какой-то новый поворот,  
Не характерный для земных широт,  
Где слишком грустный опыт нами нажит.  
Авось, меня Всевышний не накажет,  
Что я подобным делом занялась  
И даже поправлять Его взялась.  
2012

**24 января 2012 г.**

\*\*\*

Не то в избытке всё дано,  
Не то довольствоваться малым  
Могу. К примеру, снегом талым,  
Зарёй, что глянула в окно.

Ну а сегодня я одну  
Строку закончила и рада.  
Не то мне правда мало надо,  
Не то я в роскоши тону.  
2012

**22 января 2012 г.**

\*\*\*

И я одна из тех, кто был в коросте  
И в язвах, и кому ломали кости,  
Терзали душу. Я была из тех,  
Кто полагал, что он несчастней всех,  
Кто вопрошал: «О, Господи, за что же?  
И для чего? И как мне жить без кожи?».  
Господь мне не ответил. Я сама  
Всё поняла и не сошла с ума.  
Я поняла: всё это надо, надо,  
Чтоб знать, где рай, а где подобье ада,  
Чтоб осознать, что жизнь без адских мук

И пыточных орудий – росный луг,  
Немыслимое счастье и награда.

2012

\*\*\*

С землёй играют небеса  
И дразнят, и грозят обвалом,  
Грозят в пожаре небывалом  
Спалить жилища и леса.  
А в тусклый день – они опять  
Покровом серым и смиренным  
Висят над этим миром бранным,  
И слёз небесных не унять.

1999

**21 января 2012 г.**

\*\*\*

*Сыну Илюше*

А праздник и правда всё время со мной.  
Он ходит со мной по дорожке земной,  
Слегка, точно воздух, меня задевая.  
Он ездит со мной в дребезжащем трамвае,  
Мы ту же страницу читаем вдвоём,  
Мы наши любимые песни поём,  
Стихи сочиняем. А в дикой толкучке,  
Как дети, мы держимся крепко за ручки.

2012

\*\*\*

Закон не писан ветру и ручью.  
Они его выдумывают сами.  
Наверное, совместно с небесами  
Лазурными. Я тоже так хочу:  
Творить судьбу, дав слово небесам,  
Прислушиваясь к птичьим голосам.

2012

**20 января 2012 г.**

\*\*\*

Я так преступно молода –  
Не усыхаю, не линяю.  
Зачем же без конца склоняю  
Слова: мгновенье, дни, года?

А, может быть, тем самым их  
Я усмиряю, приручаю.  
И год, что нынче я встречаю,  
Покорно лёг у ног моих.

2012

**19 января 2012 г.**

\*\*\*

В людском потоке – маленькая точка.  
Не тронь, стихия, старшего сыночка  
И младшего сыночка пощади.  
Ведь даже если их прижму к груди,  
То не спасу. Ах, не накрой лавиной  
Того, седого. Это мой любимый.  
Пусть мои дети и любимый мой,  
Уйдя из дома, вновь придут домой.

2012

\*\*\*

Чтоб здесь подольше задержаться,  
Нужны какие-то зацепки.  
Как солнышко начнёт снижаться,  
Шалашиком поставим щепки,  
И, коль погода не сырая,  
Соорудим костёр вечерний –  
Предполагаемого рая  
Небесного Эдем дочерний.  
Пусть между нами целый вечер  
Танцует искорка живая,  
С теплом и светом наши встречи  
Хоть ненадолго продлевая.

2012

**18 января 2012 г.**

\*\*\*

Да-да, конечно: время мчится шустро,  
Но до сих пор загадочная люстра  
В театре давнем гаснет не спеша,  
И замирает детская душа.

Да-да, конечно: зыбкость, скоротечность.  
Но занавес ползёт по сцене вечность,  
И я со сцены не спускаю глаз

Горящих. Я в театре в первый раз.  
Героя звать Снежок. Он – негритёнок.  
А янки негров мучают с пелёнок.  
Бинокля я не выпущу из рук.  
Идёт счастливой памяти настройка.  
Ах, жизнь, ты ненадёжная постройка:  
То пропадает видимость, то звук.  
2012

**16 января 2012 г.**

\*\*\*

Воюю с сердцем, с головой,  
С рукою левой, ножкой правой,  
Лечусь химической отравой,  
Лечусь целительной травой,  
Ем не поздней часов пяти.  
И что я здесь нашла такого,  
Что нет желанья никакого  
Без боя сдаться и уйти?  
2012

\*\*\*

Сама не знаю как я справилась.  
И мне ведь от судьбы досталось.  
Но всё равно мне здесь понравилось,  
И я бы даже здесь осталась.  
Жила бы, карандаш мусолила,  
Стишки себе же на потребу  
Кропала, и глаза мозолила  
Родному старенькому небу.  
2011

**15 января 2012 г.**

\*\*\*

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,  
А отвечают мне последним слогом.  
Я вопрошаю: «Ждёт меня беда?»,  
А мне в ответ – раскатистое «Да».  
«Какие годы лучшие на свете?», –  
Я спрашиваю. Отвечают: «Эти».  
2012

**14 января 2012 г.**

\*\*\*

А я уже раз двести там была,  
Куда меня любовь моя вела  
И память. Ведь они проводниками  
В краю потерь работают веками,  
В краю утрат и в области потерь.  
И потому могу нащупать дверь,  
В которую резона нет стучаться.  
И потому легко могу встречаться  
С тем, кто ушёл и больше не придёт -  
Подскажет память и любовь найдёт,  
И превратит утраты и убытки  
В фонд золотой, в серебряные слитки.  
2012

\*\*\*

О память — роскошь и мученье,  
Мое исполни порученье:  
Внезапный соверши набег  
Туда, где прошлогодний снег  
Еще идет; туда, где мама  
Еще жива; где я упрямо  
Не верю, что она умрет,  
Где у ворот больничных лед  
Еще лежит; где до капли,  
До горя целых две недели.  
1983

**13 января 2012 г.**

\*\*\*

А хочешь, возьму – отовсюду сбегу.  
Побудем хоть сколько-то в узком кругу:  
Я, вечер и ты, тишина дорогая.  
К тебе я стремлюсь, отовсюду сбегая.  
У нас для свидания уйма причин  
И тем, о которых с тобой помолчим.  
2012

**12 января 2012 г.**

\*\*\*

А сук самый sereneкий – он не затем, чтобы вешаться,  
А только затем, чтоб взглянуть на него и утешиться.  
Утешиться тем, что и старый такой и кривой,  
Он служит приютом для капли любой дождевой.

И птицы используют сук как посадочно-взлётную  
Площадку, а кто-то из них как линейчку нотную,  
Когда, несмотря на почти беспросветную хмарь,  
Поют и щебечут, попав в европейский январь.  
И дереву сук этот старый не служит обузой.  
А мне, залетевшей случайно сюда, служит музой.  
Январь 2012 г., Дюссельдорф

**10 января 2012 г.**

\*\*\*

Пока спала я, дата поменялась.  
Пока по лабиринтам сна слонялась,  
День новый свежим ветром занесло  
(спросонья не пойму его число).  
Пришёл и шарит по шкафам и полкам  
В моём жилище, не сказав мне толком  
Зачем. Но я прекрасно поняла,  
Что жизнь ему без тайны не мила,  
Что он в душе надеется на чудо,  
И я должна, обязана, покуда  
Он здесь, его уверить, что не зря  
Мы встретились в начале января,  
Что я вот тоже – ведро ли ненастье –  
Жить не могу без предвкушенья счастья.  
Он – от меня, а я вот – от него  
Жду чуда. Только чуда одного.  
2012

**9 января 2012 г.**

\*\*\*

– Да брось, не к спеху, не горит.  
– Как – не горит?! Почти сгорело.  
Вот-вот душа покинет тело  
И в эмпиреи воспарит.  
– Ах, так? Ну, значит, только тем  
И стоит, наконец, заняться,  
Что размышлять, мечтать, слоняться,  
Забыв о времени совсем.  
2012

**7 января 2012 г.**

\*\*\*

И висело бельё, полощась на ветру.

И висело бельё, колыхаясь от ветра.  
О какое печальное сладкое ретро!  
Как из памяти эту картинку сотру?  
Синька, бак для белья и доска, и крахмал,  
У бабули в руках бельевые прищепки,  
И белы облака удивительной лепки,  
И ребёнок, стоящий поблизости, мал.  
И ребёнок тот – я. И белей облаков  
Простыня, и рубашка – небесного цвета.  
И всему, что полощется, - многие лета,  
Цепкой памяти детской, щадящих веков.  
Январь 2012

\*\*\*

Вот жили-были ты да я...  
Да будет меньше капли росной,  
Да будет тоньше папиросной  
Бумаги летопись моя!  
Открытая чужим глазам,  
Да поведет без проволоочки  
С азов к последней самой точке!  
Да будет сладко по азам  
Блуждать, читая нараспев:  
«Вот жили-были в оны лета...»  
Да оборвется притча эта,  
Глазам наскучить не успев.  
1981

**6 января 2012 г.**

\*\*\*

Немотствующих нет: и тишина,  
И старая щербатая стена,  
И лестница скрипучая: «Послушай!», –  
Мне говорят и изливают душу.  
И даже пустота не лишена  
Души и вопиет: «Кому повем?».  
И вторит эхо ей. Так кто же нем?  
И я, и я спешу наговориться  
С мгновеньем, что готово раствориться,  
Едва коснувшись наболевших тем.  
2011

\*\*\*

И лишь в последний день творенья  
Возникло в рифму говоренье,  
Когда Господь на дело рук  
Своих взглянул, и в нем запело  
Вдруг что-то, будто бы задело  
Струну в душе, запело вдруг,  
Затрепетало и зажглось,  
И все слова, что жили розно, –  
«О Господи», – взмолились слезно, –  
«О сделай так, чтоб все сошлось,  
Слилось, сплелось». И с той поры  
Трепещет рифма, точно пламя,  
Рожденное двумя словами  
В разгар Божественной игры.

1997

**2 января 2012 г.**

\*\*\*

Любовь, когда уходит, не уходит.  
Уйдя от нас, она к другим приходит,  
По-прежнему безумна и нова  
И шепчет те же самые слова.  
И время, убегая, остаётся,  
Хотя поймать его не удаётся.  
И сотню тысяч раз сходя на нет,  
Не покидают нас ни тьма, ни свет.  
И, вспыхивая, небо заревое  
Нас снова задевает за живое.  
И только мы, уж ежели уйдём,  
Пути назад уж точно не найдём.  
Коль жизнь добьёт и время доконает,  
Уйдём совсем. А впрочем, кто нас знает?

2011

\*\*\*

Как ручные, садятся на грудь  
Листья дуба и клена.  
Что такое наш жизненный путь,  
Бесконечно продленный? –  
Миллионы концов и начал  
В непрерывной цепочке, –  
От листа, что сегодня опал,



И до завтрашней почки.  
Это цепь бесконечных утрат,  
Бесконечных находок,  
Это вечно восход и закат  
С обещаньем восхода.  
Это вечно то сушь, то дожди,  
То пустыни, то реки,  
Это вечное вслед – «подожди»  
Уходящим навеки.  
1971

**1 января 2012 г.**

\*\*\*

Нет времени? Да что вы говорите?!  
А у меня вот времени полно.  
И прибывает, кажется, оно.  
Могу вам одолжить его. Берите.

А, впрочем, что такое - одолжить?  
Я лучше расскажу как с ним дружить,  
Чтобы оно в объятья к нам летело  
И расставаться с нами не хотело,  
И не давало нас со света сжить.  
31 декабря 2011 г.

\*\*\*

А родилась я в прошлый понедельник –  
Гораздо позже, чем вот этот ельник,  
В котором я сегодня нахожусь,  
Которому я в дочери гожусь,  
Который и синицу и ворону  
Мне показал. И снежную корону.  
И, познавая этот белый свет,  
Я бормочу: «Чего тут только нет!».  
31 декабря 2011 г.

**31 декабря 2011 г.**

\*\*\*

*Валентину Непомнящему*

В земном-небесном понимаю толк:  
Каков на ощупь трав весенних шёлк  
Я знаю хорошо. И шёлк небесный  
Я чувствую – немнущийся, чудесный.

И меж земным-небесным находясь,  
Я связи не теряла отродясь  
С тем и с другим, хоть часто и не шёлком  
Они бывали и смотрели волком.

31 декабря 2011 г.

\*\*\*

Придумали себе рубеж.  
А хорошо б остаться меж  
Минувшим годом и грядущим  
И жить во времени текущем,  
Где этот свет и этот мрак  
Не обозначены никак,  
Где нет ни имени, ни даты.  
И если крикнут мне: “Куда ты?”  
Скажу: “Спешу я к той заре,  
Которой нет в календаре”.

2006

**27 декабря 2011 г.**

\*\*\*

А главное, чтоб мы любили  
Родных и близких, чтоб ловили  
Их каждый взгляд и каждый вздох.  
Не смена всяческих эпох  
Важна, а то, как руку гладим  
Родную, как с родными ладим.

2009

**25 декабря 2011 г.**

\*\*\*

*«Душа обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь»*

Николай Заболоцкий

Душа обязана трудиться.  
Пусть и за жалкие гроши.  
И нам не следует стыдиться  
Бессонной нищенки – души.

Душа ведь нищенка. Но кто же,  
Кто платит птице на току  
И ливню, чья струя похожа  
На серебристую строку?

Душа не ведаёт досуга  
И не уходит на покой.  
О, Господи, Тебя, как друга,  
Прошу – оставь её такой.  
2011  
\*\*\*

А лес в шелку зелёном  
И в искрах золотистых...  
Умрёшь неутолённым  
В один из дней лучистых.  
Умрёшь влюблённым в осень,  
В её этап начальный,  
В поскрипыванье сосен,  
В осенний пир печальный.  
Пируй же, нищий духом,  
И можно ли поститься,  
Когда над самым ухом  
Поют и дождь, и птица.  
А ты, не насыщаясь,  
(И этот дар чудесен)  
Как будто бы прощаясь,  
Всё просишь песен, песен...  
1989

**23 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Завидую сама себе –  
Тому, что есть. Тому, что было.  
Тому как солнце в очи било  
И булькала вода в трубе  
Апрельская. И нынче нет  
Конца вещам нерукотворным:  
Сбит с ветки снег крылом проворным,  
И силу набирает свет,  
Который, надо полагать,  
Необорим, неисчерпаем.  
И зря мы на судьбу клепаем.  
Ей надо только помогать.  
Так помогать своей судьбе,  
Чтоб нас любовь не оставляла

И нас бы, грешных, заставляла  
Завидовать самим себе.

2011

\*\*\*

На излёте зимы, на излёте  
Века бедствий и века любви  
Всё тяну на излюбленной ноте  
Ту же песню. И всё ж улови,  
Улови, улови перемену:  
Песня та же, но в голосе – дрожь...  
Впрочем, петь - значит биться об стену,  
Ту, которую не прошибёшь.  
Разметает, – пою, – разметает  
Вешний ветер, и всё разорит...  
Но сегодня чуть раньше светает –  
Семь пятнадцать, а небо горит.  
1999

**19 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Ты говоришь: «Ни зги не видно.  
Сплошная тьма»? Ну как не стыдно!  
Ты просто не туда глядел.  
Твой ангел о тебе радел.  
Ну извинись. Ему обидно.

Ты что, не видишь как бело  
Его простёртое крыло?  
Затем и темнота даётся,  
Чтоб видеть свет, который льётся,  
Когда ещё не рассвело.

2011

\*\*\*

Взгляни на все сквозь пальцы, сквозь  
Снежок, летящий на авось,  
Сквозь белоснежную пыльцу,  
Что прикасается к лицу.

Сквозь эту солнечную пыль  
Таинственна любая бль,

Все переменчиво и всё  
Воздушно, как в стихах Басё.  
1994

**15 декабря 2011 г.**

\*\*\*

О как люблю я прошлогодний снег,  
Забывтый всеми, никому не нужный,  
Тот, что летал когда-то стайкой дружной  
И прекратил давным-давно свой бег.  
Он нужен мне, как мой умерший друг,  
Снесённый дом и прошлая влюблённость.  
Ну что поделать? У меня есть склонность  
Спасать всё то, что выпало из рук:  
Былому снегу подставлять ладонь,  
В снесённом доме зажигать огонь.  
2011

\*\*\*

На чём всё держится? На честном,  
На честном слове, на небесном  
Луче небесном, ни на чём,  
На том, что можно звать лучом,  
Иль вздохом, или чувством меры,  
Иль странным свойством атмосферы  
Нас почему-то не лишать  
Возможности любить, дышать...  
1997

**13 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Ну как побыть с собой наедине,  
Когда во мне и голоса и лица,  
Которые успели испариться,  
Нестойкие, как тени на стене?  
Ну как остаться в тишине, когда  
Шумят во мне все прошлые года?  
2011

\*\*\*

А за последнею строкой –  
Размах, раздолье и покой  
Страницы. За последним шагом –  
Просторы с речкой и оврагом.

И за прощальным взмахом рук –  
Рассвет, и разноцветный луг,  
И ливень. За предсмертным стоном  
Весь мир, звучащий чистым тоном.  
1979

**11 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Я одна в своём роде. И всяк в своём роде  
Один. Одинаковых нету в природе.  
И берёза под окнами тоже одна,  
Хоть весьма на соседку похожа она.  
Все мы здесь существуем в одном экземпляре.  
Даже если скитаемся с кем-нибудь в паре,  
Всё равно мы не парные. Мой дорогой,  
Мой любимый – он тоже с планеты другой.  
И кого ни возьми – экземпляр раритетный.  
Все мы дети в огромной семье многодетной,  
Где любой – так уж странно природа творит –  
По особому дышит, иначе парит.  
2011

\*\*\*

Казалось бы, все мечено,  
Опознано, открыто,  
Сто раз лучом просвечено,  
Сто раз дождем промыто.  
И все же капля вешняя,  
И луч, и лист случайный,  
Как племена нездешние,  
Владеют речью тайной.  
И друг, всем сердцем преданный,  
Давнишний и привычный, –  
Планеты неизведанной  
Жилец иноязычный.  
1975

**7 декабря 2011 г.**

\*\*\*

**Сутин**

Да что ж тебя всё так пугает –  
Тропа, что в горы убегает,

И куст, который в землю врос?  
Твои полотна – это SOS.  
Твои портреты, натюрморты,  
Пейзажи – на разрыв аорты,  
Безумствуют, кровоточат.  
Да и цветы твои кричат.  
У них срывающийся голос.  
Твой воспалённый гладиолус  
Кричит, что он – не сон, не бред –  
Земной реальности портрет.  
2011

\*\*\*

Девочка с высоким лбом  
В чём-то сером, голубом  
На картине старой очень.  
Кто сказал, что мир не прочен,  
Если смотрит до сих пор  
Девочка на нас в упор  
Взглядом светлым, безмятежным  
В платье льющемся и нежном,  
Приглашая: «Не спеши.  
Поживи со мной в тиши.  
Отдохни со мною рядом  
Под моим недвижимым взглядом».  
2007

**6 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Когда Создатель мир творил,  
Он отодвинулся немного,  
Чтоб уместились дом, дорога  
И дерево, и пара крыл.

Чуть-чуть Создатель отступил,  
Чтоб для всего нашлось местечко.  
Но показалось человечку –  
*Ему* Он место уступил,  
*Ему* Он передал бразды  
И мир от донца до звезды.  
2011

\*\*\*

Пена дней, житейский мусор,  
Хлам и пена всех времен.  
Но какой-нибудь продюсер  
Будет ими так пленен,

Что обычную рутину  
С ежедневной маетой  
Переплавит он в картину,  
Фонд пополнив золотой.

Будут там такие сцены  
И такой волшебный сдвиг,  
Что прокатчик вздует цены,  
Как на громкий боевик.

...Сотворил Господь однажды  
Нет, не мир, а лишь сырец,  
Чтоб, томим духовной жаждой,  
Мир творил земной творец.  
1993

**5 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Есть полный смысл жить, мои вы дорогие.  
Ведь каждый Божий день здесь небеса другие.  
И нынешний рассвет – он нам едва знаком,  
Распахнуто окно весёлым сквозняком,  
Который, ничего не зная о вчерашнем,  
Дарует новый шанс и мне и всем домашним.  
2011

\*\*\*

Пела горлица лесная.  
Над костром струился дым.  
Сладко жить, цены не зная  
Дням просторным, золотым;

Жить, как должное приемля,  
Что ласкают небеса  
Невесомой дланью землю,  
Горы, доли и леса.

Сладко жить... И все же слаще,



Будь ты молод или стар,  
Каждый луч и лист летящий  
Принимать как редкий дар.  
1975

**4 декабря 2011 г.**

\*\*\*

На дни скоротечные вечность делить —  
Ведь это как небо на части пилить,  
Ведь это как воздух прозрачный кромсать.  
Давайте слиянность и цельность спасать.  
Давайте все даты на свете сотрём  
И, может, тогда мы совсем не умрем.  
2011

**2 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Ну не надо конец ноября за конец своих дней принимать  
И не надо печальный вопрос о конце бытия поднимать.  
Ну какой там конец бытия, если позднеосенняя мгла  
Мне великое множество слов для стихов отыскать  
помогла,  
Драгоценных единственных слов про осмысленность  
дней и тщету,  
Слов, которые я не смогла отыскать на слепящем свете.  
2011

\*\*\*

О, Господи, опять спешу и обольщаюсь  
В короткий зимний день никак не умещаюсь,  
И забегая в те грядущие мгновенья,  
Где ни души пока, ни ветра дуновенья,  
Ни звука, ни звезды, ни утра полыханья,  
Но где уже тепло от моего дыханья.  
1988

**1 декабря 2011 г.**

\*\*\*

Ютясь на маленьком отрезке  
Пространства, времени, пути,  
Проснуться около пяти  
И, поглядев на занавески,  
Увидеть: их меняя цвет,  
В них робкий прячется рассвет.

«Входи, – зову его, – с рождением!»,  
А он мне: «С ранним пробуждением!».  
2011



# Михаил Фельдман

## «Люблю я родину свою...»

### Стихи

#### Свеча Пастернака



то было когда-то, а когда – угадайте! –  
Собирались ребята у кого-то на хате,  
Приходили оравой, но всегда были кстати,  
И не считали отравой даже кильку в томате.

В обстановке привычной всё всегда было ново –  
От бутылки «Столичной» до буханки ржаного,  
Было пиво, таранька, были свежие рифмы,  
Были Инка и Танька, – а куда же без них мы!?

Сколько было открытий! Как мы строили замки!  
Как надеялись выйти за постылые рамки,  
Сколько души пороли головами и сердцем –  
Всё искали пароли к заколдованным дверцам,

Всё не спали ночами в ожидании знака,  
Согреваясь лучами от свечи Пастернака...

Приходите, ребята, на моё новоселье, –  
Что за новая хата без вина и веселья,  
Будет вам вечеринка, будет пьяная вишня,  
Будут Танька и Инка – ведь это тоже не лишне.

Каждой твари – «кампари» с апельсиновым соком,  
Побренчим на гитаре, попоём о высоком:

Про отсутствие рамок, про московские кухни,  
Про воздушный наш замок, что возьми, да и рухни,

О свече Пастернака и о прочем о вечном  
Что не вышло, однако, в суете уберечь нам...

Приходите, ребята, вы ко мне на поминки –  
Бытие и утрата – это две половинки.  
Ну а в целом, а в целом было мило, не так ли?  
Прошвырнуться по сценам в этом дивном спектакле!

Я прошу вас – не плачьте, ни о чем не горюйте,  
Хватит лазить по мачте, – посидите в каюте,  
Просто так посидите в пустоте полумрака  
И зажгите, зажгите мне свечу Пастернака...

### **В тени деревьев**

Я возлежал в тени величественных вишен  
Я был циничным и ленивым по натуре,  
Дыханье ветра заменяло мне condition,  
А запах вишен доводил до полудури.

Я возлежал в тени разлапистого вяза,  
Прильнув губами к запотевшей горловине, –  
Я пил вино, и в этом было столько джаза,  
И столько блюза, – сколько *veritas in vine!*

Я возлежал в тени могучего платана,  
Я был частицей первозданного пейзажа,  
И мне гетера (что по-нашему – путана)  
Открыла тайну тайландского массажа!

Я возлежал в тени пленительных акаций,  
Весь очарован томным голосом гетеры,  
И я не верил, что божественный Гораций  
Не дотянул совсем чуть-чуть до Нашей Эры.

Я возлежал в тени задумчивых черешен,  
Я пил вино, а мне подыгрывал Бетховен,  
И я клянусь, что стал бы девственно безгрешен,  
Когда бы не был столь чудовищно греховен.

Я возлежал в тени большого носорога,

И мне не нужно было роскоши и бабок,  
И я лежал бы, пил вино и славил Бога...  
Но носорог перевернулся с боку на бок!

Я возлежал на солнцепёке после смерти,  
О безвозвратности ушедшего горя,  
И я всё ждал, когда придут за мною черти,  
Но запах смиры подсказал мне, что в раю я.

Я удивился, ибо знал довольно четко,  
Что буду бит плетьюми и за ноги подвешен,  
И я спросил у Бога:  
– Бог! Какого черта?...

А Бог лениво пил вино в тени черешен!

### **Воланд**

Аэропорт. Зал ожиданий сегодня особенно полон.  
Аэропорт. Должен приехать маэстро по имени Воланд,  
Звуки оркестра и сотни восторженных морд.

Крики толпы. Женские лица косметики слоем покрыты.  
Крики толпы. Все до одной претендуют на роль  
Маргариты,  
Милые женщины! Как вы наивно глупы!

Зрительный зал. Что говорить, если давка уже в  
вестибюле.  
Зрительный зал. Вроде апрель, а стоит духота, как в  
июле, –  
Даже премьер на премьеру билет заказал!

Сквер городской. Знают пруды и деревья, и знают аллеи,  
Сквер городской. Воланд приходит не чаще кометы  
Галлея,  
Воздух волшеббно-прозрачен, и пахнет тоской...

Грязный подвал. Нищий бродяга, и по полу бегают  
мыши.

Грязный подвал. Это бродяга расклеил повсюду афиши,

—

Нищий-то нищий, а город большой разыграл!

Город большой. Всё было так очевидно уже изначально.  
Город большой, ты ведь поверил, а значит не всё так печально,  
Значит, ребята, не всё безнадежно с душой!

Месяц нисан в город ворвался верхом на своём бумеранге.

Месяц нисан рухнул на землю, как тот заблудившийся ангел,

Рухнул на землю и тотчас взлетел к небесам...

### **Лира**

На новом месте бытия завяла лира,  
И стала зыбкой, как дремота конвоира,  
Рискующего честью и клинком.  
На всех частотах и волнах царит затишье,  
И мысли больше не загнать в четверостишье  
Ни розгами, ни плетью, ни пинком.

Исчезли робкие симптомы ностальгии.  
Простите мне, мои кварталы дорогие,  
Что сны мои полнятся чепухой...  
А, впрочем, что вам всем до снов космополита,  
Когда у вас там вся земля дождём полита,  
А я здесь в доску трезвый и сухой?!

Еще не всю склевали вороны черешню,  
И голова еще не вся покрыта плешью,  
И помыслы еще стремятся ввысь,  
Но рифмы те, что были слиты воедино —  
Сбежали все, едва дойдя до середины,  
Как будто кто-то крикнул «разойдись»!

Но время лечит и плетёт свои интриги,  
Быть может я надену новые вериги,

И лира будет вновь озарена!  
Прольётся дождь на богом проклятую сушу,  
И перестанет искушать больную душу  
Лирический вопрос:  
– А на хрена???

**Со среды на пятницу**

Мы забыли за окном суету-сумятицу,  
И она забыла нас на какой-то срок –  
Это выпало на ночь со среды на пятницу –  
То ли чье-то колдовство, то ли просто рок!

В эту ночь напала страсть на Луну-развратницу,  
И пошел такой сигнал с грешной высоты...  
Что за ночь была у нас со среды на пятницу –  
Я не ведал, что творил – так же, как и ты.

Ты похожа на цветок, я похож на пьяницу –  
Им всегда недостает одного глотка.  
Мы б уснули в эту ночь со среды на пятницу,  
Но она была, увы, слишком коротка!

Нам рассвет задул свечу, а какая разница? –  
Если можешь без огня делать фейерверк.  
Кто не знал такую ночь со среды на пятницу –  
Да восполнится тому дождиком в четверг.

На меня друзья ворчат и соседи пялятся,  
Предо мною срочных дел дружные ряды.  
А я нарушу свой рефрен... и пошлю их в задницу  
И с надеждой стану ждать следующей среды!!!

**Венок советов**

Покуда вертится Земля, и мы у Бога под прицелом –  
Воспринимайте женщин в целом, на части тела не деля.

Мозгами будучи узки, мы возмущаемся и ропщем,  
Не принимая женщин в общем, а лишь отдельные куски.

Покуда вертится Земля – не измельчайте воду в ступе,

А принимайте женщин вкуче со всеми ихними «ля-ля»!

Открой глаза, прелюбодей, и напряги свой мозг бараний

–

У женщин есть так много граней помимо бедер и грудей!

Не забывайте, господа, что перед вами все же личность,

–

Её не купишь за наличность, ну, если только иногда.

И отнеситесь без обид к моим призывам хладнокровным

–

Побольше думать о духовном, или хотя бы делать вид.

И пусть я буду одинок среди поэтов и эстетов, –

Я вам дарю венки советов – чужого опыта венки:

Переходите женщин вброд,

Без аквалангов и без масок!

О! Сколько нам безумных красок сулит любви водоворот!

Переходите женщин вброд,

Чтоб кислорода не хватало,

И чтобы дело обретало необратимый оборот.

Шепчите женщине слова.

Слова для женщины – основа.

Шепчите снова их и снова, пока не треснет голова!

Не отходите от клише,

И опасаться не придётся –

Как ваше слово отзовется в её таинственной душе.

Не лейте воду в кислоту,

Не финишируйте на старте,

(Хотел сказать – «не спите в марте», но это ясно и коту)

И посылайте всех подряд,

Кто рвется вам помочь советом –



Один чудака забыл об этом, и плохо кончил, говорят!

### **Скотская песня**

Было время людской тоски, было время дурных идей –  
Отправляли козла в пески отвечать за грехи людей.

Но столетий река течёт, по сознанию идёт разлом,  
И сегодня большой почёт безнаказанно быть козлом!

Но порой не хватает слов, – справедливости нет, как нет,  
Потому что нашли ослов, чтоб держать за козла ответ.

Были хилы мозги ослов, да и чувство вины росло,  
И послали ослы послов на ослиный совет в Осло.

И решили ослы всерьёз на ослином своём суде  
Предоставить козлам овёс, не перечить козлам в еде.

И редела кругом трава, и росли у козлов мослы...  
Воплощались всю права, те, что дали козлам ослы.

И решили ослы, дрожа, оградиться от них межой –  
Ох! Мешает козлу межа потоптать огород чужой!!!

И пока размышлял осёл – как ему одолеть козла, –  
На дома городов и сёл непроглядная тьма сползла.

Если взять и начать с азов, то дословно гласят азы:  
Не вари, так сказать, козлов, в молоке, так сказать, козы.

И ещё повелел Творец, отделяя добро от зла,  
Во спасенье своих овец в чем угодно мочить козла!

Эх, налечь бы на два весла, разогнаться б до ста узлов,  
И причалить где нет осла, что не может унять козлов.  
Где козёл отвечает сам, где лелеют своих овец,  
Где на каждый гнилой «кассам» был бы тут же положен  
«хец».

Чтоб жилось и пилося до дна, чтобы ком не мешал в  
груди.....

Но лужайка у нас одна, и лужайку того гляди.....

**Вдоль по бездорожью**

Дай-ка мне замок повесить,

И задёрнуть шторы, –

За окном гуляют десять

Заповедей Торы....

И пускай по нашей вере

Да воздастся душам,

Но одну, по крайней мере,

Нынче мы нарушим.

День за днём, по вертикали,

По горизонтали,

Мы гармонию искали,

Да искать устали.

И пошли себе, двулики,

Вдоль по бездорожью,

Все мотивы и улики

Заметая ложью.

Замерзали мы по семьям,

А вдвоём согрелись...

То, что мы зовём спасеньем –

Для кого-то ересь!

Не бывает, не выходит

Без противоречий,

Ищет выход – не находит

Разум человеческий.

Пресветла ты, воля Божья,

Так чего же ради

Нам светлей по бездорожью,

Чем по автостраде?

За окошком ночь и осень,  
Серое на синем...  
Что ж мы шторы не отбросим,  
Что ж замок не снимем?

\*\*\*

Сидели двое за столом, тоской охвачены,  
А на столе – ну просто лом из всякой всячины:  
Горбушка хлеба и флакон «Стандарта Русского»  
Что характерно испокон для круга узкого.

Свела друзей в который раз проблема личная –  
Что там первичное у нас, а что вторичное.  
Никак не вынесут вердикт, ведут дознание –  
Один – «материя» – твердит, другой – «сознание».

И вот один вошел в пике и сыплет фразами  
О дарвинистском тупике и чистом разуме,  
Другой кричит, что в мире сплошь одна материя,  
А чистый разум это ложь и бижутерия!

А первый чокнется вот-вот от напряжения,  
Кричит – «материя лишь плод воображения».  
Второй отвечает – «прости, с тобою, с неучем  
Не то, что диспуты вести, а выпить не о чем!»

И дольше века длился спор в таком вот ракурсе,  
Почти навзрыд, почти в упор, почти без закуси.  
И чтоб достичь таких высот самозабвения  
Кому-то нужно грамм пятьсот, кому-то менее...

Увы, финал предугадать дано заранее:  
Один, познавши благодать, терял сознание,  
Другой, обнявши унитаз, терял материю,  
И всё кончалось каждый раз такой потерей!

А с неба падала заря на Землю тоннами,  
Лучами царственно соря, искрясь фотонами,

И хаотично, наугад, несла материя  
Кому тепло, кому распад ядра дейтерия.

\*\*\*

Люблю я родину свою,  
И движет мной не чувство долга!  
Люблю, и всё! На том стою,  
Хотя присел бы ненадолго.

Люблю, почти как Моисей  
Любил таскать Ковчег Завета,  
Люблю назло планете всей,  
И пусть подавится планета!

Люблю родной аэродром,  
Верховный суд, и даже Кнессет,  
Где разум борется с добром  
И всё никак не перевесит.

Люблю за редкостную смесь  
Средневековья и прогресса,  
За то, как мучаются здесь  
Идеей мирного процесса.

За выбор специй и приправ,  
За экзотические блюда,  
За то, что кто-то, перебрав,  
Не крикнет мне «Вали отсюда!».

Люблю я родину, и всё!  
Люблю безудержно и рьяно.  
Люблю за то, люблю за сё,  
Но большей частью – несмотря на...



# Юлия Драбкина

## Мой личный бог

\*\*\*



тебя распорядок, работа, стремления, дети,  
у тебя биография – нечего ставить на вид.  
У меня – словно черная сотня чудовищных йети  
поселилась в душе, превращая ее в неликвид.

Ты неплохо живешь и доволен судьбою своею,  
ты настолько здоров, что не знаешь дороги к врачу.  
Я себя заразила тобой и все время болею,  
я в хронической стадии, то есть, себя не лечу.

У тебя даже ангел-хранитель холеный и гладкий,  
безмятежно расслабившись, курит кальян в стороне.  
У меня настроения – ноль, и пальто без подкладки,  
и под ним, отморожено, сердце щемит по весне.

Но не видит никто, как поспешно, неловко, нелепо  
в суете не беря ничего из поклажи дневной,  
вот из этого теплого, тихого, светлого склепа,  
оставляя горящим пространство за влажной спиной,

ты сбегаешь ко мне, без остатков надежды и веры,  
в мой затерянный мир непогоды под крышей дождя.  
Так бегут от любви светоносной прекрасной Венеры,  
с наступлением тьмы к Прозерпине в Аид приходя.

\*\*\*

Разомкни недоверчиво веки:  
незнакомые реки текут  
в двадцать первом безвизовом веке.  
Что ты, бестолочь, делаешь тут?  
То ль в потемках взобрался на плаху,

то ли пуля попала в висок –  
в общем, умер, а значит, с размаху  
опрокинься на влажный песок.  
Кто сказал, будто небо в алмазах –  
лишь пустой речевой оборот?  
Видишь – ночь. Из кошачьего глаза  
полумесяца лодка плывет.  
Всё не так, все глупее и проще,  
чем казалось: смешная игра...  
Кто-то там, в тропосфере, полощет  
скоростных облаков глиссера.  
Исчезает страна, как страничка,  
оторвавшись от книги времен,  
будто гаснет последняя спичка.  
Ты нелеп, неуклюж, неумен  
чьим-то щучьим ли, сучьим веленьем...

Но рассвет - как удар бечевой:  
так, проснувшись, поймешь с удивленьем,  
что среда, что замерз, что живой,  
что маршрут, оказалось, неблизкий,  
что душа прохудилась, болит,  
за отсутствием местной прописки  
получив на нежительство вид,  
что, прорвав непролазные сети,  
временное похерив тавро,  
заблудился без карты в столетье,  
как в бермудском московском метро.

\*\*\*

В матово-млечном свете Большого Пса,  
в звуке сверчковых скрипок, совиных арий,  
длинные ноги-улицы разбросав,  
спит коматозный город-гаргантюарий.  
Выйду из дома и побреду к утру,  
к выжженому июлем забору леса,  
там с добротой и жалостью, как сестру,  
спрячет меня сосновых ветвей завеса,  
там от невидных глазу глубоких ран  
лечатся все бродяги, бомжи, подранки,

там по ночам редактор (большой тиран)  
нового светодня выверяет гранки,  
и, отработав смену свою сполна,  
падает спать без спальника и палатки,  
там предрассветно-ветренная волна  
нежно на лбу его расправляет складки,  
там, подгоняем зовом больших дорог,  
легкий, как будто враз потерявший в массе,  
встав из сухой травы, отдохнувший бог  
бодро пойдет попутку ловить на трассе.  
Мне бы за ним, догнать его, но увы,  
только смотрю, недвижимая, чужая:  
к майке его пристал узелок травы,  
всё совершенство мира отображая.  
И ни к чему бежать, остается мне  
эту картину мира поставить в раму.  
Словно пучок травы на его спине  
делает из беды моей мелодраму...  
\*\*\*

Приснилось, что ты не вернулся ко мне,  
пошел покурить и исчез в тишине,  
но призрак в квадрате балкона,  
замешкавшись будто, с тобой не исчез,  
прилег, обретя твою форму и вес;  
и я приняла благосклонно.

Сочувствуя, чем-то стараясь помочь,  
сгустилась сильнее тягучая ночь,  
чтоб я не заметила, кто ты  
и как постепенно, живое губя,  
чумной обездушенный призрак тебя  
во мне заполняет пустоты.

Но хлопнула вдруг незакрытая дверь,  
и страшно: как будто неведомый зверь,  
там кто-то маячит в проеме.  
Моя под тобою немеет рука,  
и хлопьями падает снег с потолка  
в за ночь отмороженном доме.

Глаза приоткрою, проснувшись на треть -  
я все поняла и хочу посмотреть,  
как дикая снежная стая  
сожмет нас в своем ледящем кольце.  
И снег на твоём заостренном лице  
лежит аккуратно, не тая.

\*\*\*

Перелетом успешно поправ  
неизменный закон бытия,  
по которому время съедает любое пространство,  
задыхаясь от запаха трав,  
это будто бы я и не я  
прохожу по бесславным местам своего хулиганства.

Сладкий воздух вдыхаю взаимы,  
задавая (себе на беду)  
те пустые вопросы, которым не будет ответа.  
Знают всё, оттого и немые,  
только лебеди в тихом пруду.  
Расскажите, откуда вы, лебеди, знаете это?

У моста раздает по ветле  
проходящим хмельной старичок.  
Словно ставшая праведной жертвой чьего-то коварства,  
примостившись на теплой земле,  
прижимая щекой кулачок,  
моя родина спит под амбарным замком государства.

Но сниму на мгновенье затвор  
с навсегда не оставленных мест -  
из-под крыши испуганный голубь вспорхнет  
шестикрылом.  
Мои исхоженный маленький двор,  
мой парадный хрущевский подъезд...  
И по-взрослому я неуклюже качусь по перилам.

\*\*\*

А пятничный полдень привычно берет рубежи,  
сгребая по ходу спешащих в большие ладони,



и кажется, будто телегу с названием жизнь  
везут, закусив удила, мохноногие пони;  
торчит из воды Посейдон, на крючок наживив  
кофейню у моря, приезжий паркуется робкий,  
и кажется, хмурит задумчивый лоб Тель-Авив,  
порывистым ветром сдувая дорожные пробки;

зима, притворясь ноябрём, заунывно-строга,  
дождем и грозой заряжает свои многостволки,  
и кажется, будто у моря сошлись берега  
и падает – вдребезги – небо, сверкают осколки.

А мне хорошо: потерявшись в потоке большом,  
ступаю по стеклам и так ощущаю – живая,  
и каждый нечаянный встречный идет нагишом,  
прозрачным листком болевые места прикрывая...  
\*\*\*

Задремало земли полушарие,  
в карауле - одни фонари.  
Открывай же глаза свои карие,  
посмотри на меня, посмотри  
сквозь тончайшую ткань электричества,  
сквозь душевный удушливый мрак.  
Ах, агония, ваше величество,  
ну нельзя же безжалостно так...  
Словно точечной сваркою спарены –  
на двоих даже нервный озноб,  
мелкокрапчатой сеткой испарины  
покрывает горячечный лоб,  
под которым увязло в извилинах  
и теперь недоступно уму  
сочетание слов обессиленных,  
не пригодных уже ни к чему.  
Молча падаешь в истину топкую  
без привычных тяжелых вериг,  
и невидимой легкою штопкою  
стянет старые раны на миг.  
Только вырвется крик одичалости,  
все сомнения разом губя,

словно призрак врожденной усталости  
первый раз позабыл про тебя.

\*\*\*

Петропавловский шпиль поутру проколол небосклон,  
белолицые строгие сфинксы - как в сговоре сестры,  
на бродячих туристов глядят с триумфальных колонн,  
не стесняясь ничуть, гологрудые девушки-ростры.

Грибоедов канал наблюдают крылатые львы,  
старомодно бегут по железной дороге трамвай.  
Наплутавшись во всех рукавах многорукой Невы,  
настоящее время неспешно в века уплывает.

Только где те века... Потому и не быть рубежу -  
никогда не подточит вода этот камень живучий.  
Подпусти меня, город, давай над тобой поддержку  
навесное отекшее небо за краешек тучи.

Но нельзя притяжением земли насовсем пренебречь –  
это риск, и обманывать физику станет не всякий.  
Только с той неземной высоты, где рождается речь,  
можно слышать, о чем горделиво молчит Исаакий,

и смотреть, не ослепнув, на солнце в его вышине.  
Не иначе как здесь побывала рука Демиурга...  
И кружит над Сенатской спокойная тень Фальконе,  
охраняя земное величие Санкт-Петербурга.

\*\*\*

Мой личный бог не носит пиджаков,  
ни галстуков, ни запонок франтовых,  
он очень юн, беспечен и рисков,  
«гроза морей» для местных участковых.  
Бездельник, самоучка-лицедей,  
имущества - лишь старая рубаха  
да пара поднебесных лошадей.  
Но черт возьми, как он играет Баха!..

Храни меня, мой странный талисман,  
мальчишка, распоясанный шпанёнок,

пусть будет сладким праздничный обман,  
как память о приснившемся - спросонок.  
Выбрасывай с небесной высоты  
к моей душе веревочные сходни,  
гостей сегодня будет - только ты,  
и музыка, и фокус новогодний.

Играй же! Пасадобль или фокстрот,  
неважно, лишь бы что-нибудь звучало,  
по мне, любая музыка сойдет,  
чтоб только жизнь - с мажорного начала.  
И, камертон настроив по судьбе,  
без спичек запалив на кухне свечи,  
мой личный бог играет на трубе,  
архангелом прикинувшись на вечер.  
\*\*\*

Уходя уходи, все свое забирая с собой,  
отложи ненадолго дурацкую маску героя:  
иногда чтобы выиграть последний решающий бой,  
лучше просто исчезнуть, совсем отказавшись от боя.

Где трагедия, где буффонада, а где водевиль,  
не понять в переменчивом ритме дрожащего пульса;  
от любви до любви бездорожье на тысячи миль –  
из ушедших по этой тропе ни один не вернулся.

По расхлябистой почве в безлюдье уводят следы,  
в те края, над которыми нет человеческой власти;  
в этом мире, большом и несказочном, столько беды,  
что ее никакое количество счастья не застит.

Колокольчик звенит – угасающий звук бытия,  
справедливости нет и не будет в его теореме;  
это где-то вдали исчезает карета моя,  
запряженная тройкой: судьба, одиночество, время.



# Анатолий Добрович

## Голос и хор

### Стихи

#### ОТКРОВЕНИЕ

*... И звезда с звездой говорит.*

М.Ю. Л.



олно разглагольствовать впустую  
о «существовании» всего.

Вещь не существует – веществует.

Существует – только Существо.

Ни планета, ни звезда, ни вакуум,

ни поля энергий мировых

не способны обратиться знаком

без меня, означившего их.

Глянь-ка: вирус, хромосомный локус

вещество умеют обращать

в некий знак на входе... Вот он, Логос!

На живом – творения печать.

Не заквасить жизнь из неживого.

Лишь в уме поэта (иногда)

в духе откровений богослова

со звездой говорит звезда.

2003

#### ГАЛИЛЕЙСКИЙ ТРИПТИХ

##### Оттенки

То правой возьмем просёлком, то левее

по оливковой и жёлтой Галилее.

В общий вид, как в омут, канув, не растайте,

тени стаи пеликанов на асфальте.

Целься, память, поработай, оттени нам  
эту зелень – терракотой, синь – кармином.

Не давай ветрам подувшим скинуть в море  
тени облачных подушек на Хермоне.

Чтобы в пробах описанья оставался  
звук побочного касанья, ассонанса.

### **Становище**

*О поле, поле, кто тебя*  
утыкал журавлями – в гаме  
без умолку? Они, трубя,  
над галилейскими буграми  
парят. И тонкими ногами,  
свисая, падают сюда,  
где пожня, почва и вода.

Гляди: чащобой шей торча,  
стоит на плоскости в пространстве  
курлычущая саранча  
евреев, изгнанных испанцем,  
а то – сгружаемых у станций...  
Да нет, мелькнуло сгоряча.

Их не согнали, а несёт.  
Но трудно быть в своем рассудке,  
одолевая восемьсот  
небесных миль – всего за сутки.  
И гвалт без продыху – не шутки.  
И страх проспать сигнал на взлёт.

Компостером всесильный Бог  
у них в мозгу пробил созвездья,  
чтоб с незапамятных эпох  
на Юг ночами рваться вместе.  
Потом на Север: яйцеклад  
неюжных требует прохлад.

Они летят, как род листвы  
на черенках, над вольным лугом,  
А в профиль – окрыленным луком:  
концами вниз, без тетивы.  
Без тетивы, но слышен гул  
энергетического троса  
от сжатых ног до пики носа.  
И он же – крылья изогнул.

Следи с ладонью козырьком,  
прищелкивая языком,  
за граем в солнечном сиянье,  
за шевеленьем на поляне,  
где приземляются земляне,  
которым шар земной знаком.

### **Храм**

Над Кинеретом храм протирает глаза.  
Отряхнулись деревья.  
Предлагает волна заменить словеса  
на безмолвье даренья.

Над Кинеретом гуси, как буквы, скользят:  
каллиграфии внятность.  
Но стирает туман, как столетья назад,  
мимолетную надпись.  
2005

### **КАНЦОНА**

Меня влечет канцона.  
В России не слышали  
ее напевно-жалостного звона.  
Уже ее зачин – как жест невинный:  
оправить стрижку, платье –  
у женщины, поймавшей взгляд мужчины  
(а в нем невоплощенное объятье)  
с балкона, из машины.  
Ни перед кем покрасоваться статью.

Позволить сердцу сжатье  
в неодолимом поле  
всемирного любовного закона.  
А ведь сонет, застегнутый мундиром,  
со штатностью мерцаний  
всех пуговиц надраенных, с ранжиром  
посылов, утверждений, отрицаний –  
воспринят русским миром:  
в нем чудится ампир дворцовых зданий  
и волны придыханий  
при выезде кортежа  
любезнейшей владительницы трона.  
Канцона милая, изыски южной школы!  
Ты вся – рисунок танца.  
А я сбиваюсь и топчу подола –  
чего другого ждать от чужестранца?  
Я отпрыск невеселый  
далекого промерзшего пространства,  
и не могу расстаться  
с самим собой, постылым,  
на пляж слепящий выйдя из загона.  
Стучали кастаньеты и стаканы,  
дожди кропили кровлю.  
Соборы, променады, истуканы –  
всё отдаёт мне подлостью и кровью.  
А я хочу с любовью  
вслед за тоскою по холмам Тосканы  
передавать стихами  
сияние Сиены,  
ее узор на фоне небосклона.  
Что ж, муза, ты ко мне неблагосклонна?  
2009

### **МУЗЫКАНТ**

*Гавриелю Липкинду*

Полое чудо с названием «чело».  
Голос, рычанье и звонкий удар.  
Звук, воплотивший изящество тела.  
Тембр, отразивший вишневый загар.

Взлет школяра оплатило семейство.  
Члены жюри продвигают своих.  
«Ты виртуоз, ты маэстро, старик.  
Не огорчайся. Четвертое место».

Где мое место? Мыслитель бы встал  
где-нибудь там, под небесным престолом,  
и про себя партитуру читал,  
молча внимая оркестрам Христовым.

Я не мудрец, я на чело игрец.  
С этой машиной не сунешься в пустынь.  
Сила искусства видна лишь в искусстве.  
Либо пробьешься – либо конец.

Камень прогретый. Готика дуг.  
Шпили, кресты над сюитами Баха.  
В виолончель схоронившийся дух  
ждет от судьбы дирижерского взмаха.  
2007

### **ПЛАЧ ПО ЭЙФЕЛЮ**

Ударил в землю Пифагор.  
Из лунки выползло растение:  
руда, пройдя сквозь мыслегорн,  
дала узорное сплетенье.

Дугою выгнулся Платон,  
расставил ноги Аристотель.  
Себя извел на сотни сотен  
стальных хрящей Исаак Ньютон.

Там, где из дуг сложился пик,  
Христос возвел к Отцу ладони:  
не разведи, как в Вавилоне!  
Един порыв, один язык.

Еще ни слуха о TV.  
Побочны мысли об антенне.



Все храмы в мире – на крови,  
а этот – формул освященье.

Но для того и должен пасть  
цивилизационный символ,  
чтоб внятен стал иной посыл вам:  
не разум царствует, а власть.

Железо плавят на клинки.  
Аллах превыше уравнений.  
Угрозу выпустить кишки  
усвоит всякий – неуч, гений.

Грядет всесветный передел.  
Трещит миров перегородка.  
Пора мыслителю, Роден,  
убрать кулак от подбородка.

Проигрывает тот, кто сдрейфил.  
Стечет сосульками металл.  
Прощай, феноменальный Эйфель.  
Ты все отлично рассчитал.  
2005

## ГАЛИЛЕЙСКИЙ ТРИПТИХ-2

### Пейзаж

Фолиантные развороты земли.  
Параллели высаженных рядов.  
Белым и сиреневым процвели  
иероглифы молодых садов.  
Голубого неба густая пыль.  
Зелень губчата, и на ней мазки:  
фиолетово-желтые островки.  
Подтекающая акварель – Галиль.  
Упирается озеро в берега,  
напрягая мускулы водных масс.  
Свет из тучи, как циркуль: одна нога –

за горой, другая – целится в нас.  
Прибери меня, Боже ты мой, пока  
откликаюсь еще, и в луче весны  
кипарисы строятся, как войска,  
на размытом фоне почти черны.  
Как строка: перевод с Твоего языка.

### **Чаша**

*Я лишился и чаши на пире отцов...*

О. Мандельштам

Полно, Осип Эмильич, хотите, свезу в Галилею,  
предпочтительно в марте, когда розовеет миндаль.  
Вдоль дорог эвкалипты кипят, образуя аллею,  
и белеет Хермон, сохранив на вершине февраль.  
Иордан и притоки – источники водного шума.  
А под пологом ветхим, откуда равнина видна,  
патриарх Авраам и потомок его Еошуа  
продолжают беседу за чашей густого вина.  
Под иудиным деревом ярким, в селении мирном,  
им Пречистая Дева готовит лепешки и мёд.  
Вот она обернулась: из дома окликнули –  
«Мирьям!».  
Вот она улыбнулась, и полдник двоим подаёт.  
Завитком возвращается время, пылью осыпается  
возраст.  
Разноречий домашних никто не выносит на суд.  
И великое племя людей на глазах обретает прообраз.  
Да и чаша на месте: обмоют, нальют, поднесут.

### **Аист**

*Алексею Зубову*

Как это славно – сочинять по-русски  
над стыком двух семитских языков  
и где-нибудь на галилейском спуске  
вникать в этюд, где звон и снежный Псков.  
Я по жнивью бреду, как белый аист,  
не ведая, что пересёк между.  
И только от тебя освобождаюсь,  
я, родина, тебе принадлежу.  
2005-2008

## ПРАЖСКИЙ НАБРОСОК

*Б. Орлову*

Мне снова захотелось в Прагу,  
где человек в кафе читает книгу,  
а за стеклом – всё в башенках да шпилях,  
и ветки кружевом текут в автомобилях.  
По улице безлюдной, где капелла,  
навстречу – некто,  
с крупным далматинцем,  
и на минуту всё во мне запело,  
как будто я в обоих воплотился.  
Наверно, всюду славно в роли гостя.  
Но мне милы славяне без монгольства,  
слова, чей смысл  
переведёшь, подумав,  
и чешская фонетика с поддувом.  
Мне снова захотелось в Прагу,  
где тихий викинг на концерте Брамса  
украдкой гладит по руке подругу,  
а час назад  
на льду за шайбу дрался.  
Мне снова захотелось в Прагу,  
где человек в метро читает книгу,  
а выйдет – и ему, как конь из стойла,  
подставит щёку  
стена костёла.  
А на холме – такое братство зданий,  
глядящих в небеса без постной мины,  
что хочется молиться вместе с ними,  
отбросив разницу  
исповеданий.  
Флотилиями – лебеди на речке.  
Мне к этой Праге, изразцовой печке,  
прохладной летом, а зимой горячей,  
прижаться б навсегда. Люблю барокко  
в ущельях готики. И пряный сыр в придачу.  
А на углу Парижской и Широкой  
мне кажется, что я сейчас заплачу.

2001

## ОСТРОВА

Да, Мандельштам и Пастернак –  
русскоязычные поэты.  
У них нерусские приметы,  
на них избыточности знак.  
«Душа сыра, гортань суха».  
«И вечер вырвешь только с мясом»...  
Нервозность, взнузданность стиха,  
влечение к фокусам, прикрасам.  
Вот Бродский. Ум, холодный пыл.  
Ротонды в зарослях цинизма.  
О нем сказать бы «начудил»,  
но такова его харизма.  
Поэтам русским испокон  
присущи такт и чувство меры:  
нельзя свистеть среди икон.  
ценней приметы, чем химеры.  
Поскольку движитель – не в них,  
держаться чинно – дело чести.  
Основа лирики – дневник,  
в нем соглядатай неуместен.  
А здесь – колючая трава,  
зато моря вздымают массы.  
– Летите к нам, на острова,  
Борисы, Осипы, Олжасы!  
2010

## СНЕГ

*Ал. Вернику*

В городе Львове любили тебя, и стихи –  
русские (надо же!) – переводили на мову.  
Снежные шапки вскружили городу Львову  
голову. Влажно-студёные эти верхи  
благоприятствуют хмелю, горячему слову.  
Снег на двускатные крыши, на купол и шпиль  
непобедимые сбрасывает десанты,  
лепит из веток набухшие белые панты,  
тону бесед сообщает раздумчивый стиль.  
Голод пустот утоляется снегом, стихом

(та же материя), пылом влеченья, гульбою.  
Если пустыня сыта лишь самою собою,  
нет перевода, стихи усыхают, ни в ком  
нет отголоска. Но сутки-другие в году  
так одиноко, товарищ, и так хорошо нам  
в Ерушалаиме, снегом припорошённом! –  
Будто амнистию провозглашают в аду.  
2001

\*\*\*

Былое чувство улья.  
Сухой листвы дыханье.  
Москва моя, Москвуля  
мелькает на экране.  
Еще не всё успели  
заставить новоделом. –  
Еще трамваев трели  
с доски крошатся мелом.  
Еще мне запах дорог  
реки, цветущей липы,  
пылающих конфорок,  
асфальта и олифы.  
И снег, прибитый солью,  
и ранние фиалки,  
и бравый дьякон Коля,  
сосед по коммуналке.  
И в белой шубе выдох,  
и плещущие флаги,  
и на платформах мытых  
волна воздушной тяги.  
И древние палаты  
в наличниках добротных,  
и Шумана раскаты  
в консерваторских окнах.  
И перемена ветра,  
взвивающего вымпел,  
при виде человека,  
с которым сядем, выпьем.  
Всё трелью балалаечной  
с Даниловского рынка:

«Подколокольный», «Балчуг»,  
«Подсосенский», «Стромынка»...

Осмысленная юность  
в безмолвье стала падать.  
И жизнь так просто сдунуть,  
а не изымешь память.  
2010

### **МОЛЛЮСК**

Затерянный среди миллиардов тварей,  
по прихоти природы, я моллюск.  
Размычка, смычка – весь инструментарий.  
Двустворчат Бог, которому молось.  
Мне ведомы и мука, и нирвана.  
Я чувствую сквозь холод и тепло  
состав молекулярный океана  
в местах, куда по дну приволокло.  
Но вот приходит миг бесповоротный:  
закрался в келью твердую мою  
постылый привкус – серный и азотный.  
Нет, не снаружи. Это я гнию.  
И ради перламутровой изнанки  
какое-то чужое существо  
возьмет с песка – нет, не мои останки,  
лишь створку от жилища моего.  
2005

\*\*\*

Друзья, не лезьте вон из кожи.  
Я не любитель этих блюд.  
О родине – кто сам ничтожен.  
О нации – поскольку бьют.  
Не существует разных неб.  
Преодолимо расстояние.  
По мне, норвежец тот же негр.  
А Иордан впадает в Днепр.  
А тундра – побратим саванне.

Когда до Крыма два часа,  
до Рима – пять, до Лимы – сутки,

все часовые пояса –  
полоски мелом на рисунке.  
Достань платок и мел сотри.  
Различия – у нас внутри.

Как торт, не режется Земля.  
Тут всё – делянки и лужайки,  
амбары, кухни, флигеля  
в поместье у одной хозяйки.  
Но каждый род боится порч,  
к добытой нише приспособясь,  
и подает свою особость  
как разделенность вод и почв.

Меня всегда влекло к своим:  
чернявым и светловолосым.  
Тот кришнаит, тот караим.  
Тот пахнет рыбой, тот покосом.  
Тот чернокож, тот узкоглаз.  
Лишь страхом держатся границы.  
Хочу, прощаясь, поклониться  
за все, что спланивало нас.  
2007

## ГОЛОС И ХОР

Голос певческий парит  
в небе вертолетом.  
Хора, хора просит винт  
каждый оборотом.

Будто, схватывая звук  
роторного соло,  
запоют река и луг,  
сопка и поселок.

Жаром полдня в куполах,  
в радость или в горечь,  
пышет хор в «Колоколах»,  
обжигает голос.  
Будто, схватывая текст

в облаках мелодий,  
оживают души всех  
памятных в народе.

И прошедшие века  
раскрывают втайне  
бесконечные меха  
в певческом дыханье.

Пел и я с далеких пор  
по призванью свыше.  
Жизнь уходит, где ты, хор.  
Я тебя не слышу.

2006

\*\*\*

*И какие поступки  
Совершит он тогда!*

Б.П.

Закончится обмен веществ,  
а с ним – смиренность и мятежность.  
Одна возможность не исчезнуть –  
жизнь, перемолотая в текст.

Кто в тяжбе с вечностью истец, –  
выигрывает полмгновенья,  
лишь проговаривая текст  
молитвы и стихотворенья.

Пусть мучит страх и зависть ест.  
Смени страну, ходи над бездной.  
Должна быть пряной, а не пресной  
жизнь, перемолотая в текст.

Иначе не проходишь тест,  
не утверждается, блистая,  
твоя никчемная, пустая  
жизнь, перемолотая в текст

2007





# Григорий Рыскин

## Птицы и бабочка

### Повесть

*УЖАСЫ УСТРЕМИЛИСЬ НА МЕНЯ,  
КАК ВЕТЕР. РАЗВЕЯЛОСЬ ВЕЛИЧИЕ МОЕ,  
И СЧАСТЬЕ УНЕСЛОСЬ, КАК ОБЛАКО.  
И НЫНЕ ИЗЛИВАЕТСЯ ДУША МОЯ ВО МНЕ:  
ДНИ СКОРБИ ОБЪЯЛИ МЕНЯ.*

КНИГА ИОВА



Белая чайка что-то ворожит в приоткрытое окно. Как будто старая калитка визжит на ржавых петлях. А сизая уговаривает белую:

– Тише ты... Тише ты... Тише ты...

А белая пластается по стеклу, шурша опереньем, просунув голову в узкую щель, вращая бессмысленной желтой бусиной, пробитой

чернотой зрачка.

– Дурная примета, – говорит жена.

– Очень дурная.

– Скажи три раза, как я учила тебя...

– Позабыл.

– Куда ночь – туда и сон... три раза.

– Но это не сон.

– Все равно скажи.

– Вечно ты со своими приметами.

– Ро-о-о-т закрой... Накаркаешь...

\*\*\*

Джон Хасей шел по длинному коридору вдоль cubicles, боксов, где его терпеливо дожидались пациенты... Он принял эту большую практику от отца, Джона Хасея Старшего. Шуршащий звук летел вслед за ним. Как будто

Ангел Смерти задевал своими крылами за подвесной потолок и докторские дипломы. Док передвигался по клетчатому линолеуму, как белый ферзь по шахматной доске.

Не придавая значения моим страданиям, просто обменяя свой хомут.

Для него мочеполовая система привычна, как собственная квартира. Вот шагает по длинному коридору уретры... Красивый, сизогривый, задумчивый проходит, посвистывая, полумраком мочевого пузыря... появляется вдруг в ярко освещенном кубе, увешанном цветной урологической графикой. Где мечется лысый, с крысиным профилем, смертельно перепуганный...

Я.

Джон Хасей... тихонравный воркоголик... то есть наркоман труда. Оставленный наедине с цветными диаграммами, я размышляю... Какой plumber<sup>1</sup> свинтил сей трубопровод? Неужто все происходит в этих пределах? Ромео и Джульетта? Дон Жуан и Донна Анна? Вот лорд Байрон, застигнутый супругом, шкандыбаёт к распахнутому окну и бросается вниз головой в венецианский канал.

Уролог, думая о своем, шел натопанной тропой от одного кубика к другому, где томились нефриты, простатиты, рачки... Возможно, он не приписывал своей работе особого значения... Наверняка, ему остозвездили анализы мочи, выщипывание простат через тряпичные старческие отростки, массаж железы указательным пальцем в резиновой перчатке.

Один американец

Засунул в жопу палец...

Эту дурацкую песнь я пел в детстве в эвакуации, на Урале, когда мы, голодные пацаны, выбегали в восторге навстречу американскому студебеккеру...

Это о докторе Хасее пел я... Кто бы мог подумать. А ведь он Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона...

Как прекрасно лицо справедливости и умеренности – прекрасней вечерней и утренней звезды<sup>2</sup>.

\*\*\*

НЕПРОСТ док Хасей... Ой, непрост... Засадит в кубик кубический... подставит картины для размышления. И не какой-то там кич. А великолепные репродукции с подсветкой.

Там у него в углу висит «INFERNO MUSICALE» Босха... Жалейка из воспаленного мочевого пузыря... На плоской шляпе... из-под которой выглядывает бледное лицо человека-дерева... простаты нет. Она отсечена вместе с нижней частью туловища... В полый верхней половине – пир. За красным столом, при свете фонаря... баба цедит вино из бочки в кувшин. Другая, с красной рожей, вот-вот вывалится из дупла. Сизый толстяк без штанов поднимается в половинку человека по стремянке. Вслед за ним – гибрид птицы с мотыльком...

А что если это – метафора американского здравоохранения. Вон они прогуливаются по полям шляпы... Человеко-птица и полненькая нерс<sup>3</sup>, в белом... Ведут за руки голых людишек. Разорили, раздели, ограбили дочиста биллами<sup>4</sup> за операции, процедуры, медикаменты. Разобрали на части, распилили, расклевали... Врачи и фармацевты... снуют и пируют. Вот он, хирургический скальпель, торчит из разрезанного вдоль уха. А голые человечки уползают и прячутся.

\*\*\*

...Ждешь-пождешь... Глаза в потолок взденешь... Чего только не передумаешь... Вздремнешь... Чего только не перевидишь... Джон Хасей в красном комбинезоне, в клеенчатой шляпе, на палубе рыболовецкого сейнера... Весь увешанный крабами, омарами, раками... Хохоча отцепляет от себя гадов... Складывает в корзину... Веселый красавец-краболов... This is a big catch<sup>5</sup>.

– Зайдите в офис, – просыпаюсь и вздрагиваю... Загорелый, белозубый, уверенный... приглашение на казнь... На фотографиях лохматенькие дети... Вот он на фоне Килиманджаро с женой (кавергерл)<sup>6</sup>. Сафари в Австралии и Кении... Серфинг на Гавайях... Он-то будет жить вечно.

Его письменный стол – ампир. На столе почему-то ивовая корзина... Сейчас зачитает смертный приговор... На

шею обрушится треугольный топор... окровавленная голова скатится в плетушку.

Рак – гильотина. Рак – веревка. Рак – скандал.

\*\*\*

Рак – с грифом совершенно секретно.

Время и пространство больны. Состав частей разрушится земных... Когда на склоне лет угаснет жизнь моя... Полевые пути меж колосьев и трав...

– Направление на радиацию... подождите в лобби...

А медсестра-пуэрториканка в окошке, закинув голову, показывая безупречные зубы, хохочет, как на рекламе дантиста. Как будто тут не раковый корпус, а бродвейский мюзикл «Вестсайдская история» с Ритой Морено...

...И припомнились два русских лесника... Как они роготали, пожирая из кастрюли заливных цыплят... в палате районной больницы... куда загредел с юношеской гипертонией... сорок лет назад... Нажравшись, лесники стали щекотать друг друга, хохоча как гиены... А на соседней койке умирал от рака бухгалтер потапов...

– У вас рыла подушкой, а я загибаюсь, – шептал сквозь слезы...

– Тебе обидно, Гена, – икнул лесник, – а мы не заплачем...

А когда ночью две нянечки выносили мертвого Потапова, одна сказала:

– Тяжелый, паралик тебя расшиби...

\*\*\*

Лежит в промежности этакая ядовитая запятая... Зародыш-Гитлер... Обдумывает план Барбаросса... Вторжение в мой костный мозг, в мой bladder<sup>7</sup>, в мою почку...

И мать всплывает, как большая рыба, по ту сторону оконного стекла и прижимается мокрым лицом к моему лицу:

– Не умирай, сыночек мой дорогой... мы живем в мире горнем, куда память о нас живет в мире дольнем.

...ЖИВЕТ себе человек... Вдруг это пятнышко на каштане простаты... Этаким пустячок... И никаких симптомов... Не было печали... На самом- то деле в генах

наших записана та печаль...

А между тем, тумор растет, уходит в глубину, давит на уретру, угрожает лимфатическим узлам, целит в спинной мозг... Метастаза, метаста-з-з-з-а... порвалась дней связующая нить....

\*\*\*

Когда человеку объявляют смертный приговор, его подхватывает поток сознания... Он ходил по длинному коридору своей квартиры, взад-вперед. так что вскоре по ковровой дорожке была протоптана тропинка...

Он ходил и вспоминал счастливые мгновения своей жизни... Их было совсем немного... первый пойманный на крючок окушок... Как он бился и трепетал в ладони... под майским дождем...

Два обсыпных куста лесной малины за Оптиным монастырем...

Золотая медаль, с которой его как еврея ни в один престижный вуз не взяли.

С такой жизнью и расставаться легко. Вот всадил бы кто-нибудь пулю в мозг... только без конвульсий и завываний...

Он перебирал счастливые мгновения, как монах перебирает четки, и горько скорбел душой...

На обочине заросшего блиндажа два куста, сплошь в спелой крупной малине... И пока он собирал ягоды в полуведерный чайник, Бог говорил с ним из неопалимой купины. И принес, счастливый... И отчим, прянув от верстака, насыпал малину в ладонь, изрезанную дратвой, и ел, и не мог оторваться...

...Большая снежинка белого хлеба на затоптанном полу промерзшего автобуса, поставленного на платформу поезда, по дороге в Сибирь, в эвакуацию... Вот он, четырехлетний, соскакивает с колен матери и, ухватив хлебную снежинку обмороженными пальцами, сует в голодный рот...

...И эта чудовищная первая любовь... Когда полá его суконного пальто поднималась, как разводной мост, при одном прикосновении к Ней...

О, как они терзали друг друга... И Она ломала ему

пальцы... Не смей...

А утром приходила на иняз с опухшими от зверских поцелуев губами... Сколько молодой радости они украли тогда друг у друга... так и расстались девственниками...

Где вы, прежние томленья,

Робость юного осла<sup>8</sup>...

И ослицы...

\*\*\*

– Да что за глупости, – сказал я себе, – чего я тоскую, чего боюсь?

– Меня, – неслышно ответил голос Смерти, – Я тут<sup>9</sup>.

Жена, ни о чем не подозревая, болтает в соседней комнате по телефону. И вдруг в ее болтовне... как лыко в строку...

– Всему приходит конец...

Зачем я жил... зачем умираю? Смерть... смерть... как топором по плахе... И отлетела голова, и Черный Ангел откатывает ее осторожно, чтоб чувяков не замарать.

– Как ты похудел, – всплывает жена, криво, по-акульи ухмыляясь, – морда какая-то жалкая стала.

Она ничего не знает и никогда не узнает... покуда жив...

Жена, только услышав это слово, стучит костяшками по дереву:

– Типун тебе на язык...

РАК... и тотчас меняется манера разговора. Собеседник становится уклончивым, боязливым, глаза стекленеют. Обнаружение раковой опухоли связано с чувством стыда.

...Птичечеловек в красном, в монашеском клобуке, поджаривает на сковородке разрубленного пополам младенца... рядом два больших птичьих яйца... Не дай мне Бог сойти с ума... Я, кажется, схожу с ума вместе с Иеронимом Босхом... eccentric painter ... the subject of sin and its punishment<sup>10</sup>... темными закоулками большого воображения... В моей промежности адское жжение...

– Ты лука не купил? – укоряет жена, – десять дней прошу его купить лука... я не могу бульон варить без лука... я бы сама пошла за луком...

...Но если твоя семейная жизнь – непрерывный скандал... до этого была просто грызня, теперь же, когда перестала быть сексуальным объектом... Ну для чего, спрашивается, нужна мне эта злая старуха с обвислой, как у игуаны, шеей... только доброта, уступчивость, сострадание могли бы быть оправданием ее существования... Любовь к общим детям и внукам... религиозное ощущение долга...

Но ничего такого не было между нами... Мы являли собой нарушение порядка в мироздании. Графическим изображением нашего брака была больная клетка, где уже не происходят нормальные процессы обмена, роста, размножения... Метастаза...

– Его ничего не волнует...

– Ничего...

– Ты не понимаешь, как это страшно...

– Страшно, – говорю...

Где ты, кроткая, нужная моей душе... смиренномудрая...

\*\*\*

Я женился на ней не подумав. Но ведь даже с Эйнштейном такое стряслось. С Генрихом Гейне, например. Особенно часто это случается в эмиграции, когда друг к другу прибывает обломки кораблекрушений.

– Садись, – сказала жена.

– Куда садись?

– Садист, – вскричала жена.

– Почему садист?

– А потому...

Ее обделенный мозг должен как-то заявить о себе. Женщина – это человек, которого трахают. Но когда она перестает быть сексуальным объектом? EWIGWEIBLICHE<sup>11</sup> покинуло этот костяк с прищемленным черепом...

– Ты хотя бы на кухне со мной посидел... Живешь сам по себе...

– Ну давай вместе послушаем русское радио...

– И ваш любимый зверек уже не будет столь любимым членом семьи,

– вещает марципановым голосом Майя прицкер...

– О чем это она? – спрашиваю.

- О кусачей собаке...
- А я думал о фуе...
- Если ты такой нервный, спрячь свои нервы в карман...
- Я вообще хочу покончить с собой.
- Нельзя самоубийством ни в коем случае заниматься.
- Я смерть зову, глядеть не в силах боле,  
Как гибнет в нищете достойный муж.
- Ох, какой ужас...
- А негодяй живет в красе и холе,  
Как топчется доверье чистых душ<sup>12</sup>...
- Ох, какой ужас...

...После меня она сожжет все, до последнего носка. Она велит отправить труп из морга в крематорий. Она не явится за урной, и некому будет развеять по ветру пепел. Она патологически брезглива... Она считает рак такой же заразной болезнью, как тиф, проказа, спид... Когда почую конец, отправлюсь на Аляску, приму восемь таблеток снотворного, забьюсь в укромный уголок. Через пять тысяч лет ученые обнаружат во льдах мой хорошо сохранившийся труп и поместят в музей.

Она запрещает мне даже произносить это слово – РАК...

- Типун тебе на язык.
- Она никогда не переступит порог ракового больного...
- Б-р-р-р... я брезгую. Не смей вытирать ветровое стекло чужой салфеткой.
- Почему?
- Она может оказаться от ракового больного.
- Рак заразный, что ли?
- Безусловно...
- Вот... дура-то...
- Сам дурак...

...И все отступают от тебя... И вот ты один из тех трупов на картине Мунка<sup>13</sup>, с пустыми глазницами... И к тебе уже не приходят друзья... Каждый умирает в одиночку... И жена перебирается в другую кровать, и заводит отдельную



посуду... И намекает – неплохо бы написать завещание...

– Я с тарелки ракового больного есть не стану... И полотенчиком

после него утираться не стану... И куртку от него ни за что не надену...

Сдам в Армию Спасения... Б-р-р-р...

– А если я? Если со мной?

– Типун тебе на язык.

\*\*\*

Нет, не случайно Франциск Ассизский говорил свои проповеди птицам... птица живет, касаясь миров иных... Ее ведет инстинкт. Но как инстинкт становится географией перелетов?

природа, мир, тайник вселенной<sup>14</sup>...

– Р-о-о-о-т, р-о-о-о-т закрой, – говорит жена... – Накаркаешь...

Белая чайка по оконному стеклу... Белая, как доктор Хасей...

...Но та птица, сорок лет назад, влетела безмолвно... И не белая она была, а грифельная...

Стояла июньская питерская ночь...Прозрачный сумрак, блеск безлунный<sup>15</sup>.

В такие ночи я не мог уснуть. В открытое настезь окно была видна хрущевка из серых блоков. Но в ту ночь она была для меня – хрустальный дворец: мы только что въехали в ОТДЕЛЬНУЮ из коммуналки.

И вдруг бесшумно влетела Она... И уселась на книжном шкафу... Безмолвная, грифельно-черная BIRD<sup>16</sup>. Рядом посапывала красивая молодая женщина – моя первая жена. На балконе, в детской коляске, спал наш сын... Как жемчужина в ракушке...

А между тем, спавшая рядом со мной холодная нордическая блондинка уже любила другого... христоподобного... белозубого... с грифельной бородой... И влетевшая к нам черная птица была вестницей большой беды...

Если жизнь – только естественный отбор, то почему?.. Все, казалось, было по-прежнему. Но мать моего сына уже любила другого. И почему этот Черный Ангел

влетел именно в наше окно... Ведь в ту белую петербургскую ночь было немало распахнутых настужь окон...

\*\*\*

Когда тебе поставлен этот диагноз, обнаруживаешь: само пространство и время – раковые пациенты.

Рак – это когда хаос убивает порядок, когда размытое, текучее, слякотное устремляется на четкое, корпускулярное, кристаллическое.

– Болезнь – ночная сторона жизни, – говорит серебряногровая, с сизыми мешками под глазами, но все еще красивая Сюзан Зонтаг<sup>17</sup>, – двойное гражданство в царстве процветающих и царстве больных. Рано или поздно каждый из нас будет удостоен этой участи.

Нередко недуг укрепляет волю. Умиравшая от рака Зонтаг написала лучшую свою книгу «Illnes as metaphor»<sup>18</sup>. И вот я продлеваю череду ее метафор.

...КАНЦЕР напоминает обочину российских дорог, когда мощеная часть размывается слякотью. противостояние дороги и бездорожья, трезвости и алкоголизма, дисциплины и разгильдяйства.

...Очереди... Коммуналка... В одной комнате с матерью... Девушку приведешь... Мать на коврик в коридоре... Угрызения совести.

За коммунальной стеной

Содом седьмую ночь подряд, Вокруг кикиморы пасутся... Четыре всадника из врат Апокалипсиса несутся.

Раковая клетка коммуналки... Гальюн на четыре семьи, кухонный кран с ледяной водой... один на всех... негде отмыть юношескую поллюцию...

...В полудреме видится мне четкая структура здоровых клеток – смальта мозаичного пола... я ступаю по нему твердой ногой. Но вот мозаика расшатывается, превращается в слякоть... проваливаюсь в метастазу... IRREGULAR FUSED CELLS THAT HAVE INVADED SURROUNDING CONNECTIV TISSUE CELLS<sup>19</sup>.

...Что это – описание ракового процесса или ситуации на американской южной границе? Разве вторжение пятнадцати миллионов нелегальных латинос через

размытый мексиканский кордон не напоминает метастазу? Рак – это когда утрачены скрепы. Клеточные мембраны расшатаны.

...Засаженные в шахматном порядке цветущие поля... пальмовые и кедровые рощи на капельном орошении по соседству с глинобитным кошмаром арабских деревень...

Что бы там ни говорили, Израиль единственная здоровая клетка

Ближнего Востока...

Рак – это когда творящий дух покидает жизнь. Распредмечиванье.

Интервенция хаоса. Разорванность и абсурд.

\*\*\*

Я прячусь с головой в словари... У Даля РА́КА – гробница... РАКÁ – пустой человек... негодяй... бестия... наглый подлец... РАК – покрытое панцирем пресноводное или морское животное... Стал как РАК на мели... Враки, что кашляют раки, это шалят рыбаки.

Я кашлял и ворочался в постели... пробирался бессонными ночами к книжной полке... Словарь Ноя Вебстера – величиной с Ноев ковчег...

«CANCER A MORBID GROWTH OF STRUCTURE WHICH CAN EXTEND ITSELF AND FORM AGAIN AFTER REMOVAL...»<sup>20</sup>

...В дверях ковчега стоял старик Ной и выталкивал меня в пучину...

И вот плыву в подсвеченном солнцем бассейне... Возвращаюсь домой... Ведь мы на шестьдесят процентов – вода... И дух Божий носился над водой...

В жизни краткой и печальной Светит только безначальный Непорочный свет любви.

И как рыба смотрит на меня душа матери... А что если души глядят на нас не с неба, а из глубины вод... и этот подводный сумрак соткан из бессмертных душ... И душа Марка Аврелия утешает:

– Ты посмотри только на это зияние вечности позади и на другую бесконечность впереди...

Бутылочные подводные потемки, пробитые вкось лучом...

Живая солнечная паутина на мозаичном полу бассейна... Над головой зеленое стекло... Как будто ты – письмо в бутылке, брошенное в океан...

Ибо Ангел Господень по временам сходит в купальню и возмущает воду...

Раздвигаю зеленую мглу старческими руками в гречке... плыву...

\*\*\*

С обложки улыбается мне румяный пузан. Как будто счастлив, что у него в промежности завелся ласковый зверек, такая лапушка. такую брошюрку выдают в очереди на радиацию – Undestanding Prostate Cancer. A guade to treatment and support<sup>21</sup>. Это называется CREATE THE ENVIROMENT<sup>22</sup>... Чем изощренней попытка, тем веселей «инвайремент»...

Покуда они огонь раздувают, смолу кипятят, крючьями шуруют, Луи Армстронг из динамика на трубе наяривает... Это напоминает похороны в Нью Орлеане: чем ближе к раскрытой могиле, тем забористей джаз.

И, кажется, рачок этот занозистый там, в промежности, приплясывает...

Вот, говорит, потеха.

Ей-ей умру, ей-ей умру,

Ей-ей умру от смеха...

А медикал-технишен, наблюдая на экране за движением зонда внутри меня, гуторит с кем-то через занавес:

– А погодка-то сегодня для гольфа...

– Сколько?

– Пятьдесят и солнечно.

– В самый раз.

Востро-черноглазый латинос... Уверенный – это все ничего... Обойдется, как насморк. Вот, мол, пушка без мушки... Выжгут, как бородавку... Говорит, щекоча зондом в моих протоках, отражая гладким лицом свечение монитора...

– How old are You?

– Sixty five...

– Young fellow...

– No kidding...

– Age only a number...<sup>23</sup>

Живот у него начинался прямо от шеи... Грудь колесом... Ему бы пошла тельняшка. Таких немало среди американских работяг. Грубоватых, добродушных, независимых...

Он был балабол... Видимо, трепливость считалась здесь элементом терапии. Во всяком случае, этот Чико из пуэрто Рико отвлекал меня от мрачных мыслей:

– Ты еврей?

– А что, не видно?

– В Америке евреем быть нетрудно. Справа негр, слева итальянец...

перед тобой помесь Робинзона и Пятницы...

Ну и балабол. И рот у него соответствующий. Загибался скобками...

Чико – веселый... И все они здесь такие...

Они-то знают: все мы протоки для крови и слизи... Чего тут важничать... А то иной не идет, а пишет... Как будто не какает и не сикает... ты душонка, на себе труп таскающая. Stop it for Gods sake<sup>24</sup>. Ай да Чико. Сразу видно, не ногой сморкается.

– А сейчас я сделаю вам больно, сэр.

– Очень?

– Очень...

О, эта занозистая пчелиная боль в начале того бледного, чахлого, тряпичного, что было когда-то геральдическим знаком мужской доблести... И что-то крошечное бегаёт, шевелится, останавливается и обследует внутри... О, эта изощренная пытка...

\*\*\*

...Теперь это свершалось надо мной... Я потом того ослика обнаружу в Венеции, на картине Тициана<sup>25</sup>. Его печальная морда была белая вокруг ноздрей, а заячьи уши висели, как у шапки-ушанки. О, эта ослиная мука... Ишачок трубил, будто пионерский горн надрывался в Красном Селе, а слышно было на Невском.

...Сразу после войны тот артиллерийский полк прибыл в наш городок из Самарканда... С верблюдом и осликом... И нам нравилось дразнить ишака.

– И-р-р-р, и-р-р-р, – рычал переросток Столяренко...

– У-р-р-р, у-р-р-р, – брунжал я...

Так ишачиха приманивает самца...

Из висячей кобуры медленно вываливался могучий пегий дилдо...

– И-р-р-р, и-р-р-р, у-р-р-р...

Кто бы мог подумать, что в нем этакая мощь. Однажды нам удалось так раззадорить ишачка, что он замолотил своей дубиной в земную твердь...

– Слабо тебе, – сказал Столяренко.

– А вот не слабо...

– Зуб даю – слабо...

– А вот не слабо...

– Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим, – сказал Столяренко и протянул рогатку с тяжеленьким голышом...

Это мне теперь Божья кара. Это я тогда засадил из пращи в середину распаленной ослиной дубины, меж чалых ляжек...

Веселися, юноша, в юности своей, да только помни, что за все за это ты предстанешь пред судом Божьим...

...Таким криком кричит фаллически очерченный человек на фоне фаллически очерченного фьорда на картине Эдварда Мунка «Крик»... Nightmare and a modern symbol of angst and alienation...<sup>26</sup>

И вот теперь это свершалось надо мной...

\*\*\*

Этот диагноз ломал таких стальных ребят, как пол Брюнер, Стив Мак Квин, Хэмфри Богарт<sup>27</sup>. А ну, заходи со спущенными портками. Замри и ляг...

От рака умирают не самым опрятным образом. Сначала тебя распяливают, как жабу. Биопсия... The removal of bits of tissue from the body for diagnostic examination<sup>28</sup>.

Смерть, трепет естества и страх...

Сегодня Бог, а завтра прах...

Потом оскопление радиацией... Через три сеанса становишься задумчивый и печальный. И самая что ни на есть Ким Бэсинджер<sup>29</sup> тебе друг, товарищ и брат... И более ничего... И если жизнь, по Фрейду, – сублимация либидо, то

какая же это жизнь... Жмешь на газ, а бензобак пуст...

Пушка повизгивает, как сука. Лучей этих не видать.  
Как ангелов...

Лежит на руках его сильных  
Футляр мой – раскрытый, земной...  
И кто-то на крыльях стерильных  
В томленьи кружит надо мной...

Моих ангелов, белого и бирюзового, зовут Кэт и пегги... Наведя с помощью компьютера электронную пушку, они снайперски расстреливают ползучего гада, пританцовывая под соло на пианино Рэя Чарльза. ...Пушка движется по окружности, нудит: и-и-и-и... Как будто гаденыш повизгивает...

Но для меня РАДИАЦИЯ от слова РАДОСТЬ...

Ибо означает надежду.

Freude... Freude... Alle Menschen werden Brüder...<sup>30</sup>

Леонард Бернстайн во фраке подпрыгивает кузнечиком перед оркестром... Финал Девятой... Гимн к радости... У Бранденбургских ворот... В день падения Берлинской стены... пусть Радость сожжет Метастазу...

\*\*\*

Леонард Бернстайн... Чейнсмокер<sup>31</sup> с пепельным лицом и смертельной эмфиземой легких...

У Пегги блуза и брюки – лазурь... Глаза – два синих блюда на скуластом лице.

Кэт – белая чайка... Щурится на экран монитора... Нарисовала два красных креста на моих ягодицах...

– Выше... ниже... вправо... влево... подвиньтесь вверх, сэ-э-э-р... Передвигает распростертого на мученическом одре... Худенькая, с мелкими чертами... Шустрая...

Глаза как смотровая щель, нацеленная на голубой экран, где изнемогает в раковой клешне моя простата...

Они все время треплются, Белая и Лазурная...

– Развод, развод, развод и больше ничего... Хочу покоя, покоя, покоя... Жизнь, приправленная скандалом: ты за это плати... я за то... Bloodsucker...<sup>32</sup>

– Знаешь, что от этого бывает, – подводит черту

Пегги. – Рак...

Мои ангелы-хранители... Мои пэри... поддевали на радиоактивный луч ползучую тварь... Нацелив пушку, убегали в укрытие, а потом возвращались... так что их диалоги доносились до меня квантами.

У лазурной муж был негр... полицейский. По воскресеньям они ходили в эфиопский храм...

– Ну и как ты себя чувствуешь between niggers, Peg? – спрашивала разведенка.

– Like nigger in the room full of whites<sup>33</sup>.

Я теперь окружен сиянием, как святой. только нимб не вокруг головы, а вокруг жопы. Мне запрещено обнимать и сажать на колени детей и беременных женщин... Я для них вроде Чернобыля...

Святая простотá,

Святая простата...

И сияние мое радиоактивное...

– What’s cooking good looking? – возвращается

Лазурная.

– My Willy is dead...

– Big fucken deal...

– My wife unhappy...

– Present her a rubber,<sup>34</sup> – хохочет Пегги...

\*\*\*

Очередь на радиацию. Двадцать девять сеансов. Обычно я задремывал в кресле и до меня доносились голоса:

– А моя бич говорит – мне муж без фуя не нужен.

– Вот я и говорю – дьявол в обличии гориллы наш дедушка.

– Сам Дарвин в этом сомневается.

– Пусть не сомневается. Наш дедушка – четвероногий на дереве и уши топориком...

...Сидишь – глаза в потолок. А между тем, членистоногая тварь проснулась внутри... потянулась...

На лапках тоненьких, шурша, Идет, царапая... не плакать... О, эта странная душа,

Ты все еще жива, однако...

Истина в том, что в видимом мире господствует закон тления... И потому человек должен быть печален и



молчалив... «прежде всего не дергайся, не напрягайся – будь свободен и смотри на вещи как мужчина, человек, гражданин, как существо смертное»<sup>35</sup>. А еще был там пронзительный старик с хищным носом. Сквозь складки и морщины... сплошь в жабьих пятнах... блстели два огнестрельных прицела... Грохотал газетой, как кровельным железом:

– Fucken moron<sup>36</sup>.

Это он о президенте Буше...

Старик был ругатель.

– Hell with this fucken life<sup>37</sup>.

Старик был хорош... Самому Ангелу Смерти он кричал в лицо: Fuck You... Fuck... Fuck... Fuck...

Он бросал к подножью Божьего престола свою потертую шкуру...

– Забирай... Это не по-джентльменски. Сначала подарить жизнь, а потом заставлять расплачиваться за нее такими страданиями... Вот, мол, тебе подарок, но за это я буду потом поджаривать тебя на медленном огне... порядочный Бог предупреждает... Я бы, может, отказался от такого подарочка.

И похоже, Ангел Смерти относился к ругателю уважительно... Задиристый, крепкий, духовитый старик... Он нужен был нам... Как нужен на поле боя барабанщик.

Страх и трепет... ты кричишь, старый богохульник, чтоб заглушить страх и трепет...

\*\*\*

Умереть – расколоть самый трудный орех,

Все резоны узнать и причины...

Умереть – значит стать современником всех,

Кроме тех, кто пока еще живы...<sup>38</sup>

Чтоб не томиться в очереди, я наладился прогуливаться по соседнему кладбищу. На погосте дубы в два обхвата. Еще бы... то, что смыто с костей, стало этими кронами. Какая, однако, флора. Все оттенки зеленого...

И вдруг мне под ноги звезданулся бельчонок. Спружинил о дерн с высоты. Я долго стоял над оглушенным зверьком. Мохнатое брюшко дышало. Бусинка глаза ртутно блстела... Но тут щенячий хвостик напружинился и

поднялся... Бельчонок перевернулся на пузечко и двинулся по-пластунски к стволу... Распялив дрожащие лапки, пополз вверх, цепляясь коготками за серебристый каракуль.

И была мне на том же стволе – вторая БЛАГАЯ ВЕСТЬ... подумать только... Игра света на живых крохотных витражиках, в которых пульсирует лимфа... Бабочка Монарх...

Как будто кто-то, преломив луч в призме, оставил на черном эти переливы голубого и желто-зеленого... И две маленькие антенны над крылышками вслушиваются в Бесконечное...

Никто не знает ничего. Каким образом бабочка Монарх перелетает из

Канады в Мексику, а потом возвращается из Мексики в Канаду на ту же самую ветку? Где в этом крошечном мозгу размещается карта полушария?

Не об этом ли размышляет философ на гравюре Хокусая<sup>39</sup>? В шелковом кимоно. Раскрытый веер брошен на татами. Локтями упирается в низкий столик. Волосы, собранные в косицу, уехали с бровей на затылок. Самурайский меч торчит, как хвост. Так охотничий сеттер делает стойку...

Два порхающих цветка над ним...  
Четырехлепестковых, усатеньких... С такими же узорами на крылышках, как у этой моей бабочки...

О, НЕЯСНОЕ... О, ТУМАННОЕ...

\*\*\*

Potential side effects with radiation therapy include skin reaction in treated areas, frequent and painful urination, diarrhea, impotence, and rectal irritation or bleeding<sup>40</sup>.

Двадцать девять сеансов персонального Чернобыля.

Уролога в РАДИАЦИИ звали Суламита...

Оглянись, оглянись, Суламита.

Дай нам посмотреть на тебя<sup>41</sup>.

– Вос махт аид? – спросила на языке идиш.

– А зохун вэй унд гоб рахмонес<sup>42</sup>...

Доктор была молодая, налитая нежным материнством... Это они специально придумали сюда беременную красавицу. Ибо беременную возжелеть

невозможно. Материнство посреди этих альфа, гамма, бэта... Она была как Израиль, цветущий в перекрестьях арабской ненависти.

– Потерпите, ведь это временно.

– Жизнь тоже временно.

Она говорила нежно, как сестра:

– The seeds will be implanted precisely into the tumor...

Jodin 125-126-

12743...

– И все будет о'кей?

– Гевиз<sup>44</sup>.

Она была крепенькая, четко очерченная клеточка мозаики. И у нее внутри свернулся маленький хасидик. И как только она не боялась за него... В каждой интонации ее голоса звучало счастье.

Она была благополучная, блаженная, угодница Божья. И в то же время врач-уролог. Такое бывает. Встречал же я в госпитале Маймонида нейрохирурга с мировым именем, сворачивающего свои пейсы в рожки перед началом операции.

Мы входили к ней по одному, бывшие мужчины. И она отдергивала невидимую шторку своей исповедальни:

– А что, будет еще хуже?

– Объясните жене...

– Она моложе меня на десять лет.

– Надо просто переждать.

– Вы думаете – восстановится?

– Patience is a virtue<sup>45</sup>.

«Шея твоя как столб из слоновой кости. Глаза твои похожи на озерки Есевонские, что у ворот Бат-раббима ...как ты прекрасна и как привлекательна...»

Но обыкновенное у мужчин прекратилось у меня.

\*\*\*

Моя жена – амальгама. Висячая кожа подбородка. Седые корешки проволочных волос. И в то же время гордая осанка балерины... Стройные ножки...

Мне нравится делать ей массаж в специальном кресле, когда она уходит увядшим лицом в кожаную подушку с прорезью и под моими теплыми ладонями

струятся холодные камешки стройной спины с девичьими лопатками.

Ее округлый, обтянутый голубыми джинсиками задок, когда она, перегнувшись и наклонясь, подтирает линолеум на кухне. Хозяюшка и чистюля.

Иногда она делает это голенькая. Тогда можно видеть во всей красе всю ее детородную paraphernalia<sup>46</sup>. Ну конечно, плутовка потому такая чистюля, что в этой зоологической позиции чрезвычайно соблазнительна.

В недавние времена, будучи парнем незамысловатым, предлагал:

– А давай-ка я тебя...

– Когда я работаю, – распрямлялась притворщица, сияя из-за худенького плеча голливудскими имплантами, – ты начинаешь нежности проявлять.

– Но ты всегда в работе.

– Вечером, вечером, ляжем в постель – я вся в твоём распоряжении, сладкий ты мой.

Но сейчас, когда она начала свой танец, он вдруг почувствовал – соединяющее их магнитное поле исчезло.

– Что-то ты прижукнутый какой-то...

– Видимо, старость.

– Я и сама еле дрыгаюсь. Устаю на работе.

– Ты не возражаешь, если я некоторое время в кабинете на диване?..

– Надеюсь, не навсегда?

– Чернышевский считал – полезно для любви.

– Импотент твой Чернышевский... Вот что...

\*\*\*

Блаженны нищие духом. Блаженный... благоденствующий... малоумный дурачок... блаженность – высшая степень духовного наслаждения... тому же учит дзен...

Но вот она взрывает дверь ударом кулака...

– Скоро начнешь убирать здесь в порядок?

– Скоро...

– Нельзя так жить...

– Согласен...

– Ты почему не закрыл унитаз крышкой?

– Исправлюсь...

– Из унитаза идет плохая энергия...

...Вот почему американцы устремляются за женами в Китай, Японию, Тайланд... Потому что восточная женщина – КРОТКАЯ... А тут на каждое мое ДА ее НЕТ... Она живет по горизонтали... в кругу житейских интересов... Я по вертикали... И наши души не могут встретиться. Проснуться от реальности... уйти в сон... Но тут опять врывается она:

– Что я тебе хотела сказать...

– Что?

– Нельзя спать в часах...

– Почему?

– Часы нарушают кровообращение.

Но тут явилась эта птица... и черно-белый фильм нашего супружества сразу стал цветным...

\*\*\*

– Смотри-смотри... она как будто мертвая...

– И мне так показалось.

– А глазки открыты.

– Да-да...

– Ой, как хорошо... Ой, какое счастье... Какая прелесть... ты ее спугнул... Возьмет и не прилетит...

– Что-то было долго не прилетает.

– Она как почувствует солнышко – сразу на охоту... Я впервые столкнулась с таким вот случаем натуральной природы... посмотри в энциклопедии Британика...

– Это JAY – сойка, но я не уверен...

– Давай назовем ее Зойка...

– Будем называть ее Зоюшка...

Мы полюбили нашу птичку. Ее круглый испуганный темно-синий глазок... капельки дождя на оперенье...

– Это нам благословение, – сказала жена и приподняла нижнюю раму окна, чтобы на птичку шло кухонное тепло...

Когда она улетала, мы видели жалкое плоское гнездышко из веточек, два крошечных фарфоровых яичка на жестяном карнизе, открытом дождю, граду, ветрам... коршунам, воронам, котам... На скошенной полочке, с которой так легко соскользнуть вместе с гнездом...

А потом появлялась удивленная бусина...

– Почему она прилетела именно на наш подоконник?

– Нам повезло, – говорит жена.

– Мы поможем ей и птенцам... когда улетит, мы усыплем зернышками весь карниз...

– Бедная птичка... у нас так много еды, а мы не можем с ней поделиться... уж больно боязлива... улетит и не вернется... птенчики могут замерзнуть и погибнуть... где ее негодяй-муж, принес бы что-нибудь... наше дело не рожать – сунул, плюнул и бежать... Заставить бы негодяя алименты платить... птичка моя бедная... птичка моя золотая...

Но однажды она улетела и не вернулась...

– Птичка-то наша опаздывает в пух и прах... Видно, никогда не прилетит, – сокрушалась жена.

– Она просто сука, твоя птичка... Вот кто она... Бросить гнездо с двумя детьми... Это все равно, что сделать сразу два аборта...

– Она просто замерзла... Ночью были заморозки, – вступилась жена.

– Могла бы встряхнуться... взлететь на минутку...

– Там летают такие красноперые красавцы с эполетами... Небось, какой-нибудь Зоюшку и охмурил... Может, кошка... Для кошки такое удовольствие замучить птичку... Даже зайчат ловят...

Московское аканье и взрывной Г придавали ей особое обаяние... при этом у нее за очками обнаружились большие лазурные глаза, а руки были сложены, как лапки на брюшке у белочки...

– Давай забудем... Она небось давно забыла... У птиц короткая память, – сказал я.

– А вот и нет... Она отлично находит дорогу в какой-нибудь гребаный Эквадор...

– Я понял, почему она улетела... ты все время включаешь русское радио... птичка улетела от пошлости русского радио. Там работают низкооплачиваемые негодяи... Она слушала-слушала... не выдержала и улетела...

...Бог был Протей... Он являлся в виде черной птицы на книжном шкафу, белочки, рыдающего ослика, бабочки... И всякий раз эпифании<sup>47</sup> возвещали... И вот теперь это

покинутое гнездо...

– Смотри-смотри, кто-то клевал яички... все гнездышко расшуровал, – со слезами в голосе говорит жена.

Теперь гнездо напоминало миниатюрную яичницу на картофельном хворосте, которую мы когда-то заказали в китайском ресторане...

\*\*\*

Поначалу я не узнал его. Без бородачи он был ну совершенный комарик. На тоненьких ножках, с вострым носиком... И работа у него была комариная – phlebotomytechnician<sup>48</sup>.

У меня на сгибе сосудов не видно. Сжался... напрягся... как на пытку... В нем была робкая старательность недавнего неумехи. Отутюженный бирюзовый халатик с вышивкой на кармашке – V. Slensky.

– Squeeze and reliese Your hand<sup>49</sup>...

Вот сейчас намучает. Но я приготовился терпеть и даже ободрить. А он кольнул и готово. И только алый столбик моей крови в его руке.

Вдруг откуда ни возьмись  
Маленький комарик.  
И в руке его горит  
Маленький фонарик...

И только два безумных угольных зрачка поверх меня.

– You are master of the Universe,<sup>50</sup> – похвалил я.

– Говорите по-русски.

Свой свояка видит издалека. Эмигранты при встрече обнюхиваются как собаки.

– А ведь наши подборки в «Дне поэзии» были рядом... Вы на эс, я на эр... – вспомнил вдруг я...

– Сколько с тех пор прошло?

– Почти сорок...

– Тридцать семь, – уточнил он...

И еще увиделось... На какой-то литературной тусовке поэтa раскачивало и занесло на шведский стол, и он опрокинул на себя блюдо с креветками и, пьяненький, поедал их, вытаскивая из бородачи...

Мы были из одного города на Неве... Два

невостребованных письма...

А те, кто мог нас востребовать, – поумирили, а остальным не до нас.

– Я ведь тоже санитаром работал, – ободрил я поэта.

– А Бродский в морге вкалывал...

– Вы хотите сказать – здесь преддверие морга.

– Не бойтесь – мы вас вытащим.

Глазищи зыбкие... Зрачки вибрируют... при этом ловок... С первого удара в десятку...

– Все хорошо, – говорит, – только вот кошмарные стихи снятся...

Жратва, по которой лорнируют собаки,

Говоря о внешней драке...

– Мутация от радиации... Сдвиг по фазе... – сказал я.

– Вот послушайте... придет же в голову:

Летят по небу дочки

Рабочих и крестьян, Заслышав смефуёчки Летучих обезьян...

– Так это же капитан Лебядкин...

А он все не унимался... Мишуга...<sup>51</sup> подняв кисти к потолку, отбивал чечетку по шахматному полу:

Широкозадый гиппопотам

Покоится в болоте,

Пусть кажется он мощным нам,

Он только кровь и плоть.

Плоть и кровь в недолгий век,

И, может быть, в печени камни.

И истинная церковь не пошатнется вовек,

Ее Петр утвердил на камне...

Кто написал?

– Несомненно, Лебядкин.

– Представьте себе, Томас Элиот...

\*\*\*

PSA-prostate specific antigen – продукт простаты. Если ПСА больше четырех, значит в каштане завелся клещеногий гаденыш... У меня ПСА-5.

Поэт стал моим добрым вестником. Он еженедельно брал кровь, а уролог Суламита извещала о постепенном снижении моей ПСА ниже опасного уровня.



– Благодарю, – говорил я ему каждую среду.

– За что?

– За Благовещение...

А еще он любил играть словами, поворачивать их так и этак... прислушиваться... приноживаться...

– Помнится, у Тургенева... «Была у Ермолая лягавая собака, по прозванию Валетка, преудивительное создание». ПСА по прозванию Валетка... ПСА приноживается и делает стойку...

– Только моя ПСА делает стойку не на куропатку, а на рака...

А в прошлую среду, готовясь всадить иглу, вдруг спросил:

– Сталин в каком городе родился?

– В Гори...

– Вот-вот... А знаете, что означает GORY по-английски?

ОКРОВАВЛЕННЫЙ.

– Совпадение, – говорю.

– А вот и нет...

– А что?

– Тот самый случай, – говорит...

Глазищи зыбкие... Зрочки вибрируют... Городской сумасшедший в бирюзовом халатике...

– Что вы имеете в виду?

– Жизнь мира совершается по чьей-то воле... Кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает какое-то свое дело... – шептал поэт, держа над безумной головой столбик моей крови...

\*\*\*

Дух дышит где хочет... Он дышит и там, в пределах двоичной системы... В трепете единичек и ноликов... А потом является кириллицей на бирюзовом... Я включаю компьютер... И на экране две смущенных души ведут диалог... теперь это называется общение по интернету... то не дискуссия, а передача мыслей из полы в полу...

Я

– Когда в венском ХИАСЕ меня спросили о профессии, и я ответил – ПИСАТЕЛЬ, девушка схватилась за

голову... Да, вправила нам Америка мозги и позвонки...

Он

– Истерическая любовь к поэзии. Такое было только в золотой век Августа... посредственный стихотворец Евтушенко – наш Гораций.

Я

– Ни одна власть так не баловала своих шелкоперов... подборка в «Дне поэзии» – три инженерных зарплаты. Над какими думами властвовали эти властители дум? Ничего незнайки... Ничего неумейки... Но вот все кончилось. Сам Евтух в Америку подался...

Он

– Вкладываешь в стихи душу... Душа становится книгой... Вдруг выясняется – книжная торговля в руках московской мафии. Когда директор питерского Дома книги восстал, его вызвали в Москву и элементарно пристрелили... Но вот тебе удалось сделать финт ушами... твой сборник на прилавках... И тут-то выясняется – стихи никому не нужны...

Я

– Говорит ли вам что-нибудь такое имя – Вениамин Блаженных?

Инвалид... Сапожник... Поэт...

Я так и не пойму, что значит быть известным.

Известны ль облака? Известна ли гроза? Так почему и мне по тем стезям небесным, Слезами изойдя, свой путь пройти нельзя?

А слава... Но нигде – ни в чащах, ни в дубравах,

Ни в рощах, ни в полях, ни в зарослях болот,

Я, право, не встречал такой пичуги – Слава...

Должно быть, этот вид пернатых не поет...

Он

– А сколько книг написал Христос?

Я

– Вот именно... А как востребован...

\*\*\*

Поэту, видимо, было очень одиноко, и потому он поселился со мной... Не в моей квартире, разумеется (наши диалоги приводили бы в бешенство my old lady)... поэт пристроился в компьютере. Ему там вполне хватило места,

комарику... Да и мне было чертовски одиноко... Поэтому я постоянно окликал его... Делал клик-клик мышкой...

\*\*\*

Он

– Поработаешь год-второй с такими как Вы, начинаешь воспринимать мир в аспекте Второго сердца<sup>52</sup>...

Простата – Святой Лаврентий<sup>53</sup> наших внутренних органов... Этот симпатичный каштан непрерывно поджаривается на медленном огне... посудите сами. Все вокруг обязано быть «секси», от женственных форм автомобиля до фаллической архитектуры... поцелуи, объятия, траханье на экране... Реклама купальников... Вся женская одежда имеет сексуальное значение... Разжигает похоть, провоцирует насилие... И это непрерывное тление нашего каштана порождает застой, воспаление, рак...

На улице всюду жопы-Пенелопы, ляжки-обтяжки... И нет бедной простате покоя... Идет бич<sup>54</sup>, полжопы и пупок на виду... танец живота на ходу исполняет... тлеет простата... Лучше жениться, чем разжигаться... Но разжигаются, а не женятся... глупятся головою<sup>55</sup>.

Я

– Откладывая на год свадьбу с Наташей, о чем думает князь Андрей у Толстого? Что происходит в пределах его системы? Неужели этот позолоченный князь мастурбирует, как пятиклассник?

Он

– Лучшая профилактика от рака простаты – Любовь... Рак порождает вытесненная сексуальность... душевная неустроенность... трещина, расколовшая мир, проходит и через второе сердце мужчины... А в трещинах зарождаются гады...

Я

– Кстати... Зигмунд Фрейд тоже ведь умер от рака... Болезнь, возможно, началась с неудачной женитьбы. Его семейная жизнь внешне протекала спокойно. Но он был во всех смыслах неудовлетворен.

Он

– Позвольте в связи с этим процитировать Сюзан Зонтаг: MANY PEOPLE BELIEVE THAT CANCER IS A

DESEASE OF INSUFFICIENT PASSION WHO ARE SEXUALLY REPRESSED<sup>56</sup>.

\*\*\*

Сюзан Зонтаг знала, что говорила... Она заплатила за эту истину жизнью. Я тоже свернул с окрыляющей дороги на бездорожье. С ухабами, пробками, рытвинами, коверкающими все системы... А нужен был ХАЙ ВЭЙ – высокая дорога... Голубое шелковое шоссе, вознесенное к небу над болотами, кустарником, раками-буераками... Я свернул с моей дороги на изматывающее трясилице...

Где этот поворот? Вот он... Это когда она, худенькая, стройная, уходила от меня с тяжелым чемоданом, в кармашке которого лежал диплом английского отделения. по распределению... В деревню... В ссылку... А я шел за ней с Валькой... после ночной звериной случки. Провидение поставило меня на клеточку этой шахматной доски. Но я сделал зевок... Изменил правде своей жизни... Это когда она, с перекошенной от тяжести и обиды худенькой спиной балерины... Моя первая Любовь... Уходила от меня... Чтобы никогда не вернуться...

А ведь так просто было... Догнать... Вырвать у нее чемодан... перегородить дорогу...

– Опомнись... Что мы натворили... Ведь у нас никогда больше не будет такой любви...

КОГДА БУДУ УМИРАТЬ, ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО УВИЖУ, – ТВОЕ ЛИЦО С ОПУХШИМИ ОТ ПОЦЕЛУЕВ ГУБАМИ.

\*\*\*

Слабеет память, под правым мостом болят зубы. Сдают все системы. Как у подержанного автомобиля... Чтобы не жалко было с жизнью расставаться.

Не спится, батарея парового отопления издает такой звук, будто в углу отряхивается длинноухая собака.

...Неужели этого больше не будет со мной?

– Вам сколько осталось?

– Пятнадцать.

– А я уже двадцать восьмой.

– А когда имплант?

– Мне уже сделали имплант.

– Как так?

– Сначала имплант, а потом радиация.

– А я только на мапинг<sup>57</sup> пришел...  
– Вам еще долго.  
– А как это зерно называется? Ну, которое  
вживляют...

– Иодин называется...

После двадцати девяти сеансов радиации я был как  
зараженное поле под Чернобылем... Опасен для беременных  
женщин и детей... Два месяца. И только по истечении срока  
ринулся в восточное полушарие.

\*\*\*

Мой таллиннский внучек орет, весь в соплях, слюне,  
слезах. А через секунду улыбается, как солнышко в грибной  
дождик... А щечки у него шелковистые, и весь он атласный,  
с задорным петушком, из которого бьет теплый фонтанчик.

– Гиперактивный, – вздыхает мама Лена.

– Он славный, – говорит сын.

– Ты тоже был гиперактивный, – утешаю.

Слышно, как в саду упало яблоко...

У него резались зубки... С моей руки стекали  
радужные нити его слюны... А глаза у него цвета  
норвежского фьорда, и имя у него нордическое – Эдвард.

Я укладывал его на своей руке головкой к локтю,  
пузечком вниз. И он отдыхал, как макака на ветке, свесив  
четыре лапы... Ему так нравилось, и он не плакал... Кличка у  
него была Макака...

Глаза – зеркальные пуговицы, и в них отражается  
мой очкастый нос.

– Он весь сборный, – говорит мама Лена.

– В нем – моя мать Мэриам, – говорю я.

– И мой отец Александр, – вступает Эксвайф<sup>58</sup>.

– И мой эстонский отец Олев, – продолжает мама

Лена.

– Кровей-то, кровей-то понамешано, – подивился я.

– Эка, – отозвалась Эксвайф.

– Надо, чтобы их было много, – сказал я.

– Кого? – не понял сын.

– Внуков, – пояснил я...

– Постараемся, – рассмеялась мама Лена.

– Актуализируется проблема идентификации ребенка

в межкультурном пространстве, – сказал ученый сын.

Стоит Макаке возопить, как две бабки наперегонки бегут к коляске. Нянькает, гугукает, поет авторские песни шепотной дед, поднимает к сосновому потолку.

Солнышко пускает слюни, чмокает, сосет кулак...

– Зубки режутся.

– Смотри, ямочка.

– Но почему-то на одной щеке.

– У моей мамы тоже была такая...

Защищайся от меня своим нордическим именем... Открещивайся православным крестом. Все равно я буду жить в тебе... Как в Блоке – Блох... Как в Шеншине – Фет... Как мы живем в каждой клетке отрекающегося от нас мира.

Ты полежи еще немного у меня на руке пузечком вниз, как маленькая макака на ветке, свесив лапки... Слюнявь, слюнявь меня беззубым ртом...

– Деда-то помнишь? – спросит отец.

– Лица не помню.

– Вон там, на полках, его книги.

– Он кто был?

– Писатель. Может, считаешь?

– Ну, кто же во времена высоких технологий тратит драгоценное время на фикшен<sup>59</sup>.

\*\*\*

В Атлантик Сити, в казино «Тропикана», есть ресторан «Красная площадь». У входа Ильич до потолка. С бокалом шампанского. На сто процентов монгол. Чингиз Хан в макинтоше.

На стене серп и молот. Ражие стахановцы с отбойными молотками в джинсовых комбинезонах фирмы ЛИ...

Над нашим столиком плакат – колхозница с косой вокруг головы... Одной рукой обхватила сноп, другой протягивает воину автомат: РОДИНА ЖДЕТ ТЕБЯ С ПОБЕДОЙ...

Шестьдесят лет назад, в Сибири, такой висел на воротах, напротив избы, где я горел в scarlatine... И нечего было мне дать... тогда мать пошла побираться. И принесла мороженный сухарь. И, отогрев под мышкой, обмакнув в

кипяток, отламывала мне в рот...

И вот теперь этот соцарт над столом, уставленным лососиной, креветками, филе-миньон...

А на стенах в нашем номере фотографии Атлантик Сити двадцатых годов. Черно-белая человечья икра на атлантическом побережье... Дамы в серебристых песках... Мордастые джентльмены с тростями... Где все они? Как ветром сдуло... Куда? Да в океан и сдуло... Они и есть Атлантический океан. Ибо мы на шестьдесят процентов – вода... Я иду вдоль Атлантического океана, и береговые бегунки бегут, выклеывая рачков из песка... А потом мчатся от волны во все лопатки...

Если бы души были бессмертны, они непременно дали бы знать о себе. Ну, крылом как-нибудь махнули... А может, они знак подают, да мы в суете не обращаем внимания.

Бегут вслед за волной, а потом от нее улепетывают толпой... И как у них все приспособлено, тонкие длинные ножки. Клювик гвоздиком. Береговые бегунки. Еле-еле душа в теле, а лихость... Бегут за волной, склеывая рачков, а потом от волны деру. Игра в догонялки с Атлантическим океаном. А то собьются на берегу, нахохлятся, прижукнутся. Но долго не горюют. Вон один, и вовсе одноногий. А шпарит как лихо... Убогонький...

Береговые бегунки, маленькие кулички-песочники, живущие от волны. Вот откатывается, горько-соленая, а они все бегут-бегут веселой толпой, выклеывая что осталось.

Им не дана мысль о смерти, а значит и Арзамасская тоска. А впрочем, откуда мы знаем?

«Господи! Не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосыгаемое...»<sup>60</sup>

## Примечания

1 Водопроводчик (Здесь и далее перевод с английского, если не указано иначе.)

2 Плотин.

3 Медсестра.

4 Счет.

5 Большой улов.

- 6 Девушка с обложки.
- 7 Мочевой пузырь.
- 8 Генрих Гейне.
- 9 Толстой. «Записки сумасшедшего».
- 10 Художник-сюрреалист, эксцентрический художник, объект изображения – грех и наказание.
- 11 Вечно женственное (нем.).
- 12 66-й сонет Шекспира.
- 13 Имеется в виду картина Эдварда Мунка «Вечер на Карл Йоган».
- 14 Борис Пастернак.
- 15 А. С. Пушкин.
- 16 Птица.
- 17 С. Зонтаг – американская писательница.
- 18 «Болезнь как метафора».
- 19 Иррегулярные, расплавленные клетки, которые вторгаются в окружающую соединительную ткань.
- 20 Злокачественная опухоль, способная к расширению и появлению вновь после удаления.
- 21 Понятие рака простаты. Руководство по лечению и оказанию помощи.
- 22 Создать окружение.
- 23 – Сколько вам лет?  
– Шестьдесят пять...  
– Молодой парень...  
– Не шутите...  
– Старость – это всего лишь цифра...
- 24 Прекрати ради Бога.
- 25 Имеется в виду картина Тициана «Жертвоприношение Исаака».
- 26 Кошмар и современный символ страха и отчужденности.
- 27 Голливудские актеры.
- 28 Извлечение из тела кусочка ткани для установления диагноза.
- 29 Голливудская актриса.
- 30 Радость... Все люди станут братьями (нем.).
- 31 Заядлый курильщик.
- 32 Кровосос.
- 33 – Как тебе среди ниггеров, Пег?  
– Как ниггер в комнате среди белых.
- 34 – Как дела, симпатичный?  
– Мой Вилли мертв...  
– Большое дело...  
– Моя жена недовольна...  
– Подари ей резиновый...
- 35 Марк Аврелий.



- 36 Гребаный идиот.  
37 К дьяволу эту долбаную жизнь.  
38 Александр Кушнер.  
39 Имеется в виду гравюра Хокусая «Философ, наблюдающий за полетом бабочек».  
40 Побочные эффекты после радиации включают кожную реакцию, частые и болезненные мочеиспускания, понос, импотенцию, ректальное раздражение или кровотечение.  
41 Здесь и ниже цитируется «книга Песни песней Соломона».  
42 – Что делает еврей?  
– Ничего хорошего... (идиш).  
43 Зерна будут вживляться непосредственно в опухоль. Иодин 125, 126, 127...  
44 Конечно (идиш).  
45 Терпение – это добродетель.  
46 Принадлежности, атрибуты.  
47 Божественное откровение.  
48 Медбрат, забирающий пробы крови.  
49 Сожмите и расслабьте руку.  
50 Вы мировой мастер.  
51 Сумасшедший (идиш).  
52 Простату называют вторым сердцем мужчины.  
53 Святой, зажаренный на огне.  
54 Здесь: сука.  
55 Цитата из Апостола Павла.  
56 Многие верят, что рак – болезнь неудовлетворенной страсти, тех, кто сексуально подавлен.  
57 Урологическая процедура.  
58 Бывшая жена.  
59 Художественная литература.  
60 Псалом 130.



# Лорина Дымова

## Кое-что из жизни королев

### Рассказ



- у что ты привязалась к этим неудачникам?

- Почему ты пишешь только о нескладных судьбах, о несчастливой любви?..

Я так привыкла к этим вопросам, что уже автоматически отвечаю:

- А где я вам возьму удачные жизни, завидные судьбы? Где вы видели людей, живущих в довольстве и покое? Покажите мне человека, которому не врут, не изменяют и который сам всегда правдив и надежен! Покажите мне того, кто просыпается утром с улыбкой, спокойно и уверенно проходит сквозь лабиринты дня и ложится вечером в постель всё с той же, ничем не омраченной улыбкой.

- Нет, мы таких не встречали, - отвечаете вы, - но они есть на свете, мы точно знаем! Их любят, они знамениты. У них красивые и верные мужья и жены и восхитительные дети. Они живут в сказочных особняках, утопающих в розовых кущах. Ничто не в состоянии нарушить победное течение их жизни, и мы хотим читать именно о них. Потому что всё, что ты пишешь об изменах и горечи, об одиночестве и времени, просыпавшемся сквозь пальцы, мы знаем и без тебя. Это наша жизнь - и мы в ней разбираемся, уж поверь, не хуже тебя.

И я задумалась.

А ведь действительно, нельзя писать все время об одном и том же! И мне вовсе не хочется, чтобы от меня

отвернулись те, кто читает мои рассказы, кто верит мне и ждет, что в следующей-то книжке я наверняка открою секрет этой странной субстанции - счастья.

Нет, я просто обязана вспомнить, обязана найти хотя бы одну счастливую судьбу, - не может быть, чтобы таких не было на свете.

- А вы напишите о себе! - сказала милая юная девушка с глазами, похожими на два небесных облачка. - Ведь у вас всё хорошо! Вы пишете книжки, вами все восхищаются, у вас, я слышала, муж похож на Олега Янковского.

- А я и пишу о себе, - зачем-то сказала я и тут же пожалела о сказанном.

Но милая девушка, не поняв или не поверив, недоуменно пожала плечами и с обиженным видом вышла из зала.

- Знаешь, о ком я напишу? - сказала я подруге. - Об актере, которого публика встречает ревом восторга. Ну, скажем, о киноактере М. Он будет прототипом моего героя. Вчера я видела его по телевизору вместе с женой. Никогда в жизни я не встречала подобных красавиц. Мне кажется, если подойти к нему слишком близко, можно обжечься о счастье, которое он излучает. Он молод, богат и красив. В двадцать пять лет он снялся уже в двенадцати фильмах...

- Да ты с ума сошла! - перебила меня подруга. - Ты что, ничего не знаешь?

Я пожала плечами.

- Он же наркоман! Это его четвертая жена, тоже наркоманка, и ребенок у них дебил!..

Она собиралась сказать что-то еще, но я крикнула... Крикнула так громко, что сама удивилась себе:

- Замолчи!..

Мне было достаточно и этого...

Нет, никогда мне не придумать того, что изобретает и преподносит нам Ее Величество - Жизнь. Такой густоты несчастий не было ни в одном из моих рассказов, а меня еще упрекают, что я слишком жестока к своим героям, что я разочарована в жизни.

Посреди ночи я проснулась оттого, что вспомнила...

Меня обдало жаром.

Я поняла, о ком буду писать.

...Она стояла на сцене и читала стихи.

Мне всегда казалось, что поэтессы должны, просто обязаны быть молоды и красивы - иначе трудно совместить стихи о любви с той, которая их написала. Такое случается редко, но на этот раз это было именно так.

Короткая темная стрижка под мальчика, изящно посаженная, скульптурно совершенная головка, хрупкая тоненькая фигурка. Но главное - живое, одухотворенное, открытое лицо со вспыхивающими то и дело глазами, и улыбка - неуловимая ироническая улыбка в ответ на каждую шутку, неловкий вопрос, возглас восхищения.

И еще - она была завидно молода. Во всяком случае, на мой взгляд. Потому что существует на свете великое множество людей, которым тридцать пять лет отнюдь не кажутся молодостью, поскольку в данный момент они несравненно моложе.

Мои же глаза видели освещенную сцену, а на ней – прилетевшую из неведомых краев, а может быть, даже прямо из рая, ослепительную Жар-птицу, читающую нездешним голосом то ли стихи, то ли заклинания, в мелодии которых, а вовсе даже не в словах, таилась вечно ускользающая от нас суть жизни. И я была готова, как и каждый сидящий в зале, без раздумья идти за ней, куда бы она не позвала.

Я смотрела на нее и радовалась, что, вопреки моему убеждению в обратном, есть на свете люди, которым Бог дал всё сразу: и талант, и красоту, и молодость. И - даже страшно произнести! - счастье.

Про счастье я поняла, когда увидела сидящего впереди меня мужчину лет сорока. Он слушал стихи, опустив глаза, избегая смотреть на сирену, поющую о вечном блаженстве и завораживающую зал. Я обратила внимание на этого человека, потому что несколько раз перехватывала взгляд, который поэтесса бросала на него, но каждый раз ее взгляд, ударившись об опущенное лицо, испуганно спархивал с него и перелетал на соседнее,

глядящее с восторгом и восхищением, и задерживался на нем уже до конца стихотворения.

"Эти стихи - о нем", - подумала я, ни секунды не сомневаясь, что так оно и есть, потому что всё это я уже когда-то проходила. Я тоже стояла на сцене, молодая и красивая, уверенная, что главное и лучшее - впереди, а ОН сидел в зале и прятал глаза, потому что ему было нестерпимо слушать вместе с другими стихи, которые до сих пор читал он один и в которых каждое слово кричало о его любви.

И все-таки мой опыт был совершенно другим. Да, я была молодой, а потому и красивой - ведь все молодые, без исключения, красивы! - но не была я Жар-птицей, спустившейся с небес. Да, я тоже писала стихи, я их читала со сцены, и мне аплодировали, но сидящие в зале не пошли бы за мной, как дети за дудочкой крысолова. Да, я любила, но и с этим было не так просто. У моего избранника была семья, больная жена, а он был честен и благороден и не мог оставить беспомощного человека барахтаться в вязкой трясине болота, именуемого жизнью. И в конце концов эта трясина засосала, поглотила и нашу любовь, и его благородство, и сердца всех участников драмы.

А потом еще долгое время я читала со сцены другие стихи – о безжалостности и равнодушии жизни, читала, уже не слишком молодая, и в залах, где никто не опускал глаза от неловкости, что о его любви слышат посторонние люди.

Да, мой опыт был иным, и это подтвердили слова моей соседки - девушки из породы тех, кому всё обо всех известно.

- Это ее муж, - сказала она подружке и показала глазами на мужчину, сидящего впереди нас с опущенной головой. - Знаешь, как он ее любит!

- Ну, еще бы! - согласилась подруга и снова впиалась глазами в Жар-птицу.

И у меня в голове сразу же возникла картина: уютная квартира; она, накрывающая на стол; он, выходящий к столу на ее зов; прелестные дети - мальчик и девочка, болтающие милую чепуху под любящими взглядами родителей. А потом... Волшебные ночи, рождающие волшебные стихи.

Отсюда эта уверенность в себе, этот насмешливый взгляд и голос сирены.

Конечно, у такой женщины и не могло быть другой судьбы!

После выступления друга, знакомые и коллеги поэтессы, а также друзья друзей и знакомые знакомых отправились в ресторан, чтобы продолжить так удачно начавшийся вечер. Всем хотелось выразить виновнице торжества восхищение и преданность, а заодно продемонстрировать окружающим свою близость к ней. Сойдя со сцены, Жар-птица чудесным образом преобразилась и превратилась в Королеву. Ведь все труженики литературного цеха знали, что никаких Жар-птиц на самом-то деле не бывает, что это лишь представление для наивной и доверчивой публики. Но зато табель о рангах, существующую в этом же цехе, неизвестно кем составленную и нигде не записанную, знал каждый, и в этом реестре она числилась Королевой. Каждый, кто оказался в ресторане, жаждал попасть в ее свиту и чувствовал себя польщенным, если она останавливала на нем свой взгляд и спрашивала всё равно о чем: о только что вышедшей книжке, или о планах на лето, или даже о здоровье. Все радостно смеялись ее шуткам и с преувеличенным энтузиазмом слушали ее иронический рассказ о том, как судьба премии, присужденной ей французской академией, была решена человеком, никогда даже не слышавшим ее имени, и который из-за ее странной фамилии был уверен, что соискатель - мужчина, и в своем выступлении, перечисляя ее достоинства, говорил о ней в мужском роде. А еще она уверяла, что ехать во Францию за премией ей сейчас совсем не с руки: сын забросил учебу, свекровь в больнице, а тут еще одна, новая забота, и она с удовольствием бы попросила съездить за премией кого-нибудь другого, ну, вот хоть тебя, Алик, но там, у французов, существует железное правило вручать премию только самим лауреатам. Никто не замечал, что в глазах ее скачет насмешливый чертик, и все были довольны, что, оказывается, и во французской академии царит бардак, что и там дают премии кому попало и что Королеве дали премию

не за то, что она Королева, а просто так, по счастливой случайности, а значит, вполне могло бы подфартить и кому угодно другому, в том числе и ему, безмянному, состоящему в свите Королевы - раз имя там ничего не значит. И во Францию ехать ему тоже сейчас было бы не слишком удобно: дожди, да и дома забот полон рот.

Что ни говори, а речи такие были приятны, и с каждой минутой народ всё горячее любил свою повелительницу.

Я не была с ней знакома, я была всего лишь знакомой ее друзей, и издалека любовалась грацией и аристократизмом, с которым она обращалась со своими подданными, подчеркивая каждым словом и движением, что она такая же как они, просто ей повезло, и что, право, не нужно все время помнить о ее королевском сане.

Ее муж, подтянутый и стройный, пьющий лишь минеральную воду, находился поодаль, зорко наблюдая за ней, и приближался лишь тогда, когда кто-нибудь уж слишком назойливо и безвкусно клялся ей в вечной преданности. Он приближался вовсе не из ревности - упаси Боже! - а для того, чтобы освободить ее от этого приставалы и дать ей возможность поговорить с другими - читай: осчастливить других, - и переводил внимание пьяного любителя поэзии на себя, и согласно кивал головой, когда тот объяснял ему, каким сокровищем он, муж, обладает.

Это была такая пара, каких я, пожалуй, и не встречала: они были едины, они понимали друг друга без слов. Я смотрела на них, как смотрят на картину, на которой изображены фантастические существа, и была уверена, что тут не обошлось без волшебства. Несомненно эта женщина при рождении получила от фей все богатства, существующие на земле, включая самое главное - счастье.

- Нам нужно идти, - извиняющимся голосом сказала она.

Извиняющимся, потому что вечер еще и не думал затихать и звезда его еще не взошла в зенит, а значит, много еще радостей причиталось присутствующим. Но какие же радости в отсутствие Королевы?

Все почувствовали себя обманутыми.

Все почувствовали себя обворованными.

- Свекровь в больнице, сын дома один, а это дело опасное, - уже с улыбкой сказала она. - Переходный возраст!..

Это всех не только убедило, но и примирило с жизнью, на что она, пусть подсознательно, но рассчитывала. У каждого были заботы если не такие же, то похожие: сыновья, тещи, двойки в школе, три рубля до получки. В этом они были равны с Королевой, это было понятно и не обидно. Вот если бы она сказала, что не может остаться, потому что ждет звонка из Франции - это было бы невыносимо. А так - все пошумели и посожалели ровно столько, сколько требовало приличие, потом каждый приложился к королевской ручке, и венценосная чета отбыла на собственном автомобиле в направлении Останкино.

С большим интересом следила я с тех пор за всеми сообщениями, где упоминалось имя поэтессы. Поскольку разделы светской хроники в московских газетах отсутствовали, мне удавалось узнать только о ее победах литературных и творческих. В октябре в Париже ей, действительно, была вручена премия французской академии, а заодно она прочитала там в двух университетах несколько лекций о своем творчестве, а также о состоянии современной русской поэзии. ("Кого, кого она упомянула?.." - прошелестела в тревоге литературная среда.) В декабре ее имя мелькнуло среди участников широкой и веселой компании под названием "Дни литературы в Подмосковье". Потом у нее вышла новая книга, и не просто книга, а "Избранное" - увесистый томик, твердая обложка, глянцева бумага, - и это свидетельствовало о том, что она по-прежнему находится на гребне волны и отныне официально считается "живым классиком", если пользоваться терминологией среднего литературного класса.

Но мог ли сравниться официальный титул, пусть даже такой высокий, с неофициальным, присвоенным ей друзьями и недругами – титулом Королевы?

Из разговоров, которые велись на литературных посиделках, куда Королевы не ходят, я знала, что поэтесса



получила от Литфонда шикарную квартиру рядом с метро "Проспект Мира", а ее муж - он оказался пианистом - занял первое место на конкурсе в Праге.

Ну что вам еще?..

И я перестала следить за ее судьбой и довольствовалась лишь стихами, которые по-прежнему были прекрасны и волновали, как и подобает настоящей поэзии, вовсе не тем, что в них было сказано, а тем, о чем автор умолчал...

- И вы больше ничего о ней не знаете? - спросила та самая, строгая девушка, которая однажды уже обиделась на меня за несчастья, обрушивающиеся на моих героев.

На этот раз ей не понравилось, что у героини оказалась такая простая, такая лучезарная судьба - без изгибов и неожиданностей. Это было неинтересно.

Ну что я могла сделать? Как я могла ей угодить?

Рассказать о том, как лет через пять, вернувшись после долгого отсутствия в Москву, я встретила ее поздним летним вечером, почти ночью, на Суворовском бульваре?

...Она сидела на скамейке под фонарем, одна, с сигаретой в руке, прямая и неподвижная, как изваяние, но что-то в ее позе говорило о таком одиночестве, от которого мне стало зябко и я вспомнила о свитере, лежащем у меня в сумке.

- Что-нибудь случилось? - спросила я, остановившись возле ее скамейки. - Извините, вы вряд ли меня знаете, но я хотела бы...

- Н-ну, почему же! - перебила она меня, и я поняла, что она пьяна. - Я вас много раз видела. По-моему, вы тоже балуетесь... этими... как их... с-стихами? Послушайте, а вам не надоело?..

- Скажите, я могу вам чем-нибудь помочь? - настаивала я, не собираясь вступать ни в какие дискуссии. - Может быть, проводить вас домой? Или вы кого-нибудь ждете?

- Ну уж нет, дудки! - хрипло засмеялась она и откинулась на спинку скамьи. - Никого я не жду. Благодарю п-покорно, сыта. И домой, как видите, не спешу.

Она вдруг с любопытством на меня посмотрела.

- П-послушайте, а вы почему тут гуляете? Вас что, тоже воротит от вашего дома, от ваших стихов... от в-вашей жизни?..

- Да нет, у меня все в порядке, - сказала я, чтобы что-нибудь сказать, и села рядом с ней.

- Ну?! - воскликнула она и издевательски покачала головой. - Наконец!.. Наконец, я встретила человека, у которого всё в порядке! Вы пишете стихи, и они не вызывают у вас отвращения! У вас верный, надежный муж и заботливые дети! Так?.. Завидую!.. А то, что вы, извините, не молоды, вас не огорчает? Хотя, вы правы, молодость счастья не добавляет... Мне не хочется вас расстраивать, и все-таки уверяю вас, никакого-такого счастья на свете просто не бывает...

Чушь это, выдумка для слабых.

- Уж вы-то не имеете права это говорить! - неожиданно для себя возразила я. - Вы просто забыли! Я видела вас в момент счастья, и когда меня спрашивают, встречала ли я хоть одного счастливого человека, я вспоминаю вас и говорю, что да, встречала...

- Нехорошо обманывать людей, - покачала она головой. - Ну и когда, интересно, вы видели меня счастливой?

- На вашем вечере в Доме литераторов. Сначала на сцене, потом в ресторане. Но главное - ваш муж сидел прямо передо мной, и я видела его реакцию...

- Ну?! - изумилась она. - И что же вы видели?

- Он был напряжен. Он волновался, как школьник. Он опускал глаза, когда вы читали посвященные ему стихи. А потом, в ресторане... Как виртуозно он оберегал вас от слишком назойливых почитателей! Как тактично он это делал, стараясь не мешать вам, не ограничивать вашей свободы!.. Больше никогда я не встречала таких мужчин, таких отношений!..

Я не собиралась всего этого говорить и сама удивлялась собственному волнению.

- Ну и фантазия у вас! - Она покачала головой. - Думаю, вам имеет смысл писать не стихи, а фантастику!.. Значит, вот чего вам не хватает, счастливая женщина, у

которой всё в порядке! И потому вам мерещится это у других... Но, уверяю вас, именно этого не хватает и всем остальным. И мне в том числе...

- Я давно уже не пишу стихов, - сказала я. - Пишу рассказы. Меня упрекают, говорят, что все мои герои несчастливы. Но я никак не могу встретить счастливого человека. Вы были моей последней надеждой.

- Ну, извините!.. Придется вам поискать в другом месте. Скорее всего вы найдете себе героя на Луне. Или на Марсе...

Она глубоко затянулась сигаретой и со снисходительной улыбкой посмотрела на меня:

- А что касается того вечера, так мы с мужем как раз тогда разводились.

- Как - разводились? - опешила я.

- Так - разводились. Обычно. Как все. Правда, тогда это была первая попытка, а развелись окончательно мы только с третьей.

- Не может быть!.. Я видела его глаза!..

Я не могла ей поверить. Я не сомневалась, что всё это она выдумала. Выдумала прямо сейчас, для пущего эффекта, для того, чтобы поразить меня еще больше!

- Нет, вы не психолог, - она насмешливо покачала головой. - Пожалуй, вам все-таки лучше вернуться к стихам - там психология не обязательна, там достаточно чувства...

Она снова затянулась, но сигарета погасла, и она бросила ее на землю.

- А тогда я с трудом уговорила мужа пойти на мой вечер, - продолжала она, с явным удовольствием ожидая моей реакции. - Хотя я предпочла бы не видеть его в зале, как впрочем и в любом другом месте. А уговаривала я его потому, что боялась оставлять дома их вместе: его и Митьку - моего сына. Подчеркиваю - моего сына, а не нашего.

Не дожидаясь моего вопроса, она кивнула:

- Да, от первого брака. Если бы вы знали, какой это был ад! Какая взаимная ненависть! Я боялась, что дело в конце концов дойдет до поножовщины. И как показала жизнь, была не так далека от истины.

"Свекровь в больнице, переходный возраст..." - вспомнила я.

- Но тогда, после выступления... в ресторане... Он вел себя безукоризненно! Я им просто любовалась!

- Ну еще бы! Мы же все интеллигентные люди! Мы знаем, как надо себя вести. Особенно, когда нам это ничего не стоит. Но в ту минуту, когда где-нибудь что-нибудь можно урвать, мы начисто забываем правила хорошего тона.

- Насколько я понимаю, вы говорите о том, что было между вами потом?

- Разумеется. Ему все-таки удалось оттяпать у меня половину квартиры на Проспекте Мира, которую дал мне - именно мне! - Литфонд. Он правильно рассчитал. После конкурса в Праге с ним носились как с писаной торбой, и суд вошел в положение бедного лауреата

- А что теперь? Чем вы живете? Что осталось?.. Сын?

- Нет, - она грустно покачала головой. - Мы чужие люди. Он так и не смог простить мне моего второго замужества. Поэтому я и не спешу домой.

- А стихи?.. Они-то остались? Они настоящие?

- А Бог их знает! Когда-то были настоящими. Во всяком случае я не притворялась... А сейчас? Пожалуй, это инерция. Цепляю по привычке слово за слово и качусь по наезженной колее...

Почувствовав, что я хочу возразить, она коснулась моей руки:

- Только не говорите, ради Бога, всех этих тошнотворных банальностей: что я должна писать, что всё еще наладится... Постарайтесь, чтобы я не раскаялась в своей откровенности. И извините, что не оправдала ваших надежд.

Последние две фразы она произнесла совершенно другим, светским тоном, и в ней проступила прежняя Королева, внимательная и милостивая к своим подданным.

Я поднялась.

- Вы сами доберетесь до дома?

- О, разумеется, не беспокойтесь, - царственно кивнула она. - А вы далеко отсюда живете? А то я могу подбросить вас на такси! Мне это ничего не стоит!..

- Нет, мне на Марс. Или на Луну. Таксер вряд ли согласится туда ехать, - сказала я, и она улыбнулась в ответ.

- Боюсь, что и там вас ждет неудача. Оттуда вас пошлют на Сатурн. Пишите лучше стихи! А еще лучше займитесь вышиванием!..

Милая девушка неодобрительно смотрела на меня, ожидая ответа.

- Так вы ничего больше о ней не знаете? - повторила она свой вопрос.

- Ничего, - сказала я твердо. - А зачем о поэте что-то знать? Всё есть в его стихах. Этого достаточно.

Я пришла домой и достала с полки ее сборник.

Действительно, всё, о чем она мне рассказала, было в ее стихах, но мы почему-то тогда этого не замечали...



## Римма Глебова

### Последний праведник



- Ты слишком красива. Красота спасет мир, не так ли? Если сначала эту красоту спасти... Тебе лучше быть блондинкой. - Неожиданно заключил он.

- Но почему?

- Рыжие волосы... и твои глаза... Ну, неважно, это я так... - он помолчал и задумчиво смотрел на нее.

- Дарина, значит... Почему не Рахиль, не Эстер... Так твоя подруга живет в Берлине... и её муж немец. Да-да, ты говорила, что наполовину поляк... а я думаю, что наполовину еврей. Но теперь это не имеет значения... Это раньше подсчитывали половинки и четвертинки. То время прошло... Дарина – от слова «дар» – по-русски, если я правильно понимаю. Я немного учил русский. Дар жизни, не так ли?

Он продолжал изучающе рассматривать её.

- Открою тебе один маленький секрет. Я тоже немец. Ты имеешь что-то против?

- Мне как-то всё равно. - Дарина пожала плечами. - Ты же сам сказал, что то время ушло. Сейчас национальность не имеет прежнего значения.

- Да-да. - Он забарабанил пальцами по низкому лаковому столику перед креслом, в котором сидел. Встал, прошелся по номеру, сложил стопкой разбросанные журналы на диване, передвинул вазу с цветами на середину письменного стола. - В мире нет прежнего порядка, - бормотал он. - Всё не так, как в былые времена... Поедем! - он открыл шкаф и достал свой черный пиджак, который повесил туда по приходе час назад в номер. Бросил ей белую сумочку, очень дорогую, сегодня купленную, Дарина подхватила ее за ремешок.

- Куда? В ресторан? Мы же пришли отдохнуть. -

Дарина обвела глазами шикарный номер-люкс. Новый знакомец только час назад привел ее сюда. - И я еще не проголодалась.

- В парикмахерскую. Я повезу тебя в лучший берлинский салон, в прекрасный салон...

Он или сумасшедший, или у него какой-то непонятный расчет. Дарина бросила взгляд в сторону спальни. В открытой двери была видна часть роскошной постели. Если эта кровать его цель, то зачем нужен «прекрасный салон»? Может, Питер принял ее за проститутку? Он еще не слишком стар для утех. Сколько всего ей накопил. Она еще не пришла в себя после обеда в шикарном ресторане, а потом вояжа по бутикам, а если подумать об их странном знакомстве, то вообще ничего не понять...

Они встретились на улице, неподалеку от берлинского музея, где проходила выставка мексиканской художницы Фриды Кало. Дарина только вышла оттуда, прошла с десяток шагов, и тут... нос к носу. Совершенно случайно. Так ей сначала показалось. Потом уже, много позже, она подумала, что он высмотрел ее в людской толпе еще раньше. Вдруг возник перед ней мужчина, солидный, седой. Она качнулась вправо, и он тоже. Она влево – и он. Он не давал себя обойти. Через минуту он уже держал ее увесистый пакет с покупками, через две они знали имена друг друга, через пять она сидела в его машине, которая стояла за углом. Он мгновенно затянул её в стремительную карусель слов, восхищенных улыбок, искренних комплиментов, ненавязчивых, но все же требующих немедленных ответов, вопросов. Разговаривали по-английски, и он сказал, что у нее прекрасное произношение. Они куда-то поехали. Он покрутил настройку радиоприемника, прислушался к немецкому диктору, увеличил громкость, Дарине показалось, что он чего-то ждал. Ей никогда не нравился немецкий язык. Она невзлюбила его с детства, с кинофильмов про войну, с маминого рассказа о сожженной в сарае, вместе с другими евреями, бабушке. Бабушка была тогда молодой, а ее маленькую дочку – впоследствии ставшей мамой Дарины,

спрятала русская соседка, которая сетовала на рыжие волосы девочки.

Дарина уже как-то ездила в Берлин – повидаться со школьной подругой, – впервые выехала за границу, и Берлин её поразил. Показательно чистый, ухоженный, с чистыми и ухоженными людьми на улицах, и такой же был муж у подруги, и такие же двое маленьких, белобрысых чистеньких мальчика. После безалаберного, не очень-то чистенького и беспокойного Израиля всё казалось странным и непривычным. И чужим. Муж подруги слишком пристально её разглядывал. Сама подруга, всегда такая веселая и заводная, теперь смеялась редко, поглядывала голубыми глазами в сторону мужа, и беспокойно теребила свои светлые тонкие волосики, завитые на концах в локончики, а по вечерам сидела над амбарной книгой и усердно подсчитывала расходы за день.

Всё это – и муж, и ежедневный подсчет, и чужой язык всюду – напрягали Дарину. Кроме того, всё недельное пребывание в гостях её не покидали тревожные мысли ни на час. Пока она тут развлекается, гуляет по улицам и паркам, ходит по магазинам, дома может случиться что угодно. Страшный теракт, массовое нападение хамасовцев, или мама заболит. Предчувствия одолевали её. И Дарина с радостью улетела, наконец, домой. Дома... нет, мама не заболела. И Хамас не напал. Друг её погиб. В армии, за день до её возвращения. Нелепо и случайно, на учениях. Он не хотел, чтобы она ехала куда-то, без него. Говорил: «Подожди, я отслужу, мы вместе поедem, куда захочешь? Хочешь – в Париж?» А она не подождала. Долго показалось ждать, еще целый год, и подруга настойчиво звала. Уехала, а потом казнулась. Хотя понимала, что вряд ли, оставшись, могла на что-то повлиять. Случайности непредсказуемы.

И вот, теперь опять Берлин. Дарина приехала по студенческому обмену, жила в немецкой семье, и на этот раз влюбилась. В приветливую семью, в которой говорили, разумеется, по-немецки, но так, что она почему-то всё понимала. В бульвары, улицы, музеи и парки. И никаких тревожных мыслей. Ничего, нигде, ни с кем не случится. Жизнь замечательна! А новое неожиданное знакомство



веселило её. Питер чем-то напоминал ей своего отца – фигурой, ростом, красивой сединой, хотя отец был значительно моложе. Был... Он ехал в автобусе в Иерусалим по делам, попал в теракт и погиб сразу, наверно, ничего и понять не успел. Дарина долго не могла придти в себя, а уж мама... Она долгое время никуда не хотела отпускать дочку, всё чего-то боялась.

Питер уменьшил громкость приемника и перестал слушать. «Еще нет.. еще нет...», - пробормотал он по-немецки. Он повез её обедать в ресторан, потом по магазинам, после в отель, потом в салон...

Дарина вышла из салона в холл – роскошно обставленный, с зеркалами до потолка, прошла мимо ожидающих своей очереди на диванах посетителей, и остановилась перед привольно сидящим в кресле Питером. Покосилась в большое зеркало. С новой стрижкой и осветленными волосами она стала другой. Питер глянул на неё и довольно потер руки.

- Ну вот! Это как раз то, чего я хотел. Тебе очень идет. Теперь ты похожа на русскую, или даже немку. Поехали!

Дарина уже не спрашивала, куда. Питер всем командует, и даже ее внешностью. И как-то возразить, спорить почему-то не получается. Может, в Берлине так и надо жить? Почему бы нет? Перемены так будоражат, и новое знакомство, и новый собственный образ – интересно же, и просто здорово! Пусть мама и заявляет, что её дочка слишком подчиняется обстоятельствам, не умеет сопротивляться. Что это чисто еврейская несчастная черта, переданная предками своим потомкам.

А почему надо обязательно сопротивляться?.. Дарина улыбнулась Питеру. Он показал большой палец и взял ее под руку.

В машине Питер сразу включил радио. Диктор говорил взволнованно, захлебываясь в словах, она решила, что речь идет о какой-нибудь спортивной победе. Голос диктора сменился воинственным маршем, и она поморщилась. Питер уменьшил звук и нервно потер ладони. Пробормотал: - Ну, они вуалируют. Но я всё понял... - Он

повернулся к Дарине.

- Твоего Израиля больше нет. Почти нет. Три бомбы сразу и, возможно, одна из них ядерная. - Он наблюдал за лицом девушки с любопытством, в серых глазах был интерес и сочувствие.

- Как это?... - прошептала она. - Не может быть... Это невозможно!

- Может, может. И возможно. Всё к тому шло. Евреи надоели всем своим Холокостом, пора было прекратить эту вакханалию. Им говорили, но они не понимали. Не хотели понять. Я лично ничего против них не имею, и я лично бомбы не стал бы бросать. Я пацифист. С меня хватило гитлерюгенда, хотя я тогда неплохо научился стрелять и обращаться с фаустпатроном. Но я был мальчишка и играл в войнушку. Поражение мне вправило мозги, я понял, что фюрер мерзавец и псих. Но, то, что происходит все годы после войны, до сегодняшнего дня, мне тоже не нравится. Я имею в виду их стенания по всему миру. Ладно, оставим это. Ты не виновата, что родилась еврейкой, я не виноват, что состоял в гитлерюгенд. Мне было двенадцать лет, и я не сталкивался ни с каким иным режимом, кроме существовавшего тогда. Я не понимал, что могут быть другие идеи. Служа фюреру, я ощущал себя одним целым со своим отцом, который был на фронте. Мы носили форму и маршировали, как настоящие солдаты... Как-то меня пригласила на день рождения девочка, двоюродная сестра. Она была членом «юнгмэдль» – организация для девочек. Она сама испекла пирог и сверху нарисовала кремом свастику, и была очень горда своим произведением. Тетя Грета заметила насмешливо, что вряд ли это можно есть. А я любовался этим пирогом. Я гордился, что состою членом такой замечательной группы, как «гитлерюгенд», мне нужен был идеал и пример для подражания, я не хотел быть в стороне и прослыть белой вороной. Кроме, того, в форме, я, тогда щуплый и маленький, чувствовал себя увереннее и взрослее. Но всё-таки во всём этом была игра, во всяком случае, для меня. Игра в войну, как бы понарошку. Потому что, когда пришлось стрелять, я палил куда придется, главным делом было – пульнуть! Питер задумался, лицо его

менялось, словно воспоминания проходили по нему волнами, и сам он пребывал уже не здесь, серые глаза то суживались, словно вглядывались вдаль, то широко раскрывались... Он снова начал говорить.

- Немцы думают сейчас мало об этой войне. Для них случился так называемый «час икс», девятого мая сорок пятого года. После него все захотели жить по-новому. Вместо памяти о войне, появилась некая развитая культура воспоминаний и покаяний относительно того, что называется Холокостом. Наверно, это нужно, я считаю, что нужно. Эти шесть миллионов, что погибли в концлагерях... просто ужасно. Но ведь... были тогда немцы, которым эти ужасы не нравились, и были немцы, которые спасали евреев. И вот... сейчас, тоже пришел такой час... - голос Питера стал тихим, он почти бормотал.

Наконец, он пришел в себя и повернулся к девушке.

- Ну, что-то я тут ударился в далекое прошлое... Я чувствовал, интуиция меня не подвела, что ЭТО может случиться со дня на день, с минуты на минуту... И вот! Короче, твоего Израиля больше нет, я в этом уверен, мне очень жаль, но... тебе не надо возвращаться, потому что некуда, - сочувственно, но и с каким-то удовлетворением заключил Питер.

Потом он её успокаивал, брызгал в лицо водой из бутылки...

- Поедем, выпьем чего-нибудь, тебе это необходимо,  
- Питер вытер бумажной салфеткой её мокрое лицо и тронул машину с места.

Они около часа посидели в баре, Питер заставил её выпить рюмку коньяка, сам выпил две.

- Сейчас мы поедем в агентство за билетами... Или, пожалуй, переночуем в отеле, а утром сразу в аэропорт, там и возьмем билеты...

Дарина его не слушала. Поверить, что ее страны больше не существует, было невозможно. Она оглядывалась, хотелось еще с кем-то поговорить, кроме Питера, узнать, спросить... В баре было нешумно, немцы редко шумят, телевизор над стойкой показывал красивые морские виды, но мало кто туда смотрел. Дарине показалось, что за

соседним столиком говорят на иврите, но тут Питер взял ее за руку и вывел из бара. Оглянувшись в дверях, она увидела кадры на экране телевизора: Эйлат, отели, морское побережье...

- Я только что видела по телевизору! - сказала она на улице. - Ничего там не случилось, люди гуляют, всё нормально!

- Это старые записи. Специально показывают, - объяснил Питер, - никто ведь ничего не знает, всему свое время... Успокойся, пожалуйста.

Он опять настойчиво сказал про билеты на самолет.

- Куда? - спросила Элита.

- В один тихий городок... на границе с Австрией, где я живу.

- Я не поеду туда!

- Поедешь. Тебе некуда теперь больше ехать. Сейчас в Германии для тебя будет безопасно, как никогда. Германия будет отрешиваться от случившегося, а уничтожение Израиля представит как сумасшествие отдельных безумцев нацистов. Которые считают, что Германия жертва сионистской пропаганды. Недавно итальянский епископ заявил, что Катастрофа произошла из-за захвата евреями власти над экономикой Германии, и ответственность за массовое уничтожение людей лежит на самих евреях, притом на всех. Его заявление сильно ускорило события, так я полагаю... А тебе вообще нечего бояться. Ты блондинка с хорошеньким носиком и светлыми глазами. Ты англичанка, или даже русская! Ты знаешь английский и русский, а про иврит забудь!

«Да, точно, за столиком впереди говорили на иврите, и Питер тут же её увел», - подумала Дарина.

- Почему ты со мной познакомилась? - вдруг спросила Дарина, когда они сели в машину. - Зачем я тебе нужна?

Питер не ответил, сидел и о чем-то думал.

- Посади меня на самолет в Москву. У меня там живет двоюродный брат.

Питер, глядя перед собой, начал медленно говорить.

- Я люблю свою страну. И должен оправдывать ее во всем, что бы она ни совершила, и что бы я об этом не думал.

Я никогда не предаю Германию. А ты... Ты пока будешь со мной, пока всё не выяснится. А в Москву у тебя визы нет. Ведь, нет?

Дарина кивнула.

- А сейчас мы поедим в отель. Тебе нужно отдохнуть. Да и мне тоже.

Ночью он спал в салоне на диване, а Дарина в спальне, на роскошной широкой кровати. Но она почти не спала. Думала, что хочет от нее Питер, почему он... «Он хочет меня спрятать, скрыть, но разве мне угрожает опасность? Неужели вся Германия опять способна сойти с ума и уничтожить всех евреев?..». Дарине чудилось, что она опутана паутиной незнания, может быть, даже какого-то чудовищного обмана... Никакой информации, кроме той, что сообщает Питер. Как-то странно он рассуждает. То надоели евреи со своими проблемами, то чуть ли не гордится «развитой культурой воспоминаний и покаянием». И что были немцы, которые спасали евреев. Может, и были такие, единицы из всего народа. Всегда найдутся сердобольные и порядочные, хоть кто-нибудь, да найдется...

Утром, за завтраком, который подали в номер, она повторила свой вчерашний вопрос.

- Почему ты со мной познакомился? Как ты узнал, что я еврейка?

- Я увидел тебя возле толпы туристов. У некоторых в руках были бело-голубые флажки... с вашими звездами. Ты разговаривала с пожилой парой... на иврите. Ты улыбалась, ты рада была, что есть с кем поговорить. А потом группа ушла в одну сторону, а ты в другую. А я... пошел за тобой. Ты зашла в музей. Я стал ждать. Я понял, что я должен...

- Что? Что ты должен? Предупредить?

- Что толку предупреждать? Поздно уже было.

- Отдай мой паспорт! Зачем ты его взял? Я поеду в аэропорт и возьму билет в Израиль.

- Иди. Вот твой паспорт. - Холодно сказал Питер и бросил на стол синюю книжечку. - Самолеты туда вряд ли летают, и страна твоя осталась только на карте.

- Тогда я останусь здесь, в Берлине.

- На каких правах? Ты же сама сказала, что на днях

срок твоей стажировки заканчивается.

- Я попрошу политического убежища.

- Не смехи. Тебя депортируют в любую другую страну, которая согласится тебя принять, а до того будут держать не в самых хороших условиях, поверь мне. И это в лучшем случае. А в худшем... ты просто исчезнешь...

Дарина в изумлении смотрела на него. «Исчезнешь». Такое впечатление, что она и Питер живут в разных временах. Или она мало что понимает во всем, что происходит... Откуда ей знать...

- В таком случае, я обращусь в израильское консульство. И спрошу, что мне делать.

Питер безнадежно махнул рукой.

- Я звонил туда. Закрыто до выяснения обстоятельств, - не глядя на нее, сказал он.

Питер купил в аэропорту билеты, и они пошли по широкому коридору искать свой вход на посадку. Дарина увидела, как к одной из стоек продвигается на посадку цепочка людей, человек пятнадцать. Бородатые мужчины в черной одежде и в черных шляпах. Дарина остановилась. Тут она заметила, неподалеку, смуглого кудрявого парня, стоящего в стороне от цепочки и с ненавистью смотрящего на мужчин. В руке у него была плотно набитая спортивная сумка, и он то и дело опускал на нее глаза. Вдруг взгляды парня и Дарины скрестились, и секунду они напряженно смотрели друг на друга. Парень отвел глаза и стал продвигаться ближе к черной цепочке... Питер взял Дарину за руку, побуждая идти дальше, но она не двигалась с места и беспокойно смотрела вокруг. Она увидела то, что искала – куда летят эти люди. Над стойкой, на небольшом табло была надпись: «Тель-Авив».

Дарина повернулась к Питеру... и уже открыла в возмущении рот... но тут вокруг началась какая-то суматоха, смуглый парень мгновенно исчез из виду, а двое мужчин в полицейской форме расталкивали людей, вглядывались в лица, сверяясь с фотографией у одного из них. Полицейские увидели Питера, держащего за руку Дарину, и двинулись к ним. Питер быстро выпустил руку девушки и отодвинулся от неё.

- Ваши документы!

Питер, нехотя и медленно, вынул из пиджака паспорт.

- Я гражданин Германии! В чем дело?

- Вы знаете эту девушку?

- Впервые вижу. Она сама ко мне подошла. Я не знаю, что ей от меня нужно!

- А ваш паспорт? - обратился другой полицейский к Дарине. Она молчала. Опустила глаза и увидела возле своих ног синюю книжечку. Подняла и протянула полицейскому.

- Я уронила... только что... - сказала она по-английски, не глядя на Питера.

- Та-а-к... гражданка Израиля... Куда направляетесь? Вы знаете этого человека?

Дарина кивнула. Полицейские перешли с немецкого на английский, вопросы сыпались один за другим, но она не знала, что отвечать. Их отвели в какую-то комнату и вопросы продолжились. Питер громко возмущался задержанием, заявлял о своих правах, а испуганная Дарина совсем запуталась в ответах.

- Вы, мисс, говорите, что хотите в Израиль, а господин Питер Майер...

- Какой Израиль? Израиля больше нет! Израиль уничтожен! - вскричал Питер. - Я хотел ее спасти от уничтожения! Я – последний праведник в этом мире!

- Вы, господин Майер... последний сумасшедший в этом мире! Вы сбежали из психиатрической клиники, и это не в первый раз! Вы уже спасали девушку, еврейку, вы помните?.. - он заглянул в паспорт Дарины. - Дарина Вейцман... Этот господин больной человек. Он уже однажды спасал гражданку Израиля. Мы ее с трудом нашли в подвале его домика в горах. Его отправили в клинику лечиться. И вот, каким-то образом, он сбежал... Господин Майер, как вам удалось сбежать?

Питер молчал. Его обыскали и нашли кредитную карточку.

- Ну вот, он её из сейфа клиники взял, - сказал один полицейский и усмехнулся. - Без денег разве уедешь куда-нибудь.

- У него идея-фикс, - пояснил он негромко Дарине, пока другой занимался документами и что-то записывал. - Спасти еврея и объявить себя праведником мира.

Дарина громко разрыдалась.

- Мне показалось... он хороший человек, - сказала она сквозь слезы. - Он очень хорошо ко мне отнесся. Питер действительно хотел меня спасти...

- Но он обманул вас. С Израилем ничего не случилось. Всё случилось в его голове. Насколько нам известно, его отец воевал в частях СС, и проявил... как вам сказать... он усердно и ревностно выполнял приказы начальства... Отца Питера судили, и он умер в тюрьме. А Питер... он решил, что должен искупить вину отца. Он сам об этом говорил, когда был задержан в первый раз и определен на лечение. Жена его сразу бросила, а сын... сын руководит маленькой неонацистской группировкой в Мюнхене. Что он думает о своем отце, можно только предположить... По всей видимости, старший господин Майер остался при своем... при своей безумной идее. Мы уже несколько дней его разыскиваем... Он взял из сейфа клиники свой паспорт и кредитку... сейф забыли закрыть. И уехал подальше, чтобы сразу не нашли. Псих, но сообразительный! Ну, не плачьте, успокойтесь. Слава Богу, он не успел вас увезти к себе и спрятать в подвале. Не переживайте, всё обошлось.

- Я... мне жалко его...

- Бросьте. Он просто псих. Праведник мира! - полицейский расхохотался.

- А почему у вас в паспорте фото с черными волосами, а вы блондинка? - спросил другой, рассматривая паспорт Дарины. Питер при этих словах отвернулся.

- Питер... он попросил меня перекраситься. Чтобы я не была похожа на...

- Попросил, или заставил? - настороженно спросил тот, вертя в руках паспорт.

- Нет, он не заставлял, только попросил.

- Вы хотите сказать, что никакого насилия не было? Ни в чем?

- Ни в чем. - Твердо ответила Дарина.



- Ваши показания и ваши данные записаны. Вы будете свидетелем, если понадобится. Это не нам решать. Уедете вы, или останетесь, вас в любом случае могут вызвать. Хотя, поскольку этот господин болен, и, если вы не будете иметь в дальнейшем к нему претензий...

- Я не буду иметь, - поспешно сказала Дарина. - Питер не причинил мне никакого зла. Он ведь... хотел меня спасти...

Питеру велели встать, его собрались уводить. Он оглянулся на Дарину... Она подошла к нему и взяла за руку. Потом обняла. У Питера увлажнились глаза.

- Ничего, девочка, - тихо сказал он. - Пусть у тебя будет всё хорошо. Не сердись на меня.

Полицейские с изумлением смотрели на эту сцену.

- Если бы он увез ее и засунул в подвал, она бы иначе отнеслась к нему... совсем иначе... - сказал полицейский, что допрашивал Дарину.

- Однако, его совсем не вылечили, судя по всему, - заметил другой.

- Возможно, это не лечится. Тяжелый психический случай. Последствия, знаете ли, войны... чувство вины. Но его случай – единственный, насколько это известно. Последний праведник Питер Майер...

Дарина выпустила руку Питера, и его увели.

- Послушайте, - побежала за ними Дарина. - Там, в зале, у стойки Тель-Авива, я видела какого-то парня... мне показалось, он что-то задумал...

- Не волнуйтесь, за ним следили. Он, без сомнения, уже арестован. Однако... спасибо за наблюдательность!

Дарина поехала в семью, в которой жила, собрала чемодан, и утром другого дня, попрощавшись с добрыми хозяевами, улетела в Израиль. Дома никому ничего не рассказывала. Мама будет переживать и плакать, а подруги смеяться и выпытывать подробности.

Позже она всё же рассказала самой близкой подруге. Та удивлялась, ахала. А потом спросила:

- Так ты что, не забрала из отеля вещи, которые он тебе купил?

- Я даже о них не вспомнила, - сказала Дарина. - При

чем тут вещи? Ты знаешь, я всё время его вспоминаю. Питер был такой искренний...

- Ну да. Твое счастье, что он не засадил тебя в подвал... а потом мог забыть об этом. Тебе повезло!

Дарина помолчала.

- Он меня спасал. Я это точно знаю. И мне его жалко. Как будто он и в самом деле последний праведник.

- Забудь его! Он же просто псих!

- Я постараюсь. Но вряд ли смогу.



**Елена Матусевич**

## **Дай Бог каждому**

**Рассказы**

**Балкон**



алкон. Она стоит твердо, несильно опираясь. Осанка, крепкая спина, густые пышные волосы. Лицо свежее, давление нормальное, пульс девический. Вся в чистом. Уход хороший, дом новый, занавески веселенькие.

Она стоит там каждый день, сосредоточенно-растерянно вглядываясь в то, что под ней, под балконом. Снуют люди, гремит трамвай. Она никогда не видела этой улицы. На углу вечная скорая. Ее обтекает, не касаясь, жизнь. Мощные арийские ребята вносят, выносят, катят, поднимают, вываливают, пересаживают, увозят, привозят. Но нежно. Уход.

Новый дом на самом углу оживленной улицы. На перекрестке светофор, огоньки, переход, булочная. Старались. Но жизнь вежливо топорщится и в зазорах между ней и домом дышит только персонал. Пустыня в оазисе. В окнах игрушки, при входе цветы. Еще немного и ясельки, еще немного и погост. И никто не виноват. И столько денег. И у нее ничего не болит, и она будет жить долго-долго.

### **Дай Бог каждому**

Говорят, рыбы, когда откидываются, всплывают. Наш нет. Он, а это был он, на дно лег. Заплыл в свой домик из камешков и лег. Скажете, совсем делать нечего, подумаешь, рыбка. Есть мне что делать. В том-то и дело. Занятая я очень. Нет, мы воду меняли, кормили. Только в последнее время не подходили к нему почти. Потом смотрю, плохо ему. Совсем плохо. Заметно. Стыдно стало. Наклонилась,

постучала. Он встрепенулся весь резко, оживился, затрепыхался, наверх подплыл, к самому краю. Заплавал, заплавал туда-сюда. Красивая рыбка, маленькая, ажурные плавнички. Потом опять мне некогда стало. Вечером вспомнила, пойду, думаю, воду поменяю, давно пора. А он вот, лежит за камешком, тихонько так. Тряхнула аквариум, а чего трясти?

В прошлый раз мы его выходили. Живая тварь, жалко. А в этот забыли. Мы забыли, и он лег себе на дно. Стал не нужен и затих. Жил с нами больше года, мы с ним мучились, он с нами мучился. Кому это надо?

Утром встала, аквариум сухой уже, прямоугольный, чистый, как гроб хрустальный. Прислушиваюсь. Что-то не так. Это рыбки не слышно. Рыбы немые, а пустота после рыбки кричит. Стою.

Просто с ним было лучше, чем без него. Мы жили впятером. Папа – самый большой, мама поменьше, малыш еще поменьше, кот еще поменьше, и рыбка. Он был один из нас. Ему ребенок по утрам бежал «делать день», свет зажигать, и тот сразу просыпался, забавно так. А как только ему «делали ночь» тут же послушно забирался в свой домик. Утром он еще плавал, утром еще надеялся, утром был живой.

Ребенок проснулся. Бежит «делать день». Застыл. Затылок вытянулся, пижама дрожит. А где рыбка? Он болел, он умер, папа спустил в унитаз. А нас, когда умрем, нас тоже в унитаз? Нет, нас нельзя. Почему? Если правду, то оттого, что не пролезем. Но правду нельзя.

Что с того, что он был рыбка? Не так ли и мы, не точно так ли, до последнего надеемся, трепещемся, ждем внимания, спасения, утешения, избавления? Или чего мы там еще ждем? А обессилев, только и можем, что заплести в свой угол и отдать концы? Только у него, у рыбки нашей, это грациозно, ненавязчиво как-то получилось. Дай Бог каждому.



## Альберто Моравиа

# Римские рассказы в переводе Моисея Бороды

### Я и Он



азговаривать сам с собой начал я вскоре после того как от меня ушла жена – ушла, как она сказала, потому, что устала от моего молчания.

Что говорить? – да, молчаливым с ней я был, как и со всеми другими, но был я с ней таким потому, что её любил. Если любишь, то никакие слова не нужны – так? Хватает ведь и того, что сидишь рядом с любимым человеком, смотришь на него, чувствуешь, что вот он, здесь, рядом с тобой – разве этого мало?

Молчаливый с ней, я, после того, как она от меня ушла, начал разговаривать с собой.

Я, знаете, сапожник, а ремесло сапожника требует, как известно, сосредоточенности, особенно потому, что работа с кожей – дело тонкое. Беда, если ошибёшься: ноги ошибок не прощают.

И вот, когда ты приходишь после работы домой – с воспалёнными глазами, с головой, в которой ещё продолжают стучать удары молотка, с губами, израненными гвоздями – их ведь нужно, прежде, чем забьёшь в подошву, поддержать во рту, смочить слюной – и вот, придя в таком виде домой, хочется, ну – увидеть приветливую улыбку, услышать нежное слово, хочется, чтобы тебя поцеловали в лоб, чтобы на столе стоял горячий суп.

А вместо этого: ничего, совсем ничего, и слышишь только, как из крана на кухне капает вода.

Тишина, конечно, дело хорошее, когда рядом с тобой человек, которого ты любишь, когда ты знаешь, что если

захочешь, то можешь с ним поговорить. Но когда эта тишина тебе навязана, хочешь ты её или не хочешь, то она – одно мучение и больше ничего. Ну, и так вот получилось, что после того, как моя жена вернулась к её маме, я, оставшись один, готовя себе по вечерам ужин, и потом, за едой, незаметно для себя начал думать вслух.

Вначале это были общие фразы, то, что не касалось лично ни меня, ни кого-то другого. Например, я говорил: "Как же в этом доме холодно, как холодно!" или "Если бы мыши не резвились между потолком и крышей, не слышно было бы ничего, кроме капающей из крана воды" или "Постель уже два дня не убрана. Ну, ничего, уберу завтра".

Говорил я это не просто вслух, но громко, а по временам почти выкрикивал, хотя и были это всё вещи незначительные, но мне нравилось слышать свой голос, как он громким эхом отдаётся в пустых комнатах.

Дальше – больше. В один прекрасный день, сидя на кухне, я сказал: "Хорошая вещь вино. Оно утешает, успокаивает. Выпьешь литр – и все неприятности, все горести уйдут" – но тут же – как будто кто-то заставил меня это сделать – я громким голосом ответил: "Гильельмо, ты несчастен, и знаешь это. Вино, конечно, вещь хорошая, но утешить оно не утешит. И выпей ты хоть целую бутылку, всё равно ты не забудешь свою жену и то, что она тебя оставила. Да, вино хорошая вещь, но быть рядом с женщиной, которую ты любишь, намного-намного лучше".

Правда этих слов меня поразила, и я – точнее, мой первый голос – ответил: "Прав ты. Но что же мне ещё остаётся? Мне пятьдесят, моя жена, которой двадцать пять, меня оставила. Где я найду женщину, которая согласится со мной жить? Кроме вина, мне ничего и не остаётся – не так?" А другой голос: "Послушай, не корчи из себя философа. Знаешь же хорошо, что не можешь забыть свою жену, не можешь от неё отречься". А я: "Кто это тебе сказал? Я её вот именно забыл, вот именно от неё отрёкся!" А он: "Отрёкся – как же! Если бы отрёкся, не вздыхал бы сейчас так при одной мысли о ней, будь то даже в туалете или на лестничной площадке".

В общем, у меня объявились два голоса: один,

который был моим, а другой говорил за другого, и этот другой был тоже я, но в то же время и не я. И так случилось, что я, того не замечая, от разговора сам с собой перешёл к обсуждению, к спору с самим собой.

Но не всегда это было спором; иногда мы приходили к согласию.

Например, как-то в один из вечеров, когда я выпил полтора или даже два литра, я отправился в мою комнату и, став перед зеркалом шкафа, сделал зверскую рожу – чтобы себя рассмешить. А он на это – не без сочувствия в голосе: "Ну вот, ты, как обычно, напился. Счастье твоё, что ты дома, а не на улице. Не стыдно тебе в твои годы вот так?"

Так, в таком то споре, то согласии, прошло месяца два, когда в одну из ночей, выпив больше обычного, я стал, высунув язык, перед зеркалом – и увидел в зеркале Его. Он смотрел на меня с серьёзным выражением лица – ни язык у него не был высунут, ни рот открыт – и с состраданием.

Потом, посмотрев на меня так, сказал: "Устал я от тебя, Гильельмо, надоел ты мне". "Почему", – спросил я.

– Потому что, вместо того, чтобы сражаться, биться, ты сдался, отпустил поводья, смирился с тем, что твоя жена сделала, стал пьяницей, потерял интерес к тому, чем занимался, к твоему ремеслу.

– Кто это сказал?

– Я говорю это. Все уже в квартале знают, что ты пьёшь, и к тебе уже не ходят, подошвы на обувь ставят уже не у тебя, к другим идут. Знаешь, кто ты сейчас есть? Тряпка, развалина.

Меня эти слова задели. Скребя голову, я спросил его:

– Но что мне, по-твоему, надо делать?

– Сражаться, биться.

– Почему, для чего?

– Чтобы вернуть твою жену. Вижу, что без неё тебе жизнь не в жизнь, вот и постарайся её вернуть. Ты муж ей или нет? У тебя что – права нет на то, чтобы её вернуть, чтобы она вновь была с тобой? А есть, так действуй!

– А что мне надо делать?

– И ты спрашиваешь, что тебе делать? Ты очень хорошо знаешь, что надо делать.

– Нет, честное слово, не знаю.

А он, посмотрев на меня пристально: Делать то, чтобы добром или силой заставить её вернуться.

Эти слова, сказанные каким-то особым тоном, меня испугали. Я ответил: Добром я уже пробовал, и ничего не добился. Ну, а силой не хочу пытаться. Не хочу совершать ничего плохого.

Мне показалось, что то, что я говорил, было правильно, что я его убедил, но он покрутил головой и сказал угрожающим тоном: "Ладно. Поговорим об этом позже" – и с этими словами исчез из зеркала.

Встревоженный его словами, я пошёл спать. Но только я потушил свет, как услышал из темноты его голос: "Сейчас, когда ты стал немного спокойнее и хмель у тебя прошёл, я скажу тебе, что ты должен сделать, чтобы вернуть жену. Но не перебивай меня, выслушай до конца".

Я ответил ему: "Говори, я слушаю", и он, вроде полушутя, сказал, что завтра утром я должен пойти в мою мастерскую, взять там сапожный нож, пойти к моей жене, сунуть ей под нос нож и сказать: "Или ты пойдёшь сейчас со мной домой, или... видишь этот нож?"

Я ему на это сразу сказал: "Ты сошёл с ума! Об этом и речи быть не может! Разумеется, я хочу вернуть жену, но так? Грозить ей ножом? Я не хочу попасть в тюрьму". А он на это: "Ладно. Ты не хочешь попасть в тюрьму – это я понял. Но, знаешь, даже в тюрьме тебе будет лучше, чем здесь".

– Что ты хочешь этим сказать?

– Хочу сказать, что в тюрьме ты по крайней мере не будешь в одиночестве. В общем, терять тебе нечего: или ты вернёшь себе жену – тем лучше для тебя – или ты преподашь ей ножом урок, и дело кончится для тебя тюрьмой, но ты хотя бы будешь не один, а в компании других арестантов.

– Да ты сумасшедший!

– Нет, я не сумасшедший. Ты, Гильельмо, так одинок, что даже и тюрьма тебя обрадует.

Эти слова вывели меня из себя настолько, что я поднялся и, сев на кровати, сказал ему твёрдым голосом,



решительно:

– Об этом не может быть и речи. И замолчи, заткни твою злобную, преступную глотку и дай мне спать.

А он на это: Предупреждаю тебя: Если не сделаешь это ты, сделаю я.

– Я тебе сказал: дай мне спать!

– И сделаю это завтра утром.

– Замолчи!

– В общем, мы поняли друг друга.

Я вскочил с постели и, нащупав в темноте башмак, запустил в него. Но он, хитрый как чёрт, увернулся. Вместо его голоса я услышал треск разбитой посуды и понял, что мой башмак попал в графин с водой, стоявший на комод. Я провалился в сон.

Наутро, как только проснулся, я сразу подумал, что мне сейчас нельзя терять времени. Пока я буду греть себе кофе, он может отправиться в мою мастерскую (ключи у него были, я ему их, к сожалению, дал), возьмёт там мой сапожный нож, пойдёт к моей жене и... порежет её на мелкие куски.

При мысли, что такое может случиться, у меня всё тело покрылось гусиной кожей. Бросив мысль о кофе, не умывшись и не побрившись, с растрёпанными волосами, я выскочил из дома, уже на лестнице натянув на себя пальто.

Было раннее утро, всё вокруг было покрыто росой. На улицах, стоящих в густом тумане, в эту утреннюю пору не было видно никого, кроме немногих людей, спешащих на работу; я видел, как у них при выдохе возникают около рта облачка пара.

Мастерская моя была на *vicolo del Fiume*, я уже бежал по *via Ripetta*, когда, завернув за угол, увидел, как он, крадучись, выходит из моей мастерской и направляется к Тибру.

"Вот, началось", – подумал я. – "Он человек слова, тут ничего не скажешь, сказал – и сделает, как сказал. Я должен преградить ему путь, не дать ему это сделать".

Я побежал к моей мастерской, и тоже взял там сапожный нож – на случай, если он, разозлившись, на меня нападёт. Потом я зашёл в расположенный неподалёку бар, в

котором была телефонная кабина.

"Кофе нет, машина испортилась", – прокричал мне с ходу бармен, который меня знал. Я пожал плечами: "Кофе? Не хочу я никакого кофе, у меня сегодня другие дела".

Сказать по правде, в то время как я искал в справочнике номер полицейского комиссариата, у меня от волнения дрожали руки. В конце концов я нашёл номер, набрал, трубку подняли, спросили, что мне надо, и я объяснил: "Вам нужно ехать туда немедленно. Он вооружён сапожным ножом. Дело идёт о жизни человека".

Голос в трубке спросил: "А как его зовут, этого человека с ножом?" Я чуть подумал и сказал: "Паломбини Гильельмо". Так зовут и меня, одно из совпадений с ним. Голос в трубке заверил меня, что они немедленно примут меры.

Я бросился к площади *del Popolo*: полиция всегда приезжает с опозданием, и лучше, если в дом моей жены, куда отправился сейчас он, отправлюсь и я. Я остановил такси, сел, выкрикнул шофёру адрес и потом добавил: "Скорее, ради Бога, скорее, дело идёт о жизни человека"

Шофёр, старичок с белыми волосами, спросил, в чём дело, и я ответил:

– Некто Паломбини, сапожник, вооружённый ножом для резки кожи, едет сейчас в такси к своей жене, которая его оставила, и хочет её убить... я должен ему помешать.

– В полицию ты сообщил?

– А как же!

– А как ты об этом деле узнал?

– Ну, я и этот Паломбини – мы в каком-то смысле друзья. Он мне сам об этом сказал.

Шофёр помолчал, потом сказал: Многие корчат из себя бог знает каких злодеев, делают вид, что рассвирепели, а доходит дело до дела – от всего этого и следа не осталось.

– Ошибаешься, он это на самом деле сделает, я его знаю.

В таких разговорах мы ехали по пустынным улицам по направлению к *via Giulia*, где жила моя жена.

Такси остановилось, я вышел, расплатился, такси уехало, я пошёл к совершенно пустынной *via Giulia*, и тут

увидел его, негодяя, который в этот момент как раз входил в ворота дома моей жены.

Я вспомнил, что в этот час моя теща, старая ханжа, находится в церкви, что моя жена, таким образом, дома одна и скорее всего, в постели, спит; ленивая, вялая, она любила по утрам спать допоздна. "Ничего не скажешь, хороший момент он выбрал" – подумал я. – "Всё предвидел. Быстро, скорее, бегом, а то он тут устроит бойню".

Я поспешил к воротам, поднялся на лестничную площадку к её квартире и тут увидел его, громко стучавшего в дверь со словами: "Проверка газового счётчика" – верный метод, чтобы тебе открыли.

Я подкрался и стал сзади него. Через какое-то время по комнате прошаркали шлепанцы, дверь приоткрылась и я услышал голос моей жены: "Счётчик на кухне".

Для вида он чуть задержался у двери, потом прошёл в коридор. Я – за ним.

В коридоре было темно. На меня пахнуло знакомым запахом – так пахло от неё, когда она спала, тёплая, юная – и от этого запаха я едва не лишился чувств.

Я прошёл на цыпочках прямо в конец коридора, к её комнате, открыл дверь, которую она, ложась в постель, оставила приоткрытой, и вошёл в комнату. В ней, как и в коридоре, было темно, но я, пусть и смутно, увидел двуспальную кровать, рассыпавшиеся на подушке чёрные волосы и на их фоне – белые голые плечи моей жены, спавшей, лёжа на боку: ответив на "Проверка счётчика", она отправилась досыпать.

Сказать по правде, когда я увидел эти плечи, меня охватила такая тоска по времени, когда я, уходя ранним утром на работу и тихо ступая, чтобы её не разбудить, мог посмотреть на неё спящую, что я вдруг забыл Его и то, что у него в руках нож, упал на колени, взял мою жену за руку и сказал: Любимая, сокровище моё, вернись ко мне!

Я уверен, что моя жена могла бы в этот момент дать себя убедить, если бы Он, этот негодяй, не встал бы с другой стороны кровати, подняв руку с зажатым в ней ножом и, тряся мою жену за плечо, произнёс страшным голосом: "Или ты сейчас пойдёшь со мной, или... видишь этот нож?"

Не стану в подробностях описывать, что было потом: я боролся с ним, пытаюсь его разоружить, моя жена, полуголая, бегала по спальне, кричала что-то и бросала в нас что под руку попадётся, потом квартира наполнилась какими-то людьми, появилась полиция.

Прыгая по комнате, я кричал: "Арестуйте его, это опасно, берегитесь, у него в руке нож!", но полицейские – видимо потому, что и у меня в руке был нож – без долгих слов взяли за меня, вытащили меня из квартиры и повели с собой. На лестнице, сопротивляясь, я кричал им: "Его вам нужно арестовать, его, а не меня! Это ошибка!"

На улице собралась большая толпа, меня усадили меня в полицейскую машину, и подняв глаза, я увидел его, в наручниках, сидящего напротив меня между двумя полицейскими. С ехидной, злой улыбкой он произнёс: "Ты видел, я сделал это". Я закричал, указывая на него: "Этот негодяй разрушил мне жизнь... Он разрушил мне жизнь!" – и потерял сознание.

И вот сейчас я в одиночной камере с обитыми резиной стенами – под наблюдением, как мне сказали, потому что у меня от горя помутился ум. Я не жалуюсь, но чувствую себя совсем одиноким. Его же поместили в Regina Coelli, и вот так нас разлучили – он в тюрьме, я в сумасшедшем доме.

Так я лишился единственного общества, и нет у меня сейчас никого, с кем я мог бы разговаривать. И поэтому я вынужден молчать – до конца моей жизни.

## Огни Рима

После нескольких месяцев в поисках работы я нашёл место в расположенном на *via Marsala*, прямо у вокзала, баре-кофейне Сабатуччи – большом заведении, с кофейными жаровнями, цинковой стойкой для приготовления фирменных кофейных смесей, витринами с кофе разных сортов и другими колониальными товарами. Дальше, в глубине, среди мешков с кофе из Санто-Доминго и Пуэрто-Рико, стояли столики клиентов.

Сабатуччи – приземистый, коренастый, с длинным, свирепого вида лицом, грубый и немногословный –

занимался, вместе с двумя помощниками, продажей, а я и светловолосый придурковатый парень по имени Иджинио были барменами.

Работа наша проходила с утра до вечера в одних и тех же заученных движениях: ставить кофейные чашечки в машину, поворачивать рукоятки, разливать кофе в чашечки, подавать их клиентам, обтирать специальной тряпкой стойку и саму машину, ополаскивать чашечки. Движения эти заучиваешь быстро, и через день-два совершаешь их механически, почти не глядя на то, что делаешь. Руки делают одно, а глаза смотрят в другую сторону.

К счастью, бар Сабатуччи не был похож на кафе-бары для маленьких служащих – заведения, в которых, в определённый час, видишь одни и те же лица, одних и тех же людей, которые, выпив в полном молчании свою чашечку кофе, уходят. То, что наш бар был близко к вокзалу – сквозь витрину мне была видна окрашенная в красный цвет вокзальная стена – делало его чем-то вроде морского порта; для такого человека, как я, склонного наблюдать за людьми, развлечений хватало – в театр не ходи.

В бар приходили самые разные люди – кто в ожидании поезда, кто – автобуса. Частыми гостями были всякого рода торговцы, маклеры, торговые агенты – все из провинции, по пути в Рим – простые, грубые, неотесанные, словом, мужики, деревенщина, безвкусно одетые, но с бумажниками, туго набитыми деньгами.

Чаще всего они выпивали свой кофе стоя, но нередко садились вчетвером-впятером за столик и сидели час-другой в пальто и надвинутых на глаза шляпах, обсуждая в тиши и спокойствии свои дела.

Разумеется, я смотрел на них, но в полном молчании, не делая никаких замечаний: Я был барменом, а дело бармена, как известно, обслуживать клиентов.

Сабатуччи мне постоянно наказывал: "Никаких разговоров с клиентами. Заговорят с тобой – ответь, но первым не заговаривай никогда. И в особенности – никаких разговоров с женщинами".

Чтобы понять это последнее предупреждение, надо знать, что заходившие в наш бар мужланы-торговцы с туго

набитыми кошельками зазывали к себе обычно какую-нибудь бедную девушку, такую же грубую и неотесанную, как они сами, вытолкнутую голодом из меблированных комнат на Макао, и теперь, стоя на перроне, предлагающую себя, чтобы заработать на хлеб.

Но наказ Сабатуччи не заговаривать с женщинами был лишним, поскольку эти женщины не были для меня ничем, да и потом, я вообще застенчив до робости – кроме всего прочего, из-за моего заикания. В обычные дни оно незаметно, но стоит подуть сирокко, как заикание меня просто доканывает. Вот я и спросил Сабатуччи в ответ на его наказ: "Как же я, заика, стану заговаривать с женщинами?" А он на это: "Тем лучше. Будешь, значит, молчать".

Ну, вот.

Жизнь, знаете, похожа на торт, на каждом куске которого выписано буквами из сахара и сливок женское имя. На моём куске торта, на куске торта моей жизни в ту пору, когда я работал у Сабатуччи, было написано имя *Друсилла*.

В один прекрасный вечер она появилась в нашем баре и, к моему несчастью, с тех пор приходила и приходила туда, и перестала там появляться с того самого дня, когда ушёл оттуда я.

В тот вечер, когда я впервые её увидел, в баре сидела за столиками небольшая группа торговцев, обсуждавших за кофе свои дела.

Друсилла пришла, села за столик неподалёку от их компании, заказала кофе, достала из сумочки бульварный журналчик и углубилась в чтение.

Но что делается с мужской компанией при появлении красивой женщины! Стоило Друсилле появиться, как эти торговцы бросили обсуждать свои дела и переключились на неё.

Один из них, сидевший к ней до того спиной, прервав разговор, стал исподтишка, через плечо, её рассматривать. Другой, который сидел к ней ближе других, поперхнувшись очередным словом в разговоре, полуобернулся и смотрел на неё, разинув рот. Третий вообще обернулся к ней всем туловищем и стал в открытую, нагло разглядывать её с головы до ног. Друсилла же, как будто всё

происходящее её не касалось, продолжала спокойно, с выражением достоинства на лице, читать журнал.

Но знаете: женщина чувствует взгляды, которые на неё бросают, кожей. И вот Друсилла медленно перевела руку от журнала к себе на колено, чтобы все видели, какая у неё нежная, красивая рука.

Бросил взгляд на Друсиллу и я.

Тёмно-коричневые, зачёсанные за уши волосы, невыразительный взгляд чёрных с блестящим отливом глаз, напоминающих глаза животного, красивые брови, нос с сильной горбинкой, красные губы, бледное удлинённое лицо.

Её походка, когда она – рослая, хорошо сложенная – шла с высоко поднятой головой по залу бара к столику, напомнила мне походку крестьянок, несущих на положенной на голову подушке наполненный водой кувшин.

Потом я увидел, как кто-то из торговцев, желая завязать с ней разговор, предложил ей сигарету; она с улыбкой – зубы у неё были ослепительной белизны, как они бывают только у ребёнка или у дикого животного – отказывалась.

Торговцы – грубые мужланы, не привыкшие к отказам приходивших в бар женщин – чувствовали себя оскорблёнными, и смотрели на Друсиллу озадаченно, пытаясь понять, или даже как бы спрашивая её, такая ли она, как те, с которыми они привыкли не церемониться, или не такая. В конце концов они все, кроме одного, встали и, не без того, чтобы в последний раз окинуть Друсиллу взглядом, ушли.

Оставшийся, брюнет маленького роста, закутанный в длиннополое, достигающее ему до щиколоток пальто, с хозяйским жестом в сторону Друсиллы подошёл к её столику и уселся на свободный стул с ней рядом. Она подняла на него взгляд и улыбнулась.

"Ну вот, – подумал я. – Сначала жеманство и 'мы не такие', а потом всё кончается как у всех других".

Через некоторое время я услышал моё имя – "Туллио!" – и подошёл к их столику. Мужлан, говоря вполголоса о чём-то с Друсиллой и не подымая на меня глаз,

произнёс: "Кофе с молоком и пирожные!"

Надо сказать, что бар-кофейня Сабатуччи была знаменита во всей округе своими печёными изделиями. Настоящая римская выпечка! – не то, чем потчуют народ на *via Veneto*, где четыре пирожных едва могут составить одно нормальное. Нет, пирожные Сабатуччи были огромными, как следует наполненными кремом и сливками. Наполеоны – пальчики оближешь, ромовые бабы – размером с пробку для бочки.

Я положил на блюдо пять огромных, великолепных пирожных, поставил рядом большую чашку, кофейник с кофе и молочник, и отнёс это к столику Друсиллы.

Мужлан продолжал ей что-то говорить, но она сразу переключилась на пирожные, выбрав самое большое, и начала есть. Он говорил, она ела, и продолжалось это, кажется, без малого десять минут.

Она съела четыре пирожных, выпила кофе с молоком, вполуха слушая говорящего и сказав ему под конец жестом: "нет", сопроводив жест улыбкой и доедая последнее пирожное.

Торговец был взбешен. Он подозвал меня, расплатился и вышел, не попрощавшись с Друсиллой. Она посидела ещё какое-то время, читая свой журнальчик, потом встала и, с явным выражением удовлетворения на лице, высокая, элегантная в своей чёрной блузке и зелёной юбке, ушла.

Вначале я ничего не понял, но потом, когда та же сцена повторилась несколько раз, до меня дошло.

Друсилла вела себя ровно так же, как и в первый день, когда я её увидел: садилась близко к компании мужланов, один из них клевал на эту удочку, угощал её пирожными и кофе – и уходил несолоно хлебавши, униженный, с обломанными рогами.

Прошло время – и мы с Друсиллой подружились, стали даже в каком-то смысле сообщниками. Я выбирал для неё самые большие, до краёв наполненные кремом пирожные, и она поняла, что я это делаю специально для неё, и благодарила меня каждый раз своей особой улыбкой, так похожей на улыбку дикого животного.



Как-то в один из вечеров, когда в баре никого из мужланов-торговцев не было, а Сабатуччи куда-то ушёл, я завязал с Друсиллой разговор, начав его издалека: "Ну вот, сегодня не будет ни кофе с молоком, ни пирожных – увы!"

– К сожалению, – ответила она тихо.

– Ничего, я всё равно подам Вам и пирожные, и кофе.

Она же сразу: А кто заплатит?

– Ну, я угощу Вас.

Она согласилась мгновенно, заметив: Предпочитаю, чтобы угостили меня Вы, чем другие.

– И почему?

– Потому что Вы по крайней мере не просите ничего в ответ.

Так началась наша дружба, именно дружба, ничего больше. В конце концов она пригласила меня прийти к ней домой на завтрак, чтобы, как она сказала, меня отблагодарить. И вот в одно из воскресений, когда у меня был выходной, я отправился к ней.

Жила она в маленьком домике на *San Lorenzo* у своей тёти, работавшей приходящей прислугой. Занимали они две комнатухи с выходом на террасу, рядом с фонтаном, в котором стирали бельё. Приглашение на завтрак состояло в том, чтобы поесть вместе то, что ей прислали в пакете из её деревни: большая, деревенской выпечки, булка, немного салями, кусок овечьего сыра и пара сухофруктов.

Ели мы, сидя на железной кровати в крохотной, почти голой комнатке, в которой не было даже шкафа, и всё, что Друсилла имела из одежды, висело на вбитых в стену гвоздях.

Жуя сыр, холодную, жёсткую колбасу, и такие же жёсткие, как колбаса, сухофрукты, запивая это водой из крана, налитой в стакан для полоскания зубов, Друсилла объяснила мне, как ей удаётся жить в Риме, не работая и, с другой стороны, не предлагая себя, как это делают многие другие:

"Я честная девушка, и тот, кто меня хочет, должен на мне жениться. Как я живу? А вот как. Захожу в бар – в Сабатуччи или в какой-нибудь другой похожий, делаю так,

что меня угощают кофе с молоком и потом говорю тому, кто меня пригласил, что со мной ничего не выйдет, так как у меня есть жених. Ну, или останавливаю на дороге машину, усаживаюсь, позволяю пригласить себя в трагторию, съедаю пиццу, тарелку спагетти, потом придумываю причину и ухожу одна, назначив моему кавалеру свидание на следующий день – свидание, на которое я, конечно, не прихожу.

Мужчины, в основном, бывают вежливы, и таким вот образом я живу, прокармливаюсь. Ну, а сегодня утром ем то, что мне прислали из дома".

В то время как она говорила – с безмятежностью, перед которой, что называется, язык во рту застревает от удивления – я глядел на неё, на сырую, в зиму непременно холодную, неоттапливаемую, голую, без единой мебели, комнатуху, и у меня сжималось с сердце.

Под конец я спросил Друсиллу: А твои родители, чем они занимаются в своей деревне?

– Содержат трагторию, дела у них идут хорошо.

– Но тогда разве не лучше было бы тебе оставаться дома, быть вместе с твоей семьёй, чем жить впроголодь здесь, в Риме?

Она ответила тихим голосом, проговаривая слова быстро-быстро, как говорят крестьянки:

– Ты скор говорить так, потому, что всегда жил в Риме. А ты знаешь, что такое жить в *Campagnato*, ты знаешь? Здесь, в Риме, есть всё – магазины, кино, кафе, машины, улицы, полные народа, везде горят огни, везде огни, а в *Campagnato* нет ничего этого. Ложишься спать с курами и встаёшь с курами. В шесть вечера на дорогах уже темно. И ты не видишь никого, кроме крестьян.

– Но, послушай, что же ты собираешься делать дальше?

– Останусь в Риме. В один прекрасный день, может быть, что-то подвернётся, что-нибудь да произойдёт.

Это "что-то" произошло – но совсем не то, чего ждала Друсилла.

В один из вечеров, когда она сидела у нас в баре – как обычно, в ожидании, что её кто-нибудь пригласит –

вошёл какой-то субчик, типичный деревенский торговец, со злым выражением на заострённом как у куницы лице, одетый в ветровку с лисьим воротником, в брюках, заправленных в ботинки из жёлтой яловой кожи.

Войдя, он сразу направился к столику Друсиллы и без церемоний взял её за руку со словами: "Наконец-то я тебя нашёл. Так-то ты приходишь на свидания. А теперь вставай, и пойдёшь со мной".

Она, смеясь, стала сопротивляться, он же, подлинный мужлан, рванул её за руку, заставляя встать.

В этот час бар был полон до отказа, вокруг столика Друсиллы мгновенно собрались люди. "Туллио!" – раздался крик Друсиллы.

Услышав её голос, я оставил всё, бросился к ней и заорал на мужлана, продолжавшего тянуть её за руку: Постыдись! Так обращаться с женщиной. Руки прочь от неё!

– Ты кто ещё здесь такой?

– Я тот, кто тебе говорит, что ты хам, неотесанный мужик!

– Гляди, с кем говоришь, а то...

– А то? Ну-ка, поглядим на тебя, что ты собираешься мне показывать.

Заикаясь больше обычного, я схватил его за лисий воротник и собирался уже бросить на мешки с кофе, когда прозвучал голос Сабатуччи: "Это вы делайте на улице, не в баре".

Кончилось дело тем, что мы оказались в полицейском участке, где Друсиллу и мужлана после официального выговора, освободили. Я же потерял работу, поскольку, я, как сказал Сабатуччи, скомпрометировал доброе имя заведения.

Друсиллу я тоже потерял из вида. Несколько раз мне казалось, что я видел её в саду у вокзала, но это был обман зрения: многие молодые женщины был в такой же, как у неё, чёрной блузке и зелёной юбке.

Со временем я нашёл другую работу – вторым водителем грузового мотороллера; возил в селения, расположенные в *Lazio*, образцы товаров домашнего обихода. В один из таких рейсов посетили мы и *Campagnato*,

расположенный на *via Flaminia. Campagnato*, как и следует из его названия, невелик: два ряда домов, пара домов с квартирами, сдающимися внаём, и позади домов – зелёные поля.

Я вспомнил о Друсилле и стал искать тратторию её родителей.

Траттория оказалась большой, тёмной, с тёмными стенами комнатой, в которой стояли грубо сколоченные столы и соломенные стулья. Из окна были видны поля с оливковыми деревьями и виноградники.

Сидя в темноте, я вдруг услышал знакомый голос, заставивший меня вздрогнуть: "Ну, вот, мы и увиделись снова".

Это была Друсилла – в одежде судомойки, в затынутом на талии переднике. "Видишь, как поворачивается жизнь" – сказала она, смеясь, обнажив в улыбке белые как у дикого животного зубы – "В Риме меня обслуживал ты, в *Campagnano* обслуживаю тебя я".

Она поставила на стол то, что у них на этот момент было: макароны с соусом, немного свёклы и кусок буйволиного, твёрдого как камень, сыра. Потом она села со мной рядом и рассказала, как закончилась её римская жизнь.

В бар-кофейню Сабатуччи она, после той сцены, больше не возвращалась, но обычную свою жизнь – кофе с молоком, пирожные, пицца за чужой счёт – продолжала.

В один прекрасный день она, однако, встретила на этом пути с мужланом, который не дал себя провести на мякине и не поверил её обещаниям свидания на следующий день.

Был вечер, он повёз её на своей машине, и они были уже за сотню километров от Рима, на *via Flaminia*. Они ехали уже среди полей, когда он начал к ней приставать. Она стала защищаться, и после короткой драки он без лишних слов выбросил её из машины на изгородь из колючего кустарника, расцарапавшего ей лицо и руки, и уехал, оставив её в темноте посреди сельской дороги.

По счастливой случайности, это место было всего в десяти километрах от *Campagnano*. В Риме у Друсиллы не было ничего; чёрная блузка и зелёная юбка, в которых она

появлялась, и в которых она оказалась теперь, были единственными вещами её гардероба. И так одетая, с расцарапанным лицом, она доплелась до *Campano* и осталась там.

Но Вы поверите? В конце своего рассказа она сказала мне: "И всё же, как только найду возможность вернуться в Рим, я уеду отсюда". Я: "Но почему?" Она же: "В Риме, даже когда у тебя нет ничего, ты, идя вечером по улице, видишь огни".



## Песни Сесарии Эворы

### Переводы с португальского (креольского) Андрея Травина

#### От переводчика



Мой интерес к песням Эворы начался стандартно для моего круга – с первых ее гастролей по России, с закрытого концерта в Москве в апреле 2002 года «для Кремля и олигархов». Его обсуждал весь тогдашний маленький русский Livejournal, называя певицу то Чезарией, то Цезарией, то Сесарией. (Вариант с Кесарией почему-то никому не пришел в голову). При этом большинство считало ее бразильской певицей. Тогда же в Москве появились в большом количестве ее CD.

В последующее десять лет интерес русскоязычных людей к Сесарии был ровным и устойчивым. Все выучили имя и страну приписки. Эвора, словно какой-нибудь А.П.Чехов, у нас всех устраивала.

Но осенью 2006 я решил выйти из этой, можно сказать, российской обыденности и сделать то, что, судя по выдаче поисковых машин, никто прежде не делал – перевести на русский язык две самых лучших песни Эворы. При этом пришлось перевести не только слова, но и дать их собственную интерпретацию.

Казалось бы, что тут такого? При переводах настоящих песен всегда возникает уйма примечаний – настолько другой культурный контекст у авторов Франции, Италии, Испании, Аргентины... Но песни с островов Зеленого мыса превосходят по сложности перевода всё что мне встречалось до этого.

Уместно начать с того, что Сесария Эвора поет не португальски. Сейчас, когда появился португальско-русский

переводчик от Google, это легко проверить самому. При попытке перевести песни Эворы он справляется только с отдельными словами «ой, люди», «ах, море», «эх, любовь». Связного текста не получится. Эвора поет на креольском языке, а точнее на той его разновидности, которая называется кабувердьяну. В нем много африканских слов, а португальские искажены. При этом краткость креольского языка превосходит английский. (Так в песне Амандио Кабрала «Rotcha 'Scribida» он умудряется вместить в одну строку, которую я перевел тремя словами «принести стебли тростника» своих пять: «принести три зеленых стебля тростника»).

Ну и главное - сами понятия. Многие, включая самих португальцев, любят поговорить о непереводаемости слова «содад». Я не спорю с его непереводаемостью одним словом. Все-таки непереводаемое «шарм» можно перевести одним словом «изюминка». А переводить «содад» как «тоска» слишком примитивно. Да и вообще его переводить не надо, по крайней мере в песнях Эворы. Поэтому при первой публикации перевода песни Sodade я дал такое определение этого понятия, что его стали перепечатывать в блогах чаще самого перевода.

Содад – слово, встречающееся в креольском (sodade), португальском (saudade) и испанском (saudade) языках, и не имеющее аналогов во французском, английском и русском. Содад - смесь ностальгии, меланхолии и нежности, где ностальгия – своего рода чувство утраты настоящего. Иными словами любовь, только возникнув, осознает свою конечность и смертность и ностальгирует по себе самой нынешней, такой прекрасной...

На такое определение меня вдохновила лекция Ника Кейва в Вене 25 сентября 1998 года. Не помню, какими именно его словами меня тогда зацепило. Хотя подходящих слов там немало, к примеру: «Песня любви никогда не бывает счастливой по-настоящему... В каждой из них должен быть потенциал боли. Нельзя верить тем песням, в которых говорится о любви, но нет боли или страдания, - скорее всего, под маской любви там скрывается ненависть. Они уведат нас от права, данного нам Богом на грусть, от

человечности. В песне любви должен слышаться шепот страдания, отзвук печали».

Сейчас другие попытки дать новые определения слова «содад» или исходного португальского слова «саудадже» вызывают у меня удивление. Но вот же всё сказано. Но они продолжались даже в статьях-некрологах Сезарии Эворы. Ну, хорошо, пусть кто-нибудь скажет лучше.

С другими песнями загадки продолжались.

И это не считая банального непонимания (подстрочник последнего куплета песни Rotcha Scribida мне вообще не удалось довести до конца. Последний куплет не понятен – те, кто будут читать перевод увидят повтор первого припева).

Для понимания интонация «Rotcha Scribida» скажу о том, что отец певицы умер рано, оставив жену с семьёю детьми. И надо полагать, что это песня - прощание с единственным из родителей.

Что же касается названия, то тут для полной ясности лучше, как говорится, побывать на родине поэта. «Rotcha» по-креольски «скала», утес (первый слог даже совпадает с аналогичным английским словом «rock»), а Rotcha Scribida - скала на одном из островов Зеленого мыса. Надписи на этой скале до сих пор не расшифрованы, но они очень древние и свидетельствуют о том, что на Кабо-Верде уже кто-то жил задолго до португальцев.

Остальная местная география, отраженная в песнях, вполне понятна:

Сан-Томе и Принсипе - архипелаг западнее Габона, бывшая португальская колония - также, как и Острова Зеленого Мыса.

Сан-Николау – один из Островов Зеленого Мыса.

Beigona - крупный по местным меркам населенный пункт на одном из северных островов Зеленого мыса.

Но вот в контексте песен и они «играют».

Санг де Бейрона, санг де Бейрона, санг де Бейрона элье саб, эль э дос...

Кто не знает этой песни? А, между прочим, - очень тонкая вещь. Я считаю, что моя версия о том, что это песня о потерянной девственности, правильная. Хотя если



объяснять, как я догадался, получится разговор в стиле «когда б вы знали, из какого сора рождаются стихи».

Поэтому я несколько спрямлю вывод, но всё ж поясню.

«Sangue» - «кровь». А «Sangue de Beirona» – народная песня, в которой подразумевается потеря девственности. Но петь о «крови Бейроны, крови Бейроны...», пожалуй, нельзя. И я оставил это выражение без перевода, аналогично тому, как во французском переводе «Бесамэ мучо» заглавные строки оставлены без перевода, хотя понятно, что можно было дословно перевести их «целуй меня больше».

В оригинале последняя строчка без умолчаний обвиняет «того, кто сделал ей коладера». Coladega - «сито», «цедилка», «отверстие», «водосток»... по контексту понятно, но труднопереводимо, особенно если соблюсти рифму к слову «долина» (а в оригинале рифмуются лишь «ladera - coladega»).

Но это не всё! Сама песня «Sangue de Beirona» написана в ритме «coladega» (коладера). И тогда вообще получается какая-то непереводаемая игра слов типа «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

Вот так на ощупь и приходится распутывать простые песенки из репертуара босоногой Сезарии Эворы, земля ей пухом.

### **Sangue de Beirona**

Санг де Бейрона, санг де Бейрона, кровь из Бейроны  
приятна, сладка...

Кто хочет знать,  
кровь вправду ль хороша,  
ее добудет в глубине долины.

Санг де Бейрона, санг де Бейрона, кровь из Бейроны  
приятна, сладка...

Если ж её  
ты не найдешь в долине,  
ты обвинишь того, кто стал причиной.  
Санг де Бейрона, санг де Бейрона, кровь из Бейроны

приятна, сладка...

### **Rotcha Scribida**

Пошла я к Ротча Скрибида,  
принести стебли тростника.  
И тогда от нас ушла Мам Биа.

Ой, мама, ой, мама Мам Биа...  
Ой, мама, Мам Биа...  
Прощай, мамочка, Мари да Круз.

Уходила же я, когда,  
Мам Биа шепнула мне:  
«Бог с тобой да пребудет».

Ой, мама, ой, мама Мам Биа...  
Ой, мама, Мам Биа...  
Прощай, мамочка, Мари да Круз.

### **Sodade**

Кто тебе показал этот дальний путь?  
Кто тебе показал этот дальний путь?  
Это дорога на Сан-Томе.

Содад, содад, содад  
моей земли - Сан-Николау.

Если ты напишешь, я напишу.  
Забываешь ли ты меня?  
Я тебя забуду до возвращения.

Содад, содад, содад  
моей земли Сан-Николау.



# Исанна Лихтенштейн

## Жизнь и смерть Стефана Цвейга

### Гипотезы и версии



«**Н**о настоящему человек проявляется в том, что он создает», писал Цвейг в эссе «Гайна художественного творчества». Не случайно, попытку понять парадоксальные изгибы жизни и творчества знаменитого писателя начинаю его цитатой.

Давно и неизменно придерживаюсь мнения, что только внимательное прочтение текстов в сочетании с биографическими сведениями позволяет, насколько возможно, объективно разобраться в перипетиях жизненных коллизий. Впрочем, в этом у меня есть могучие союзники, упомяну двоих – Сент Бев и Юрий Лотман.

Австрийский писатель, сын богатых еврейских торговцев и банкиров, Цвейг рано познал успех. Его популярность превышала известность блестящих писателей – современников, например Томаса и Генриха Маннов, не говоря о неизвестном в ту пору великом Кафке. Отец, Морис Цвейг, человек безукоризненной честности и осторожности в бизнесе, что, однако не помешало ему стать миллионером, занимался продажей текстиля. Он владел языками, был отлично образован и совершенно непритязателен в быту. Мать – Ида Бреттауэр из семьи богатых еврейских банкиров. Иосиф Бреттауэр, дед Стефана, служил банкиром римского Папы и Ватикана. Семья общалась с просвещенными людьми, была образованной и амбициозной, особенно мать будущего писателя. Она строго воспитывала обоих сыновей, Альфреда и Стефана. Некоторые авторы, основываясь на

воспоминаниях, считают, что дети были обделены вниманием и любовью матери.(1) Так до конца жизни Стефан вспоминал, что в новогодние дни никто в доме не ставил елку, не покупал подарки. С тех пор он не любил новогодние праздники. Думается, однако, что в этом проявилась дань еврейским традициям, не делать подарков на Рождество, а не отсутствие внимания к детям.

Если умение добиваться желаемого, страсть к сочинительству Стефан унаследовал от матери, то неприязнительность в быту, известную осторожность от отца.

Книги, музыка, театральные спектакли - духовная основа жизни Цвейгов. Несмотря на строгое воспитание и многочисленные запреты, Стефан с детства разными способами добивался желаемого. «Ненависть ко всему авторитарному сопровождала меня всю жизнь» вспоминал Цвейг впоследствии. Он больше всего ценил духовную и личную свободу.

Писать начал рано. В 1902 году студентом первого курса, опубликовал книгу стихотворений «Серебряные струны», вызвавшую огромный интерес читателей и критиков. Композиторы Рихард Штраус и Макс Редер писали музыку на стихотворения молодого автора. Почти одновременно со сборником «Серебряные струны» напечатаны и первые новеллы.

Небезынтересно, что еще в 1899 году Теодор Герцль, в то время влиятельный журналист, опубликовал рассказ Цвейга в известном издании «Нойе фрайе прессе», что считалось большим успехом. Цвейг до конца жизни не переставал вспоминать, что был замечен Герцлем. Между тем, «Еврейское государство» Герцля не встретило у писателя, как и у большинства европейских евреев, интереса и понимания. И только во время похорон, (1904 год) на которые съехалось множество сторонников Теодора Герцля, Стефан впервые почувствовал, «сколько страсти и надежды внес в мир этот одинокий человек благодаря силе одной-единственной идеи». Пройдет немало времени, много страданий выпадет на долю еврея Цвейга прежде, чем он осознает важность и необходимость практического

воплощения идей Герцля.

Цвейг одержим страстями, казалось бы совершенно разными, но равно занимающими мысли и чувства. Он коллекционирует рукописи, ноты, предметы быта интересных для него великих людей, пытаясь проникнуть в их творческий мир, точнее познакомиться с ходом мыслей, прослеживаемым по рукописным правкам, предметам быта и т.д. Эта страсть сохранится на всю жизнь. И в то же время Стефан стремится почувствовать жизнь отверженных – алкоголиков, бомжей, проституток, наркоманов, гомосексуалистов, познать жизнь во всем многообразии.

Цвейг много читает, пишет, знакомится с Эмилем Верхарном, Райнер Марией Рильке, Огюстом Роденом. Дружба, скорее преклонение перед Верхарном, как и общение с Рильке занимает особое место в жизни писателя, оказав влияние на его творчество, и даже сместив некоторые акценты.

Стефан состоятелен, свободен, успешен. В 1908 году едет в Индию, страну древней культуры, все еще остающуюся таинственной для европейца. Из личных наблюдений смею заметить, что даже короткое пребывание в Индии, оставляет неизгладимый след. Завершив путешествие, Цвейг продолжает жизнь богатого, свободного молодого человека.

В 1908 году молодой писатель увидел Фридрику фон Винтерниц, они обменялись взглядами, и оба запомнили. Молодая женщина переживала трудный период жизни, ее отношения с мужем близки к завершению.

Прошло еще несколько лет. Они вновь случайно встретились, даже не успев поговорить, но узнали друг друга. Впоследствии случайная встреча, оценивалась ими, как дар судьбы.

Вечером после второй неожиданной встречи в ресторане, Фридрика пишет Стефану письмо. Привожу фрагменты: «Дорогой Господин Цвейг!

Надо ли объяснять, почему я с легкостью решаю сделать то, что люди считают неприличным.... Пару лет тому назад я увидела Вас... Кто – то сказал мне: «Это Стефан Цвейг». Я читала одну Вашу новеллу и сонеты, их

звуки преследуют меня. Тот вечер был чудесен. Вы сидели, если не ошибаюсь, с друзьями, всем было весело. Тогда в моей жизни что – то перевернулось». Письмо не длинное и полно достоинства, сквозь которое проглядывает взволнованная душа. И далее звучит очень важная мысль. Фридерика читает подаренную ей книгу переводов Цвейга «Гимны к жизни» и, восторгаясь переводами, замечает: «вовсе не все равно, переводить всю жизнь Пеладона, Стриндберга, Шоу – или же Верхарна. Скажи мне, кого ты переводишь, и я скажу, кто ты». Оканчивает письмо почти как Татьяна Ларина: «Надеюсь, Вы никому не расскажете о моем глупом письме». Письмо глупым не показалось, Цвейг молниеносно ответил, что стало началом их трудного, но все же счастливого пути.

Письма – не новость ни в литературе (Татьяна Ларина), ни в жизни (Эвелина Ганская, Надежда фон Мекк). Цитируемое письмо показывает, что автор, несомненно, человек ума и сердца. Не случайно, получающий множество писем от читателей, и влюбленных женщин Цвейг мгновенно и заинтересованно откликнулся. Не отзвук ли письма Фридерики в созданном через 10 лет «Письме незнакомки»?

Они долго встречались прежде, чем решили быть вместе. Разлучаясь, (не расставались) обменивались письмами. Создается впечатление, что Фридерика понимала структуру личности Цвейга и очень бережно к нему относилась: 6 декабря 1912... «С теплым чувством представляю тебя сейчас. Со всем нежным почтением, которое к тебе испытываю, *Не бойся ничего Счастье или боль, которую я познаю с тобой,- для всего открыта моя душа. Я сильная*» (Выделено мною - И.Л.).

Цвейгу спокойно с Фридерикой, она ему нравится, с ней интересно. Стефан с тревогой размышляет, за что Бог одарил его встречей со столь необыкновенной женщиной? Он считает себя холодным в чувствах, и вместе с тем увлекающимся. «Больше всего беспокоит: только бы умолк резкий голос во мне, это беспокойство, которое меня гонит... И я бы мог еще... А все же сомневаюсь».

Стефан, сблизившись с Фридерикой, предельно

искренен в чувствах, рассказывает даже о страстном увлечении другой женщиной, обещая, правда, расстаться, приняв решение жениться. Его вера в разум, силу воли, выносливость Фридерики такова, что он не задумывается об испытании чувств любимой женщины. Испытание, впрочем, нешуточное! Накануне женитьбы Цвейг рассказывает будущей жене о периодически возникающих депрессиях, (он считал нужным рассказать И.Л.) о невозможности жить, не оставаясь свободным. Но остановить Фридерiku невозможно: она любит и, несомненно, будучи сильным человеком, верит в преодоление трудностей. Впрочем, возможно не понимая и не отдавая отчет, что предстоит! Это был союз двух творческих личностей, более того, писателей (Фридерика успешно выступает и в этом качестве). Основную нагрузку в семье несла Фридерика. Нельзя забывать, что кроме всего, она еще была матерью двух дочерей от первого брака. У Стефана Цвейга, как и у его брата детей не было.

Судя по переписке супруги счастливы. Но все же периодически врачи посылают Стефана подлечиться и отдохнуть от «переутомления». Он отдыхает на курортах, принимает общеукрепляющие процедуры. Однако полноценный отдых затруднен из-за огромной личной популярности, не позволяющей полностью расслабиться, избежать ненужных знакомств, но все же состояние улучшается. Фридерика не всегда едет с мужем, у нее дети, и она знает, как избегает излишней опеки муж. Трудно с уверенностью говорить, что скрывалось за словом «переутомление» - душевная или физическая усталость, «охота к перемене мест»? В любом случае – требовалось вмешательство врачей.

Стефан Цвейг пишет не только повести и рассказы, но и создает новый жанр художественных биографий. Наверное, не совсем новый жанр, но особый подход к выбору героев несомненен, как и душевное родство с ними. Он объединяет героев по признаку внутренней общности, подчеркивая при этом, что считает сравнение «созидающим началом». И этим, как бы продолжает традицию Плутарха, созданную в «Сравнительных жизнеописаниях». Его с

юности привлекают интересные творческие личности, в деятельности которых пытается разобраться. Пожалуй, первый шаг сделан еще в юности - коллекционирование «таинственных сокровищ», рукописей. По мысли Цвейга «ничто не раскрывает столь убедительно и блестяще их творческий облик (творцов – И.Л.), как их рукописи». Недостатком внимания и непониманием «смысла и красоты этих священных страниц» объясняет Цвейг утрату бесценных рукописей величайших гениев человечества. Подобной же точки зрения придерживался и Гете, говоря: «Созерцая рукописи выдающихся людей прошлого, я как бы по волшебству становлюсь их современником».

Одной из особенностей творческого метода Стефана Цвейга является психологический анализ, попытка проникновения во внутренний мир человека. Если речь идет о биографических романах, составляющих огромную часть творческого наследия писателя, то здесь чтение рукописей, писем, дневников, подлинных документов трудно переоценить. Именно они в основе биографических портретов, созданных Цвейгом. Всю жизнь его занимала тайна творчества. В статье «Смысл и красота рукописей» написано: «Ибо из множества неразрешимых тайн мира самой глубокой и сокровенной остается тайна творчества. Здесь природа не терпит подслушивания».

Очень интересно и важно задуматься, о ком писал Стефан, чем объяснялся выбор. Вспомним слова Фридрики: Скажи мне, кого ты переводишь, и я скажу, кто ты. Конечно, прежде всего, личности неординарные и глубокие. Но не только! Среди биографических портретов находим создателей оригинальных направлений в науке. Это Франц Антон Месмер, врач, придавший гипнотическому воздействию на человека научное обоснование и доказавший в некоторых случаях эффективность метода, Зигмунд Фрейд с его теорией вытеснения. Очерки о Ницше, Клейсте, Гейдерлине, объединенные в книге под названием «Борьба с безумием» – что требовало особой душевной и научной подготовки. «В человеке высшего порядка – в особенности в человеке созидающем – беспокойство продолжает творчески господствовать, выражаясь в неудовлетворенности заботами



дня; (Стефан Цвейг «Борьба с безумием Гельдерлин, Клейст, Ницше Предисловие А.В, Луначарского Кооперативное изд. «Время» Ленинград) оно создает в нем « высшее сердце, способное мучиться». По мнению Луначарского, вряд ли можно считать основной идеей «борьбу с безумием». По мнению писателя, развитие безумия, демонизма по его определению, скорее благодарно принимается творцами, как основа вдохновения. «...Как всякий отшельник, затворник, холостяк, чудака, ипохондрик, (Ницше – И.Л.) следит за малейшими функциональными изменениями своего тела. Непрерывно, острым пинцетом – врач и больной в одном лице – он обнажает свои нервы и, как всякий нервный человек и фантазер, повышает их и без того чрезмерную чувствительность. Не доверяя врачам, он сам становится собственным врачом и непрерывно «уврачевывает» себя всю свою жизнь» Не вдаваясь в сложные процессы творческого метода Цвейга, его сугубо личностного отношения к описанию избранных героев, несомненен интерес к психологической характеристике творца и в целом творческого процесса. Из писателей следует выделить Льва Толстого и Федора Достоевского. Совершенно очевидно, стремление Цвейга к постижению психологии сложных личностей в попытке найти ответы и на свои нелегкие вопросы. Прочитав биографические портреты, убеждаешься, как тщательно и кропотливо писатель собирал материал из разных источников, анализировал, осторожно делал заключения.

«Психологические загадки неодолимо притягивают меня;...люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу...» говорит Цвейг устами героя рассказа «Амок». Кажется, что высказанные мысли принадлежат автору, а не герою. Впрочем, так звучит авторский текст: «История выдающихся людей — это история сложных душевных конструкций... Меня интересуют пути, по которым шли те или иные люди, создавая гениальные ценности, вроде **Стендаля** и **Толстого**, или поражая мир преступлениями, вроде Фуше...» Особое волнение и понимание вызвала у писателя могила Льва Толстого: «Маленький зеленый холмик среди леса,

украшенный цветами – nulla сгух, nulla корона, - ни креста, ни надгробного камня с надписью, ни хотя бы имени Толстого... Ничто в мире – в этом убеждаешься здесь вновь! – не действует столь глубоко, как предельная простота». 1928.

Рассказывая о применении Месмером магнитолечения, о сомнениях доктора, Цвейг замечает: «...Эти на первый взгляд чудесные исцеления оказываются, *если правильно оценить их психологически* (курсив мой – И.Л.), *вовсе не столь уж чудесными*;...от начала всякого врачевания страждущее человечество *исцелялось благодаря внушению гораздо чаще, чем мы предполагаем и чем склонна допускать врачебная наука*. Наши деды и прадеды излечивались методами, над которыми сострадательно посмеивается современная медицина, та самая медицина, методы которой наука предстоящих пятидесяти лет, в свою очередь, объявит с такою же улыбкой недействительными и, может быть, даже опасными».

Считается, что медицина обновляется каждые 50 лет и с этой точки зрения писатель, несомненно, прав. То, что было темой научно - фантастических романов в прошлом веке и даже позднее, стало реальностью. Достаточно упомянуть о пересадке органов, становящихся успешными попытках «приручения» стволовых клеток, устрашающие своей фантастичностью и неопределенным результатом изменения генетического кода. Неизвестно, что останется, что принесет пользу, что еще станет возможным. Но при всем том, никто не отменял врача – доброго друга больного человека. « Понимаете ли Вы, что это значит – быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь...знать и быть бессильным...» Знакомство с учением Зигмунда Фрейда и лично с доктором послужило основой создания книги. Цвейг, отдавая должное новаторству Зигмунда Фрейда, не соглашался с рядом постулатов, в частности не разделял его взглядов на Эдипов комплекс.

Биографические очерки Цвейга отличаются достоверностью, не скучным перечислением фактов, а осмыслением жизненных периодов героя, его мировоззрения, раздумий.

Не раз приходилось слышать о «писательском литературоведении», например, так написаны эссе Марины Цветаевой и Анны Ахматовой о Пушкине, романы Юрия Тынянова. «Писательское литературоведение» присуще творческому методу Стефана Цвейга: он не оперирует голыми фактами, превалирует проникновенная эмоциональная оценка, что в сочетании с несомненной достоверностью воссоздает зримо, чувственно описываемых героев, призывает их к диалогу.

Цвейга считали счастливым, что и было в действительности до определенного момента. Он любим женщинами, читателями, популярен, его охотно печатают большими тиражами. Книги не залеживаются в магазинах. В книге «Вчерашний мир» подчеркивается ощущение им гармоничности в мире, «золотой век надежности», царивший в умах просвещенной европейской молодежи. До определенного времени не чувствовал притеснений по национальному признаку. Но, тем не менее, считал себя интернационалистом, а не космополитом. Следует думать, что «Дело Дрейфуса», продолжало будоражить мысль, как бы этого не хотелось.

Писатель воспринимал Европу как единое целое, вернее хотел объединения стран континента в единое государство. Возможно, такие мысли в тот период привлекали молодых интеллектуалов, например, о том же грезил Конан Дойль. Разразившаяся 1 мировая война положила конец мечте о дружелюбии, европейские страны вступили в жесткую бескомпромиссную схватку, не зная, что это лишь прелюдия. Цвейг сблизился с Роменом Ролланом, проникся пацифистской настроенностью. В числе многих демократически настроенных деятелей культуры побывал в Советском Союзе, с большим уважением отнесся к Максиму Горькому, благодаря которому вышло многотомное издание Цвейга на русском языке. Дружески общался с Константином Фединым, Владимиром Лидином и другими. Не став апологетом страны «победившего социализма» отмечал, говоря об интеллигенции, «тягостные условия существования в более тесных рамках пространственной и духовной свобод», но открыто не выступил с осуждением,

очевидно, не желая обострять и без того сложное положение писателей и других представителей интеллигенции в СССР.

Более откровенно написал о своих впечатлениях Ромену Роллану, другу Советской России на определенном этапе: «Так, в вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны революции, первые соратники **Ленина** расстреляны как бешеные собаки, — повторяется то, что сделал Кальвин, когда отправил на костер Сервета из-за различия в толковании Священного Писания. Как у **Гитлера**, как у **Робеспьера**: идейные разногласия именуются «заговором»; разве не было достаточно применить ссылку?»

Аншлюс Австрии, распад «незыблемой, вечной» Австро-Венгерской империи, привел Стефана Цвейга к затяжному тяжелому душевному кризису. Впрочем, приступы угнетенного состояния, растерянности, потребность в поддержке наблюдались и раньше (см. выше). Показательна в этом плане переписка с Фридерикой: 24 ноября 1921 «...Мое дорогое, сладкое, любимое дитя! Позволь прижать тебя к моему сердцу, тысячу добрых пожеланий. Пусть все заботы останутся далеко, а Господь пошлет тебе радость, бодрость и хорошую работу, чистое сердце – лишь оно источник всех наших счастливых радостей...»

В ответ на нежное письмо любящего человека Цвейг 26 ноября 1921 года замечает: «Почему ты своим поздравлением сделала меня старше раньше времени на 2 дня? Разве 40 это недостаточно?» Для него важно сознавать: «Я все еще хорошо законсервированный тридцатилетний. Еще целых 48 часов». В приведенных строчках не ощущается ироническое отношение к событию, а искренняя озабоченность.

Между тем, жизнь продолжается, наполненная разными событиями, преимущественно приятными – путешествиями, встречами. В 1925 году после успешного вечера с читателями он неожиданно, немотивированно внешне заканчивает письмо словами: ...Все же тебе лучше, чем твоему Стефчи». Почему лучше, что плохого у Цвейга? Он искренен с женой, значит таково мироощущение, что – то гложет!

Приближается 50-летие. Цвейг подавлен, ощущает дискомфорт Другу, Виктору Фляшеру пишет: «Я не боюсь ничего — провала, забвения, утраты денег, даже смерти. *Но я боюсь болезней, старости и зависимости*» (курсив мой - И.Л.) Как автор очерка о Льве Толстом, вспоминает душевный кризис любимого писателя и, возможно, проецирует на себя. Известно из литературы, что у Льва Николаевича был ранний климакс, много изменивший в жизни и творчестве. После этого появилась «Крейцера соната». Цвейгу страшно. Неизвестно были ли реальные основания для тревог, это не важно, они были в его сознании. Несколько строк из очерка о Толстом, по мнению Наталии Боголюбовой (2004), отражающие состояние не только Льва Николаевича, но и автора: «Вдруг в одну ночь все потеряло смысл и значение. Привычный к работе, он возненавидел работу. Жена стала ему чужда, дети безразличны... Однажды он поспешно поднялся по лестнице и запер в шкаф свое охотничье ружье, чтобы не направить дуло в себя. Время от времени он стонет, точно от невыразимой боли. Иногда рыдает, как ребенок, запертый в темной комнате». Блестящее описание удрученного состояния, когда ничего не радует, ни к чему не стремишься. Глубочайшее проникновение в душевный внутренний мир Толстого!

Не радовала политическая обстановка. Одним из ключевых моментов в последующих событиях явился обыск неизвестными в Зальцбургском доме писателя. Стефан Цвейг уехал из Австрии в Лондон, мыслилось временно, но случилось навсегда. Жена оставалась в Зальцбурге, часто приезжала к мужу. Началась жизнь на два дома. Почему так произошло? Почему они не уехали вместе? Возможно, сложно было решать многочисленные проблемы, учебу дочерей? У меня нет ответа. Отношения между супругами в это время казались устойчивыми, более того, теплыми...

Цвейг много писал, печатался. Дружил с Гербертом Уэльсом, Бернардом Шоу и другими представителями английской элиты. Его хорошо принимали, охотно общались. Стал гражданином Великобритании. Но Стефан грустил, и было из-за чего: Гитлер набирал силу, привычный уклад

рушился, на горизонте смутно, неосознанно, но маячил геноцид. Стефан, возможно, впервые ощутил себя евреем, а значит изгоем. 10 мая 1933 года книги писателя сожгли в Вене на костре. В эмиграции он узнал о смерти матери. Когда ночью ей понадобилась медицинская помощь, приехавшая медсестра отказалась остаться до утра, сославшись на то, что введенные в Австрии "Нюрнбергские законы", согласно которым арийка младше 40 лет не могла ночевать в одном доме с евреем любого возраста.

Между тем, в воспоминаниях «Вчерашний мир» писатель подчеркивает: «В последние годы венское еврейство, как испанское перед таким же трагическим исходом, стало творчески плодоносным». Последнее, относилось и лично к автору. Он много трудился, что было неизменной потребностью и отвлекало от удручающих новостей.

Скапливалось много работы, с которой Фридерика, приезжая, с трудом справлялась. В этот период и к ней пришла писательская слава. Она была очень занята. По настоянию жены в помощь писателю пригласили молодую стенографистку – меланхоличную, некрасивую, нескладную, болезненную Лотту Альтерман. Фридерике в голову не приходило, что в этом рабочем союзе таится опасность их счастливому 25-летнему браку.

На фоне политических бед, по словам Фридерики «его политический пессимизм безграничен», развивалась личная драма. Цвейг все больше ощущал старение, что–то менялось. Ему перевалило за 50! Еще раньше он не хотел отмечать 50-летие, считая возраст рубежным, началом обратного отсчета или спуском вниз.

До недавнего времени мало говорили о мужском старении, естественном инволюционном процессе. Однако биологические законы незыблемы, можно отдалить тем или иным способом видимые проявления старения, но природа неумолима. У мужчин климакс наступает в среднем между 50 и 60 годами, иногда раньше. Развивается утомляемость, раздражительность, перепады артериального давления. Проявляются в некоторых случаях судорожные попытки

повернуть время вспять, игнорировать накапливающиеся нарушения, не упустить последние возможности! Конечно, ничего фатального при этом, как правило, не происходит, жизнь продолжается, принося разнообразные ощущения и удовольствия. Но не таков Цвейг. Он неотступно думает, полон тревог и удручающих мыслей о грядущем. Об этом есть много свидетельств в письмах разным корреспондентам. Немаловажно и, ощущаемая им безытность, отсутствие дома, «человек без страны».

Эмиграция - многоплановый и сложный процесс, требующий немало психических усилий. Каждый прошедший сложный путь «вживания» в новые условия знает, как это по своему опыту. Чего только стоит монотонный гул улицы, позднее разделяющийся на фразы и слова! Поиск работы, самоидентификации, сохранение или потеря социального статуса, взаимоотношения с детьми. Помню разговор с коллегой по курсам изучения языка: Как вы, врач, можете грустить, работая по специальности? - говорила она мне. Эмиграция Цвейга объективно не отличалась невзгодами: в Англии, Америке Уругвае, Аргентине и Бразилии он был обласкан, с восторгом встречен. Книги издавались и раскупались. Но писать не хотелось... Тонус падал. Вспомним Набокова, до конца дней, жившего в гостиницах. Все та же, скорее, психологическая «бездомность».

Думается, в череде сложностей «безытности», трагедией явился развод с Фридерикой – женщиной волевой, умной, сильной. Вялая, болезненная, меланхоличная, безличностная Лотта, могла умереть с мужем, но не сохранить жизнь. Но и для развода были причины.

«Твое выросшее чувство самостоятельности слишком велико. Не то, чтобы ты не имела на это права! Но для меня это уже было слишком». Стареющий Цвейг безотчетно искал кого-то слабого и зависимого, чтобы выглядеть сильным. Разрыв с Фридерикой дался обоим мучительно, длился несколько лет. Уже после официального развода подавленный Стефан просил Фридерiku послать телеграмму адвокату и приостановить дело. Телеграмму послали, но адвокат оказался в отпуске. Они еще несколько

раз возвращались друг к другу, но была и Лотта... Бывшие супруги регулярно переписывались, каждые 2 дня Фридерика получала письма, мыслями, душой он оставался с ней. Прозвучала и неожиданная фраза в одном из писем: «Не думай только, что я еще любовник». В этом прочитывается сохраняющаяся потребность понять, что произошло и боязнь оказаться смешным. Цвейг помог Фридерике с детьми приехать в Америку, встречался с нею, хотел втроем поехать на отдых. Он метался. Депрессия не проходила. В письме Фридерике от 20 ноября 1941 грустно констатирует, что война будет длиться долго и предстоит оставаться путешествуящим гостем. Подобные мысли прозвучали и в обращенном к писателю письме Роже Мартен дю Гара, «мы в нашем возрасте всего лишь зрители в большом спектакле, а правильнее – трагедии, где главную роль играют другие, более молодые. А наша состоит в том, чтобы спокойно и достойно исчезнуть». Положение в Европе не радовало, воспринималось как крушение мировой цивилизации и превратилось в личную драму. Тема войны присутствует постоянно в разговорах с друзьями.

Приближалось 60-летие. «Шестьдесят – я думаю, этого будет достаточно. Мир, в котором мы жили, невозвратим. А на то, что придет, мы уже никак не сможем повлиять. Наше слово не будут понимать ни на одном языке. Какой смысл жить дальше, как собственная тень?» Йохам Маас приводит слова Лотты: «Он не в хорошем состоянии. Мне страшно». Маас предполагает, что Цвейгом в числе прочего владел страх наступающей старости. Он, как и Ромен Гари не умел и не хотел стареть.

Последние пару лет писатель метался между США и Бразилией, в которой чувствовал себя лучше. Им владела «охота к перемене мест», как проявление душевного беспокойства.

Закончил «Вчерашний мир», особую книгу воспоминаний, в которой о себе ничего не написал, будучи человеком закрытым и абсолютно свободным, не терпящим ни малейшего покушения на самостоятельность. «Писем приходит все меньше, у всех свои заботы. Пишут неохотно, если нет ничего особенно важного. Да и что в нашей



маленькой урезанной жизни может быть важнее мировых событий». 4 февраля 1942 из письма Фридерике. До роковых событий оставалось 19 дней.

Последние письма Цвейга цитирую по публикации в Литературной газете времен А. Чаковского. Я нашла вырезку из газеты в книге, читанной когда-то отцом. В письмах ощущается глубокий душевный кризис писателя. Звучит боль за судьбы Европы, ненависть к нацизму, отчаяние, усталость, скорбь от вынужденной жизни вдали от родины. 17 сентября 1941 ...«Новости из Европы ужасные. Это будет зима небывалого страха, какого мир еще никогда не знал...Мне бы только немного спокойствия, а в работе недостатка не будет».

27 октября 1941 «...Ужас, который у меня вызывают нынешние события, возрастает до бесконечности. Мы только на пороге войны, которая по настоящему начнется с вмешательством нейтральных последних держав, а затем наступят хаотические послевоенные годы... К тому же еще эта мысль, что никогда уже не будет ни дома, ни угла, ни издателя, что не смогу больше помогать своим друзьям, - никому!.. До сих пор я всегда говорил себе: продержаться всю войну, потом снова начать... Эта война уничтожает все, что создано предшествующим поколением...».

20 января 1942 «...Я все больше и больше уверен, что никогда уже больше не увижу своего дома и что везде буду временным постояльцем... Нам остается лишь уйти, тихо и достойно».

Совершенно очевидно, что в эти месяцы, Цвейг мечется между естественным желанием жить и невозможностью продолжать в предлагаемых условиях уничтожения всего, что составляло смысл и ценность жизни.

22 февраля 1942 Фридерика получает последнее письмо:

«Дорогая Фридерика! Когда ты получишь это письмо, мне уже будет лучше. Ты видела меня в Оссининге и знаешь, что после периода спокойствия моя депрессия стала более острой. Я так страдал, что не мог больше сосредоточиться. И потом эта уверенность, что война продлится годы, прежде чем мы сможем вернуться к себе

домой, эта уверенность действовала на меня совершенно удручающе... У тебя есть дети и, следовательно, долг перед ними. У тебя широкие интересы и еще много сил. Я уверен, что ты увидишь лучшие времена и что ты поймешь, почему я, с моей ипохондрией, не мог дольше ждать, и одобришь меня.

...Горячие приветы твоим детям, и не жалею меня... Стефан

Шлю тебе самые добрые пожелания. Будь мужественной. Ты знаешь, что я спокоен и счастлив».

18.02 1942 в письме издателю Когану: «...Вы знаете, какую усталость от жизни испытывал я с тех пор, как потерял свою родину, Австрию, и не мог обрести истинную жизнь в работе, живя кочевником и чувствуя, что старею – больше от внутренних страданий, чем от возраста. (Цвейгу был 61 год) Не жалеете меня, моя жизнь уже давно уничтожена, и я счастлив, что смогу уйти из мира, ставшего жестоким и безумным».

23 февраля 1942 года рядом с телом найдена записка: « Не трогать! Все эти рукописи (большей частью незаконченные) должны быть вручены Абрао Когану, которого я просил сохранить их и дать на просмотр Виктору Ватовскому. Стефан Цвейг». На столе лежало несколько запечатанных конвертов и отдельно - письмо для передачи городским властям:

«Я ухожу добровольно в твёрдом уме и памяти, но прежде хочу исполнить последний долг - выразить свою глубокую благодарность прекрасной стране, предоставившей для меня и для моей работы столь гостеприимное убежище. С каждым днём я всё больше любил эту страну и нигде не смог бы лучше построить заново свою жизнь после того, как мир моего родного языка для меня погиб, а Европа - моя духовная родина - истребила сама себя. Но когда тебе столько лет, нужно иметь много сил, чтобы начать всё сызнова. А мои силы за многие годы бесприютных странствий иссякли. Поэтому я счёл правильным вовремя, честно прекратить эту жизнь, в которой самой высокой радостью был для меня духовный труд и наивысшим благом - личная свобода.

Всем моим друзьям привет! Пусть они увидят рассвет после долгой ночи. У меня не хватило терпения, и я уйду первым» Русское издание № 1, 2009

«Следует соблюдать почтение к мертвым!» (Диего Гари)

Эрих Мария Ремарк написал о трагедии в романе «Тени в раю»: «Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить кому-нибудь душу хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей».

Природа жестко охраняет безусловные рефлекссы, к чему относится и стремление жить. Но, тем не менее, случаи самовольного ухода из жизни встречаются и в животном мире, например массовое самоуничтожение китов. Известно увеличение самоубийств, в переходные периоды истории. Так за 12 лет гитлеровского правления немецкоязычная литература лишилась многих прекрасных писателей, если говорить об этой группе.

Существует расхожее мнение, что трагический финал можно предотвратить. Далекое не всегда. Во многих психиатрических лечебницах существуют отделения для потенциальных самоубийц, для тех, кто пытался уйти из жизни. Эффективность и успешность усилий зависит от многих факторов, в первую очередь в случае перемен к лучшему, достижению целей.

В принятии Цвейгом рокового решения соединилось много причин – рецидивирующая депрессия, эмиграционный стресс, климакс и связанная с этим боязнь старческой немощи. И совершенно не важно, верно ли писатель оценивал происходящее: он так чувствовал!

Ромену Роллану Цвейг казался сильным, уверенным в своем существовании, которое умел оградить от всех опасностей. Так же думал о Ромене Гари, сын Диего... Оценки не всегда верны.

Возможно, умной, волевой Фридерике удалось бы как в прежние годы, вывести мужа из тревожного состояния. Но с ним в последние дни была слабая, меланхоличная Лотта... Она могла уйти с мужем, но не сохранить его!

Не всегда удастся проникнуть во внутренний мир даже близкого человека. Не всегда вмешательство является уместным и эффективным.

22 февраля 1942 Стефан Цвейг ушел из жизни.

Ушел... и остался!

Е

### **Литература**

1. Боголюбова Наталья. *Стефан Цвейг – Великая жизнь, великая трагедия*. Москва «Современник» 2004.
  2. Гари Александр Диего «S' или надежда на жизнь» М.,; Иностранка, 2010.
  3. Гром К.Н. *Роман-биография в творчестве Стефана Цвейга*. Ташкент, 1990.
  4. Житомирская З.В. *Стефан Цвейг: Библиографический указатель*. М., 1976.
  5. Луначарский А.В. Предисловие к книге Цвейга *Борьба с безумием*. Кооперативное издательство «Время» Ленинград, 1931.
  6. Стефан Цвейг. *Исследователь человеческой души*
  7. Сучков Б.Л. Цвейг Стефан - В кн.: Б.Л. Сучков. *Лики времени*. М., 1976.
  8. Федин Конст. *Писатель, искусство, время*. М., 1980.
  9. Цвейг С. *Собрание сочинений, в семи томах*. Библиотека «Огонек» Издательство «Правда», Москва, 1963.
- Цвейг С. *Вчерашний мир*. М., 1991.



## Исаак Юдовин

### Обреченный на страдания

*Если бы выдающийся итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо написал свою книгу «Гениальность и помешательство» не в 1863 году, а, предположим, в 1893-м, то наверняка уделил бы в ней особое внимание трагедии Фридриха Ницше (1844-1900). Пожалуй, никто так дорого не заплатил за свою гениальность, как этот философ-художник. Очевидно, он признавал это. Незадолго до окончательного падения в бездну безумия он писал: "Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни!"*

*"Самое быстрое животное, приносящее нас к совершенству, есть страдание".*  
Майстер Экхард, средневековый мыслитель.



н был наделен необычайно болезненной чувствительностью. По словам одного из лучших его биографов Даниэля Галеви, Ницше страдал от сильной невралгии, бессонницы, расстройства зрения, боли в глазах и желудке, разлития желчи. Он вынужден был соблюдать строжайшую диету, отказывать себе чуть ли не во всем. Как писал о Ницше Стефан Цвейг в своей трилогии "Борьба с безумием", "всякое уклонение от диеты раздражает его чувствительный кишечник, всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмки вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют его меню; ни сигареты, ни папиросы не выкурит он после обеда; ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего..."

Этот человек, бросивший вызов богам и воспевавший идеал Сверхчеловека, так неимоверно страдал, что жаждал скорейшей смерти и поэтому неоднократно покушался на

самоубийство. Недаром он писал, когда ему едва исполнилось 15 лет, то "ужасные непрекращающиеся муки моей жизни заставляют меня призывать смерть..." И это писал человек, который, судя по мнению тех, кто его хорошо знал, был бы вполне здоровым, если бы природа не наградила его невероятно восприимчивой, реагирующей на малейшие раздражения нервной системой. "Эта ужасающая, демоническая сверхчувствительность его нервов, - утверждал Стефан Цвейг, - на весах которой всякий едва вибрирующий нюанс, для других дремлющий глубоко под порогом сознания, превращается в отчетливую боль, является корнем всех его страданий и в то же время ядром его гениальной способности к оценке. Ему не нужно что-либо вещественное, реальный аффект для того, чтобы в его крови возникла судорожная реакция; уже самый воздух с его суточными изменениями метеорологического характера служит для него источником бесконечных мучений". Эти изменения вызывали у него головные боли, нередко перерастающие в приступы мигрени, и желудочные спазмы с кровавой рвотой, ознобы и лихорадку, нервное перевозбуждение и бессонницу, галлюцинации и холодный пот по ночам. Касаясь вопроса о роковом влиянии атмосферных явлений на физическое и духовное самочувствие Ницше, на его противостояние жестоким ударам судьбы, Даниэль Галеви писал, что "нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе; в особенности же он страдал от мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом..." Об этом же, но гораздо более развернуто, психологически тонко и вместе с тем образно писал и Стефан Цвейг: "Едва ли найдется еще один человек, живущий духовными интересами, который был бы так чувствителен к метеорологическим явлениям, так убийственно чуток ко всякому атмосферному напряжению и колебанию, был бы в такой мере манометром и ртутью, обладал бы такой раздражимостью, словно тайные электрические контакты соединяли его пульс с атмосферным давлением, его нервы -

с влажностью воздуха. Его нервы отмечают болью каждый метр высоты, всякое изменение давления, и мятежным ритмом отвечают на всякий мятеж в природе. Дождь, облачное небо понижает его жизнеспособность ("затянутое небо глубоко угнетает меня"), грозовые тучи он ощущает всем существом, вплоть до кишечника, сырость его изнуряет, сухость оживляет, солнце освобождает, зима для него – столбняк и смерть".

Вряд ли в галерее выдающихся деятелей прошлого и настоящего можно встретить человека, который бы столь лихорадочно, как Ницше, искал такое место, где можно было бы, хотя бы отчасти, обуздать свою "бешеную чувствительность". Разве что это характерно было для Жан-Жака Руссо. Однако, в отличие от него, которого толкала на скитальческий образ жизни не только болезненная чувствительность, но и страшная мнительность, самовнушение в том, что все ненавидят его, Ницше не мучила мания преследования. Главная причина его скитаний – постоянные поиски лекарства от все более мучившей его обостренной чувствительности... По словам Цвейга, метеорологическая чувствительность Ницше "постоянно гонит его на поиски подходящих атмосферных условий, особенно благоприятной местности, "климата его души". В Лугано он ищет целебного воздуха и безветрия; оттуда он едет в Сорренто; потом ему кажется, что ванны Рагаца помогут ему избыть боль от самого себя, что благотворный воздух Сан-Морица, источники Баден-Бадена или Мариенбада принесут ему облегчение. В одну из весен особенно близким его природе оказывается Энгадин – благодаря "крепкому озонированному воздуху", затем эта роль переходит к южным городам – Ницше с ее "сухим" воздухом, затем к Венеции и Генуе. То леса привлекают его, то моря, то стремится он к озерам, то ищет маленький уютный городок "с доброкачественным, легким столом". Одному Богу известно, сколько тысяч километров извездил вечный странник в поисках этого сказочного места, где прекратилось бы горение и дерганье его нервов, вечное бодрствование всех его органов" Но, увы, куда бы он ни приезжал, везде находились такие атмосферные явления,

которые отрицательно сказывались на его организме. Например, Венеция покорила его своей величавой красотой. Он без конца бродил по ее темным улицам, любовался неожиданными эффектами солнца и воды, мог часами смотреть на собор Св. Марка с его ручными голубями и на лагуны с их островами и храмами. Но капризная погода – то ярко светит солнце, то идет дождь с пронизывающим ветром – угнетающе действовала на его нервы. Очаровала его и Генуя, расположенная между горами и морем. Но и здесь он столкнулся с резкими, вредными для его здоровья перепадами погоды, особенно осенью, когда на смену теплым, солнечным дням приходят дни пасмурные, холодные. Зато Ницца в большей мере, чем Венеция и Генуя, дала ему то, что для него имело особое значение, - изобилие света, много умеренно теплых, светлых дней. "Свет, свет, свет, - писал он тогда, - наконец я пришел в равновесие". Но его раздражала в этом городе, как и в Неаполе, и особенно в Риме, кричащая назойливая толпа. Словом, нигде он не мог избавиться от своей патологически повышенной чувствительности.

Однако было бы наивно думать, что эта чувствительность Ницше являлась лишь следствием воздействия на него, на его нервы атмосферных явлений. Как писал Стефан Цвейг, "не только внешнее небо отражает в нем давление и облачность: его чуткие органы отмечают также всякое давление, всякое возмущение на внутреннем небе, на небе духа. Ибо всякий раз как сверкнет мысль в его мозгу, она будто молния пронизывает туго натянутые нити его нервов: акт мышления протекает у Ницше до такой степени экстаично и бурно, до такой степени электрически судорожно, что всякий раз он действует на организм как гроза, и при всяком взрыве чувства достаточно мгновения в точном смысле этого слова для того, чтобы изменить кровообращение". Тело и дух у этого самого жизненного из мыслителей связаны до того напряженно, что внешние и внутренние воздействия он воспринимает одинаковым образом: "Я не дух и не тело, а что-то третье. Я страдаю всем существом и от всего существующего".

Но откуда она взялась у него, эта



сверхъестественная, мучившая его чуть ли не с раннего детства чувствительность, которая явилась одной из основных причин его безумия? Не унаследовал ли он ее от своего отца Карла Людвигу Ницше, лютеранского пастора? Это был человек искренне религиозный и верноподданный прусского королевства. Высшие власти уважали его за обстоятельные знания в области богословия и скромный, благочестивый образ жизни. Сам Фридрих Вильгельм IV, король Пруссии, покровительствовал ему. Перед ним открывалась блестящая карьера. Но он вынужден был отказаться от нее из-за слабого здоровья, прежде всего легко ранимой нервной системы и головных болей, не переносивших шума городской жизни, и поселиться в тихой сельской местности. Но, увы, беда подстерегла его и здесь. В августе 1848 года он упал с лестницы крыльца своего дома и сильно ударился головой об ее каменные ступени. Его это так потрясло, что он впал в тяжелую депрессию и после года мучительных страданий умер. Ему было 36 лет. Почему же то, что для других людей проходит, как правило, бесследно, обернулось для него такими роковыми последствиями? Видимо, от рождения он был наделен предрасположенностью к душевным заболеваниям. Но это вовсе не значит, что он непременно должен был стать душевнобольным, причем именно в 35 лет. Очевидно, дело в том, что в отличие от людей с прирожденными душевными болезнями, у людей с предрасположенностью к ним, они обуславливаются какими-то внешними факторами. С этой предрасположенностью можно жить и жить, дожить до преклонного возраста (как, например, с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям), так и не сделавшись душевнобольным. Что же послужило толчком к "вспышке" предрасположенности у Карла Людвигу Ницше, приведшей его к душевному заболеванию? Представляется, что это злополучное падение с лестницы...

Маленькому Фридриху было тогда 4 года. "Трагизм пережитых дней – писал Даниэль Галеви, - поразил его ум; беспокойная ночь, рыдания, слышавшиеся в доме, страх перед закрытой комнатой отца, тишина, заброшенность... Затем колокольный звон, похоронные напевы, надгробные

речи и гроб, скрывшийся под церковными плитами. Долгое время Фридрих Ницше жил с душой, встревоженной от того, что он так рано понял смерть. По ночам его посещали видения, он предчувствовал приближение новой катастрофы". Спустя примерно 9 лет подросток Ницше вспоминал о тех ужасных событиях: "Когда у дерева срезают верхушку, то оно увядает, сохнет и птицы покидают его ветви. Наша семья лишилась своего главы, всякая радость улетела из наших сердец и глубокая грусть охватила их. Едва только стала заживать наша рана, как ей нанесли новый удар. В эти ночи я не раз слышал во сне погребальные звуки органа, печально раздававшиеся под сводами церкви. И когда я старался понять, откуда я слышу их, раскрывалась могила и из нее выходил закутанный в саван отец. Он проходил через всю церковь и вскоре возвращался, держа в своих объятиях ребенка. Снова раскрывалась могила, отец опускался в нее, и камень закрывался за ним. Звуки органа замолкали... и я просыпался. Утром я рассказывал сон моей горячо любимой маме. Вскоре заболел мой маленький брат Йозеф, у него сделался нервный припадок, и он умер через несколько часов. Горе наше было ужасно. Мой сон сбылся в точности, маленький труп опустили в объятия отца. После этого двойного несчастья один Господь Бог стал нашим утешителем..."

Так для пятилетнего Ницше кончилось светлое, жизнерадостное детство. Остались лишь грустные воспоминания о нем. "До той поры, - писал 15-летний Ницше в своих воспоминаниях "Из моей жизни", - мы испытывали только радость и счастье, жизнь наша текла безмятежно, как ясный летний день. Но потом сгустились черные тучи, сверкнула молния, и удары грома грянули с неба..." Особенно часто вспоминал Ницше о своем отце, которого обожал, несмотря на то, что знал его только в раннем детстве. В тех же воспоминаниях Ницше воссоздал сохранившийся в его душе образ отца: "Одаренный высоким духом и душевной теплотой, наделенный всеми добродетелями христианина, он жил мирной, простой, счастливой жизнью, любимый всеми, кто его знал. Его хорошие манеры и веселый нрав были украшением всякого

общества, куда его приглашали... Часы досуга он посвящал чтению и музыке и как пианист достиг заметного мастерства, особенно в исполнении свободных вариаций (то есть импровизации)". Помнил Ницше и о том, как отец, любивший в нем, маленьком Фридрихе, молчаливого спутника, часто брал его на прогулку, а он пытливо и сосредоточенно впитывал в себя, как губка, окружавший его мир. Он долго не мог говорить и только в два с половиной года произнес первое слово. Но это не помешало ему стать гением (что, впрочем, характерно для многих гениев). Очевидно, смерть отца, которая нанесла Ницше тяжелейшую травму на всю жизнь, ускорила пробуждение заложенных в нем от природы задатков гения. В какой-то степени он был даже вундеркиндом, прежде всего в музыке. В девять лет он, потрясенный великолепием церковного хора, исполнявшего мессу Георга Фридриха Генделя (1685 – 1759), выдающегося немецкого композитора, автора многих церковных произведений, тут же загорелся желанием "создать нечто подобное", сел дома за фортепиано и стал подбирать аккорды, чтобы исполнить на собственную музыку библейские тексты. На каждое Рождество он восхищал своих слушателей сонатами, фантазиями, пастушескими хорами, а в двенадцать лет сочинил увертюру для исполнения в четыре руки. В дальнейшем Ницше продолжал заниматься музыкальным творчеством, написав около 70 сочинений. Но со временем его интерес к музыке все больше обретал философскую направленность. В 1863 году вышла в свет его статья "О демоническом в музыке", а в 1872-м - одна из его фундаментальных философских работ "Рождение трагедии из духа музыки". И все это принадлежит человеку, который нигде и никогда не обучался музыкальной грамоте, не осваивал основы композиторского и исполнительского творчества. Он был, по сути дела, музыкантом-самоучкой (как, кстати, и в философии). Единственным учителем, начавшим развивать в нем музыкальные способности, в частности, к импровизации, был его отец, превосходный органист и пианист. Маленький Фридрих с упоением слушал, как он играет. Ницше полагал, что именно от отца он унаследовал свой музыкальный дар.

Тень отца, его страдания от душевной болезни и смерть в 36-летнем возрасте сопровождала Ницше до последних дней его сознательной жизни. В 1888 году, незадолго до своего окончательного падения в бездну безумия, он писал об отце: "... он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, - он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью ". По мнению Р. Дж. Холлингдейла, глубокого исследователя жизни и творчества Ницше, "...это не столько идеализированный образ забытого отца, сколько портрет больного, умирающего человека – пастора Ницше в последние девять месяцев его жизни, каким он более всего являлся в памяти своего 44-летнего сына". Однако, трудно согласиться с утверждением Холлингдейла о "забытом отце". Ницше о нем никогда не забывал. Он всю жизнь верил в силу наследственности. Он не сомневался в том, что унаследовал от отца не только слабое здоровье, легко ранимую нервную систему и головные боли, но и предрасположенность к болезненно повышенной чувствительности, к патологическим изменениям в нервно-психической деятельности. Еще в детстве его преследовали сильные головные боли (не было никаких средств их снять), полуобморочные состояния, болезнь глаз, доводящая почти до слепоты. "Мой отец умер тридцати шести лет..., - писал 44-летний Ницше, - Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустил до последнего предела своей витальности - я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя...". Ужасная мысль о том, что наследственность предопределила ему судьбу отца, пришла уже в детстве. Известный российский исследователь наследия Ницше А.В. Перцев пишет: "Отец, явившийся в кошмаре пятилетнего мальчика, был не просто образом смерти. Он был еще и образом неизбежного собственного безумия. Жить навязчивой мыслью, что в тридцать с лишним лет тебя ожидает слепота, безумие и смерть, невозможно".

Болезненное состояние молодого Ницше усугублялось тем, что, по утверждению большинства его биографов, в студенческие годы он заразился сифилисом,

Даже такой тонкий знаток жизни великого философа, как выдающийся немецкий писатель Томас Манн (1875-1955), придерживался этой точки зрения. Вот что можно прочесть в его статье "Философия Ницше в свете нашего опыта": "В 1865 году Ницше – ему шел тогда двадцать второй год – рассказывает своему университетскому товарищу Паулю Дейссену, будущему известному санскритологу и исследователю Вед, о забавном приключении, которое ему довелось пережить во время своей недавней поездки в Кельн. Желая познакомиться с городом и его достопримечательностями, Ницше воспользовался услугами гида и весь день посвятил экскурсии, а вечером попросил своего спутника свести его в какой-нибудь ресторан поприличнее. Однако провожатый – в нем чудится мне зловещая фигура посланца судьбы – ведет его в публичный дом. И вот этот юноша, олицетворение мысли и духа, учености, благочестия и скромности, этот мальчик, невинный и чистый, точно юная девушка, вдруг видит, как его со всех сторон обступает с полдюжины странных созданий в легких нарядах из блесок и газа, он видит глаза, устремленные на него с жадным ожиданием. Но он заставляет их расступиться, этот юный музыкант, филолог и почитатель Шопенгауэра; в глубине бесовского вертепа он заметил рояль, "единственную, - по его словам, - живую душу во всем зале"; инстинктивно он идет к нему и ударяет по клавишам. Чары тотчас рассеиваются; оцепенение исчезает; воля к нему возвращается, и он спешит спастись бегством".

Но, увы, змей искуситель сделал свое дело. Вопрос только: какой змей искуситель? Не тот ли, который совратил байроновского и пушкинского Дон Жуана? Разумеется, не без этого. Однако, Ницше совратил другой змей, вдохнув в него еще в детстве страсть к познанию Стефан Цвейг назвал Ницше Дон Жуаном познания: "Подобно тому, - писал Цвейг, - как великий соблазнитель среди множества женщин настойчиво ищет единую, - так Ницше среди всех своих познаний ищет единое познание, вечно не осуществленное и до конца не осуществленное; до боли, до отчаяния чарует его не овладение, не обладание и

нахождение, а преследование, искание, овладевание. Не к достоверности, а к неуверенности стремится его любовь, демоническая радость соблазна, обнажения и сладострастного проникновения и насильования каждого предмета познания... Он знает, вечный релятивист, переоценщик ценностей, что ни один из этих актов познания, ни одна из этих попыток алчного духа не дает "познания до конца", что истина в конечном смысле не допускает обладания: "тот, кто мнит: я обладаю истиной – сколь многого он не замечает!"

По словам Томаса Манна, "через год после своего кельнского бегства, Ницше, на этот раз уже без сатаны соаврителя, сам разыскивает подобное заведение и заражается (по мнению некоторых – преднамеренно, чтобы наказать себя за грех) болезнью, которой суждено было изломать его жизнь и в то же время вознести ее на несказанную высоту. Да, именно так, потому что именно его болезнь стала источником тех возбуждающих импульсов, которые порой столь благотворно, а порой столь пагубно действовали на целую эпоху". Томас Манн не голословен. Он ссылается не только на данные базельской клиники, где со слов Ницше запишут, что в молодости он дважды заразился венерическими болезнями, но и на доктора Мебиуса, написавшего книгу, в которой он с профессиональным знанием дела изобразил всю духовную эволюцию Ницше, как историю болезни прогрессивного паралитика. А болезнь все больше давала о себе знать. "К 1875 году здоровье мое ухудшилось. Мучительная и неотступная головная боль истощала все мои силы. С годами она нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал тогда для меня до 200 невыносимых дней... Зрелость моего духа приходится как раз на это страшное время".

Он все больше страдал от одиночества, особенно духовного. И это несмотря на то, что у него были любящие, обожавшие его мать и сестра. Были у него и друзья, с которыми он учился в школе и университете. Но уже в юношеские годы он болезненно ощущал возникавшую вокруг него пустоту. "Увы, мой дорогой друг, - писал 25-

летний Ницше одному из своих университетских друзей, - у меня так мало радости, и я должен переживать ее всегда один, в полном, полном одиночестве. Я не боялся бы самой серьезной болезни, если б этой ценой я мог хоть один вечер с тобой побеседовать. Письма дают так мало! Людям постоянно нужна акушерка, и почти все идут разрешаться от бремени в кабаки, в коллегии, где мелкие мысли и мелкие проекты прыгают, как котят. Но когда мы полны нашими мыслями, то нет никого, кто бы помог нам, кто бы присутствовал при трудных родах, и, сумрачные и тоскующие, мы несем в какую-нибудь черную дыру наши новорожденные тяжелые, бесформенные мысли. Нам не хватает солнца, дружбы".

Что ж, у него были все основания так говорить. Склонный по своим душевным качествам к настоящей, бескорыстной дружбе, он терял друзей. Терял их не только потому, что мало кому из них дано было понимать всю глубину его трудов по философии, но и потому, что он предъявлял к дружбе высокие моральные требования. С грустью и горечью он расставался с теми, с кем его длительное время связывали дружеские отношения. Особенно с Рихардом Вагнером (1813-1883), которого он чуть ли не боготворил. (Кстати, Ницше был на 25 лет моложе этого, безусловно, выдающегося композитора). Дело не только и не столько в том, что Ницше не разделял эстетические взгляды позднего Вагнера. Молодой философ явно разочаровался в его личностных качествах, увидев в нем человека властолюбивого, мстительного, завистливого. Не случайно Ницше сделал тогда такую запись в своем дневнике: "Вагнер недоверчив, подозрителен и высокомерен".

Не мог Ницше смириться и с оголтелым антисемитизмом Вагнера, направленным прежде всего против деятелей культуры, искусства, музыки еврейского происхождения. Так, например, этот реформатор оперы ненавидел не только семью, но даже имя Мендельсона, выдающегося композитора. В отличие от Вагнера Ницше были чужды антисемитские настроения, хотя ему и свойственно было двойственное отношение к евреям.

Исходя из своего понимания сущности и назначения человека, Ницше выступил не только против христианства, которое "внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур", но и против иудаизма. Ведь иудаизм – колыбель христианства. Вину древних (именно древних) евреев перед человечеством Ницше видел в созданной ими и воспринятой христианами морали, основанной на принципах равенства, добра и сострадания; морали, которая лишила естественные ценности всякой естественности и тем самым подавляла мощную энергию жизни, волю человека. Но великий диалектик и правдолюбец Ницше видел в древних евреях и то, что вызывало и симпатию к ним. "Евреи, - писал он, - это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, с внушающей ужас сознательностью, предпочли быть какою бы то ни было ценою; и этою ценою было радикальное изменение всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя от всех условий, в которых до сих пор народ мог и должен был жить, они создали из себя понятие противоположности естественным условиям, непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий. Подобное явление встречаем мы еще раз (и в чрезвычайно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия): христианская церковь по сравнению с "народом святых" не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем и самый роковой народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма".

В то же время в высказываниях Ницше о евреях нередко звучит сочувствие к ним и даже вина перед ними за все те страдания, которые выпали на их долю. По его словам, евреи – народ, "у которого по нашей вине была самая скорбная история в сравнении с другими народами, который дал самый чистый тип мудреца (Спинозу) и



производящую могучее влияние Книгу, и нравственный закон, имевший сильное действие". Вину древних евреев Ницше не распространял на евреев, живших в последующих периодах истории. Более того, он осуждал не всех древних евреев, а "священническое" еврейство эпохи Второго Храма. Ницше высоко ценил роль евреев в создании европейской культуры: "... в самые темные эпохи средних веков, когда азиатская грозная туча нависла над Европой, еврейские свободные мыслители, ученые и врачи крепко держали знамя просвещения и умственной независимости и защищали Европу от Азии, несмотря на то, что подвергались насилию и находились в самых тяжелых условиях". А вот что Ницше писал о современном ему еврействе: "Нет никакого сомнения в том, что из всех живущих в настоящее время рас самая сильная, самая живучая и самая чистая – это еврей". Он с восторгом отзывался о творчестве Джакомо Меербера, Жака Оффенбаха, Феликса Мендельсона и других деятелей культуры еврейского происхождения. Но особенно высоко оценил он поэзию Генриха Гейне: "Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той общественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, - я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатиры". Ницше восхищался удивительным стремлением и умением евреев сохранить себя как народ: "По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения, берет сторону всех инстинктов *dekadente* – не потому, что они им владеют, но потому что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя против "мира".

Не это ли жизнеутверждающее начало услышал Ницше в опере Жоржа Бизе "Кармен"? "Опера слушается, - писал он, - как новела Мериме; она остроумна, сильна, местами глубоко волнует. Бизе – настоящий французский талант, еще не сбитый с толку Вагнером, это истинный ученик Берлиоза... Я недалек от мысли, что "Кармен" –

лучшая из существующих опер. До тех пор, пока мы живы, она продержится на всех европейских сценах..." Знал ли Ницше о еврейских корнях Жоржа Бизе?

Ницше страдал не только от одиночества, от того, что у него не было, по сути дела, друзей, которые бы его действительно понимали, стали бы его единомышленниками. Не меньше он страдал и от того, что был недоволен самим собою. Порой его мучило сознание своей душевной слабости и даже чувство отвращения к самому себе... "Я много поносил своих современников, - признавался 32 – летний Ницше, - а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть учителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу". Не откладывая эту проблему в долгий ящик, Ницше сформулировал те жизненные правила, которые легли в основу его работы над собой в целях самосовершенствования. Вот важнейшие из них:

"Будь независим, никого не оскорбляй; пусть гордость твоя будет личной и сокровенной и не стесняет других людей. Пусть не будет в тебе зависти к почестям и благополучию; сумей также воздержаться от насмешки. Сон твой должен быть легок, манеры свободные и тихие; избегай знакомства со знаменитостями и особами королевской крови..."

Трудно поверить, чтобы этот человек, исповедовавший такие правила, воспевал свободу от морали. Напротив, он осуждал все более процветающий аморализм в жизни тогдашнего общества. Он страдал от господствовавших в этом обществе лжи и лицемерия, фальши и ханжества. "Мир отвратителен, писал он в своей книге "Происхождение трагедии из духа музыки", - он жесток, как дисгармонирующий аккорд, душа человека такая же дисгармония, как и весь мир, сама в себе несущая страдания... Мы снисходим к своим слабостям, и нет низости, которой мы не нашли бы оправдания. Мы

поддаемся иллюзиям, но каким, благородным или низким? И сознаем ли мы, что мы обмануты, если мы сами ищем обмана?"

Эти горькие размышления были отчасти навеяны разразившейся весной 1871 года гражданской войной во Франции. Восставший люд Парижа неистовствовал. Во многих местах города бушевали пожары. Горел Лувр. Ницше был в отчаянии: погибли лучшие произведения искусства, цветы человеческого творчества. Кого же в этом винить? "Сознаемся самим себе, - писал в те дни Ницше своему школьному другу Герсдорфу, - что все мы, со всем нашим прошлым, ответственны за угрожающие нам в эти дни ужасы. Мы будем не правы, если со спокойным самодовольством будем взирать на результаты войны против культуры и обвинять во всем тех несчастных, которые начали ее... Как бы ни было велико мое горе, я никогда не брошу камня в голову этих святотатцев, потому что, на мой взгляд, все мы несем вину за это преступление, над которым стоит много подумать".

Впрочем, и сейчас стоит, очень стоит подумать об этом и сделать все, что в человеческих силах и возможностях, чтобы предотвратить все более и более нарастающую угрозу самому существованию человечества. Пожалуй, никто так зримо, как Ницше, не предвидел это. И не только предвидел, но и страдал. Опять же "благодаря" своей сверхъестественной чувствительности... И когда он понял, что у него нет никаких шансов на спасение от нее и что он обречен страдать до конца своей жизни, то мужественно принял этот приговор своей судьбы. "Мои постоянные жестокие страдания, - писал Ницше, - до сих пор не изменили моего характера, наоборот, мне даже кажется, что я стал веселее, добродушнее, чем когда-либо. Откуда только берется эта укрепляющая и оздоравливающая меня сила?"

И перед его внутренним взором предстала та простая, но в то же время великая истина, что только через страдания человек обретает мудрость: "Напрягая свой ум для борьбы со страданием, мы видим вещи в совершенно ином свете... Тот, кто страдает, с неизбежным презрением

смотрит на тусклое, жалкое благополучие здорового человека; с тем же презрением относится он к своим бывшим увлечениям, к своим самым близким и дорогим иллюзиям; в этом презрении все его надежды; оно поддерживает его в борьбе с физическими страданиями... Гордость его возмущается как никогда; радость защищает жизнь от такого тирана, как страдание, от всех уловок физической боли, восстанавливающих нас против жизни. Защищать жизнь перед лицом этого тирана – это ни с чем не сравнимый соблазн".

Всякая мудрость, по Ницше, есть следствие страдания: "боль постоянно спрашивает о причинах, а наслаждение склонно стоять на месте, не оглядываясь назад". Боль, активизируя духовную жизнь человека, способствует более глубокому и тонкому проникновению его ума в сущность того, что происходит вокруг него и в нем. "Только великая боль приводит дух к последней свободе, только она позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа, и тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе: "Я знаю о жизни больше потому, что так часто бывал на границе смерти".

Итак, вряд ли кто так ужасно страдал в тисках своей чудовищной Сверхчувствительности, как Фридрих Ницше. Казалось, что она вот-вот окончательно растерзает его, лишит способности творчески мыслить. Однако каждый раз он, как Прометей, находил в себе силы побеждать (пусть и не до конца) свою мучительную болезнь и с еще большим вдохновением устремляться в загадочный мир человеческого бытия. Он обуздывал свои страдания не в алкогольном, а в творческом опьянении, в титаническом труде духа, в ненасытной жажде познания, в неустанных поисках смысла жизни. "У кого есть зачем жить, – утверждал он, – тот может вынести почти все".

Его жизнь – это пламенный гимн духу, обреченному на страдания, но непоколебимому в своем стремлении к подлинной, одухотворенной свободе:

"Чем погибает безвозвратней

Мой дух, прикованный к страстям,  
Тем мысль смелей и необъятней  
Стремится к вечным небесам.

Так пальма, корни отрастая,  
Чем глубже ранит землю в грудь,  
Тем выше ветви простирая,  
Яснее видит звездный путь".



**Игорь Ефимов**

**Франклин Делано Рузвельт  
(1882-1945)**

Из книги «Бермудский треугольник  
любви»



*вое, которых мы будем называть БАС и ТЕНОР, сидят друг перед другом за столом. Перед каждым – книги с закладками, газетные вырезки, фотографии. Иногда они произносят свои мини-монологи, глядя друг на друга, иногда – глядя в камеру. Время от времени их изображение сменяется портретами тех, о ком они говорят, изображениями упоминаемых зданий, кораблей, уличными сценами, кадрами кинохроники.*

БАС: Приступая к разговору о фигуре такого масштаба, мы должны сделать что-то простое и наглядное, чтобы показать зрителю наше бесконечное уважение к 32-му президенту Соединённых Штатов. Например, повесить на стене его большой портрет и перед каждым перерывом на рекламу поворачиваться к нему лицом и застывать в молитвенной позе. Не должно возникнуть и мысли, будто мы принадлежим к той хищной породе журналистов, расплодившейся в последние десятилетия, которая жадно ищет тёмные провалы в жизни знаменитых людей, скелеты в шкафу, дохлых кисок в подвале.

ТЕНОР: Боюсь, поклонение портрету может быть воспринято как пародия на иконопочитание. Зачем? Наша роль, мне кажется вполне ясной, вырастающей из почётных традиций греческого театра. Там, как вы помните, кроме главных персонажей на сцене, рядом присутствовал хор, который комментировал происходящее, восхищался,

ужасался, предостерегал. Философ Шеллинг так объясняет назначение хора (*читает цитату*): «Оно стало заключаться в том, чтобы отнять у зрителя его переживания – движения души, участие, думы, не предоставлять его самому себе... и таким образом, при помощи искусства, всего приковать к драме». Жизненная драма под названием «Франклин Делано Рузвельт» закончилась в апреле 1945 года. Книги, фильмы, биографии, воссоздающие эту жизнь, могут быть интерпретированы как хоровые составляющие огромного театрального действия. И наша программа представляет собой просто два новых голоса, вливающих в могучий хор.



Франклин Рузвельт

БАС: Хорошо, что мы не биографы и нам нет нужды начинать с детства героев, с описания их предков до пятого колена, с исторической эпохи, на фоне которой они появились на свет. Первые кадры кинофильма теперь пускают прямо на ползущих титрах – так поступим и мы: поезд Нью-Йорк–Покипси дымит по левому берегу Гудзона; в углу экрана дата – 1902; в вагоне по проходу идёт молодой человек – высокий, красивый, полный живого любопытства ко всему, на что падает его взор. Вот он замечает знакомое лицо. Девушка отворачивается от окна, смотрит на него. Ну, конечно, они встречались и раньше. Где? На какой-то из вечеринок, балов, пикников, которые бесчисленные нью-йоркские Рузвельты и Делано устраивают чуть не каждую неделю. Да, они оба Рузвельты. Элеанор – ни много, ни мало

– родная племянница нынешнего президента, Теодора Рузвельта. Родство Франклина с президентом гораздо более дальнее. Зато покойный отец Элеанор, родной брат президента, был его крёстным отцом.

ТЕНОР: Но родственные связи и клановые сплетни недолго остаются темой их разговоров. Впоследствии друзья и близкие будут ломать голову: что свело вместе двух таких непохожих людей? Почему красавец, круживший голову десяткам прелестных девушек и дам, предпочёл проводить время с некрасивой, неловкой, лишённой дара светской беседы Элеанор? Похоже, она и сама не верила своему счастью. Однажды в разговоре с кузиной разрыдалась и воскликнула: «Нет, мне не удержать его! Он ведь просто неотразим!».

БАС: В другой раз она призналась кому-то из близких, что полюбила Франклина за то, что он прочёл не меньше книг, чем она. В 1903 году они встречались уже регулярно, и в их общении и разговорах никогда не случалось тягостных пауз. Наслаждение беседой, выплёскивавшейся далеко за круг обычных тем светской болтовни, было для Франклина новым и волнующим в отношениях с девушкой. В его дневнике всё чаще упоминаются встречи с Элеанор, и одна короткая запись ясно говорит о его чувствах к ней: «Э. – ангел!». Впоследствии их сын Элиот написал: «Отцу, похоже, доставляло удовольствие освободить свою невесту из раковины, в которой она жила. С ним она впервые научилась получать удовольствие от вечеринок и других сборищ». Не напоминает ли это нам легенду о Пигмалионе и Галатее?

ТЕНОР: А раковина была выкована прочная, уже с детских лет. Мать роняла в адрес дочери едкие замечания: «Не знаю, что с тобой будет. Ты такая непривлекательная, что у тебя нет иного выхода, как стать очень-очень хорошей». Или: «Если девушка некрасива, нужно, чтобы она хотя бы имела приличные манеры». Сверстники называли Элеанор granny – бабулька. После смерти матери – унылое отрочество в доме бабушки, где игры не поощрялись, развлечения осуждались, а за столом было положено сидеть молча.



БАС: Просвет наступил лишь тогда, когда пятнадцатилетнюю Элеанор отправили за океан, в школу-пансион для богатых девочек под Лондоном. Директриса, мадмуазель Сувестр, сразу разглядела в юной американке клад душевных богатств и писала впоследствии её родным, что в жизни не сталкивалась с такой сердечной теплотой. Элеанор, в свою очередь, была поражена смелостью, с которой директриса нарушала каноны общепринятого. В войне между англичанами и бурами она была на стороне буров. Выступала в защиту Дрейфуса. Отстаивала права профсоюзов. Почти не скрывала своего лесбиянства. «Шоковая терапия мадмуазель Сувестр заставила меня думать самостоятельно», вспоминала потом Элеанор.



Элеанор Рузвельт

ТЕНОР: Очень важно, что школа Алленсвуд избавила её от многих страхов, в том числе и физических. Она даже вступила в школьную команду травяного хоккея и очень гордилась победами. У школьниц было принято выражать свои чувства друг к другу, оставляя по субботам букетики фиалок в комнате той, которая была им по сердцу, и комната Элеанор часто оказывалась заполненной цветами. Так что девушка, встреченная молодым Франклином в поезде, была уже не той испуганной замухрышкой, с которой он встречался у родственников три года назад.

БАС: По отзывам современников, в юной Элеанор жила благодарная отзывчивость на внимание и любовь,

которая должна была поразить и привлечь молодого Франклина. Само отсутствие светскости оборачивалось достоинством, ибо в общении с нею оставалось место только для самых искренних чувств. Когда юноша подсознательно отыскивает, на кого из мелькающих перед ним красавиц обратить накопленный заряд любви, его выбор может быть определён не внешностью, а смутным предчувствием: «Вот эта будет осчастливлена моей любовью сильнее всех остальных».

ТЕНОР: Но прежде, чем предлагать девушке руку и сердце, нужно было получить согласие матери. А Сара Делано Рузвельт была женщиной властной, решительной, обожавшей своего сына так, что никакая невеста не могла показаться ей достойной его. Да, Элеанор была племянницей президента, да, имела достаточное состояние, вела себя достойно, радостно кидалась выполнять любую просьбу и пожелание. Но где блеск, где красота, искромётность, остроумие? Когда Франклин сообщил матери о своём намерении жениться, мать была в полном шоке. И ведь не просил совета или благословения, а объявил как о деле решённом!

БАС: И какую изобретательность она проявляла в попытках расстроить этот брак! Потребовала – выпросила – уговорила отсрочить оглашение помолвки на год, испытать свои чувства временем. Настаивала, чтобы Франклин и Элеанор в эти месяцы как можно реже появлялись вместе на людях, не давали пищи сплетням и светской хронике. Поддаваясь её нажиму, сын согласился отправиться вместе с ней в шестинедельное плавание по Карибскому морю и во время путешествия флиртовал и танцевал с другими дамами так, что у матери зародились надежды на успех её плана. Но нет: по истечении года жених заявил, что отступать не намерен. Саре пришлось смириться. Помолвка была оглашена, и начались приготовления к свадьбе.

ТЕНОР: Недоброжелатели потом намекали, что среди мотивов, двигавших Франклином, было и желание породниться с президентом, которого он боготворил. Кроме того, многие молодые люди той эпохи женились рано просто ради того, чтобы спастись от дракона сладострастия.

Проституция была запрещена, мастурбация объявлялась ведущей к неизбежному безумию или слепоте, незаконные связи грозили утратой положения в обществе. Женитьба представлялась единственным приемлемым выходом. Делая предложение Элеанор, Франклин сознался, что у него нет своего состояния, всеми деньгами распорядается мать, а он всего лишь студент Колумбийского университета без гроша за душой. Но Элеанор заверила его, что ощущает в нём огромный запас творческих сил и верит в его блестящее будущее. Думаю, именно эта её непоколебимая вера в его талант и предстоящие свершения была главным магнитом, предопределившим выбор молодого Франклина.

БАС: В марте 1905 года только что избранный на второй срок Теодор Рузвельт сумел принять участие в бракосочетании своей любимой племянницы. Именно он, явившись прямо с парада, посвящённого Дню Святого Патрика, гремевшему за окнами на Пятой авеню в Нью-Йорке, повёл её к алтарю. Медовый месяц решено было провести в Европе. Франклин поспешно сдал экзамены на юридическом факультете, и молодожёны взошли на борт корабля.

ТЕНОР: В первые же недели путешествия Элеанор с болью осознала, как трудно ей будет поспевать – равняться – с этим вулканом энергии и энтузиазма. В Италии Франклин рвался вставать рано и начинать восхождения на горы высотой в несколько километров. Утомлённая путешествием Элеанор предпочитала оставаться в отеле. Молодой муж немедленно нашёл себе другую компаньонку, и они исчезли на три часа, а потом возбуждённо описывали увиденные красоты. Уязвлённая ревностью жена отказалась идти вечером на танцы – глазом не моргнув, муж спустился в бальный зал отеля и веселился без неё.

БАС: Не следует забывать, что викторианская традиция держала молодых девушек в полном неведении относительно плотских аспектов любовных отношений. Одна кузина Элеанор вспоминала, что пришла в ужас, когда знакомый мальчик поцеловал её за амбаром. Она была уверена, что тут же забеременеет от этого рокового поцелуя. Другая кузина, дерзкая и хорошо осведомлённая дочь

президента Элис, пыталась просветить Элеанор относительно анатомических деталей брачной жизни. Та неблагодарно отказалась слушать и обрушила на просветительницу град ударов подушкой.

ТЕНОР: Впоследствии, давая инструкции своей дочери Анне перед её бракосочетанием, Элеанор произнесла знаменитую фразу: «Секс, моя дорогая, это то, что замужняя женщина должна научиться терпеть». Ещё одна кузина в своих воспоминаниях написала: «Хорошо воспитанная американка из Новой Англии знала, что после бракосочетания её долг был лечь в кровать и бормотать про себя при виде приближающегося мужа: “Во имя Господа, во имя страны, во имя Йельского университета!”».

БАС: Тем не менее, невежество молодой жены в брачных делах не помешало ей забеременеть в свадебном путешествии. Они вернулись в Америку, и здесь ей пришлось овладеть другой, ещё более трудной наукой: как ужиться с властной свекровью, продолжавшей считать себя главной фигурой в жизни своего сына? В фамильном имении Гайд-Парк, на восточном берегу Гудзона, Сара Делано усаживалась во главе обеденного стола, Франклин – напротив неё, а его молодая супруга должна была отыскивать себе место где-нибудь посередине. То же самое и у камина: два больших кресла для матери и сына, а невестка устраивалась на полу. При гостях хозяйка дома могла сказать Элеанор: «Дорогая, если бы ты провела гребнем по волосам, ты бы выглядела гораздо лучше». Или: «Как насчёт того, чтобы одеться попримечнее?».

ТЕНОР: Но в собственных глазах Сара выглядела ангелом доброты, спасающим неопытную молодую женщину от ошибок, сделанных в жизни ею самой. Она поучала её по любому поводу, объясняла, кого следует приглашать, а кого – нет, какие слова употреблять в тех или иных ситуациях, в каких магазинах делать покупки, как выбирать одежду. Если у Элеанор собирались гости на чай, Сара не колебалась войти в комнату и занять место хозяйки у чайного столика. Ни в нью-йоркском доме, ни в загородном поместье у Элеанор не было уголка, который она могла бы считать своим.

БАС: Так или иначе, она терпеливо сносила всё. Ей хотелось быть любимой, принятой, заслужить одобрение. Жизнь молодых супругов вошла в колею, дети рождались один за другим. Франклин получил место в адвокатской конторе, но эта работа не увлекала его. Поэтому, когда активный член демократической партии штата Нью-Йорк предложил ему принять участие в политической жизни, он откликнулся с интересом. Правда, заявил, что ему сначала надо посоветоваться с матерью. «Это не понравится избирателям», – заметил опытный политик. «Хорошо, я согласен», – сказал Франклин.

ТЕНОР: Судьба втянула его в политическую борьбу в возрасте двадцати восьми лет, но сразу с довольно высоким прицелом. Борьба за место сенатора в штатной легислатуре было нелегко, однако предвыборная кампания увлекла молодого кандидата. Используя автомобиль, поезд, бричку, он носился взад-вперёд по территории своего избирательного участка, выступал с речами в школах, спортивных залах, пожарных депо, пожимал руки фермерам, машинистам, каменщикам. Однажды произнёс прекрасную речь перед толпой, собравшейся у городской мэрии, и только после того как стихли аплодисменты, обнаружил, что его занесло в соседний штат – Коннектикут.

БАС: Звезда молодого штатного сенатора начала быстро подниматься. Его красноречие, уверенность, оптимизм заражали. На съезде демократической партии в 1912 году, выдвинувшем кандидатом на кресло в Белом доме принстонского профессора Вудро Вильсона, он совершенно очаровал пресс-секретаря будущего президента, Джозефа Дэниэлса. После победы демократов на выборах, Дэниэлс получил пост военно-морского министра и немедленно пригласил Франклина Рузвельта стать его помощником.

ТЕНОР: Для Рузвельта, обожавшего море и корабли с детства, зачитывавшегося описаниями морских сражений, это предложение было неодолимым соблазном. Оставив пост сенатора, в 1913 году он вместе с семьёй переезжает из Олбани в Вашингтон. И хотя Элеанор радовалась его успехам на политическом поприще (не она ли предсказывала их десять лет назад!), переезд в столицу наполнял её

страхом. При её застенчивости и неумении сходитья с новыми людьми, переселение в кипящий мир Вашингтонских интриг и скрытого противоборства представлялось мучительным. Этикет требовал, чтобы жена вновь прибывшего нанесла визиты жёнам всех мало-мальски заметных фигур. Каждый день Элеанор выходила из дома, имея в сумочке список из двадцати-тридцати адресов. За шесть первых недель она посетила дома президента, вице-президента, всех министров, верховных судей, послов, конгрессменов, но до конца списка было ещё далеко.

БАС: Очень скоро стало ясно, что справляться одновременно со светскими обязанностями, с воспитанием детей и ведением дома ей будет совершенно невозможно. Кроме слуг, необходима была помощница, способная принять на себя хотя бы половину светских забот и хлопот. Так в доме Рузвельтов появилась прелестная молодая женщина, которую звали Люси Мерсер.

ТЕНОР: Вы заметили, что в воспоминаниях современников – а среди них было немало людей безжалостных – почти невозможно найти отрицательных отзывов об этой женщине? Красивая, добрая, отзывчивая, весёлая, с прекрасными манерами – вот обычные эпитеты. Её предки, и по матери, и по отцу, были среди тех, кто подписывал Декларацию независимости и принимал участие в революционной войне 1776-83 годов. В середине XIX века по богатству и известности Мерсеры превосходили Рузвельтов. Но пьянство отца Люси и искусство матери транжирить доставшееся ей богатство привели к полному разорению семьи. И матери, и обеим дочерям пришлось искать работу. Поэтому, когда по цепочке старинных знакомств в 1913 году пришло предложение занять место секретарши у Элеанор Рузвельт, двадцатидвухлетняя Люси Мерсер с радостью согласилась.

БАС: Элеанор и Люси с первой же встречи нашли общий язык. Важным моментом оказалось то, что новая секретарша хорошо знала высший свет Вашингтона и могла уверенно поддерживать контакты своей хозяйки с ним. В её обязанности входило рассылать и получать приглашения и поздравления, устраивать встречи, планировать посещение

спектаклей и выставок. Но она не уклонялась и от чисто домашних забот. Дети Рузвельтов полюбили её и часто искали помощи и совета у неё, а не у матери.



Люси Мерсер Разерфорд

ТЕНОР: Обе женщины, Элеонор и Люси, росли в разрушенных семьях, обе принадлежали к высшему кругу, обе были высокими, голубоглазыми и имели пышную волну светло-каштановых волос. Но на этом сходство кончалось. Профиль Элеанор был испорчен выступающими зубами и отсутствием подбородка, в то время как лицо Люси напоминало греческую камею. Элеанор сутулилась, Люси держалась прямо и гордо. Её голос был мягким и мелодичным, а в голосе Элеанор часто прорывались скрипучие ноты. Люси была, по большей части, оживлена, Элеанор – серьёзна и неотзывчива на иронию. Насколько ей позволяли её средства, Люси одевалась изящно и по моде, Элеанор же мало обращала внимания на то, как она одета. Конечно, глава семейства не мог не заметить очаровательную молодую женщину, появившуюся в доме. Отправляясь утром на службу, он часто сталкивался с ней в прихожей и всегда приветствовал её возгласом: «А вот и

прелестная Люси!».

БАС: В 1916 году у Рузвельтов родился последний ребёнок, сын Джон. Шесть беременностей за десять лет (один ребёнок умер) – Элеанор решила, что её долг жены и матери исполнен и пора подвести черту. Использование противозачаточных средств осуждалось церковью, а во многих штатах было просто запрещено законом. В новом большом доме Рузвельты могли иметь отдельные спальни. Их брачные отношения прекратились. Тридцатичетырёхлетний мужчина, полный сил и энергии, был снова, как в студенческие годы, брошен во власть неутолённого сладострастия. Мог ли он остаться равнодушным к чарам молодой женщины, постоянно находившейся в его доме и, судя по всему, смотрившей на него с плохо скрываемым обожанием?

ТЕНОР: От вашингтонской жары семейство Рузвельтов обычно спасалось в своём поместье на острове Кампобелло, неподалёку от берегов штата Мэйн. Именно там молодой Франклин полюбил морскую стихию, именно там отец учил его управлять парусной яхтой, а потом и подарил одну в собственное пользование. Обычно он рвался уехать туда в отпуск вместе с семьёй. Но летом 1916 года жена и дети уехали без него. Франклин остался в столице, ссылаясь на горы работы в военно-морском министерстве. На восточном берегу тогда началась эпидемия полиомиелита, и он умолял жену не возвращаться в столицу, пока опасность не ослабеет. Сам съездил на остров всего на десять дней. Три месяца он оставался в Вашингтоне один.

БАС: Строгие моралисты утверждают, что нравы тех времён не позволили бы женатому человеку, видному члену общества, вступить в связь с молодой девушкой, находящейся у него на службе. Они не хотят видеть того, что творилось за плотной завесой соблюдения приличий. Эскапады отца Элеанор в какой-то момент привели к рождению незаконнорожденного сына и были многие годы предметом сплетен в Вашингтоне. Её брат Холл пьянствовал и содержал в качестве любовницы русскую белоэмигрантку. Кузина Элис и её муж, конгрессмен Лонгворт, будто состязались в нарушении всех писаных и неписаных правил.



Мать Люси развелась с одним мужем, оставила другого и вела весьма вольный образ жизни. Столичные шутники говорили, что, кроме седьмой заповеди – «не прелюбодействуй», есть ещё более важная – одиннадцатая: «не попадайся». Даже в самой Великобритании, этом оплоте викторианской морали, Вильям Гладстон однажды признался другу: «Я был знаком с девятью премьер-министрами, и семь из них были прелюбодеями».

ТЕНОР: Когда Люси принимала участие в обедах в доме Рузвельтов, в пикниках и прогулках, обычно приглашался и молодой английский дипломат, предположительно считавшийся её ухажёром. Но облако взаимного обожания невидимо висело над Франклином и Люси – скрыть его было невозможно. И летом 1917 года, после морской прогулки на яхте «Сильф», где контуры их отношений проступили под ветром и солнцем, как проступают очертания фотоснимка, брошенного в проявитель, Элеанор уволила Люси.

БАС: Конечно, она мотивировала это тем, что, с вступлением Америки в европейскую войну, светская жизнь в столице резко сократилась и в помощи секретарши она больше не нуждалась. Однако изобретательный Франклин тут же устроил Люси на работу к себе, в военно-морское министерство. Ей даже был присвоен чин «йомен 3-го класса». Сохранились данные её медосмотра: «возраст – 25 лет (на самом деле её уже было 26), рост 5 футов 9 дюймов, глаза голубые, волосы каштановые, цвет кожи – красноватый» (видимо, после морской прогулки).

ТЕНОР: В это лето Элеанор опять уехала в Кампобелло только с детьми. Франклин слал ей нежные послания. Но вдруг она получила пакет с письмами, пришедшими на её имя во время её отсутствия. Имя отправителя: Люси Мерсер. Значит, несмотря на увольнение, бывшая секретарша появлялась в их доме и продолжала разбирать почту своей бывшей хозяйки?

БАС: Другим приютом для влюблённых стал особняк на Эйч-стрит, принадлежавший богатой супружеской паре Юстисов. Эта пара также имела поместье в Вирджинии, где Франклин и Люси часто проводили уикенды. К сожалению,

одинадцатую заповедь соблюсти не удалось – сплетни об их романе докатились до начальника Франклина.

ТЕНОР: Военно-морской министр США Джозефус Дэниэлс был убеждённым изоляционистом и часто спорил со своим подчинённым, который считал вступление Америки в войну неизбежным. Кроме того, он был человеком старого закала, глубоко верующим христианином. Он запретил алкоголь на флоте ещё до введения сухого закона в стране, отменил раздачу презервативов морякам, находившимся в дальнем плавании, ибо верил, что воздержание – лучший способ решения сексуальных проблем. Мог ли он терпеть любовный роман в стенах своего министерства? Люси Мерсер была уволена без объяснения причин, прослужив всего четыре месяца.

БАС: Тем временем война в Европе полыхала не ослабевая. Франклин мечтал последовать примеру Теодора Рузвельта, принявшего в своё время участие в войне с Испанией 1898 года, рвался попасть на фронт. Летом 1918 года ему удалось получить командировку в Европу для инспекции военно-морских подразделений США в Англии и Франции. Он также давно носился с планом перегородить Северное море минными полями, чтобы преградить путь немецким подводным лодкам, запереть их в прибрежных базах. Реальную осуществимость этого плана можно было оценить только на месте.

ТЕНОР: Но и наземные боевые действия вызывали его горячий интерес. Германия всё ещё отчаянно сопротивлялась. Рузвельт, одетый в какой-то полувоенный френч и солдатские ботинки, попал в зону боёв, когда немцы отбили очередное наступление французов. Он видел окопы, заваленные трупами, слышал свист снарядов над своей головой, разговаривал в госпиталях с ранеными, обожжёнными, искалеченными, контуженными, отравленными газами. Эти впечатления наверняка всплывали в его душе, когда ему довелось стать главнокомандующим вооружёнными силами США и он делал попытки избежать вступления Америки в очередную всемирную мясорубку.

БАС: Пересечение Атлантического океана в те

месяцы было делом опасным. Но не немецкая торпеда чуть не прервала жизнь будущего президента на обратном пути. На страны Европы и Америки, вдобавок к бедствиям войны, началось страшное нашествие невидимого врага, получившего название *испанка*. Пассажиры и моряки корабля «Левиафан» умирали один за другим, и их хоронили в морской пучине. 12 сентября мать и жена Франклина Рузвельта получили телеграмму, рекомендовавшую им встречать возвращающееся судно в Нью-Йоркском порту, вызвав одновременно машину скорой помощи. Инфлуэнца и воспаление лёгких – таков был диагноз врачей. Больного несли по сходням на носилках, он был без сознания.

ТЕНОР: Его доставили в нью-йоркский дом Рузвельтов, переодели в чистое бельё, присланная врачом медсестра делала предписанные инъекции. Пока Франклин не пришёл в себя, Элеанор разбирала его багаж, сортировала корреспонденцию и путевые заметки. Среди бумаг ей попала пачка писем, аккуратно перевязанных красной ленточкой. Она начала просматривать их, и, по её собственному выражению, «земля ушла у неё из-под ног». Это были любовные письма от Люси Мерсер, которые та посылала Франклину в течение двух месяцев его пребывания в Европе.

БАС: Тучи открывшейся лжи нависли над Элеанор, как облако ядовитого газа нависает над полем боя. Значит все нежные послания, которые он отправлял ей в Кампобелло из Вашингтона, оказались обманом. И в письмах из Европы были только уверения «скучаю без тебя», «тоскую». Её обманывали за её спиной, но на глазах у всего света. Сколько людей среди близких знакомых и родственников знало о романе и покрывало любовников? Включая, конечно, и слуг, которые обычно всё знают раньше хозяев. Какую унижительную и жалкую роль она играла, сама того не подозревая!

ТЕНОР: В конце месяца выздоравливающего Франклина перевезли в Гайд-Парк. И здесь Элеанор предстала перед ним с роковой пачкой писем в руках. Отпираться было бесполезно, нарушение одиннадцатой заповеди безнадежно усугубило нарушение седьмой.

Элеанор заявила, что готова дать ему развод. Но просила обдумать всё хорошенько и особенно задуматься о судьбе детей. Каково им будет потерять любимого отца, на которого они привыкли смотреть как на образец честности и порядочности?

БАС: Когда мать Франклина узнала о происходящем, она восстала страстно и непреклонно. В кланах Рузвельтов и Делано развод был чем-то абсолютно невыносимым. Измены и шалости на стороне можно было скрывать, но развод представлялся скандально недопустимым. Сара поставила сына перед выбором: если он решится оставить Элеанор и жениться на Люси, она лишит его всякой финансовой поддержки. Его строгий начальник, Джозефус Дэниэлс, несомненно, уволит его. Он останется без денег и без работы. Политическая карьера тоже будет кончена для него, ибо разведённый политик в те годы не имел никаких шансов на успех.

ТЕНОР: Жил ли когда-нибудь человек, который на месте Франклина Рузвельта, будучи поставлен перед таким выбором, остался верным своей любви? Сильно сомневаюсь. Мы не знаем, сколько времени ушло у него на раздумья, каких душевных мук оно стоило, в каких словах он сообщил Люси о необходимости расстаться. Знаем только, что год спустя она вышла замуж за богатого вдовца с пятью детьми и стала миссис Разерфорд. Пасынки были покорены золотым характером молодой красивой мачехи, а вскоре она родила и свою дочку. Обсуждая условия примирения, Элеанор выдвинула требование: *эта женщина* должна исчезнуть из жизни Франклина. Он подчинился и этому. Или только сделал вид, что подчинился?

БАС: Состояние Элеанор в последовавшие месяцы внушало серьёзную тревогу окружающим. Она сильно исхудала, осунулась. Её часто тошнило, организм будто отказывался принять съеденный обед. Кислота, поднимавшаяся вместе с рвотой, разрушала дёсны, зубы шатались и выпирали вперёд сильнее обычного.

ТЕНОР: Физические недомогания сопровождались приступами душевной боли. Её разочарование в муже было глубоким и горьким. Его уверенность в себе теперь

выглядела в её глазах эгоизмом, общительность – пустотой, дар привлекать людей – манипулятором. В какой-то момент она сожгла все его письма – они казались ей пронизанными обманом.

БАС: Тем не менее жизнь семейства Рузвельтов по виду вернулась в обычную колею. Но ненадолго. Три года спустя на них обрушилось новое потрясение. Молодой блистательный член демократической партии уже поднимался по ступенькам политической иерархии, на выборах 1920 года он был номинирован на пост вице-президента, как вдруг, в августе 1921 года, страшная болезнь сразила его и, казалось бы, изменила всю его жизнь навсегда.

ТЕНОР: Несмотря на свою физическую энергию и любовь к спорту, Франклин болел часто и порой – тяжело. В списке перенесённых им недугов были скарлатина, воспаление лёгких, инфлуэнца, прострелы, аппендицит, тиф, крапивница, частые простуды. Но его метод борьбы с болезнями всегда был один: «Не поддаваться!». И в этот раз, свалившись в ледяную воду залива во время морской рыбалки, он и не подумал дать себе отдых в тёплой постели. Несмотря на начавшуюся боль в ногах и усталость, на следующий день он взял троих детей, и они отправились в новую морскую прогулку. Вдруг заметили, что в одном месте на берегу загорелась трава. Все четверо высадились и несколько часов тушили пожар, хлеща его пучками веток, топча ногами. Потом совершили двухмильный пробег к озеру, чтобы искупаться. Наутро Франклин с трудом мог подняться с кровати, дойти до ванной, побриться. И это было последнее бритьё, которое он совершил, стоя на своих ногах.

БАС: В безмятежном приюте на острове Кампобелло начался настоящий ад. Дикая боль в ногах и позвоночнике не давала больному заснуть. Прикосновение одеяла вызывало стоны. Температура поднялась до 102° F, он начал бредить. Желудок и почки отказывались работать. Героическая Элеанор должна была день за днём очищать его кишечник при помощи клизм, мочевой пузырь – при помощи катетера. Сменявшиеся врачи не сразу смогли поставить правильный

диагноз. Ведь полиомиелит – это болезнь детей?! Каким образом она могла поразить здорового сорокалетнего мужчину?

ТЕНОР: Современная медицина считает, что проникновение полиовируса в клетки нервной системы оказывается возможным в случае ослабления иммунной системы организма. Одной из причин такого ослабления считают нервный стресс. Наверное, найдутся романтики, которые будут утверждать, что после вынужденной разлуки с Люси Мерсер Франклин жил в постоянном стрессе. Такая красивая модель: *чуть не погиб от любовной тоски!*

БАС: Но им будут возражать строгие моралисты и христианские ортодоксы. По их схеме всё объясняется очень просто: совершил грех прелюбодеяния – и наказание не заставило себя ждать.

ТЕНОР: Через несколько месяцев состояние больного стабилизировалось. К нему вернулся аппетит, весёлость, энергия, живой интерес к политике. Только ноги отказывались подчиняться, лежали на кровати бесполезным придатком. Но Франклин не терял надежды на полное излечение, жадно интересовался всеми способами борьбы с параличом. Самогипноз, горячие ванны, холодные ванны, солёная вода, пресная вода, упражнения на параллельных брусьях, электрический ток, ультрафиолетовый свет – чего только он не пробовал.

БАС: Между тем он стал причиной очередной войны между женой и матерью. Сара считала, что в нынешнем состоянии он должен удалиться в Гайд-Парк и начать тихую жизнь сельского джентльмена, окружённого заботой, наслаждающегося покоем и безмятежностью. Элеанор была уверена, что уход от активной жизни для такого человека, как её муж, будет равносителен духовной смерти. Она охотно беседовала с ним о злободневных политических вопросах, вырезала для него соответствующие статьи из газет и журналов, приглашала активных членов демократической партии навещать его в Нью-Йорке и Гайд-Парке. Сара обвиняла её в том, что она эгоистично толкает мужа-инвалида в сферу деятельности, на которую у него нет уже сил. Элеанор упрямо противостояла тому, что виделось ей

как слепота любящей матери, пытающейся вернуть сына под своё крыло, неспособной понять его потребность в полной и активной жизни.

ТЕНОР: Возможно, именно это скрытое противоборство двух близких ему женщин заставило Франклина искать себе какой-то приют вдали от обеих. Дом-корабль – что может быть лучше! И в мае 1924 года он покупает за 4000 долларов семидесятифутовое судно, пришвартованное на реке Форт Лодердэйл во Флориде. На палубе располагалась застеклённая гостиная, над ней – площадка для загорающих с натянутым тентом. Внизу имелись три каюты, ванная, машинное отделение, помещения для капитана, его жены, исполнявшей роль кухарки, и механика. Корма представляла собой идеальное место для страстного рыбака, каковым Франклин был с детства.

БАС: Элеанор, всегда боявшаяся воды, вовсе не горела желанием проводить время на борту корабля – даже неподвижного. Зато нашлась женщина, поселившаяся в нём с радостью. Маргарита Лехэнд впервые начала работать с Рузвельтом в качестве секретарши в те месяцы, когда он баллотировался на пост вице-президента в 1920 году. Она оказалась надёжной, умелой, приветливой, энергичной, а главное – обладала таким же чувством юмора, как её наниматель. Красивой её нельзя было назвать, но, как писал один современник, «у неё был приятный горловой голос, и когда она вскидывала вам навстречу своё миловидное лицо, губы её раскрывались чуть загадочной, приводящей в растерянность улыбкой».

ТЕНОР: Окружающие недоумевали, каким образом дочь пьяницы-садовника из Бостонского предместья, не учившаяся в колледже, смогла обрести такое изящество манер, такт в отношениях с людьми, смелость в выполнении своих обязанностей. Дети Рузвельтов тоже полюбили её. Но им трудно было произносить её имя полностью, поэтому они называли её просто «Мисси». Это обращение прицепилось, и для всех остальных она тоже стала Мисси. В плавучем доме ей была предоставлена каюта напротив каюты Франклина, а ванная у них была общая. Во

время визитов гостей она играла за столом роль приветливой хозяйки, каждого умела увлечь разговором на интересную для него тему. Погружалась вместе с Франклином в тёплую воду реки, когда он проделывал там предписанные упражнения, и утешала, когда он впадал в депрессию из-за отсутствия заметных улучшений в ногах. Но во время визитов Элеанор Мисси тактично исчезала.



Маргарет (Мисси) Лехэнд

БАС: Осенью того же 1924 года забрезжили новые надежды на излечение. По совету нью-йоркского друга, Франклин приехал в небольшой курорт к юго-западу от Атланты, где были горячие минеральные источники. Погружаясь в бассейн с водой, имевшей температуру 88° по Фаренгейту, он испытывал огромное облегчение, мог передвигаться в ней так, будто ноги снова начали служить ему. Курорт Ворм Спрингс стал вторым прибежищем для Рузвельта, где он мог уединиться с Мисси и отдыхать от ненужных посетителей и просителей.

ТЕНОР: Наверное, пришло время для нас признаться телезрителям в том, что наши взгляды на отношения между мужчинами и женщинами не вполне совпадают с требованиями строгой морали. Мы оставляем пуристам тешить себя иллюзией, что какая-то пара способна прожить двадцать лет практически под одной крышей, испытывать друг к другу нежные чувства и при этом соблюдать седьмую



заповедь. В наши дни супружество многих пар остаётся неоформленным. То, что произошло между Франклином и Элеанор после 1918 года можно назвать «неоформленный развод». Совершенно очевидно, что сама Элеанор не имела ничего против того, что посторонняя молодая женщина проводит столько времени рядом с её мужем-инвалидом. Это снимало с неё чувство вины и позволяло погружаться в собственную жизнь, о которой у нас будет отдельная передача.

БАС: Биографы Рузвельта провели подсчёты: между 1924 и 1928 годами Франклин провёл вне дома 116 недель; из них две – с матерью, четыре – с Элеанор, остальные 110 – с Мисси Лехэнд. Существуют воспоминания очевидцев и современников о том, что Мисси была влюблена в него самозабвенно. Многие мужчины ухаживали за ней, включая такого известного ловеласа, как Вильям Буллит, американский посол в СССР и Франции, но она всех отвергла. Когда её спросили, каковы её планы на личную жизнь и не собирается ли она выйти замуж, она воскликнула: «Да кто же может сравниться с Эф-Ди?!» (Интимное обращение, которое только она позволяла себе использовать.) Существует медицинский рапорт о здоровье президента, утверждающий, что его мужские способности не пострадали из-за болезни. Вообразить, что в таких обстоятельствах эти двое выбрали бы сохранить свои отношения целомудренными, – для этого надо представлять их какими-то аскетами-столпниками, каковыми ни он, ни она не являлись.

ТЕНОР: У наших телезрителей должен был созреть вопрос: а что же Люси Мерсер-Разерфорд? Неужели она была совсем забыта?

БАС: О, нет! Это стало документально доказано, когда её внуки в 2005 году отыскивали в старых бумагах письма от Рузвельта, которые он, нарушая обещание, данное Элеанор, посылал ей в 1926-28 годах. Видимо, наученный горьким опытом, он не доверял бумаге прямых выражений нежных чувств. Но письма имеют одну любопытную особенность: они переполнены точными указаниями, где и когда он будет находиться и сколько дней – недель –

пробудет там-то и там-то. А также вопросами, где и когда будет она. Два письма от Люси Франклину, датированные 1927 годом и хранящиеся в Рузвельтовской библиотеке, подтверждают, что они находились в постоянном письменном контакте, а, может быть, и встречались. Кроме писем, был найден буклет с отпечатанной речью Рузвельта, датированный 1926 годом, с надписью: «Этот скромный труд, первый в моей жизни, я посвящаю тебе».

ТЕНОР: Не может ли это быть связано со странным событием, случившемся в Ворм Спрингс в июне 1927 года? Двадцатидевятилетняя Мисси, по виду вполне здоровая, вдруг рухнула на пол коттеджа, в котором они жили с Франклином. У неё началась лихорадка, дизентерия, приступы бреда и депрессии. Приехавший врач настоял на госпитализации и почему-то потребовал, чтобы из палаты были убраны все колющие и режущие предметы, которыми бы больная могла повредить себе. Не может ли оказаться, что Мисси – так же, как Элеанор за девять лет до неё, – наткнулась на пачку писем, перевязанную ленточкой? И что её недомогание было результатом попытки самоубийства?

БАС: Вполне возможно. Однако она оправилась и с новой энергией вернулась к своим обязанностям хозяйки курорта Ворм Спрингс. Бассейн с горячей водой был расширен, строились новые коттеджи. Франклину хотелось, чтобы любой человек, изуродованный полиомиелитом, мог иметь доступ к целебному источнику. Но ветры большой политики постоянно врываются в это тихое убежище. В 1928 году соратники по партии уговорили Рузвельта выступить с речью на большом съезде в Хьюстоне в поддержку кандидатуры Альфреда Смита на пост президента.

ТЕНОР: Многих изумило возвращение Рузвельта в политику. Калека, инвалид, неспособный без посторонней помощи подняться по лестнице, одеться, войти в автомобиль? Но вот он появился перед делегатами съезда, медленно прошёл по проходу, опираясь одной рукой на трость, другой – на плечо восемнадцатилетнего сына Элиота, встал за трибуной – и преобразился. Широкоплечий, уверенный, громкоголосый он восхвалял кандидата словами, которые слушатели мысленно могли бы отнести и к нему

самому: «Этот счастливый воитель обладает душевной силой, позволяющей избежать падения в пропасть грубого материализма, погубившего многие цивилизации прошлого».

БАС: Когда соратники по партии в том же году уговорили Рузвельта баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, про-республиканская пресса попыталась раздуть факт его инвалидности и дискредитировать его кандидатуру. Отбивая эти нападки, Альфред Смит писал: «Выбирая губернатора, мы не требуем, чтобы он умел делать обратное сальто или ходить на руках. 95% его работы делается за письменным столом. Нужен человек с умом и сердцем, а не мастер акробатики».

ТЕНОР: Победа Рузвельта на выборах привела Мисси в отчаяние. Она боялась, что для неё это будет означать разлуку с любимым. Но опасения её не оправдались – Рузвельт сохранил её в роли своей секретарши. Элеанор тоже не была обрадована победой своего мужа. Она провела с ним в Олбани только неделю и вернулась в Нью-Йорк, к своей бурной преподавательской и журналистской деятельности. Однако перед отъездом ей нужно было выполнить одну обязанность: распределить девять спален губернаторского особняка между новыми обитателями. Франклину была отведена самая большая. Рядом была спальня поменьше – обе соединялись дверью с окном, задёрнутым занавеской. В ней Элеанор поместила Мисси. Себе выделила небольшую комнату за углом коридора. После её отъезда Мисси взяла на себя роль хозяйки на губернаторских приёмах и выполняла её с таким же тактом и любезностью, как в Ворм Спрингс или в плавучем доме.

БАС: Губернаторское правление Рузвельта началось в атмосфере экономического процветания и лихорадочной погони всех и каждого за «американской мечтой». Встречая новый 1929 год, мог ли кто-нибудь вообразить, что он закончится страшным биржевым крахом? Великая Депрессия не пощадила никого. В начале 1930-х около пяти тысяч банков разорились и должны были закрыться. Индустриальный показатель Дау Джонса упал на 90%.

Каждый день около тысячи семей лишались своих домов. Длинные очереди за бесплатным супом тянулись по улицам. Прилично одетые люди рылись на свалках в поисках съестного. Страна страстно искала нового лидера, который смог бы вывести её из тупика. И губернатор Нью-Йорка, Франклин Делано Рузвельт, многим казался тем человеком, которому по силам осуществить этот подвиг Геракла.

ТЕНОР: Съезд демократической партии в Чикаго в 1932 году номинировал кандидатуру Рузвельта на пост президента. В ответной речи он сказал (*читает цитату*): «На фермах, в больших и малых городах, в деревнях, миллионы наших граждан лелеют надежду на то, что их прежняя жизнь возродиться для них. Эти надежды не должны быть обмануты. Я призываю вас, я призываю себя создать Новый договор для американского народа. Пусть все, собравшиеся в этом зале, призовут на помощь свои знания и мужество. Это не просто политическая кампания; это призыв к оружию. Протяните мне руку помощи не только для того, чтобы завоевать голоса избирателей, но для того чтобы вернуть возрождённую Америку её народу».

БАС: На выборах 1932 года Рузвельт победил в сорока двух штатах. Только шесть проголосовали за Герберта Гувера.

ТЕНОР: Немецкие снаряды и торпеды миновали Рузвельта в 1918 году. Но пятнадцать лет спустя, став президентом, он чуть не погиб от пули итальянского иммигранта, борца с мировым капитализмом. Находясь вместе с мэром Чикаго в Майами, новоизбранный президент собирался произнести речь, стоя в открытом автомобиле, как вдруг раздались выстрелы. Одна пуля попала в мэра, и он умер через несколько дней, ещё четверо были ранены. Убийцу схватили, он признал себя виновным и обещал убивать капиталистов и дальше. Американская Фемида в те дни не затрудняла себя долгими апелляциями. Убийца провёл в камере смертников всего десять дней и был казнён на электрическом стуле.

БАС: В день инаугурации нового президента, 4 марта 1933 года, чёрный правительственный автомобиль подъехал к дому 2238 по улице Кью-стрит в Вашингтоне. Высокая

женщина, придерживая меховой воротник рукой, вышла из дома. Шофёр распахнул перед ней дверь автомобиля и вручил конверт с билетом на имя миссис Разерфорд. Машина двинулась к Белому дому, с трудом продвигаясь через толпу, рвавшуюся взглянуть на нового лидера страны.

ТЕНОР: Для Элеанор победа мужа на выборах была событием, не сулившим никакой радости. Оказаться пленницей в Белом доме, погрузиться в череду официальных приёмов, визитов, банкетов, чаепитий – эта перспектива нагоняла на неё только тоску. Их отношения с Франклином к этому времени сводились к уважительному партнёрству. Они никогда не оставались наедине, всегда кто-то присутствовал. Если президент пытался приобнять жену, она уклонялась, чуть ли не отштыгивалась.

БАС: Зато Мисси чувствовала себя в Вашингтоне такой же незаменимой, как и в Олбани. Её рабочий день практически длился двадцать четыре часа. На третьем этаже Белого дома ей была отведена спальня, гостиная и ванная. Когда кресло с президентом въезжало утром в Овальный кабинет, Мисси уже была там, готовая стенографировать очередное заседание главных сотрудников различных министерств или беседу с приглашённым дипломатом. Сортировка почты, оплата счетов, раздача заданий слугам, устройство званных обедов – всё входило в её обязанности. Если президент хотел рассеяться автомобильной прогулкой, Мисси безотказно присоединялась к нему, хотя это было делом небезопасным: свой «форд» с ручным управлением Рузвельт гонял, как заправский лихач. Иногда случался пустой вечер, и президент просил свою секретаршу скрасить ему одиночество. Она немедленно отменяла свои планы и присоединялась к нему за ужином или находила партнёров для партии в бридж, неизменно играя с ним в паре.

ТЕНОР: Слуги в Белом доме любили её и считали второй хозяйкой. Но, в отличие от Элеанор, она всегда была весела, приветлива, умела расположить к себе каждого. По выражению одного журналиста, она «безошибочно различала, когда президент слушает собеседника, а когда просто делает вид... Раньше него самого она улавливала момент, когда ему делалось скучно». Кроме того, она с

энтузиастом участвовала во всём, что Рузвельт делал для забавы. Коллекционирование марок Элеанор считала пустой тратой времени и денег. Мисси же знала содержание альбомов не хуже самого Рузвельта и часто помогала ему отыскивать марку, затерявшуюся в их недрах.

БАС: Должны ли мы снова поднимать сакральный вопрос о том, продолжалась ли интимная связь между этими двумя и в Вашингтоне? Нет никакого сомнения в том, что Маргарет Лехэнд, Мисси, была горячо влюблена во Франклина Рузвельта с момента их встречи и до конца жизни, даже пыталась кончать с собой, когда любовь оказывалась под угрозой. Нет никакого сомнения в том, что в течение двадцати лет она была для Франклина постоянным источником радости и вдохновения. Слуги потом вспоминали, что Мисси видели входящей в спальню президента в любое время дня, одетую только в халат, наброшенный поверх рубашки. Думать, что эти двое в течение стольких лет отказывали себе в счастье дарения себя друг другу, могут только пуристы, считающие своим долгом охранять нимб над головой великого человека. Перед нами такая задача не стоит – и слава Богу.

ТЕНОР: Безоглядная преданность такой сотрудницы была особенно важна для Рузвельта в первый год его президентства. Именно в эти месяцы, в течение знаменитых «ста дней», ему приходилось отдавать все силы на проведение огромного пакета реформ, нацеленных на преодоление Великой депрессии. Пакет этот, получивший название «Новый договор», включал в себя реформу финансовой системы, отмену сухого закона, реформу государственного бюджета, создание администрации общественных работ, комиссии социального страхования, помощи безработным и многое другое. Не все законы удалось провести через конгресс, какие-то впоследствии Верховный суд отменил как неконституционные, но большинство было принято и действуют до сих пор.

БАС: Кажется, мы снова потеряли след Люси Разерфорд. Неужели заваленный важными делами президент забыл о ней?

ТЕНОР: Ни в коем случае. Даже в самые

напряжённые, судьбоносные дни Рузвельт не порывал связи с ней. Телефонным операторам в Белом доме был дан приказ немедленно соединять президента, где бы он ни находился, если раздастся звонок от миссис Пол Джонсон – это имя маскировало звонки Люси. Каждый раз когда она приезжала в Вашингтон навестить сестру, её племянница знала, что вскоре случится волнующее событие: к их дому номер 2238 подъедет президентский автомобиль, и тётя Люси незаметно скользнёт в него. Но девочке было строго приказано никому не говорить об этих визитах.

БАС: Когда Рузвельт был переизбран на второй срок, в день его инаугурации, в президентский автомобиль, подъехавший к дому 2238, вошла не только сама Люси, но также её сестра и племянница. Франклин и Люси постоянно обменивались семейными новостями, были в курсе того, что происходило с детьми друг друга. Их свидания часто устраивались так, что даже охрана президента ничего не знала заранее. Однажды во время автомобильной прогулки в окрестностях Вашингтона, Рузвельт сказал своему водителю: «Остановись около той женщины, стоящей на тротуаре, – она явно хочет, чтобы её подвезли». В другой раз Люси ждала его в отпаркованном автомобиле. Был случай, когда поезд, вёзший президента из Вашингтона в Гайд-Парк, оставил обычный маршрут и простоял шестнадцать часов на запасных путях около небольшого городка в Нью-Джерси, пока Рузвельт наносил визит Люси в её поместье, расположенном неподалёку.

ТЕНОР: Реформы «Нового договора» начинали приносить плоды, экономическое состояние Америки улучшалось. Но вести, приходившие из Европы, делались всё более тревожными. Германия наращивала свой военный потенциал, готовилась развязать новую войну. Однако американцы продолжали лелеять надежду, что их страна останется в стороне. Настроения пацифизма и изоляционизма преобладали. Даже когда Гитлер вторгся в Польшу, оккупировал Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Францию, Рузвельт в своей предвыборной кампании 1940 года счёл необходимым обещать избирателям, что он не пошлёт американских солдат

умирать на полях Европы. Однако, победив в очередной раз на выборах, он делал всё возможное, чтобы помогать сражающейся Англии, и сумел провести через Конгресс закон о ленд-лизе, позволявший посылать ей вооружения и сырьё. Пятьдесят американских эсминцев были переданы под команду Британского адмиралтейства.

БАС: А потом грянул Перл Харбор. И с мечтами о мире пришлось расстаться. Один японский адмирал печально заметил: «Нет, мы не победили американцев. Мы только разбудили спавшего гиганта». И действительно, разбуженный гигант начал подниматься во всю свою мощь. Заводы наращивали производство танков и самолётов, верфи строили боевые суда, сотни тысяч молодых людей надели военную форму. Были среди них и сыновья Рузвельтов и Разерфордов. Франклин лично помог двум пасынкам Люси получить назначение в военно-морской флот, куда они рвались.

ТЕНОР: Ещё до начала войны с Японией, летом 1941 года, Люси впервые посетила Белый дом. Визит был обставлен обычными предосторожностями: выбрано время, когда Элеанор уехала на Западный берег, пропуск был выписан на имя «миссис Пол Джонсон». Но появление Люси не могло остаться тайной для ближайшей помощницы Рузвельта – Мисси Лехэнд. Видимо, это переживание оказалось выше её сил. Накануне назначенного дня владелец вашингтонского отеля «Вилард» устраивал традиционный банкет для ближайших сотрудников президента. И посреди банкета Мисси вдруг со стоном упала на пол. У неё диагностировали инсульт. Две недели спустя приступ повторился, теперь в ещё более тяжёлой форме: она почти утратила речь, правая рука и правая нога были парализованы. Её пришлось отправить на лечение в Ворм Спрингс, а потом в Массачузетс, где у неё была сестра. Она умерла в возрасте сорока шести лет. По приказу президента её имя впоследствии было присвоено грузовому кораблю, только что сошедшему со стапелей в штате Миссисипи.

БАС: С этого момента визиты миссис Пол Джонсон в Белый дом становятся регулярными. Журнал посещений сохранил не только даты, но и точные отметки времени



прихода и ухода гостя. Президент оставался с ней наедине несколько часов, потом дворецкий провожал её к автомобилю, ждавшему у бокового выхода. Сын Рузвельта, отпущенный из армии в незапланированный отпуск, без предупреждения явился в Вашингтон навестить отца и был крайне удивлён, застав в его кабинете незнакомую женщину, массирувавшую ему ноги. Она была представлена как старый друг, миссис Винтроп Разерфорд. Дочь Люси, девятнадцатилетняя Барбара, тоже была приглашена нанести визит президенту, и он потом в письме её матери описал удовольствие, доставленное ему этим посещением.

ТЕНОР: Элеанор была слишком занята своими делами и не могла заменить Мисси. Роль хозяйки Белого дома всё чаще стала выполнять дочь Анна. Она планировала встречи с посетителями, распоряжалась подготовкой званых обедов, очаровывала гостей, всеми силами старалась облегчить отцу бремя его забот и тревог. Но однажды он обратился к ней с просьбой, которая привела её в растерянность. «Ты не будешь возражать, если мы устроим обед в узком кругу, и я приглашу на него старинную приятельницу?» Анна сразу догадалась, кого он имел в виду. И хотя отец просил её придти с мужем, майором, служившим в Пентагоне, он одновременно хотел, чтобы визит Люси не был зарегистрирован в журнале посетителей.

БАС: Анна понимала, что, соглашаясь выполнить просьбу отца, она рискует причинить боль матери и вынуждена будет покрывать ложью или умолчанием происходящее в Белом доме. И всё же она сказала «да». Закончив встречу с Де Голлем, приехавшим в Америку обсудить военную ситуацию после высадки союзников в Нормандии, Рузвельт приказал отвезти себя к дому 2238 на Кью-стрит. Анна сделала всё необходимое, чтобы проникновение президента и его «старинной приятельницы» в личные апартаменты прошло незаметно.

ТЕНОР: Перед ней предстала высокая красивая женщина, которую она смутно помнила с детских лет как секретаршу матери. Женщина была полна очарования, её речь и манеры завораживали. Но особенно Анну поразило то, как преобразился её отец в присутствии Люси. Лицо его

посветлело, озорные искры мелькали в глазах, заразительный смех звучал так, будто ему удалось сбросить с плеч десятков прожитых лет.

БАС: На самом же деле труды президентства и бури войны расшатали здоровье Рузвельта. Хотя американцы теснили врага и в Европе, и на Тихом океане, было ясно, что победа и там, и там, потребует ещё многих жертв. В этих обстоятельствах президент считал своим долгом работать без отдыха, хотя врачи требовали, чтобы он чаще давал себе передышку.

ТЕНОР: Летом 1944 года его давление поднялось до критического уровня: 218 на 120. Тяжёлый артериосклероз мешал нормальному снабжению мозга кислородом. У него случались провалы памяти, иногда он путал имена. Принимались меры, чтобы эти сведения не просочились в прессу. Также под покровом тайны оставалось число сигарет, выкуриваемых Рузвельтом ежедневно.

БАС: Несмотря на ухудшение здоровья, Рузвельт согласился на требование Сталина провести очередную встречу лидеров трёх стран на территории СССР. Советский диктатор заявил, что он не может покинуть свою страну в такой ответственный момент. Американскому президенту-инвалиду пришлось проделать путешествие в семь тысяч миль – на поезде, на корабле, в самолёте, в автомобиле – по кошмарным крымским дорогам зимой. Многие потом осуждали его за то, что на конференции в Ялте он не занял более жёсткую позицию, что, например, согласился на включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав Советского Союза. Но у Рузвельта была одна главная цель: добиться от Сталина обещания, что после победы над Гитлером он двинет свои армии на Дальний Восток. В феврале 1945 года разработка атомной бомбы ещё не была завершена, японцы отбивались отчаянно. Военные аналитики подсчитали, что вторжение на территорию Японии будет стоить жизни полумиллиону американских солдат. Вступление России в войну могло бы заметно приблизить победу.

ТЕНОР: Дочь Анна сопровождала отца в Ялту и по мере сил старалась оберегать его от лишних забот и огорчений. Но по возвращении в Америку их встретила

Элеанор, у которой накопилась гора благородных дел и проектов, требовавших немедленного президентского решения. Каждый день она вела свою битву против нищеты, неравноправия, расизма, эксплуатации, трущоб – неужели Франклин откажется поддержать её? В какой-то момент за очередным семейным обедом Анна сказала: «Мама, ты разве не видишь, что у папы силы на исходе? Он нуждается в отдыхе как никогда». Дочь понимала, как важны были для постаревшего больного просветы полного расслабления, беззаботности, веселья. И она знала, *кто* мог внести в его жизнь эти просветы. Поэтому сразу после отъезда Элеанор в турне по южным штатам, Люси Разерфорд начала появляться в Белом доме чуть не каждый день.

БАС: Её муж умер год назад, забота об умирающем больше не лежала на ней тяжёлым бременем. Теперь она могла отдавать всё внимание человеку, которого любила двадцать восемь лет. С ней Рузвельт не только расслаблялся и отвлекался, но мог и, не боясь критического брюзжания, делиться своими заветными политическими планами: создание Организации объединённых наций, вовлечение России в войну с Японией, помощь послевоенной Европе. Весной 1945 года Люси уговорила Франклина разрешить её приятельнице, русской художнице Шуматовой, написать его портрет. Было решено, что обе дамы приедут в Ворм Спрингс в начале апреля, когда президент прибудет туда на отдых. Предназначенный для них коттедж накануне их приезда мыли и чистили два дня, в каждой комнате стояли вазы со свежими цветами.

ТЕНОР: Люси нашла президента сильно исхудавшим. Кожа лица и шеи имела сероватый оттенок, пальцы дрожали, когда он пытался, как всегда, готовить коктейли для гостей. Тем не менее он встретил приехавших радушно, вечерами веселил их рассказами о встречах с Черчиллем, де Голлем, Эйзенхауэром. Послушно позволял художнице накидывать на его плечи то мантию, то пелерину, поворачивался лицом к свету, переезжал в кресле на то место, которое она указывала. Одновременно диктовал своему помощнику планы своих поездок на ближайшие дни: «Через неделю еду в Вашингтон, там 19 апреля устраиваем

обед для губернатора Ирака... На следующий день – поездом в Чикаго, оттуда – в Сан-Франциско, где мне предстоит сказать речь перед ООН... Потом – навещаю внуков в Сан-Диего...». Помощнику запомнился отрывок из черного наброска речи: «Наш труд, друзья, не должен закончиться с концом войны. Строительство мира без войн – вот наша главная задача».

БАС: Утро 12 апреля началось как обычно: завтрак в кровати, просмотр свежих газет, потом – подписывание документов и писем, принесённых помощником. В полдень пришла Шуматова с мольбертом, начался очередной сеанс позирования. Художница запомнила, что президент выглядел гораздо лучше, чем накануне. Вдруг голова его упала вперёд, он схватился за виски. Пытался улыбнуться подбежавшей секретарше, еле слышно произнёс: «У меня дикая боль в затылке». Его перенесли в спальню, положили на кровать, расстегнули ворот рубашки. Вбежавшая Люси пыталась подносить к его лицу нюхательную соль – он не реагировал. Примчавшийся врач тоже ничем не смог помочь. Он зарегистрировал смерть от кровоизлияния в мозг в 3 часа 35 минут пополудни.

ТЕНОР: Известие о смерти президента мгновенно разнеслось по стране и по всему миру. Элеанор была на концерте известной пианистки, когда её вызвали срочным звонком в Белый дом. Там главный врач Рузвельта сообщил ей печальную весть, полученную из Ворм Спрингс. Вскоре появился и вице-президент Труман. Он спросил у Элеанор: «Что я могу сделать для вас?». «Что *мы* можем сделать для вас, Гарри? – ответила Элеанор. – Главная тяжесть теперь ляжет на вас».

БАС: В семь часов состоялась церемония вступления Трумана в должность президента. Элеанор послала телеграмму своим четырём сыновьям, находившимся на разных фронтах: «Дорогие, папа скончался сегодня в полдень. Он завершил свой труд так, как хотел бы, чтобы вы завершили свой. Благословляю вас и люблю». После этого она вылетела самолётом в Ворм Спрингс.

ТЕНОР: Понимая неловкость сложившейся ситуации, Люси и Шуматова поспешили уехать. Помощник

президента, Билл Хассет, давая интервью корреспондентам, не упомянул об их присутствии в доме в момент смерти президента. Впоследствии, публикуя свои дневники, он также вычеркнул их имена. Но родственница Рузвельтов, гостившая в те дни в Ворм Спрингс, созналась Элеанор, что президент умер во время позирования перед художницей, привезённой Люси Разерфорд. Элеанор едва могла сдержать свои чувства. Каким образом *эта женщина* могла снова войти в жизнь Франклина?

БАС: Продолжая расспрашивать родственницу, она узнала, что и раньше эти двое встречались в Белом доме. И что визиты устраивались с помощью Анны. Годы научили Элеанор сохранять внешнюю невозмутимость, даже когда боль сжимала сердце. Но после похорон она вызвала дочь в свой кабинет в Белом доме и горько упрекала в предательстве.

ТЕНОР: Пронырливым журналистам удалось разыскать художницу Шуматову. Та охотно отвечала на вопросы, показывала неоконченный портрет Рузвельта, но ухитрилась не упомянуть имя Люси Разерфорд. Впервые это имя просочилось в печать лишь двадцать лет спустя, когда никого из участников драмы не было в живых. Но в летние месяцы 1945 года Анна и Люси регулярно обменивались письмами и телефонными звонками. «Дорогая Анна, я знаю, как много ты значила для твоего отца, – писала Люси. – Он так гордился тобой. Много раз он рассказывал мне, сколько радости ты доставила ему во время поездки в Ялту. Твой такт и обаяние покоряли всех участников. Я надеюсь, он говорил тебе об этом, но иногда люди забывают». Тем же летом, встретившись с Шуматовой в Нью-Йорке, она – рыдая – созналась, что сожгла все письма Рузвельта к ней.

БАС: Вскоре новые несчастья обрушилось на Люси. В 1947 году умерла её мать. Муж любимой сестры объявил, что его сердце покорено другой женщиной, и потребовал развода. Сестра была в отчаянии. Люси ободряла её как могла, но та была безутешна. Холодным ноябрьским днём в доме № 2238 по Кью-стрит прозвучал выстрел – сестра покончила с собой. А восемь месяцев спустя сама Люси была доставлена в нью-йоркскую больницу. Диагноз –

лейкемия. Болезнь развивалась стремительно, врачам оставалось только глушить боль морфием. Её похоронили рядом с мужем, в семейном поместье. Ей было 57 лет.

ТЕНОР: Франклин и Элеанор оставались связанными брачными узами в течение сорока лет. Пятеро их отпрысков ухитрились пройти через брачную церемонию в общей сложности девятнадцать раз. Стремительные изменения норм поведения в XX веке приводят людей в растерянность, создают путаницу нравственных оценок. История любви Франклина и Люси до сих пор вызывает противоречивые толки и комментарии. Одно совершенно ясно: Люси знала масштаб человека, которого ей выпало полюбить. В письме Анне она писала: «Мир потерял одного из величайших людей, когда-либо живших на Земле. Для меня – величайшего. Без видимых усилий он высится над всеми». И, как заметил историк Артур Шлезинджер, «если Люси в какой-то мере помогала Франклину Рузвельту вынести тяжкое бремя командования во Второй мировой войне, страна имеет все основания быть ей благодарной за это».



Айвор Гест

Падекатр. Перевод с  
английского Елены  
Тамаркиной



*остановка месье Перро для  
мадмуазелей Тальони, Карлотты Гризи, Черрито и Люсиль  
Гран, и принятая с самыми энергичными овациями в  
ТЕАТРЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА музыка синьора Пуньи*

...Ее (Тальони) отец поставил большинство балетов, которые она танцевала. Она стала первой балериной эпохи Романтизма, поскольку возрождение балета, ставшего столь характерной особенностью европейского театра 30-х и 40-х годов девятнадцатого века, началось именно с первого ее появления на сцене Парижской Оперы в 1827 году.

Ее меняющийся, легкий, воздушный стиль привнес новизну поэтики в искусство танца и достиг своего высочайшего выражения в постановке ее отцом великого балета *Сильфида*. Теперь, в 1845, она приближалась уже к завершению танцевальной карьеры, однако многие знатоки все еще продолжали считать ее непревзойденной королевой балета.

Почитатели таланта Фанни Черрито горячо оспорили бы такое заявление. Черрито имела двойное превосходство над Тальони – молодость и красоту. Родившись в 1817, она была на 13 лет моложе и, в сравнении с простыми чертами и не совершенным телосложением Тальони, была щедро наделена физической привлекательностью. Ее стиль танца был не мечтательным и поэтичным, а, казалось, напротив, страстным отказом от этого: танцуя, она, словно упивалась собственным очарованием и силой. Она завоевала Лондон одним прыжком в 1840, и с тех пор возвращалась на сцену

Ее Величества ежегодно с новыми балетными партиями, среди которых самой популярной стала *Ундина*, поставленная специально для нее Жюлем Перро.

Остальные балерины были приблизительно одного возраста, родившись в 1819. Карлотта Гризи была несколькими месяцами старше. Ее преимущество заключалось в том, что ее обучал Перро, влюбился, стал опекать и привез в Париж в 1840 году. Последовал контракт в "Опера", и в 1841 году она танцевала там партию Жизели, пленив сердце поэта Теофиля Готье, одного из авторов балетного сценария (либретто). Парижане, удрученные отъездом в Россию обоих Тальони и Элслер, отбывшей за Атлантический океан, немедленно приняли ее всем сердцем, обнаружив в ее стиле некоторое сходство с поэтичностью Тальони, но, при этом, элслеровскую пылкость.

Четвертой, и самой юной из четырех балерин, была Люсиль Гран, единственная, в чьих жилах не текла итальянская кровь. Она была датчанкой и ученицей Бурнонвиля, который подготовил для нее свою версию *Сильфиды*.

Однако, рассорившись с учителем, она покинула Копенгаген и уехала искать славы в Париж, в Санкт-Петербург и, наконец, в Лондон, где она выступила с огромным успехом в партии лесной нимфы в балете Перро *Эолин* на открытии сезона в 1845 году.

Аранжировку дивертисмента, где появлялись все четыре балерины, по сути дела, пришлось делать Жюлю Перро (1810-1892), официальному балетмейстеру театра. Он был самым талантливым хореографом того времени, и Лондону посчастливилось стать сценой величайшего расцвета его гения. Он желал вновь быть приглашенным Парижской оперой, где прежде работал с Тальони, однако тамошняя администрация была заинтересована только в его протее – Карлотте Гризи, впрочем, ему позволили аранжировать ее партию в *Жизели*. Компенсацией такому разочарованию стало приглашение работать на сцене Ее Величества, где, в течение семи сезонов подряд, с 1842 по 1848 гг., ему предстояло создать непрерывный ряд шедевров, предназначенных для исполнения величайшими балеринами



того времени: драматический балет *Ундина* -для Черрито, *Эсмеральда* – для Гризи, *Эолин* и *Катарина* – для Гран, и, далеко не в последнюю очередь, дивертисменты для всех четырех звезд, первым из которых – и наиболее знаменитым – стал *Падекатр*. Замысленный изначально как "случайный отрывок", он снискал себе постоянную славу тем, насколько мастерски выигрышно и в наилучшем свете были представлены особые качества каждой из балерин.

Декорации и костюмы для *Падекатра* не были записаны на счет ни одного из балетных дизайнеров. Сценарий, фактически, представлял собой знакомый набор, описанный современниками как "хорошо известная *беседка дивертисмента*". Будь это в тот сезон новинкой, тогда бы Чарльз Маршалл, главный художник театра, был ответствен за ее дизайн, но, судя по всему, она использовалась уже на протяжении нескольких сезонов, являясь работой предшественника Маршалла – Уильяма Грива.

Чезаре (Цезарь) Пуньи (1802?-1870), приглашенный для составления партитуры, был одним из самых выдающихся из когдалибо живших балетных авторов. В бытность свою студентом миланской Консерватории, он начал писать для балета в театре Ла Скала. Как и Перро, лучшую свою работу он сделал в Лондоне, где с 1843 по 1850 отвечал почти за всю балетную музыку, звучавшую в Театре Ее Величества, включая партитуры всех главных балетов Перро: *Ундина*, *Эсмеральда*, *Эолин* и др. Позже, в 1851, был назначен официальным композитором балетной музыки Имперских Театров в Санкт-Петербурге – пост, на котором он оставался до самой смерти. На протяжении всей карьеры ему было заказано огромное количество музыки, и, когда он умер, говорили, что им была написана музыка к более чем тремстам балетам. Только в 1845 – году создания *Падекатра*, он подготовил партитуру для не менее чем шести балетов. Он писал музыку с феноменальной скоростью: *Ундину* он писал всего 3 недели, *Катарину* – 19 дней, *Эсмеральду* – две недели, и *Бред Художника* – по общему мнению, всего день. Столь удивительный результат мог быть достигнут лишь за счет приносимого в жертву вдохновения и качества, при этом, его музыка всегда была в

высшей степени танцевальной, и его умение оркестровки считалось общепризнанным. Его партитура к *Падекатру* оказалась достойным сопровождением к хореографии Перро, и, в оркестровке Лейтона Лукаса для современной балетной версии, продолжает очаровывать.

Подготовка балета *Падекатр*, видимо, была достаточно сложной, однако следующий часто пересказываемый случай следует признать недостоверным. Среди материальных препятствий, на которые ссылается в своих мемуарах Лумли, было опасение, что Гризи не сумеет вовремя выехать из Парижа для участия в репетициях и в самом выдающемся событии. Чтобы подобного не случилось, по его (Лумли) словам, "было зафрахтовано судно Паровой Навигационной Компании, чтобы в мгновение ока переправить сильфиду через Пролив; специальный поезд ждал в Дувре; запряженные лошади в упряжках ожидали танцовщицу, чтобы помочь ей на всем пути пробега от Парижа до Кале." Данный анекдот повторялся во многих отчетах о балете *Падекатр*, однако никто не потрудился проверить его достоверность. Изучение афиш сезона 1845 года, однако, определенно демонстрирует, что Лумли, описывавший это событие по прошествии более чем двадцати лет, вероятнее всего, спутал его с другим случаем, связанным с подготовкой *Падекатра*. *Падекатр* давали 12 июля, и Карлотта Гризи не только прибыла в Лондон на несколько дней раньше, но и выступала в том сезоне уже 22 мая, продолжая регулярно танцевать на сцене Ее Величества до самой премьеры великого дивертисмента.

Задача собрать и представить всех четырех балерин в одном спектакле могла заставить дрогнуть, спастись и самого опытного государственного мужа. Но в результате множества уговоров, лести и мольбы, Лумли удалось воплотить свою идею в жизнь. Наибольшей заботой было не ранить чувства балерин, и менеджер отдал Перро распоряжение сделать "любое появление каждой ножки в каждом па столь тщательно сбалансированным, чтобы ни у кого не было перевеса. Каждая танцовщица должна была сверкать своим особым, присущим ей одной, грациозным стилем до последнего грана совершенства; однако ни одна

не должна затмить других – по крайней мере, так каждой из них надлежало думать".

Тем временем, все участники готовились к историческому событию. Парижский театральный "*Курьер Спектаклей*" писал в начале июля, что Тальони, Черрито и Гран работали по несколько часов в день с преподавателем Госселином, в то время как с Гризи, понятно, занимался сам Перро. Лумли верно смог предвидеть трудности, которые выпадут на долю балетмейстера, так, почти в последний момент соперничество между Черрито и Гризи вылилось в страшный скандал по поводу превосходства, угрожая самому факту исполнения дивертисмента. Обе не возражали, чтобы финальную вариацию танцевала Тальони, но та и другая заявили о своем праве выступать непосредственно перед Тальони. Позднее Тальони сказала, что именно Черрито начала ссору, и что Гризи впала в страшный гнев, называя соратницу "крошкой". Бедный Перро убежал и спрятался в кабинете Лумли. "Боже мой!" – восклицал он в отчаянии, - "Черрито не желает выходить перед Карлоттой – Карлотта перед Черрито – и нет никакого способа заставить их двигаться, это конец!" По счастью, Лумли не разделял пессимизма своего балетмейстера. "Этот вопрос о таланте должен быть разрешен зрителем", – произнес он. "Но в данной дилемме есть аспект, по поводу которого, уверен, леди проявят искренность. Пусть те, кто старше, воспользуются безусловным правом на наиболее выгодное положение".

Эффект был поразительным. "Балетмейстер", - писал Лумли в своих мемуарах, - "ударил себя по лбу, понимая улыбнулся и помчался на сцену. Мнение организатора было объявлено. Леди принялись хихикать, смеяться, отступили назад, и теперь с той же готовностью приняли свое право на очередность, с какой прежде стремились вытребовать его для себя. Хитрость удалась. Организация дела осталась в руках мсье Перро. Порядок выступления леди был установлен, большой *падекатр* был представлен в тот же вечер восхищенной публике, которая так и не узнала, что чуть было не лишилась этого удовольствия."

Тем не менее, среди модной публики театра Ее

Величества в тот памятный субботний вечер 12 июля 1845 года, даже после звонка о начале представления, были многие, кто сомневался, что занавес вообще поднимется для показа заявленного *Падекатра*, так как слухи о соре просочились сквозь стены Оперного театра. Но он поднялся – между актами оперы Доницетти *Анна Болена* – и взору открылся солнечный пейзаж, на фоне которого живописными группками застыли танцовщицы, одетые в муслин и розовые трико. Затем из-за кулис появились, рука об руку, все четыре знаменитости в одежде простого прямого покроя светлейшего розового оттенка, украшенные одной-двумя розами – в волосах и на корсаже: Тальони, Черрито, Гризи, Гран. Посреди всеобщего волнения, приветственных возгласов, топота и аплодисментов, они медленно продвигались по сцене, раскланиваясь перед публикой.

Именно в тот момент "некий неразумный друг Черрито, столь же глупо, сколь и дурно в смысле вкуса, скинул с горячей верхотуры плакаты в три руки шириной всевозможных цветов, содержащие адрес и сонет на итальянском *к бровке* прекрасной балерины, согласно царившему поветрию, насколько мы смогли проследить автора *in nubibus*<sup>1</sup>, чтобы доказать, что между Фанни Черрито и любой другой танцовщицей разница та же, что между грибом и ливанским кедром – *rien que cela*!<sup>2</sup> Приверженцы в партере на миг пришли в сильное беспокойство, опасаясь, не обвалится ли потолок, но вскоре последовал взрыв смеха".

Затем, лишь только заиграл оркестр, все смолкло. Четыре балерины начали с серии группировок - живописных, элегантно и изысканно поставленных, выполненных идеально точно, легко, словно без малейших усилий и напряжения или попыток произвести впечатление. Тальони в центральной группе, остальные – вокруг нее, с нависающими над нею протянутыми руками, - словно отдавали ей почести; ярким было и ее появление между

---

<sup>1</sup>*in nubibu* - облаках (лат.)

<sup>2</sup>*rien que cela* - само собой разумеется! (фр.)

ними – с отклоненной назад головой и словно возлежащей на их руках. За этими группировками последовали "быстрые поперечные движения", за ними шло блестящее соло Гран, затем *pas de deux* Черрито и Гризи, и, наконец, серия широких – вдоль всей сцены – воздушных *jetes* Тальони, выполняемых только ею. Каждое появление завершалось бурей оваций, дождем из букетов цветов и поклонами; постепенно сцена скрылась под все новыми слоями лепестков. Не раз во время дивертисмента был замечен кидающим цветы из своей ложи почтенный герцог Веллингтон.

Затем, для вариации *allegro* появилась Люсиль Гран – с пируэтами и "изящными полукруглыми прыжками" на пуантах, легкими "как перышко", но в то же время энергичными и – с присущей ей поразительной устойчивостью. За этим последовало *andante* с Карлоттой Гризи, выполняющей "полеты на кончиках пальцев" и "молниеносные вращения" "столь же ловкие, сколь и многочисленные, сочетающиеся, однако, со множеством живейших па, тысячекратно увеличивавших число ее ножек"; пикантная кокетливая вариация, в которую она внесла всю присущую ей юную грацию и очарование. И вот темп замедлился, стал романтическим, выразительным в *andantino*, исполняемом Тальони и Гран. Но это было лишь минутным настроением. Черрито, спокойно созерцавшая соперниц из глубины сцены, вышла на высокой скорости, чередуя стремительные повороты по диагонали всей сцены и *jetes*, исполненные так живо, что, по словам одного из зрителей, "она, казалось, вознамерилась опоясать всю Землю за сорок минут." Она была буквально осыпана букетами в награду за это удивительно сильное выступление, и, раскрасневшаяся и возбужденная, стала разглядывать изобилие цветов у своих ног, будто в изумлении, и только после этого принялась подбирать их со сцены "с хитровой покорностью, что выглядело забавно". Венков и букетов было больше, чем она смогла удержать в обеих руках, и Тальони вышла помочь и подала ей гирлянду цветов с улыбкой и поздравлениями.

Подошла очередь и самой главной балерине, и,

благодаря своему артистизму, несмотря на имевшие место только что триумфы, ей удалось довести восторг зрителей до совершенно невероятной высоты. Ее вариацией было *allegro*, нежное и томное, и в нем она "продемонстрировала все свое величие, по большей части основанное на том продвигающемся шаге, который считается ее изобретением, а также ее поразительных прыжках"; она включила и "шажки с согнутым вперед коленом" – настолько ставшими ее полным изобретением, что никто из танцовщиц не мог это повторить; наблюдавшие ее отмечали, что "линия ее танца всегда удерживала больший перпендикуляр", нежели у ее компаньонки.

Затем шла *coda*, в которой все четыре балерины соперничали друг с другом, показывая "различной степени сложности ослепительные па", "летая с неуловимой для глаза скоростью и чередованием прекрасных движений, образуя трогательную картинку не поддающуюся никакому описанию"; и, наконец, синхронный выход "скульптурной" группы. Финальный заключительный аккорд оркестра потонул в нарастающем реве зрительного зала. *Падекатр* был завершен.

Выход на сцену всех четырех балерин под занавес стал сигналом для нового энтузиазма зала, который перерос в бешеное *crescendo*, когда Черрито водрузила венок из белых роз на голову Тальони. Были также возгласы и в честь Перро, который трудился не менее танцовщиц, из-за кулис дирижируя дивертисментом, отбивая такт, беспрестанно нервно закуривая и не находя себе место от волнения. Но вот все тревоги позади, и он тоже вышел на сцену за своей порцией оваций. Все четыре балерины были глубоко удовлетворены совместным триумфом, и в конце обменялись между собой подарками, чтобы отметить это выступление особо. Тальони заказала четыре золотых медальона в форме сердечек, в каждом – была прядь ее волос; три из них она подарила своим партнершам, четвертый оставила себе. В свою очередь, Черрито подарила Тальони прекрасный каминный веер из слоновой кости с красными и белыми перьями.

Сегодня *Падекатр* остается лишь в описаниях современных ему критиков, из которых и составлен приведенный текст, а также в горстке рисунков того времени. Среди зарисовок – представленная А.Е. Шалоном (А.Е. Chalon) группа, – вероятно, "скульптурная" группа в финале, - превращенная Т.Х. Магуайером в одну из чудеснейших литографий Романтического балета. Королева Виктория и Принц Альберт пришли в такой восторг от рисунка Чалона, что распорядились, чтобы копии гравюры прислали им в Германию. Другой момент этого дивертисмента, одну из серий групповых сцен в начале, обессмертил Дж. Брандард на титульном листе музыки, давая нам некоторое представление о *беседке дивертисмента*.

В том сезоне *Падекатр* был показан всего три раза – 15 июля, 17 (когда его видели Королева Виктория и Принц Альберт) и 19 – перед отъездом Карлотты Гризи из Лондона; и вновь исполнен двумя годами позднее, в 1847, всего для двух представлений – 17 и 20 июля, с Каролиной Росати в партии, исполнявшейся изначально Люсиль Гран. Эти шесть показов и стали суммарным итогом труда хореографа дивертисмента. И все же, он был возрожден еще один раз в Романтический период. В Милане, в дни Карнавала 1846 года, он был поставлен Тальони и включен в выступление *Le Diable a quatre* – с нею самой, Софией Фуоко, Каролиной Галетти (позднее известной как Каролина Росати) и Каролиной Венте. Однако без руководства Перро и без участия всех остальных балерин, для которых он и был создан, тот *падекатр* лишь немногим отличался от других.

Настоящую славу *Падекатр* снискал в Лондоне на глазах зрителей тех самых шести представлений на сцене Ее Величества. Но даже будь он показан всего один раз, его слава и известность не были бы меньшими. *Vicomtesse de Malleville* заявляла: "В этой новой работе Перро – более десяти балетов калибра *Эсмеральды*". "Никогда еще не было таких па", - говорила *The Times*, - "это было величайшим в Европе представлением терпсихор". "Это явилось потрясением до глубины души," – добавляла *Era*, и – как писал в заключение *Morning Herald*, ознаменовало "новую

эпоху в истории балетмейстерского искусства, и те, кто видел, удовлетворенно ухмыляются по сей день, и хвастают этим перед теми, кто этого не видел".

В ретроспективе *Падекатр* является прославлением сценического божества – Романтической балерины, и именно в этом следует видеть важную особенность, недоступную публике того времени. Ведь Романтический балет страдал от хронического дисбаланса. Балерина была суверенна и всесильна, и отсутствие мужчины в этой исторической работе отражало предубеждение против танцовщиков мужчин, что стало одним из факторов, приведших к закату балета как театрального искусства уже через несколько лет после *Падекатра*. Другой признак упадка заключался в самой форме работы. Лондонской публике, где доминировало модное общество, посещающее Оперу по социальной обязанности и непостоянное в своих увлечениях, уже начинал приедаться драматический балет, и более востребованными становились бессюжетные дивертисменты для заключительного вечернего развлечения. *Падекатр*, таким образом, стал не только величайшим явлением Романтического балета, но также предзнаменованием его заката.





# Злата Зарецкая

## Экзамен

### Размышления о театре нашего Исхода

Памяти Марка Азова, Евгения Гамбурга,  
Нели Гошевой, Клима Каменко



вобода в творчестве порой экзамен, который выдерживают только самые сильные. Неограниченные духовные и ограниченные материальные возможности оказываются лакмусовой бумажкой, проявляющей истинное лицо личности в искусстве. Сцена обнажает скрытую внутреннюю лестницу, по которой или взбирается, или соскальзывает, а порой срывается в пропасть человек, сделавший неверный художественный или человеческий этический шаг. Каждый из нас выбирает, во имя тьмы или света он творит и что важнее – тренировка собственных профессиональных «мускулов» любой ценой, или поиски единственно верного художественного ответа... Искусство свободного полета часто превращается в качели, где гармония равновесия зависит от личной реакции при взлете.

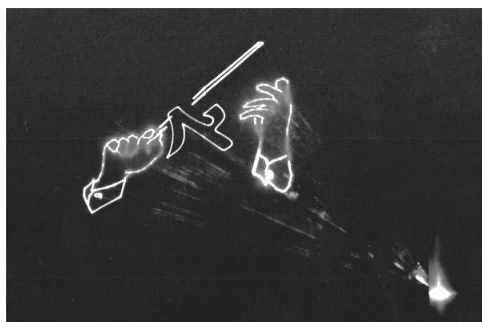
Театр, как и вся страна, сдает экзамен на прочность, на соответствие замыслу, и наглая простота социальных лозунгов порой затмевает здоровый разум.

На фоне призывов интеллектуальных звезд израильской сцены к игнорированию собственного зрителя по принципу территориальной принадлежности, в конечном счете – к глобальной дезориентации, направленной на уничтожение самого духа еврейского государства, выстраданного двухтысячелетним изгнанием, превращения его в «нейтральное пространство для всех», театр нашей

алии по-особому значим и ценен знанием и выстраданностью целей.

Прошло более двадцати лет со дня приезда из бывшего Египта – развалившегося СССР. Исход для многих творческих людей стал нескончаемым ежедневным экзаменом – испытанием веры, проверкой достоинства, безумия таланта, жажды преодоления, дабы не изменяя себе, все-таки преобразиться и прорваться – к чему?!

Настроен был на успех театр «Комедион» Владимира Мериина, оставивший по себе добрую память всего двумя спектаклями «Печальный пересмешник» по Л. Шаргородскому и «Искусство» по Д. Горен.



«Искусство» по Д. Горен. Режиссер В. Мериин. Театр «Комедион»

И если первый был зеркалом абсурда прошлого, с которым расставались с горьким юмором, то второй оставил о себе воспоминание о надежде на овладение «искусством» жить здесь дальше вместе лучше. Однако столкновение с местной бюрократией, перекрывшей уже приготовленный финансовый кислород новому сценическому детищу, превратило бывшего лауреата фестиваля «Иерусалим 3000» России в борца кино за справедливость уже здесь в Израиле...

Вернулся в Москву Игорь Штернберг, преобразивший крепостные стены Иерусалимского «Хана» праздничной метафоричной таганковской режиссурой своего «Штера-театра» тоже двумя спектаклями «Маленькие трагедии» по Ал. Пушкину и «Я тоскую о тебе!» по Н. Эрдману.

Вложил все свои средства в Хайфе в единственный спектакль «Эдит Пиаф» выпускник Товстоногова, уже состоявшийся театральный и кинорежиссер Нисель Бродичанский из Кишинева. За оглушительным успехом не последовало никакой реакции тех, от кого могла зависеть его судьба. Человек сгорел сразу, и в его костер не подложили горячего те, от кого могло что-то зависеть...

Закрылся ашдодский «Интертеатрон» хореографа и режиссера Йосефа Потапенко, объединявший десятки молодых артистов, успевший поставить «Аниху» – по рассказам Э. Карета, «Божий Клоун» о Нижинском... Оставил по себе добрую память в спектакле «Двое» по А. Гельману актерский дуэт В. Фридмана и Л. Сахановой...

И заблудился в «Закоулках наших душ» в поисках «Моменты Истины» авторский театр Дианы Горен «Дрор» из Иерусалима, чей последний спектакль «Прощение» (Мехила) прозвучал как умиротворяющий реквием по идеалам культуры, обреченным в новой реальности на искривленное восприятие и гибель. Воплощенный звездами оперной и драматической сцены (Кларой Коркан, Екатериной Чепелевой, Яной Фридман...), драматический текст Д. Горен остался демонстрацией отказа от нового духовного пространства, презентацией прежней из времен Египта ...жажды высокой гибели в мире, где «некого любить». Яна Фридман заражала зал, играя сразу на всех струнах своего артистического оркестра, создавая бетховенскую мощь звучания судьбы – ее высокого накала и закономерного конца... Это был спектакль – молитва о прощении заблудившихся, где тихое пение в подсвеченных белых полотнах напоминало о хорах в Храме у Гроба Господня. Христианский российский Израиль был представлен как высокая болезнь театральных профессионалов, чей «тайный жар» сжигал все сомнения о праве евреев на подобную ностальгическую трагедию в Иерусалиме. Жажда творчества, как дыхания, была главной победой этого противоречивого спектакля...

Исповедью о прежних художественных идеалах, как единственном источнике продолжения жизни, оказался и спектакль Виталия Новика по Э. Радзинскому «Старая

актриса на роль жены Достоевского», представленный в Бат-Яме. Проходящая через все творчество режиссера эта меняющаяся во времени пьеса – фактически – театральный манифест – образ веры в искусство, которое в любом пространстве и времени преобразует и спасает. Эта идея пронизывала игру Светланы Норбаевой, чья глубина и свобода импровизации создавали действие непредсказуемое и прекрасное, как душа старухи, молодеющей на глазах в момент сценического преобразования. На фестивале в Кишиневе уже новый израильский спектакль о В. Новика был воспринят «как высшая математика актерского творчества». Страна придала новые силы странствующему режиссеру, открывшему для себя Израиль из Петербурга через Германию.



Анна Власова в авторском спектакле «И Создал Бог Женщину»

Ушли в прошлое театр «Дагеш» Славы Карпа, «Цилиндр» Михаила Салеса, «Сцена – Кафе» Евгения Фалевича, «Элит» Бориса Эскина, «Люди и Куклы» Лени и Аси Хаит, «Русская Сцена» Алексея Френкеля...

Не все так идеально гладко было на этом пути, где «французские штучки» соседствовали с костюмированным вечером по Шекспиру или Чехову, где актеры, «желая кушать», путали известные цитаты. **Материя болит!** Однако страсть к преобразению побеждала слабости, и становился

снова «весь мир театром». Иерусалимский «Тарантас» Рахель Ковнер уже несколько лет совершенствует под аналогичным именем шекспировскую тему, где артист Александр Хазин все точнее восходит к образу английского гения, как символа мировой культуры, черпая в нем силу и вдохновение...



Сестры Райхер в спектакле «Сестры Бери»  
по М. Азову в режиссуре Зигмунда Белевича

Профессиональной разминкой и демонстрацией неограниченных пластических – визуальных возможностей были спектакли из Твери театра «Мешулаш» Геннадия Бабицкого и Фимы Гельмана «Искушения», «Женитьба» по Гоголю и Лорке, «44 рассвета» по Сент-Экзюпери. А драматическая пантомима – примы Анны Власовой «И Создал Бог Женщину...» по первой книге Пятикнижия, лауреат международных фестивалей, продолжает собирать награды и принимать приглашения...

Ибо найдена там в синтезе жеста, музыки и кукол формула общечеловеческого восприятия современного Израйля (Руки Ривки, матери Якова и Эсава, протянутые с мольбой, в пророческом предощущении слышимых братоубийственных взрывов...)

Сдал экзамен на художественное осмысление нового времени и пространства и феноменальный театр «Галилея» из Нацрат-Илита, к сожалению, ставший уже легендой из-за болезни режиссера «короля театра» (как называли его еще в Черновцах) Зигмунда Белевича и смерти драматурга – смехача и философа Марка Азова. Основанные на

вахтанговской школе и традиции фольклорного юмора, вместе они создали уникальные спектакли, ставшие символом сдвига сознания нашего поколения.

«Сестры Бэри в Москве» – о политическом пробуждении национального достоинства у презираемых – еврейской реакции на приезд американских звезд в Москву. (Их спели раскованно и в праздничный унисон певицы – сестры Райфер, олимпы из Румынии).



Марк Азов и Зигмунд Белевич во время Шагаловского фестиваля в Ашдоде

«Блуждающие звезды» – импровизация Азова по Шолом-Алейхему о бессмертии самого театра, как души народной, сколько ее ни уничтожай. Открытая незавершенная композиция сцены (сценограф А. Вайсман), где артистическая телега странствовали из прошлого в неизвестное будущее, стала визуальной тезой оживающей, словно феникс из пепла, души иудейской.

Высшим пилотажем в современном искусстве сцены стала драматическая трилогия по ТАНАХу М. Азова и З. Белевича «Весенний царь черноголовых», «Ифтах-однолюбу» и «Последний день Содома», От Ура Халдейского – родины Авраама в первом спектакле, через кровавую историю завоевания и цены земли обетованной – во втором – до морального осмысления уровня нашего соответствия божьему замыслу в последнем.

Азовская страсть к описанию «свойств человеческой природы и истории, которая повторяется», нашла

воплощение в переосмысленных им сюжетах ТАНАХа, который дал ему «возможность еще более масштабных обобщений» Автор не любил «реализму» особенно социалистического – писать не о том, что есть, а о том, что должно быть – то есть приукрашивать и лгать. Его эзопов язык «иносказаний» о правде, которая его «привлекала именно в ТАНАХе». Для него «он был написан как хорошее реалистическое произведение. ...Евреи не жалеют ни своих праведников, ни самого Бога. ...Не надо бояться говорить правду! Это может спасти, ибо помогает осознать, где мы находимся. ...И чем дальше от очевидности, тем ближе к истине – в этом тайна искусства!»



Портрет режиссера театра «Галилея» Зигмунда Белевича

Это завещание Мастера было воплощено еще при его жизни в театральной трилогии режиссером З. Белевичем, создавшим вместе с художником А. Вайсманом, хореографом Н. Пиляк, композитором А. Портновым актерами М. Никомаровым, И. Елизарьевым, И. Склярчук, Б. Шифом (их было более 30!) ...мир мета-театра, где совмещалась правда истории и сиюминутная, сегодняшняя, где их столкновение приводило к «эстетическому взрыву» – пророческим образам – Содомы как государственного

борделя; «Земли-Дома», который всем нам надо защитить (как пытаются это сделать символически в эпилоге трилогии сами ангелы мщения), или «Корабля», на котором плывет все современное человечество, и где снова требуются герои, способные на самопожертвование, подобные библейскому Ионе. Так было в спектакле З. Белевича по М. Азову «Корабль Добряков» – актуальном послесловии к танахической трилогии...



Артист Игорь Елизарьев в роли «Ифтахы» по пьесе Марка Азова в режиссуре Зигмунда Белевича. Театр «Галилея»

Творчески бесстрашно на полной самоотдаче прорываются на сцену любители, сдавая зачеты и порой успешно профессионалам, которые держат планку и учат отличать коммерческую халтуру от настоящей культуры театра. «Высокое искусство требует подготовки, а халтура ничего не требует», – предельно трезво и требовательно подходят к своему любительскому театру «Мозаика» Игорь и Людмила Мушкатины, приближая своих питомцев с 1994 года – более 15 лет к сценическому идеалу. На языке любви к детям и с высоты своих знаний и опыта в кино и театре им удалось создать настоящие маленькие шедевры студийного творчества, среди которых вершинными были для меня «Антигона» по Ж. Аную, «Вкус меда» Ш. Делани... «Театр – дело подвижное. Педагогика – дело медленное. Они у нас как росточки, которые выбиваются из-под земли. У каждого свой период роста. Нельзя торопить. Некоторые приходят,



им кажется – завтра уже на сцену. А когда не получается, отпадают. Евгения Голанд – наша ведущая актриса (кстати и певица!). Очень долго молчала... Теперь она профессиональна...» Мушкатины понимают, что настоящий театр – это постоянный поиск, самопроверка, особенно в новом – двуязычном измерении Израиля.

Иной – «резонансный – магнитный» подход к творчеству в театре «ЕШЪ» профессиональных режиссеров Левиных Владимира и Лены. Коллектив, начинавшийся в 2002 году как учебная студия, привлек огромное количество взрослых, из которых Левины выбрали только 26 человек. Осталось 14. Это тоже семейный театр, но студиец для режиссеров – это не объект для обучения, «актер для нас – это всё» – это мир, который надо пробудить и настроить как музыкальный инструмент «на свою волну», услышав в нем верную ноту. В репертуаре вообще много звуков. Программа «Ключи к театру» посвящена 300-летию русского романа. «Паризиана» – музыкальное ретро в стиле НЭП по Зоценко. «Крейцера Соната» по Я. Гордину – история еврейских эмигрантов в Америке, разыгранная как бетховенская тема судьбы. «Танго» Мрожека. Переезд в новую страну изображается везде как разыгранная по нотам закономерная драма истории, где рушатся последние надежды иммигрантов Театр «ЕШЪ» – прекрасная иллюзия «тень» старой российской культурной жизни, как в дореволюционной орфографии с ятем, куда можно скрыться построив свой собственный мир, где в памяти "стучатся" первоклассные авторы. Так с успехом была сыграна феерия «Свадьба со стервой» по Шекспиру, Лопе де Вега, Гольдони и Бомарше, где каждый участник мог развернуться и «оторваться», как например артисты В. Дзякевич, С. Зильбербрандт, О. Алексеева. Так с тоской по русской классике возник «Сон в руку» по мотивам А. Островского «Женитьба Балзаминова». Спектакль об одиночестве и любви, где «непрофессионалы были обаятельны и умны, стараясь быть слишком понятными». Режиссеры экзаменуют каждого на соответствие природе перевоплощения, новому любимому тексту, пробуждение подсознания для правдивого живого вхождения в образ «по Михаилу Чехову». Однако

глухота к истинным проблемам времени приводит порой эту интересную, но замкнутую творческую группу к самолюбованию, где, как в замедленной съемке, взгляд остановился и, подобно спектаклю «Тень» по Шварцу, мы видим лишь яркий отблеск того, что ушло для нас в прошлое...

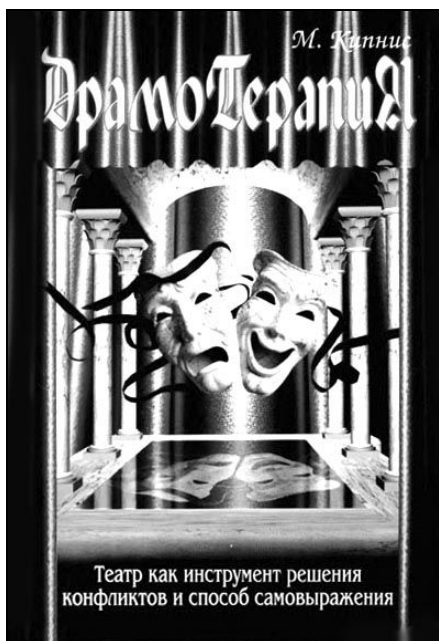


Афиша Александра Вайсмана к спектаклю «Последний День Содомы» по пьесе Марка Азова в режиссуре Зигмунда Белевича

Рядом с домом Левиных на ашдодской набережной выпирает из песка, как крик о помощи, черный тонущий остров – образ не доплывшей до берега «Струмы» с еврейскими беженцами... Но эта боль нашей истории не находит никакого отзвука в развивающемся по собственным законам проекте «ЕШЪ»! Экзамен на соответствие духовной природе Израиля в планы не входит... Задача выжить самому за счет театра, победить трудности новой жизни, врати сохраняясь в прежнем качестве.

Жаль, ибо «ЕШЪ» – продолжение детской театральной академии, молодежного проекта «Ювента» доктора, режиссера, автора уникальной методики Михаила

Кипниса, цель которого была создание драмы – дилеммы – пересоздание реальности с помощью сцены в кругу друзей.



Представление жизни как проблемного театра и приглашения каждого к решению его своим драматическим способом. Это смыкалось с мировыми поисками провокативного театра «Форум», начатого в Бразилии А. Буало, а в области психо-драмы Я. Морено.. Михаил Кипнис внес огромный вклад в осознание накопленного опыта: издал несколько книг о театре, как психо-гимнастике и инструменте решения конфликтов, оставил «Ювенту» и руководит сейчас в Ашдоде общественным проектом МЕЙТАР (михлала, йахадут ве тарбут) – учеба, иудаизм и культура, где театр ЕШЪ – лишь часть программы культурного вживания. Интеллектуальные функции разделились и театр стал для профессиональных режиссеров и их питомцев лишь интеллигентным отвлечением на фоне прозы выживания...

Впрочем любительство порой позиция и спасение для тех, кто хочет выстоять в реальной жестокой борьбе за

человеческое достоинство. Таков ашкелонский театр «Менора» режиссера-волонтера Владимира Азарова, для которого искусство – «светильник во тьме жизни». Созданный в 1991 г вопреки атмосфере русофобии в городе, где до сих пор за разговор на русском языке могут или избить, или убить (вспомним Яна Шапшовича!) или вынести порицание по службе (последний приказ в больнице «Барзилай», запрещающий работникам речь по-русски!), театр «Менора», продолжает органичную еврейскую борьбу за милосердие, доброту, первичную мораль, отличающую человека от зверя.



Режиссер театра «Ювента», создатель метода «драмы-дилеммы»,  
руководитель проекта «Мейтар» Михаил Кипнис

Об этом среди десятков постановок главные для режиссера «Ретро» А. Галина, «Зверь» М. Гиндина, где хищник оказывается более человечным, чем люди; и недавняя премьера по И. Жамиаку «Месье Амилькар платит» или «Антипеса для антипублики», где вновь высокий счет, который предъявляет близким герой, отказывающийся от социума, где царит ненависть и предательство. Тяжеловесный, статичный театр, где исполнители (некоторые впервые) вполне искренне кричат свои роли, театр «Менора» жив жаждой публики по таинству Театра, за причастность к которому и на сцене

**и в зале борются как за владение короной!** Владимир Азаров – бывший военный, которому не удалось из-за последствий войны осуществить свою тягу к сцене, везде, где он был, ставил спектакли, согревая окружающих своим энтузиазмом и бескорыстным служением святыням творчества. Более 60 лет он отдал театру из них 19 – в Израиле! В 2010 он был признан в Ашкелоне Человеком Года, а его театр, ютящийся до сих пор в бомбоубежище, тем не менее получил статус Городского: в его рукотворных ступенях, согревавших беженцев с Газы, дети и взрослые репетируют новые пьесы, а их близкие помогают неггибаемому режиссеру, храня своего «дон-кихота»..

«Душа обязана трудиться» – это сверхзадача всех, кто примагничен сцене. Это идея и Нелли Цирульниковой, влюбленной в слово в ее иерусалимском моно театре «Звучащая Книга», существующем уже 16 лет.



На сцене ей удастся лишь голосом вызвать в подсознании слушателей «звук тонкой тишины» – мир Ахматовой, Пастернака, Булгакова, Паустовского, Эренбурга. Интеллектуальная муза актрисы – проповедь нашего богатства –духовного багажа, который мы привезли с собой и и создаем здесь, чтобы «просто не забывать, что мы – люди». Об этом моноспектакли «Яков и Рахиль» по роману А. Рыбакова «Тяжелый песок»; «Еврейское счастье» по И. Орону, И. Башевису-Зингеру; «Золотая Елена» по роману «Белая гвардия» М. Булгакова...

Не забыть, спасти, что еще можно, ощутить «родство времен», где рядом творцы настоящего и прошлого – цель почитательницы высокой поэзии и прозы, ее экзамен в Израиле, где она озвучивает свою Книгу, прислушиваясь к голосу творческой совести...

У театральных профессионалов в Израиле иные проблемы и другие критерии самопроверки – найти новый способ существования на сцене – иной путь перевоплощения с учетом прежнего профессионального опыта... И во имя пересоздания в зеркале сцены контраста времен и пространств знатоки предлагают совершенно разные типы творчества.

Тяготеет к языку притчи театр «Зеро» Олега Родовильского.



Особенно в спектаклях «Женщина в песках» по Кобо Абэ, и «Заколдованный портной» по Шолом-Алейхему – это метафорическая исповедь в японской или еврейской стилистике о трагедии потери личности даже при обретении общественной идентичности, где актер – тем сильнее воссоздает образ другого «Мужчины в песках» или сумасшедшего праведника «Шимона Эли», чем более злободневен его диалог с залом. При этом диапазон между образом и актером, как личностью из публики – тем масштабнее – чем интимнее, и аллегория – лишь способ прямого разговора об общей боли, о дистанции между

мечтой и реальностью, о ее противоречиях, которые далеко не каждый способен преодолеть, но мужественно старается, приходя или к победе или к поражению... Композиция подчинена одному актеру – его максимальному самовыражению. Остальная «свита играет короля» и не всегда в гармонии... «Зеро» (Нуль) – это конец и начало неизвестного. Коллективный моно театр Олега Родовильского – метафора наших вопросов, где первично актерское эго, а режиссура безмолвствует, обслуживая...

Актерское решение сцены и в ашдодском театре «Контекст» Михаила Теплицкого, где постановщик – непосредственный участник действия, влюбленный в профессиональные возможности своей «коллекции» творцов и оттого растворенный в них так, что порой режиссера не замечаешь. Спектакли «Стулья» по Ионеско, «Квартет» Рональда Харвуда, «Неприличные истории» по французским фарсам были праздником самореализации Александра Штендлера, Павла Кравецкого, Евгении Шаровой... – демонстрацией художественных богатств, которые в традициях российского психологического абсурда были продемонстрированы новой стране по контрасту с местным иллюстративным политизированным семейственным театром. «Закрой окно – воняет» – фраза вечной пары из Ионеско стала лейтмотивом первых спектаклей «Контекста», заявленных как знамя культуры, демонстративно противопоставленной всему раздражавшему окружающему.

И лишь обращение М. Теплицкого к еврейской классике «Миреле Эфрат» по Якову Гордину (иудейскому Шекспиру), где коллектив слился в единое гармоничное постановочное целое – принес театру заслуженный успех и ощущение почти сданного экзамена на соответствие национальному менталитету. «Я всю жизнь хотел заниматься еврейским театром. Для этого я собственно и приехал в Израиль после окончания ЛГИТМИКа» М. Теплицкий нашел ключ к известной пьесе, где отличились и «Габима» с Ханой Ровиной и Орна Порат в «Идишпил». Не абстрактные галутные евреи, устаревшие и мелкие в своих претензиях, но значимые узнаваемые наши прадедушки и прабабушки воспроизведены на сцене... Режиссер погружает зрителя в

культуру и быт иудеев провинциальной России – воссоздает общие духовные корни, восстанавливает дней порвавшуюся нить. Дизайн пустой сцены, в которой четыре колонны и высокое кресло, с шекспировской силой, как в королевском дворце, обозначают пространство воительницы с судьбой. На этом свободном поле сценограф Полина Адамова создает в цветовом (коричнево-красно-зеленом) контрасте костюмов исторически реалистический и по-шагаловски авангардный знаковый дизайн: визуальную – драму столкновения чести с бесчестьем, культуры с хамством, достоинства с воровской мелочностью.

Приглушенное будничное «безыскусное» освещение Михаила Чернявского и «осимфонивание» фольклора Евгением Левитасом дополняют картину духовной подлинности и универсальности российско-еврейского прошлого.

Актриса Александра Комракова – «Миреле Эфрат» на сцене – многозначный цельный кристалл, где каждая грань сверкает глубиной. По Станиславскому, она создает образ зла, где скрыто добро, и потому ее игра «стреляет», ибо цель – женщина бескомпромиссная, где жажда власти и нетерпимости – лишь маска верующей «аидише маме», готовой на самоуничтожение, несмотря на гордость, во имя ценности семьи, сохранения «а голдене кейт» – «золотой цепи поколений» – той, благодаря которой мы все здесь.

Однако и в этом спектакле актерское начало преобладало над режиссерским, превращая действие порой в замедленную иллюстрацию текста Якова Гордина. Театр «Контекст» еще в пути, но зритель стоя приветствовал «Миреле Эфрат» как состоявшуюся национальную драму. Здесь М. Теплицкий по-настоящему вспомнил то «Главное, что Забыл». Феерия по Шолом-Алейхему «ХА Икар Шахати» – поставленная им как режиссером в Израиле, а ныне в Санкт-Петербурге в «Таком театре» – по справедливости возможный номинант на «Золотую Маску». А обращение к пьесе «Кнопка» по Йосефу Бар Йосефу в ашдодском коллективе – еще один шаг навстречу пониманию израильской культуры как своей собственной...

Не первична ни режиссура, ни игра – но **аудио**



**визуальные шифры** для возвращения к первоисточкам – самопознания и просвещения публики в домашнем театре «Маген» художницы и актрисы Рахель Спектор в Хайфе, действующий с 1992 г.



Диалог со зрителем через визуальные символы.  
Рахель Спектор «Театр «Маген»

Ее экзамен в Израиле – авторский театр-мидраш – продолжение вечеров творческой гостиной, где рядом выставки, концерты, лекции «Идти по Земле» и «Символы еврейского духа»...

Отделение театрального дизайна Ленинградского училища им. Серова, где преподавали лучшие учителя Академии, создали из студентки оригинального мастера, «ведущего зрителя по лабиринту состояний» дорогой жеста, цвета, линии, музыки... Так возникли спектакли «Камни говорят», «Автопортрет», «Выход», «Еврейское пространство» У каждого свой способ сдачи своего экзамена в Израиле. Для Рахель Спектор Эта Земля – цель, и оттого она предпочитает на крошечной сцене не традиционное перевоплощение – но личную эстетическую проповедь «во

имя изменения мира»... Ее идеи театра, как «служения в Храме» напоминают мечты Нахума Цемаха, создателя московской «Габимы», думавшего о «национальной еврейской сцене на горе Скопус» в Иерусалиме... История повторяется, но развивается непредсказуемо...



Маша Горелик – Ольга Книппер, Ефим Риненберг – Антон Чехов.  
Авторский спектакль Ирины Горелик «Последняя любовь Чехова»

Режиссер театра «Микро» Ирина Горелик не грезила несбыточным, но как практик – литератор, учитель и автор своих сценических размышлений еще в Саратове, она медленно, но верно, начиная с 1995 года, превращала свой молодежный «театрариум» для трудно воспитуемых – в признанную профессиональную труппу, действующую на малой сцене иерусалимского театра «ХАН». Ее аналитическая рациональная муза привела к постановке спектаклей – аллегорий, построенных как философский диалог с публикой во имя ощущения театра как своего «звена в цепи истории». Так возникли спектакли: «Обеты» – по устной Торе, роману Т. Манна «Иосиф и его братья» и пьесе Н. Птушкиной «Рахель», где был воссоздано «четвертое пространство коридора во времени», и история Йосефа разыгрывалась как экзамен – проверка на звание Человека, не прекращающаяся для его наследников и сегодня.

«Враги. История любви» по И. Башевису-Зингеру –

мистическое священнодействие режиссера в стиле автора – анализ лабиринтов национального менталитета, колеблющегося между Сатаной и Б-гом. История Германа Бродера, спасенного в Катастрофе, но раздавленного собственной слабостью, была представлена как синтетическое хоровое действо, где отдельные герои – лишь знаки общей иудейской судьбы. О ней напоминали тексты царя Давида, служившие знаковым камертоном любовных перипетий героя, который себя с ними соотносил, пытаясь убежать! Хор был его судьей, светом и мостом с залом из прошлого в настоящее ...А зрелище – проекцией общего приговора над раздавленным и опустошенным эгоистом, который ради себя предавал всех, перечеркнув заповедь «любить другого как самого себя». Ансамблевая игра актеров поднимала действие до уровня высокой трагедии. Она касалась каждого, ибо звучала, как предупреждение свыше об опасности продолжения Катастрофы на уровне сознания каждого...

Именно за этот спектакль театр «Микро» получил звание государственного и был приглашен на малые гастроли в Камерный театр в Тель-Авиве.

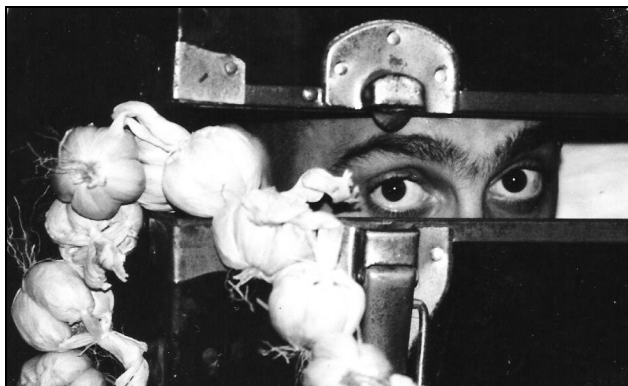
Последняя премьера «Как несколько дней» – по одноименному роману Меира Шалева – откровение о безнадежной любви, которая преобразует ничтожность жизни, преобразая ее в праздник – противовес реальному кошмару.

История трех мужчин, мечтавших об одной женщине, соотнесена с мифом о Якове, который служил 14 лет за Рахель и они показались ему «как несколько дней, ибо он любил ее». В центре – скрытый праведник, идеальный человек, который как раз растворился в другом.., воплощая высшую заповедь Танаха...

«Может вся мировая война и газовые камеры были только для того, чтобы у нас была свадьба!», – этот крик мудрости деревенского дурачка из Изреэльской долины 1946 года, сотворившего тысячи глупостей ради любимой, напоминал по-чаплиновски о величии маленького сердца, способного на огромные чувства. Бывший артист Камерного, профессионал от Б-га, Илан Хазан –

«влюбленный клоун Яков», – нерв спектакля, где его тоска по освящению ненаглядной «Егудит» – художественное противостояние Ангелу Смерти, вечно преследующему евреев ...В спектакле звук сломанного холодом дерева, убившего невесту, – символ Катастрофы, еще свежей для героев, раны, не заживающей и для нас...

Перфекционистский самоконтроль и самоотдача без шумихи – лицо автора театра Ирины Горелик, как и ее коллег.



Гера Сандлер в спектакле «Последний черт»  
по Башевису-Зингеру в режиссуре Игоря Березина

«Я не ставлю то, что идет везде. Меня интересует оригинальная литература, чистота помыслов и намерений. И я не принадлежу к профессионалам, которым на все наплевать». И хотя далеко не всегда достигается единство «игры и времени», и взлеты театра редки – но они даются на своей избранной дороге, на которой закономерны и непродажные честные провалы. Экзамен на «лица не общее выражение» продолжается и «Микро» стало постепенно для израильской публики значимым серьезным «макро – событием».

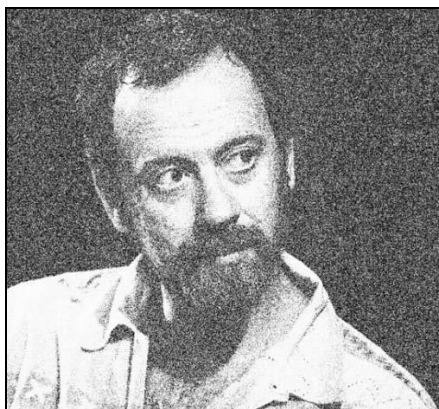
Игорь Березин в своем «Маленьком» театре, следуя тому же принципу величия литературных целей и этики их достижения, создал из своих режиссерских творений интеллектуальный магнит, подключая зрителя к электричеству точно рассчитанной минималистской

композиции, где кинокадр, кукла, свет в гармонии с актером выстраивают авторскую идею. Основанный в Тель-Авиве в 1997 г, как один из театров на обочине, независимый «Фриндж», он был заявлен как езда в незнаемое – свободный эксперимент, где духовная цель была подчинена форме и взвешивалась до миллиграмм на весах авторского замысла. Израильская публика была поражена полуметровой близостью со сценой, предполагавшей напряжение крупных планов киномонтажа, цирковую эквилибристику в невыразительном пространстве, которое преобразалось по простейшим формулам математики театра, пробуждающей глобальные духовные ассоциации...

Так построены «Последний черт» по И. Башевису-Зингеру, «Посторонний» по А. Камю, «Старуха и чудотворец» по Д. Хармсу, «Орфей в метро» по Х. Кортасару, «О грехе» по Ф. Достоевскому, «Маленькие трагедии» по А. Пушкину, «Роза Иерихо» Р. Хен, «Йов» по Й. Роту. Все эти спектакли объединяет авторский пиетет перед литературой, как «высшим из искусств», где слово поверяется сценой. «Если оно выдерживает испытание, значит оно – самой высокой пробы». Герой всегда стоит перед «проблемой выбора маленького человека в жестоком мире» между верой и безверием, между «равнодушием и жертвенностью, между истинной жизнью и духовной смертью, Этический спор – зеркало репатриации, иммиграции – любого перемещения в пространстве, болезненного рождения заново. Самоидентификация, поиск «клада культуры, который только нам принадлежит и который никто уже отнять не сможет» – современное иудейство – это критерий личного экзамена режиссера. Переосмысление его через искомую, как ответ, метафору мифа – путь И. Березина. Об этом и новый авторский актуализированный текст о будущем по легенде «Голем», где автор утверждает, что все зависит от того, какие современные ценности могут спасти нас в будущем, на какого созданного нами «голема» возможно и можно ли надеяться. «Театр – это мировоззрение, лаборатория духа».

Приверженность режиссера к «бедному» искусству, «без звуковых эффектов и роскошных декораций, но с

актером в центре и всего на сто зрителей» создает во всех его работах магическое медитативное интеллектуальное наслаждение, оцененное в Израиле престижными театральными премиями. Демонстративная скромность, сложная простота художественных целей, погружение в творчество вопреки коммерции и отсутствию сцены-дома – образ бескомпромиссного творческого экзамена Игоря Березина и его глобального «Маленького» театра.



Режиссер «Маленького театра» Игорь Березин

Евгений Арье свою исповедь перед исторической родиной и мировой культурой выстроил в форме моста. Театр «Гешер» в Яффо был задуман как дорога в два направления одновременно: российское профессиональное и современное еврейское. 67 спектаклей поставлено за 20 лет пребывания в стране. Из них, по-моему, наиважнейшие и состоявшиеся как художественные открытия: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по Т. Стоппарду, «Мольер» по М. Булгакову, «Дело Дрейфуса» по Ж. Грюмбергу, «На дне» по А. Горькому, «Идиот» по Достоевскому, «Адам бен Келев» по Й. Каниюку, «Деревушка» по Й. Соболю, «Город» по Бабелю, «Раб» по Башевису-Зингеру, «Ревизор» по Гоголю... Избранные эти работы оставили впечатление духовных достижений Израиля, достигнутых на столкновении людей разных цивилизаций и одной национальной души. Родилось третье искусство «неофитов»,

как и у Березина, с новыми художественными качествами, неожиданными уровнями прозрения в современный израильский менталитет... Коммерция поначалу должна была служить сцене, как рабыня, и для снега в горьковском дне Петербурга заказывали на миллион подлинный из Парижа... И волшебной белой пеленой застилалась ночь вокруг каменного фонтана, где в грезах о романтической любви погибала раздавленная «Настя» – Н. Войтулевич; и взлетал пух во время погрома в Одессе под безумно прекрасную скрипку несуразного внука убитого Шойла – авторское эго Бабеля (Е. Додина)... Режиссер вместе с коллегами высекал из чужеродного материала новую смысловую искру, создавая свое – третье – надтекстовое измерение трагедии, сугубо сценическое, ибо Театр, как было в «Гешере» во многих спектаклях – Суд, Правда, Спасение и Лекарство от любых общественных извращений, самостоятельный прекрасный мир и цель, духовный Дом, как в лучшие времена в России. «Гешер» оценили, как «новое поколение искусства Израйля» почти во всех культурных центрах мира... Президент М. Перес на юбилее 20-летия назвал «Гешер» «русским чудом Израйля», сравнив его появление с приездом в 1927 году московской «Габимы». «Нашим театром» назвал его в телеинтервью Нетаниягу.

По-моему мнению, весь репатриантский театр в целом, как явление, – чудо, которому свойственны в большей или меньшей степени качества театра «Гешер», ибо вышли мы все из одного Египта и культурная закваска в разной степени у всех одна. Да и сдать экзамен на самый лучший и самый посещаемый театр удастся даже избранным не всегда. Как коллектив «Гешер» далеко не идеален в своем стремлении «выжить любой ценой». Коммерция из служанки и рабыни превратилась в хозяйку дворца... Возникли разнокалиберные художественные мутации, где присутствие чужеродной и по духу и по уровню игры «звезды» должно «обеспечить заполнение зала на 900 мест». Так было в недавней постановке «Тартюфа», где Хана Ласло ни на йоту не перевоплощалась в хитрую служанку Мольера, но демонстрировала свои неприкрытые уродства и дешевый стендапистский стиль сценического поведения,

несовместимый с творческой планкой перевоплощения, заданной гешеровцами. Поверхностный «а ля руси» стиль отличал и теле приму Орну Банай в «Служебном романе» по Э. Рязанову и заштампованного в ролях восточного мафиози Моше Ивги в «Шестеро персонажей в поисках автора» по Л. Пиранделло. Некоторые местные актеры просто пыжались, тужались, не в силах родить на сцене ничего, кроме собственной претензии (Микки Леон – в спектаклях «Медя» или «Ночные разговоры»)… Как артистическая легенда летают над сценой «Гешера» образы, созданные ушедшими навсегда Евгением Гамбургом, Нели Гошевой, Роландом Хейловским, Климом Каменко…

Поиски продолжаются. И Е. Арье удалось создать плеяду рожденных уже здесь в свободных условиях новых молодых актеров: Эфи Бен-Цур, Нета Шпигельман, Янив Ори – плоды единения раскованной энергии еврейских цабр и российской осознанной психологически театральной школы. Так возникают уже самостоятельные работы, где соединяются фейерверк талантливой свободной импровизации и глубина актуального духовного анализа. «Один и Одна» (Эхад ве Эхат – Он и Она) по авторскому актерскому тексту Ноа Колер, Эрез Дригес, постановка Е. Арье – спектакль – праздник! Таким же фантастическим плодом совместного творческого синтеза явился последний «Ревизор», где в центре израильские актеры Двир Бандак и Алон Фридман, создавшие из образов Городничего и Хлестакова – универсальную пару умных современных приспособленцев, использующих любую возможность для наивного аморального обще признанного само выживания.

«Проверено, что репертуарный театр должен поддерживаться государством на 60%. У нас дотации только 33%. Я должен думать обо всем… В мире сейчас побеждает ЭНТЕТЕЙМЕНТ – развлечение. Я стараюсь, чтобы театр был хотя бы на полшага впереди аудитории, но это очень дорого обходится… Глупо мечтать о том, что было в начале – двадцать лет назад. В реку нельзя войти дважды. **Но мы остаемся и поныне уже с новыми актерами театром живым,** который пытается через адаптации современной израильской литературы дать свой масштаб видения



событий».

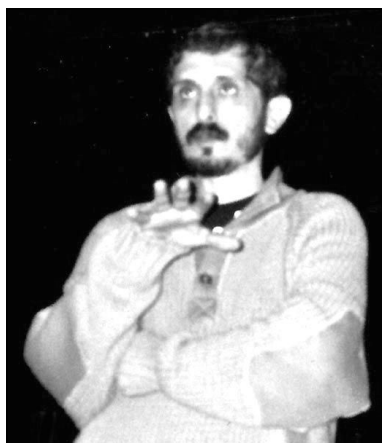
Насколько это «видение» близко к объективной израильской духовной реальности – вопрос не праздный. Это проблема соответствия, попадания в цель через эстетическое мышление в драму истории или сохранения своей чистой позиции над схваткой, или этический выбор национальных ценностей, для поддержки которых нас сюда забросила судьба. Позиция Е. Арье – чисто художественная. Для него театр – вера и путь. «Мне нравится, когда в тексте нет идеологической преднамеренности, а есть элементы правды либо в диалоге, либо в сюжете. Тогда есть от чего оттолкнуться. Добывание правды по крупицам очень тяжело. Но именно это и привлекает меня в театре». Тяжкий путь познания Израиля как дома и еврейской истории, как своей собственной – черты Мастера, который вне знания языка и древних текстов, на которых родилась святая земля, естественно может быть необъективным. Но стремление к совершенству остается. Об этом грядущая премьера по Меиру Шалеву «Мальчик и голубь» – о любви и о возвращении...

И может быть, когда-нибудь сбудется идея режиссера «о центре созидания и творческого развития режиссеров и актеров, где с молодыми можно идти дальше». А пока его экзамен на сохранение качества большого театра в джунглях искусства Израиля, где он тем не менее чувствует себя «максимально комфортно», продолжается, и карьерные предложения отбрасываются: «Я не брошу то, что сам создал!»... (Интервью 5.09.11) Ответственность таланта, всегда надежда, что результат снова будет таким, как было в лучшие времена нашего «Гешера». На вопрос, как режиссер относится к протесту театральной элиты, призывающей игнорировать выступления в Ариэле, Кирьят Арбе, режиссер подчеркнул, что это «глупость», и что театр Гешер «будет работать в любой точке государства Израиль». Все было бы хорошо, но в репертуаре был спектакль Давида Гроссмана «Момик», ассоциирующий евреев со скрытыми нацистами – идея, оправдывающая культурное игнорирование территорий Иудеи и Самарии. «Враги. История любви» по Башевису-Зингеру, текст воссозданный только на уровне

«реалистического» сюжета – без глубинных ассоциативных подтекстов автора как вершины айсберга культуры идиш, погрузившейся в небытие в сороковые роковые, представляет выживших жертв Катастрофы только как полностью потерявших ориентиры сексуальных маньяков и подонков. В израильской аудитории, где во втором и даже третьем поколении жива память о равнодушии европейцев при уничтожении их предков, этот спектакль воспринимается как кривое зеркало национальной истории, где балом правит вирус «Занда», оскандалившегося со своей книгой («Кто и как придумал еврейский народ» 2008) и извинявшегося перед аудиторией в Рамалле, что «он родился только в результате насилия». Еврейская само ненависть, желание сравняться с гоями, (аплодирующими аналогичной постановке в Москве!) ибо презентация еврейских персонажей сквозь близорукую призму зрения, где главного на расстоянии не увидишь, и где побеждает «критический реализм», приводящий к искривлению действительности, резко выделяются в «Гешере», заявившем о себе с самого начала, как источнике высокой художественной правды... И это несомненно еще возможно, если театр не будет идеализировать сам себя и противопоставлять свои внутренние проблемы всему окружающему, создавая из прекрасного духовного производства – самоцель, птичью башню и интеллектуальную келью. Она прекрасна, притягательна, но и опасна, ибо сжигает без кислорода подлинной реальности.

Эта позиция над схваткой, где искусство в его чистом эстетическом виде превыше всего – способствует (ибо высокомерно эгоистично не реагирует на волны истории!) торжеству местной элиты, провозгласившей устами королевы израильской сцены знаменитой актрисы Ханы Марон 14 мая 2011 г Декларацию Независимости Палестины напротив здания, где в 1948 году это сделал только по поводу евреев Давид Бен-Гурион! Дискредитация Израиля и издевательство над сионизмом модны не только в университетских стенах, но прежде всего в театральной среде. «Принц» Камерного Театра Итай Тиран заявил с королевским достоинством, что он «не служил в ЦАХАЛе»

и одним из первых поставил свою подпись в петиции против Ариэля...



Режиссер театра «Матара» Александр Каплан

Пришло время и нашим деятелям сцены, еще не забывшим российский Египет, летающим и далеко не приземляющимся евреям, самоопределиться и ответить перед собственной совестью: С КЕМ Я, КАК МАСТЕР КУЛЬТУРЫ?! И что для меня театр? Келья или «Труба Архангела», (как поэзия для Мандельштама)?!!!! И чем является для меня местная публика – «нетеатральным быдлом», которое нужно, игнорируя, просвещать, и вообще «осчастливливать», или полем исследования цивилизации, от которой зависят судьбы мира и частью которой являюсь я сам?! Пришло время ответа, ибо и от нашей ясности и глубины зависит жизнь страны...

В этом смысле близким к творческому идеалу оказался для меня театр «Матара», созданный группой профессионалов во главе с кинорежиссером и актером Александром Капланом.

Выпускник ЛИКИ (Ленинградский Институт Кинорежиссуры), работник одесской киностудии, постановщик мюзикла там в театре «Мигдаль Ор», автор шести документальных и двух художественных фильмов здесь, среди которых «Ближний Восток – большая ложь революции» и «Еврейское счастье» по С. Довлатову были с

успехом показаны на НТВ, он организовал группу «Матара» в Холоне сразу после Второй Ливанской Войны в конце 2008 г. Визитной карточкой стал спектакль «Деревянный театр» по Леону Агулянскому – живая реакция деятелей культуры на еще незажившие раны...



Отрывок из спектакля «Деревянный театр» по Леону Агулянскому.  
Режиссер Александр Каплан

Автор текста – подобно Чехову – доктор и писатель, сам был участником военных сборов и с гордостью, как «счастье», воспринимал свое участие в боевых операциях на флоте. Об этом его роман «Резервист» или «Нерусская рулетка», где герой – альте эго автора, попадая в немыслимые ситуации, выживает благодаря элементарной порядочности, бесстрашию, умению оценить мгновение и выиграть в битве со смертью. В основе текста пьесы «Деревянный театр» – повесть «Вспышка», основанная на реальных событиях лета 2008 г, когда врачей забирали на передовую, и они без оружия спасали бойцов прямо с поля боя, или наоборот – воины, видя кровь, становились в больницу в армию хирургов. И если в повести темой является сила судьбы – само мгновение (ФЛЭШ), которое меняет жизнь человека, и герой, как и все олимпы – обыкновенный человек, выбирающий в последний момент бесплодную жену и машканту, а не любимую в прошлом женщину с его ребенком; то в пьесе автор заострил до предела суть еврейского гуманизма.

В трагической для страны и для себя ситуации

«Виктор» (арт. Д. Кулиев), оперирующий раненых с фронта, не теряет ни разума, ни чувств, ни способности к прекрасному, символом которого для него остался старый деревянный театр на Каменном Острове в Ленинграде, где он испытал мгновение головокружительного счастья. (Об этом прекрасные кинокадры А. Каплана, противопоставленные на сцене жестокой реальности будней в больничном тылу войны). И эта вспышка чуда ощущений из той прежней жизни поддерживает его в трудные моменты разрыва бомб в городе, где он выбрал жить. Авторы создают образ еврея из России, сердце которого не выдерживает напряжения между старой любовью с ее ребенком и женой, состарившейся от горя гибели на войне их общего сына. Как врач, настоящий мужчина и человек, он умирает именно в силу уровня доброты, ума, привязанности и к ним обеим и к своему предназначению, как врача армии обороны Израиля, на основе своей органической, врачебной и человеческой жертвенности, свойственной многим интеллигентным русским израильтянам, ощущающим себя солью страны. В эпилоге пьесы уже отошедший в небытие герой разговаривает с залом:

– Эх если бы знать, что так оборвется роль, сыграл бы лучше... Все. Боюсь на похороны опоздаем... (Смотрит в зрительный зал) У нас в стране хоронят быстро. Люблю Питер. Между Питером и Иерусалимом всегда сердце разрывалось. Вот и разорвалось... Присядем на дорогу...

В пьесе лирика скрыта в воспоминаниях, а на первом плане – жестокая проза линии фронта, которая проходит через сердце каждого обыкновенного человека, особенно если он причастен к чужой боли.

После Аккского фестиваля 2007 года, где была представлена пьеса «Эйха» Р. Рашкаса, где главную роль исполнял Моти Таммам, потерявший во время молитвы в синагоге всю семью, ожидавшую его дома к шабату, я не видела ничего более сильного о Второй Ливанской войне, чем «Деревянный Театр» Л. Агулянского-А. Каплана.

Оба одинаково осознают свое предназначение. «Мы часть народа Израиля. "МАГАРА" - цель – прожить свое мгновение вместе со страной. Профессия – лишь средство ее

достижения. Израиль – родина, дом и моя боль», – говорит режиссер.



Ирма Мамествалова – «Она», Геннадий Юсим – «Он»  
в спектакле «Гнездо воробья» по Леону Агулянскому.  
Режиссер Александр Каплан

Второй их общий спектакль – «Гнездо воробья» – взрывной диалог с залом, где каждый может просветить себя рентгеном высокого искусства, призыв к прозрению, к преодолению барьеров, к самопроверке по самому большому счету. Эта проповедь духовного исцеления, для жителей нашего болеющего то «немедленным миром», то «размежеванием», то «социальной справедливостью» государства, прозвучала, как колокол, в спектакле, посвященном анализу подлинной человеческой свободы, символом которой является для героини феномен Эдит Пиаф. «Божьей милостью трагическая актриса» (оценка руководителя Минского Драматического Театра) Ирма Мамествалова играет не известную миру певицу, но свою личную тоску по идеалу, творческому, общечеловеческому, объединявшему в концентрационных лагерях узников и надзирателей, прорывавших музыку преграды Освенцима, спасавшей обреченных, дарившей надежду и любовь.

Мир Пиаф благодаря артистке звучит в спектакле как образ духовного экзамена, который открыт для каждого, если он хочет в наше жестокое время остаться личностью, равной самой себе!



Так осознал «болезнь» своей пациентки «психиатр» Геннадия Юсима, отказывающийся от привычных рамок, сыгравший в гармоничном дуэте с И. Маместваловой – восхождение к истине, где жестокую реальность смерти побеждает память о главном: о любви и бесстрашии - чем жива еще душа! Режиссер демонстративно занизил финал, спустив героев с небес искусства в больничные палаты, где нет простора мечтам...

Актеры прожили на сцене настолько сильно, что их перевоплощение со скоростью мысли без утери нити прямого разговора с залом явилось фактически магнетическим приглашением каждого на личный зачет на прочность и честь в нашем нелегком времени и пространстве...

В Санкт-Петербурге на фестивале «Апарт 2011» этот спектакль стал весомой визитной карточкой искусства Израиля, отмеченным премией и приглашением на

европейские гастроли в Бельгию, Голландию, Германию.



Сцена из спектакля «Директор Театра» по Моцарту, режиссер Игорь Марков, дирижер Илья Плоткин. «Опера Этерна»

Лауреат премии А. Чехова 2009 г, драматург Л. Агулянский, сумел воплотить в этой пьесе как неразрывной цепи перевоплощений и кабалистических – легких переходов в неизвестное – идеи всего своего творчества, заложенные уже в названиях. Наша жизнь в Израиле уже «Нерусская рулетка», где прошлое и настоящее сливаются в «Параллельные кривые», где твою жизнь «Решает мгновение», а новое, что открывается сердцу, оказывается как «Визит в Зазеркалье»; и каждый монолог о том, «На что жалуемся?», как просьба о спасении и призыв проснуться!.. Все творчество Л. Агулянского – езда в незнаемое, имя которому «еврей, как человек земли, которым можно стать, если пропустить через себя все национальности».

Для него как врача, театр «вообще – возможность докричаться до людей, объяснить, что жизнь конечна в обозримом будущем... и цель – достучаться до здорового, пока не поздно что-то исправить и пережить по-новому!» (Л. Агулянский)

Не все равноценно прекрасно в театре «Матара»,



работающем в Холоне, почти без субсидий. И на избранном пути к «зрелищу для всех – настоящему народному израильскому театру, отражающем жизнь еврейского народа, частью которого мы являемся» (Г. Юсим) есть и штампы и повторение кем-то уже найденного. Однако не формальные эксперименты, (по мнению А. Каплана «ими слишком здесь увлекаются, у нас это в прошлом!»), но глубина содержания интересует его организаторов. «И сейчас и тогда мы не можем определить, кто мы – израильтяне, евреи, или граждане земного шара? Об этом наша следующая работа по пьесе Э. Кишона «Ктуба», (А. Каплан).

Величие намерений, жертвенное отношение к делу, готовность «продолжать даже при отсутствии финансирования», активное отношение к происходящему вокруг в стране, отсутствие иллюзий, наличие талантов и максимализм требовательности к самим себе вопреки давлению обстоятельств – эти качества театра «Матара» – по-моему, оптимальные для сдачи экзамена в современном израильском времени и пространстве. Так работают сейчас «Театр Песни» Бориса Бляхмана, идиш-шоу «Матана» Генриэтты Цудик, «Миниатюра» Лилии Файзинберг в Беэр-Шеве, молодежный театр-студия «Лик» Елены Левицкой в Хадере, любительский театр «Лица» Хаима Долингера в Хайфе, группа профессионалов Аллы Вербовой в Реховоте и Ришон ле-Ционе, Маши Немировской в ее театре «Иш», объединившем актеров с разных концов страны и покорившем американский континент со своим последним сочинением по Гомеру «Одисеус Хаотикус», Театр «Три направления» Моше Гимейна в Мевасерет Цион, «Опера Этерна» Ильи Плоткина, прославившаяся качеством голосов и роскошью классических постановок.

Визуальный театр «Мисторин» Юлии Генис из Иерусалима, доказавший говорящими символами свою медитативную лечебную иудейскую позицию на многих фестивалях в Европе, театр «Дьюкан» Григория Грумберга из Тель-Авива – молодого седого автора и режиссера, выпускающего после «Полетов с ангелом» и «Сестер Джоконды» по Зиновию Сагалову мюзикл по знаменитой книге Леона Юриса «Исход» под названием «Возвращение к

любви» ...Преобразился в Р.К.Ц. в Тель-Авиве театр кинорежиссера Эдуарда Эдлуса-Мартиросяна, переключившийся на композиции, посвященные русской классике, его «Седьмое доказательство» по роману «Мастер и Маргарита» М. Булгакова явилось заявкой на новый творческий зигзаг. Не остановился на достигнутом авторский театр «Ковчег» Семена Злотникова, воплотивший свои знаменитые тексты с ивритоязычными актерами, подтверждая универсальность настоящей драматургии.



Афиша к спектаклю «Возвращение к любви» по роману Леона Юриса «Исхода». Театр «Дьюкан». Автор – Григорий Грумберг

Спротивляемость равнодушным ветрам, способность плыть вперед к цели, преодолевая затягивающие бытовые омуты и, казалось бы, каменные бюрократические преграды – главный итог театра репатриантов за двадцать лет, и моя личная надежда на рождение в результате сдвижения огромных человеческих пластов новой театральной культуры, нужной Израилю, как духовному центру человечества.

И никакие субсидии не спасут ностальгические выступления «заблудившихся трамваев» – еврейских жертв российской культуры с их обратными «вертикалями» в наше творческое прошлое, как было уже в сентябре на одноименном фестивале А. Хазина и Р. Ковнер в Иерусалиме.

Или самозванные представительства репатриантского театра в Киеве от имени Израиля, как сделал в июне Семен

Ронкин со своей группой «Театр Алии и Комедии» из Кфар-Сабы (в интернете зрители назвали его самодеятельные гастроли «театральной диверсией», ибо «не может это пошлейшее и бездарнейшее образование представлять нашу страну»), не перечеркнул общего движения вперед к новой израильской культуре, основанной на сплетении имен, судеб, погружении в традиции и образовании нового художественного сплава, где соединились самоконтроль таланта, умение мыслить, внимание к зрителю, точность истории и профессиональная этика, без которых немислимо настоящее искусство.



Подлинный бескорыстный экзамен на его звание продолжается...



## Эстер Пастернак

### «...Бессмертные на время...»

#### Творчество в реке времени

Т"оз

*"Искусство - основной доступный нам способ преломить хлеб с умершими".*

У.Х. Оден



был хамсинный день. Старый Яффо, узкий, как горло змеи, переулочек Ворота Никанора, дом скульптора Иры Рейхваргер. Сидели прямо на мраморном полу, так прохладнее, и Миша Генделев читал нам недавно законченную поэму «Бильярд в Яффо».

– Ну что, нравится?

Ира, улыбаясь: «Мне нравится. Я ведь только шушательница...»

#### Ночь в Яффо

Открытый ворот улицы сквозящей,  
И лай из подворотни босоногой,  
И волны моря, тихо причитающие,  
Так выползает ветер из берлоги.

Луна в венке, что дева из гарема,  
Уснет и выронит цветное вышиванье.  
На нем любви простейшая эмблема,  
И голубей усталое дыханье.

А наши тени, закрепив на древках,  
Протянет эхо проволоку над бездной,  
И вздернет филин розовое веко,  
И в воздухе начертит зыбкий вензель.

Эстер Пастернак

Вечером мы спустились в порт и, сидя лицом к бьющей наотмашь волне, глядели на лунную дорожку, конусом падающую на воду. Ночное море, пульсируя у горла берега листовым серебром, отражалось в волчьих звездах августовской ночи. Мы бродили по узким улочкам старого Яффо, читали стихи, пили восточный кофе и крепкий чай с пахучим листиком мяты, а под утро, усталые, возвращались домой по ступенчатым улочкам с квадратными фонарями.

Ах  
роз и лилий у нас дерева  
в саду где живем одна  
а надпись  
что сад этот лилий и роз  
боюсь не совсем права  
вообще справедливость ее вопрос  
поскольку как раз среди лилий и роз  
растет моя голова  
и пестик торчит из моей головы  
как красный язык из рта  
свежий язык из черного рта  
где никогда не росла трава  
или  
ножик из рукава.  
*М. Генделев*

Остались у меня черновики стихов, а на них беглые правки, сделанные рукой Миши.

Он хотел быть мастером, учителем, законодателем Новой поэтической школы, с толпой последователей, с любящими, а главное – внимающими учениками и поклонниками. Так, как было когда-то, так, как уже не будет никогда.

В то утро, белый от выступившей на коже морской соли, с черными горящими глазами, он после бессонной ночи, боксируя с грушей, подвешенной в углу огромной студии, и, улыбаясь кривой улыбкой, цедил сквозь зубы: «Я Мастер, и сделаю из твоих стихов маргаритку, с условием, что будешь слушать меня беспрекословно. Большой поэт Иосиф Бродский, поэт номер 2...» Привязав к боксерской

груше бабочку из серебристого материала (бабочки шил сам) и, обронив: «Я залег спать», – он ушел.

А

любил

ещё регулярные парки на берегах чёрной воды

хотя что я знал тогда про прострельные апельсиновые сады

а ещё любил

сизое дворянство друзей

когда небессмертных бессонных

с чем

он

и считал душу чем-то вроде пара в пространстве и музыка дует в щель

то есть

в генетике дрозодилы главное что

а главное пустяки главное

чтобы крылышки из слюды

то есть

предметом для философии он гештальт полагал всерьёз

то есть

когда кончаются папиросы дым истончается папирос

впрочем

Господи

что я знал тогда про апельсиновые сады.

М. Генделев

Запечатленное мгновенье может стать явлением вечным. Ни с чем не сопоставимое, неопределимое, неуловимое время невозможно себе представить, так же, как невозможно представить реки, вытекающие из рая, так же, как невозможно представить сам рай. Поэтические образы и метафоры стихов - это самостоятельная адаптация творческого человека во времени, дабы не заблудиться в трех соснах.

«И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены,

И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены»

Б. Пастернак «Сосны»

Художнику для создания картины необходимы свет и тень, природа - постоянная его модель. Поэту, для того, чтобы творить, необходим внутренний свет. Э.Мане говорил, что *"цвет это дело вкуса и чувствительности"*. Нечувствительных поэтов не бывает.



Когда я наклоняюсь над рекой времени, где многочисленные (не счесть!) камни успели обрасти пористым илом, я вижу чуть кривую улыбку и слышу: *«Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?»* (Мандельштам)

здравствуй мишенька  
тебе сегодня сорок  
как и мне  
то что умер ты неправда  
это морок  
это черный творог родины  
в окне  
влезем на рожон с тобой  
любезный  
райского потрогать карася  
это нас уже

разучивает бездна  
но еще  
не выговаривает вся  
мы пройдем обочиной истории  
через чахлой речи пустыри  
это ты  
без легкого который и  
это я  
без тяжести внутри  
М. Генделев

Хорошо известный в Израиле и в России в 80-90-х годах талантливый художник и скульптор Ира Рейхваргер не узнала о смерти Миши, трагически уйдя из жизни и канув в реку забвенья раньше его.

Она родилась в Москве в 1951 году, училась в Академии художеств, а в 1973-м году репатриировалась в Израиль вместе с мужем, художником Яном Рейхваргером. В Израиле талант Иры приобрёл другое оригинальное направление: впервые она начала создавать своих необычных кукол - удивительные «портреты» из мягких материалов.

### **Ире Рейхваргер**

В камине искры света, что твой кордебалет.  
Февральский ветер кружит обрывки из газет,  
Я в комнате, где розы сиреневый набег,  
Гляжу на серый ватман, на ватно-белый след.

А на стене картина, где рыбы подо льдом,  
И кот скребет картину последним дураком.  
Здесь тихо каплет время, подобное стихам,  
И голубые тени шныряют по углам.

...я стих не дочитала – поэты на постой  
Ворвались, словно ветер в открытое окно...  
И ночь веревкой вилась, а мне хотелось жизнь  
Смотреть, как ты наносишь эскиз на белый лист.

Э. Пастернак



Так возник её особый мир, населенный поистине живыми персонажами. Нет, это не было чудом, это, как говорила Цветаева, было «вдохновение и воловий труд». В 1977 году работы Иры выставлялись в галерее Рихтера в Яффо, был шумный успех, а затем владелец галереи вывез всю экспозицию в Европу.



«Женщина». Мягкая скульптура И. Рейхваргер

Свет плетет солнечную корзинку из хрупких тростниковых лучей. Идя – «от тени к свету» – (Курбэ), – возможно открыть в себе новые духовные миры и, наклоняясь к воде, – увидеть не только себя, но и отраженные в реке – небо, птиц, деревья. И, оторвавшись от серой стены равнодушия, прийти к нетерпению сердца утолить жажду истинную, жажду веры в то, что Творец хочет твоё творчество.

Я вижу её сидящей за огромным непокрытым деревянным столом с воткнутыми по краям несколькими

кухонными ножами. За этим столом ели, пили, спорили, писали стихи, читали длинные поэмы, набрасывали эскизы будущих ватных кукол в капроновых чулках, рубили зелень и готовили отбивные. С этого стола отдавали псу Лаки лакомые куски, под этим столом он слушал гитару и смешные истории.

Можно писать о человеке, а можно – человека, своеобразным стилем – слово-кисть. Кисть, пальцы, рука, перо, а Творец водит рукой человека по белой поверхности листа, заполняя его чертами природного дарования.

Один из промозглых, осенних вечеров. Миша ушел за сигаретами. За окном дождь с порывами ветра. Ира что-то набрасывает на бристоли. У стола, вытягивая и без того длинную шею, крутится пес Лаки. Вдруг мы отчетливо слышим громкий звук удара в железные ворота. А затем еще раз и еще раз.

«Это Мишка! Он же пальцы отобьет! Вот сумасшедший!» – и она выбегает в дождь.

«Это ветер!» – кричу я вдогонку, но она меня уже не слышит.

«...Смотри, как смывает сад...» (М. Генделев)

там наискосок со мной  
как на карте козырной  
наш Ерусалим наземный  
весь почти что неземной

вам

Ерусалим наземный

нам

почти что неземной

М. Генделев

Несмываем единственный сад – сад Эдема.

Одни говорили, что самоубийство, вторые – несчастный случай; третьи понимающе молчали.

Ей едва исполнилось пятьдесят лет.

При жизни понять большого художника *редко кто* может, зато после смерти *многие берутся* объяснить.

Величие искусства не в его объяснении, а в умении принять его неограниченность, суть его оригинала, а для

этого надо подняться *до уровня непостижимого* в его самом сложном подчинении – подчинении материалу с целью возвысить его духовно и эстетически – вдохнуть в материал смысл... жизни. На такой осмысленный душой шаг редко кто из читателей или слушателей способен.



М. Генделев и Ира Рейхваргер. Середина 80-х

**«Это памяти тонкий настил...»**

*«Сия пустынная страна  
Священна для души  
поэта:*

*Она Державиным  
воспета,*

*И славой русскою полна».*

Пушкин о Молдавии

Опоясанная туманом Москва, прибитые осенней непогодой листья. Неожиданно налетает порыв ветра, сметая с парковых дорожек влажные листы газет, расправляя и скручивая чей-то подмокший и надорванный портрет.

Поднимаемся на седьмой этаж к другу Боре Викторову. (Друкер)

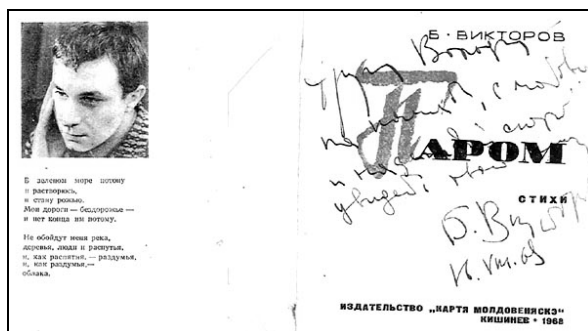
Горят, обливаясь стеариновыми слезами, свечи. Пьем круто заваренный чай, читаем стихи и говорим о чем-то незначительном. Бархатка ночи, с туго приколотыми звездами, заглядывает в незанавешенные окна.

А. Бродскому  
Я избавлюсь от хронической

Грусти, словно убегу  
От помарок ученических  
В дом на правом берегу,  
Где живется мне,  
Как хочется,  
Где я знаю:  
До зари  
Всё, что было внешним, кончится  
И начнется – изнутри.

Буду волком – среди аистов,  
Стопкой книг – среди мышей,  
Среди прочих – Страдивариусом  
И настройщиком ушей.

Всё увижу, и потрогаю,  
И представлю, как потом  
Буду пастбищем, дорогою,  
Снегом, выбелившим дом.  
Б. Викторов



Первый сборник стихов Б. Викторова с дарственной надписью

- Когда вы улетаете? – спрашивает Боря.
- Через три недели.

Я стою у раскрытой настежь балконной двери, лбом прижавшись к холодному косяку.

- А если не смогу, если перестану писать?! – почти кричу я в отпрянувшую тьму.

- Не перестанешь, не можешь. Ты будешь в

Иерусалиме. Я завидую тебе.

Я завидую твоему утру, когда на рассвете набегающего апрельского дня ты проснешься как от толчка, встанешь и подойдешь к окну, и увидишь низко распахнутую синеву неба, услышишь ранних птиц, и лицо твое встретит горный воздух Иудеи. Тебя проберет ознобом неизъяснимого восторга, но холод лезвия коснется сердца, - ноздри твои ощутят пыль пустыни, по которой шли твои предки – ты вскинешь ладони к глазам, чужим от режущего солнца, и орел, превратившись в черную точку, сольется с горизонтом. Ветер хлопнет створкою окна, и на зеркальной глади стекла ты увидишь человека, в котором прошлое слилось с настоящим.

В то утро ты прикоснешься к тому, для чего пробудилась твоя душа и позвала на землю Авраама, Ицхака и Иакова. И ты будешь писать прекрасные стихи.

...А разлука, что зоб пеликаний, и жертвенник сытый остыл.

И качается маятник – магия вечной любви.  
то блики осели на грунт посеревших холстин.  
Это так ненадежно, как памяти тонкий настил  
Э. Пастернак

Боря любил терпкое молдавское вино, любил путешествовать налегке – с собой только книги, тетрадь и гроздь прозрачного, как слеза, солнечного винограда. Один из живых колоритов бессарабской, плодородной земли, он переносил её краски в мерцающие, как короткие южные ночи, стихи.

В зеленом море потону  
и растворюсь  
и стану рожью.  
Мои дороги – бездорожье –  
и нет конца им потому.

Не обойдут меня река,  
деревья, люди и распутья,  
и, как распутья, - раздумья,  
и, как раздумья, –

облака.

Б. Викторов

В начале 70-десятых годов я впервые услышала его – поэты Борис Викторов и Наум Каплан вели литературное объединение «Орбита». Спустя некоторое время, в возрасте 25-ти лет, оригинальный и хороший поэт Наум Каплан трагически погиб в автокатастрофе, и Боря лишился близкого друга.



Борис и Ольга Викторовы с другом – поэтом Наумом Капланом(1947-1978) Кишинёв, 1977

Когда втроем с Борей мы появлялись в незнакомом месте, то излюбленной шуткой было: он представлялся – Борис и, указывая на моего мужа, добавлял: Пастернак.

В начале 70-х годов в Академии наук, в газетах и журналах, явно чувствовалось засилье физиков и лириков с фамилиями, не оставляющими двух мнений: Чайковский, Бродский, Беринский, Пастернак, Маркус, Полингер, Капович, Рафалович. Прошло время и многие из них взошли в землю обетованную, некоторые обошли ее, поменяв привычный юг на непривычный север, а некоторые ушли, укрывшись лунной рябью воды в реке времени.

Боря приезжал в Израиль, но, практически, страну не видел. В то время он уже был безнадежно болен и, вернувшись в Москву, прожил чуть больше года.

Не было заповедней  
неба над головой,  
заводи безответней  
заповеди любой,

не было тяжелее  
невода, облаков,  
изгороди живее  
исповеди, стихов.

Б. Викторов

Марина Цветаева, в письме к Борису Пастернаку, высказываясь по поводу отношения Пруста к «утраченному времени», называет последнего: *«Гениальный врач безнадежно больного пациента»*.

События, затронувшие человечество или лицо частное, не тонут в реке времени, а только относятся течением, и отсчет времени, как уход в прошлое, означает лишь потерю власти над ним.

Уйдет восвояси улыбка,  
Запечатлевшись в портрет.  
И вслед за осенней поземкой  
Уйдет обжигающий свет.

Он в небо уйдет, как с нарочным  
Уйдет заказное письмо.  
Сядутся кавычки и точки  
На изгородь первых стихов.

Как следствие времени года  
В тени курслепа уснул  
Слепой муравей из породы  
Польни и горьких капсул.

И рифмы уходят привольно  
В грамматики сильный глагол.  
Закат над землею крамолен,  
И падают звезды в подол.

Э.Пастернак

Мы пишем о тех, кто был, и совсем немного о тех, кто есть. Почему? Это страх или непонимание? Писать о современниках – это писать о будущем. Поэтическое зрение, оно сейчас, здесь, *и завтра*.

Январь – 2011 январь – 2012  
Ариэль





## Виктор Каган

### «Когда трещит завеса дней...»

**Надежда Мальцева - Навязчивый мотив.  
1990-2001. Водолей: Москва. 2011. – 160 стр.**



Надежда Мальцева (род. 1945) – поэт, родиной не обласканный, да и – будучи человеком бугристым – никогда не стремившийся подлезть под её ласкающую руку. 15-летней девочкой она получила одобрение своим стихам от Анны Ахматовой. В 17 лет первая публикация, а спустя два года её поэзия оказалась на четверть века отгорожена от отечественного читателя стеной официального молчания. Стихи ходили по рукам, печатались за рубежом, их высоко ценили Корней Чуковский, Иван Елагин, Мария Юдина, Вера Маркова, Александр Межиров, Валерий Перелешин. С конца 1980-ых они стали входить в крупные антологии, а позже в «толстые» журналы. Первая книга – Дым отечества. 1974-1985 – вышла в 2006-м г. в издательстве «Водолей». И вот вторая, удостоенная в минувшем году премии «Серебряный Век»<sup>1</sup>.

Хочу сразу обратить внимание на экспозицию работы над книгами. Автор – поэт чрезвычайной, редчайшей для нынешнего времени, когда стихи часто уходят в печать в виде «черновика черновика», требовательности к своему творчеству, заставляющей опровергать известное «Лучшее – враг хорошего» десятилетиями труда. Болезненный перфекционизм? Отнюдь. Строгость мастера, не гонящегося за Синей Птицей недостижимого идеала, но

---

<sup>1</sup> [http://www.tribuna.ru/news/culture/serebryanyy\\_vek\\_russkoy\\_poezii\\_prodolzhaetsya/](http://www.tribuna.ru/news/culture/serebryanyy_vek_russkoy_poezii_prodolzhaetsya/)

сверяющего по чёткому внутреннему образу будущих стихотворения или книги момент, когда может повторить пушкинское: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний». После того как академик М.Л. Гаспаров написал о рукописи «Навязчивого мотива» в августе 2002-го г.: «В первый раз за не знаю сколько лет я опять почувствовал себя в поэзии, как в воздухе и в воде» до «мига вожделенного» прошло ещё больше десяти лет...

Открываешь книгу – и первое, почти физическое ощущение попадания в мощную, насыщенную энергией стихию. Так чувствуешь себя на берегу океана, каждой клеткой тела каким-то непостижимым образом зная, что это не река, не озеро, не море, а – океан.

Начинается год, и кончается год,  
и уходит в молчаньи высоком –  
обмогаешься, бьёшься, как рыба об лёд,  
где же твой пересвист, переклик, перелёт?  
По кладбищам, по брошенным докам,  
по чужбинам!.. – и даром уже не пройдёт  
истечение клюквенным соком.

Пробуешь читать стихи, как часто делаешь «для знакомства», в случайном порядке – и быстро понимаешь, что стихия следует законам авторского замысла и каждое стихотворение ведёт тебя к следующему: пропустишь, перескочишь – и потеряешь что-то важное. Книга построена не как собрание стихотворений – по принципу хронологии или разбиения на темы, а именно как книга – со своими логикой и структурой, делающими её целостностью, которая от перемены мест слагаемых очень даже меняется. Читатель оказывается в мире, который ему предстоит осваивать, прежде чем позволить себе встряхивать калейдоскоп страниц.

Книга буквально настояна на музыке. Вальс, элегия, стихира, мазурка, романс, кант, прелюдия и fuga, серенада, колыбельная, фокстрот, плач, коло, квартет, чакона, венгерка, рондо-каприччиозо, песни, распев, реквием ... – читаешь в оглавлении, воспринимаемом, по замечанию М.Л. Гаспарова, как отдельное стихотворение. Это не

интересничающее привлечение внимания – стихи действительно живут в мире этих мелодий и поются<sup>2</sup>. Кажется – да кажется ли? – мелодия и текст неразделимы: измени мелодию – она потребует иного текста, измени текст – он потребует иной мелодии.

Первые будут последними мира,  
и безвозмездно снискавши дары,  
даром отдайте...  
Слёзы разлуки и встречи едины,  
и для уложенных в яму костей  
родины место и место чужбины –  
мир, где разнятся не души, не вины,  
разве исходища наших путей, –  
мир, что за язвы нас гонит и судит,  
но в одночасье на грани времён –  
даром что трубы и мёртвых разбудят! –  
меченых ради помилован будет  
и прокажёнными будет спасён.

Словарь книги очень широк – от живого разговорного, иногда не без просторечия, до слов, за значениями которых, если, конечно, хочешь быть вместе с Автором в мире его языка, придётся и к словарю обратиться. Едва ли окажешься в стихии мелодии, не понимая, что такое «стихира» или «кант», и в стихии мысли, не понимая, что такое «блона» в строке «Это лишь морок, пустая блона» или в «Соло для волчьего солнца» – что такое «волкодлак» или в «Стихире во благодарствие» – «помавающая вайя» или «лекиф» в «Зимнем канте»... И это не заданная, искусственная архаизация языка, не попытки умышленного языкового расширения, о которые спотыкаешься не без досады, а естественный в своей живости язык, который не только выражает, формулирует мысль, но и формирует её, и орудием которого оказывается поэт, виртуозно владеющий языком как орудием:

---

<sup>2</sup> <http://www.natel.ru/mp3/track104.mp3>  
<http://www.youtube.com/watch?v=2N1LjYv-imc&feature=related>  
<http://www.youtube.com/watch?v=tPIKuKmBnU4&feature=related>

Тумбала, тумбала, тумбалабончик...

.....  
Тумбережь, тумбережь, тум – ни бельмеса...

.....  
Тум-бишь, да где бишь, в Твери бишь, во Ржеве,  
въяве бишь, вживе бишь, вправе бишь, влеве –

.....  
Тумболько, тумболько, тумболяченько,  
боле, чем надо, нам боли пришлось,  
всё мы прошли – за ступенькой ступенька,  
тумбала-тамбуры песни насквозь.

.....  
Тумбала, разве не солоно брашно?  
Тумбала, разве по-прежнему страшно?

.....  
В мире, где тумбы, и тумбы, и тумбы,  
и телевизоры – вынести ум бы  
в тумбелокаменный град белоризный –  
тот, что московской зовётся отчизной.

.....  
Тумбала, то́мбола, жизнь – потеряя,  
Ветхий Завет или Новый Завет, –  
сможешь ли, крест на груди лицезрея,  
выиграть свой несчастливый билет? ...

Если говорить о технике стиха, то книга может составить изрядную часть хрестоматии по теории стихосложения и служить благодатным полем для исследований филологов и литературоведов, ни в коей мере не относясь к так наз. филологической поэзии. Оставляя это профессионалам, лишь пару слов о рифме... «сивер нем – синим ивернем – вывернем», «капает – строка поёт», «рекоставными – православными – ставни мы», «с кровель капает – в сетях черновика поэт» в широчайшем спектре рифм, включающем и нынче не очень жалуемые простые, точные, глагольные. Рифма удовлетворяет главному требованию к ней: она не самоцельна, нигде не выпирает из стихотворения, не оттягивает внимание на себя, знает своё место в сотворении стиха и его работе... как, впрочем, и все

остальные технические стороны. И книга, и входящие в неё стихи ассоциируются у меня с деревянным зодчеством: веками стоящие избы и храмы держатся на скрепах деревянных частей между собой без пробивания живого тепла дерева металлическими гвоздями и скобами.

Сергей Бирюков и Евгений Витковский уже писали о центонности<sup>3</sup> поэзии Мальцевой. Нити центонности тянутся, сплетаются и разбегаются, чтобы вновь, но уже иначе встретиться, и в этой книге. От «Как хороши, как свежи были...», «Первые будут последними мира», «По вечерам за фортепьянами», «В лесу раздавался топор дровосека...», «Не сорок ли тысяч их, братьев моих, затерянных в сумерках нищих», «Аминад Петровичу говеючи, от Катюши передай привет» к

Когда бы вы знали, из какого сора  
плетётся жизнь и чем разят сердца  
под причитанья греческого хора

и

Унылая пора...

.....  
Всё уже круг забот существенных, с холма  
на холм бежит багрец, и жезл цветёт у входа,  
где затаилась тьма. Куда тебя влечёт,  
усталый раб? Беглец, на что тебе свобода?

.....  
И в бездне голубой, и в тёмной келье дня  
дожди начнут с утра святое отпеванье,  
и смерть войдёт в меня и примирит с собой –  
о милая пора, очей очарованье.

Это тонкое центонное плетение не только слов, но и ассоциаций, образов, музыки стиха, прячущихся между слов

---

<sup>3</sup> Центо́н – стихотворение, составленное из строк других стихотворений. Художественный эффект центона состоит в подобию или контрасте нового контекста и воспоминания о прежнем контексте каждого фрагмента. Менее строгие центоны переходят в поэзию реминисценций, иногда открытых, чаще скрытых. (Википедия)<sup>2</sup> - <http://www.natel.ru/mp3/track104.mp3>  
<http://www.youtube.com/watch?v=tPIKuKmBnU4&feature=related>

и строк смыслов – не заёмность и даже не вариации на тему, но шитьё по канве авторского замысла, делающее мир поэзии Надежды Мальцевой совершенно самостоятельным и не просто трёхмерно-объёмным, но переливчато-многомерным. В «Серенаде для Шуберта», эпиграфом отсылающей к О. Мандельштаму:

В домишке на окраине  
ютилось пять семей,  
и что ни день отчаянье –  
хоть дома не имей,  
и рядом с разведенкою  
под радио-диктант  
квартировал за стенкою  
еврейский музыкант.

В очках на чёрной ниточке,  
поэт, старик и псих,  
наверчивал на скрипочке  
и в-пятых, и в-шестых,  
и в такт судьбе задрипанной  
под взмах незримых крыл  
цыплячьей шейкой щипаной  
над декой поводил.

В душе души на доньшке  
и на зубах песок,  
и на чужой сторонushке  
сломался голосок,  
сломалось время чёртово,  
на улице темно,  
водой из моря мёртвого  
напиться не дано...

.....  
...и в том, что счастья нетушки,  
никто не виноват.

Некоторые стихи по существу небольшие поэмы – давший название книге «Навязчивый мотив (фуга о пяти кострах)», «Воробьиные крошки (molto grave)», «Жизнь в

розовом свете», «Русская морзянка в сопровождении трёхминутного молчания»... Но практически все, я бы сказал, поэмы – по своим складу, многослойности, насыщенности, силе переживаний. Судьба Автора в масштабе страны и истории в той же мере, что страна и история в масштабе судьбы Автора. Мальцевой удаётся то, что в поэзии удаётся далеко не каждому – быть максимально вовлечённой и в то же самое время максимально отстранённой. Это не взгляд снаружи на происходящее внутри, чередующийся со взглядом изнутри на происходящее снаружи, а один взгляд – одновременно изнутри и снаружи. И это то, что создаёт очень высокую напряжённость её поэзии.

Образующие книгу стихи написаны на разломе эпох – от кануна распада СССР до вступления в новое столетие и тысячелетие. Уже нет государства, долгие годы пытавшегося держать в ссылке подцензурности поэта, вырвавшегося из неё во внутреннюю эмиграцию даже без цветаевского «но» (“Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,/ И все – равно, и все – едино./ Но если по дороге – куст/ Встает, особенно – рябина...”):

...ныне, присно, веком векеки  
есмь я внутренний эмигрант.

Мне и время моё – чужбина,  
и страна, и планета вся,  
и галактика... Мне едино,  
где, железные износя,  
снег месить за клубком метели,  
что меня на распутье ждёт,  
и когда добреду до цели,  
позабытой в тени тенёт.

С кем я? С прошлым, тем или этим,  
со своим и чужим, на дне  
мифа, пьющего с нами третьим...

.....  
...и пью я  
на троих в одиночку вино,

об отечестве не тоскуя –  
нет и не было. Не дано.

Мир, потрясённый, как когда-то в начале века  
десятью днями крушения одной империи, крушением по-  
хозяйски развалившейся на её обломках империи новой и  
изменяющийся с нарастающим ускорением, так что день ото  
дня отличается больше, чем когда-то год от года. И ты –  
которому:

и жить, и умирать транзитом  
на перекрестии миров!..  
тот же, да не тот, и хочешь оставаться собой.

Изменить прошлое ты не можешь:

...жизнь разбита на куски,  
слишком мелкие для склейки.

но можешь оглянуться на него, взглянуться в то, что  
было, проясняя, фокусируя, уточняя, завершая картину  
прожитого, чтобы, оставаясь собой, идти дальше:

Перекрёсток, перекрести меня,  
как обычно – тремя персты,  
вновь и вновь, как овца без имени  
возвращаюсь в твои кресты.

.....  
Обманувши силки ущербные,  
никаким не далась ловцам,

чтоб обугленный и оплавленный  
тельный крестик, посильный мне,  
по дорогам нести, как явленный  
Божьей милостью в вышине.

Прожитое прорастает в переживаемое здесь-и-  
теперь:

Звёзды жгучие, неминуемые,  
до сих пор горят над моим Кремлём,  
звёзды ржавые и кровавые,



что сгубили сад и спалили дом,  
и вонзают луч прямым в глаза,  
как под лампою у гбэшника,  
словно льют сургуч на того, кто “за”,  
но я вам пою из скворешника:

Не боюсь уже, ненавижу вас,  
вся моя любовь во пиру ином,  
Не пропасть душе, а смерть бывает раз,  
что ни уготовь – ждёт нас Божий дом.

Разожжём же печь, чтоб взошёл кулич  
на приступочке у подпечника –  
в землю звёздам лечь за тобой, Ильич,  
вот и любочки! – в персть горшечника.

Огонь – один из персонажей книги. Он возникает в разных сюжетах и образах, ожоги памяти отливаются в уроки:

...мы, ожидая обыска наутро,  
бумаги жгли – и те, что нам казались  
достаточно для властей уликой,  
и зубы сжав, те, до которых руки  
дотронуться чужие не должны –  
ведь сердце тоже иногда брезгливо.  
И это был урок, что всё горит –  
и жизнь, и рукописи – тем быстрее,  
чем нам дороже...

.....  
от костра к костру  
становится всё легче – нет, не то,  
очищенной, ясней, определённой,  
и мой огонь проходит по границе  
души и плоти, посвящая обе  
спасению от ветоши земной,  
а то, что можно сжечь – на самом деле  
и нужно сжечь...

Прожитое не только, по определению, необратимо и

невозвратно, но и не оставляет места в душе даже для соблазнительных, хоть и несбыточных, наивных фантазий о нём:

Сердце плачет и не кается,  
полно вглядываться в путь,  
ничего не вспоминается,  
что хотелось бы вернуть,  
и текут, как были дадены,  
сумасшедших детских слёз  
ледяные капли-градины  
из закрытых глаз берёз.

Читая книгу, я то и дело вспоминал Варлама Шаламова. Не потому, что рассудочно искал какие-то параллели этих таких разных судеб, а откликаясь на дух поэзии Надежды Мальцевой с его способностью выстаивания и самостояния в жизни, принимая её такой, какая она есть, без защитного сглаживания острых углов и при испытанном времени доверии себе. «Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что я готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что и не позволю моей памяти забыть все, что я видел» и в другом месте: «... я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы в этот момент ни сказал — тут не будет ошибки» (В. Шаламов). Это то, что даёт Мальцевой право на высказывания предельной жёсткости:

Мы знаем только муку ран  
от унижений и обид,  
и нам закон единый дан –  
закон, что гибелью грозит.  
И покидая этот дом,  
мы проклянём отца и мать,  
и так умрём, да, так умрём,  
как нас учили умирать.  
и создаёт запас остойчивости:

Но на вдохи день кроша,  
в четырёх стенах, в отказе  
белым парусом душа  
по земной скользила грязи!..

.....

И тогда являлся вдруг  
ангел света и печали,  
чтобы запросто воссесть  
с человечьими сынами  
и пустую кашу есть,  
пересоленную нами.

Воспоминания о времени начал переплетаются с представлением себя на новом витке времени без детской веры в чудо новой жизни:

Как тебя ни надувают,  
но решившись на дебют,  
твёрдо знаешь, что бывает,  
знаешь даже, чем убьют.

.....

Трубы медные готовы,  
и огонь с водою в пляс...  
Будут, будут строить ковы  
и убьют ещё не раз...

и отзываются видением того, что собственная боль разрыва связей с неразрывно с тобой связанным и не подлежащим забвению прожитым – отражение боли меняющегося мира:

О Ты, хранящий всех живых во веки оны,  
что видишь Ты, когда трещит завеса дней –  
конец, начало, связь? первоизъян, законы?..  
А я – тоску миров, лишаемых корней.

Стихи насыщены болью, которая, кажется, вот-вот начнёт выпадать в кристаллы. При этом – ни тени ущемлённости и вызывающей к сочувствию обиженности или игры на боли, давления на болевые точки читателя. И не счастливая дарованность любви, а тяжкое – в душевных поту

и крови – восхождение к любви, которое только и может  
делать её спасающей и спасительной:

Запрут его иль назовут пророком,  
он знак оставит – росчерк горьких крыл,  
маяк во мраке!.. А когда поленья  
под ним зажгут, взойдём туда и мы,  
и выпустим на волю голубей,  
оплакивая и взыскав брата...  
Се, кровь его течёт у нас в крови!  
Клянёмся же, клянёмся же в любви  
к тем, кто хрипит: “Распни! Сожги! Убей!”,  
не зная тишины молитвословной, –  
в такой любви, что из кромешной тьмы  
сквозь плач и скрежет вырвется зубовный.

Выношенное и выстраданное завершение –  
REQUIEM AETERNAM:

Он тяжело и долго умирал  
в своём огромном бестолковом доме,  
то сбросит судно и свистит аврал,  
то в раж войдёт и речь толкает в коме.  
Нёс полный вздор, не помнил ни о чём,  
кривились дети и смеялись внуки...  
А был грозой, карающим мечом,  
давал надежды, вдохновлял на муки.  
С ним в ногу шла не сотня человек  
с ним миллионы шли во время оно!  
И вот он умер, мой безбожный век,  
и некому нести за ним знамёна.  
Он съел меня, что горевать о нём?  
Никто не скажет, где его могила.  
Но всё былое ценишь с каждым днём  
гораздо больше – лишь за то, что было.

Книга Надежды Мальцевой – заметное явление в  
русской поэзии. Она не обещает лёгкого чтения и требует от  
читателя почти такой же отдачи, какой потребовала от  
Автора, чтобы их встреча состоялась. И я верю, что вопреки

причитаниям профессиональных плакальщиков по поэзии и читателю встреча эта состоится.



Илья Кутузов

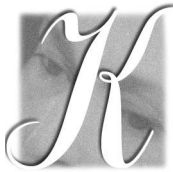
## Власть над миром

*"Кто стремится к власти - безнадежно глух"*

Камя

*"Меня пугает власть моя над миром"*

Нина Воронель



нига "Содом тех лет"\* очень большая. О ней можно написать несколько независимых исследований, она касается сотен людей, в ее композиционном центре – события, перевернувшие советские шестидесятые, положив начало диссидентскому движению; в ней биографические редкости и тонкости, мистика и здравый смысл (как бы еще эти две вещи разделить-то). Ее недостаточно прочесть один раз. С очередного захода я заметил некую тенденцию, о которой я и расскажу здесь; я стремился отодвинуться подальше от традиции Белинского, не брать официального тона, избегать цитат из "Содома тех лет"; но все эти опорные точки начинаются с частицы "не" – а что "да"? – и мне повезло – мой добрый друг спросил меня недавно: "Зачем писать мемуары?"

Дорогой подарок – вовремя сказанное "зачем". Обращал ли читатель внимание, как часто люди ответ на вопрос "зачем" начинают словами "потому что..." – то есть, отвечают на вопрос "почему". Такие люди направляют мысль в прошлое, а "зачем" – вопрос, направленный в будущее, он, кроме других своих функций, проектирует перспективу, в которой может сложиться будущее того, кто отвечает на вопрос "зачем". У того же, кто отвечает на

---

\* Нина Воронель. "Содом тех лет". " Феникс", Ростов-на-Дону, 2006.

вопросы словами "потому что", высок риск повторения прошлого на дальнейших витках жизни. Этим предложением я бы и попал в школу Жешников, но оказывается – даже у частицы "же" есть свое естественное место, присущее её природе.

Как говорится, "более подробная информация о школе Жешников – см. "Содом тех лет". В отличие от Белинского, я хочу, чтобы после моего эссе читателю нужно было прочесть книгу Нины Воронель.

Того, кто книгу прочел, это эссе может вернуть к определенным местам в книге и предложить посмотреть не только на книгу, но и на окружающее в определенной перспективе. Тому, кто книгу еще не прочел, это эссе, надеюсь, послужит приглашением. Читатель найдет здесь много вопросов, а ответы я предлагаю искать в "Содоме тех лет". Они там есть.

Здесь обсуждается вопрос власти над миром, элегантно поставленный во вступлении "Содома". Некоторые темы эссе могли бы показаться неоправданными лирическими отступлениями, но всякий раз такое отступление приведет к центральному вопросу о власти.

Есть ли у частицы "же" власть над миром? - на мой взгляд - такая же, как у частицы "уж". Я не могу обойтись без частицы "же" в сочетании "такая же". А "у того же" я написал, чтобы зарифмовать звук "ж" в слове "жизни". Есть ли у меня власть над частицей "же" оттого, что я знаю ее природу?

Но то - часть речи. Другое дело человек, у которого, как сказал Эйнштейн, "причины выбора кроются в едва заметных импульсах" – но ни слова здесь нет о намерениях и стремлениях, а разве они не влияют на выбор и поведение? И разве не выбор поведения сейчас определяет будущие обстоятельства?

"Воронель написала самую страшную пьесу о России, потому что пьеса не о социальной ситуации, а о психологии", этот отзыв из "Содома" я отношу и к самой книге. Но книжка-то не совсем о России, Нина пишет о людях из разных стран. Они должны быть непохожи, и они непохожи в определенных чертах - то, как живут одни,

вызывает у других чувство соприкосновения с абсурдом, - но некоторые наблюдения относятся к американцам, израильтянам, русским, европейцам, социалистам и анти-социалистам одинаково.

Кого показала Нина Воронель в "Содоме тех лет"?

"Содом" - книга о людях, которые изо всех сил стремились к власти. Над свободным временем своей подруги. Над маленьким кругом своих друзей. Над умами читателей. Над издательской модой. Над искусством. Над распределением заказов. Да, конечно, и над всем миром тоже. И никого из них власть не пугала. Если что-то и могло испугать таких - что их *не заметят*. Сведения и качества, на первый взгляд скандально не сочетающиеся с образом интеллектуального бунтаря, снедаемого острой жаждой социальной справедливости. Отличительная черта таких героев - неумение слышать чужие души, слова, желания. Глухота.

Что такое власть? Два главных аспекта: управление обстоятельствами своей жизни, управление обстоятельствами чужих жизней. Возможно ли одно без другого? Как строится цепочка управления? Можно ли увидеть шестеренки? Что вообще на эту тему есть в великой русской литературе?

Странно, что мало кто замечает явное вуду в "Анне Карениной". А ведь ей приснилось нечто непонятное. А ведь "старик Каренин" отправился вертеть столы по мистическим кружкам, и да, слова Толстого: "Какая-то сила толкнула Анну вниз". Весь остальной текст романа видится в этой перспективе частично блестящим упражнением в стилистике, частично - честным докладом о полной тщете всего, чем герои думают, что мучаются. У Фолкнера героиня уже давно нашла бы колдуна и вырвала ему сердце в лучших традициях южной готики. Потому что в душе не должно зализывать ничего такого, что могло бы помочь непонятной силе толкнуть тело под поезд.

Нина Воронель честно не вычитает эту сторону из игры. Доброе слово и кошке приятно - а недоброе слово или дело может оставить и у кошки желание, чтобы обидчик сдох. Есть ли у кошки власть над миром?



А если есть – кто ей дал? Говорят, Бог слышит отчаянный голос быстрее других. Он слышит все голоса, но кто довел человека до отчаяния, попадает на особую заметку Вселенной. Простить и забыть – разные слова, и означают разные состояния души, и они не одно и то же.

Нина Воронель говорит о том, как развилась у нее цепкая и злая память, когда она, пережив разочарование, осознала, что человек способен на всё, что угодно. О да, ясная и четкая память – необходимое условие долговременного выживания. В любом деле (включая, и еще как, шоу-бизнес) наступает фаза боя без правил, когда отвечать надо только перед собой и Богом - чем лучше человек понимает работу этого сочетания, тем больше у него шансов хранить душу в чистоте.

О власти над миром напрямую Нина говорит только во вступлении. Она читает Ахматовой свои стихи, там есть строка "меня пугает власть моя над миром" - и Ахматова спрашивает "у вас действительно есть такая власть?" И это вступление очень хорошо рифмуется со всеми дальнейшими витками повествования.

Вот Нина с подругой распутывают клубок цепочек со звездами Давида. Называют цепочки именами знакомых. Они не успели распутать весь клубок. Через некоторое время те знакомые, "чьи" цепочки удалось вытащить из клубка, уезжают из России. Те, "чьи" цепочки не успели - остаются. Можно ли утверждать, что именование цепочек выстроило шансы? А как проверить обратное? Разговор шел именно в то время об именно тех людях, любая попытка повторить эксперимент коснется других людей и других обстоятельств. Мы не знаем наверняка, что нет никакой связи, если мы не умеем измерить эту связь. Мы не знаем наверняка, что нет никакой власти, если мы не понимаем, как она работает.

Кое-что всё же в наших силах: честно дать отчет о событиях - вот что случилось, и вот что случилось до, а вот что – после. Хронология не обязывает к причинно-следственной связи, но, по крайней мере, сужает поиск мотивации: достаточно к каждому событию приставить вопрос "зачем", а потом посмотреть, что было дальше, чтобы

понять с большой степенью вероятности, кто к чему стремился, и кто чего достиг.

В то числе и в этом смысле "Содом" – уникальная книга. Детально разбирая процесс Синявского – Даниэля книга разматывает клубок событий, где одна нить прячется под другими, и кто попал на чей крючок – так сразу не скажешь. А не сразу? О, это совсем другое дело.

Советскую власть только по наивности назовешь взбалмошной истеричкой. 70 лет люди видели, как советская власть работает: какими средствами пользуется, и какие цели преследует. Зачем ей выпускать на Запад людей, пострадавших от нее? Людей, к мнению которых будут прислушиваться? Чтобы они рассказывали всему миру о том, что в России происходит?

Ведь некоторые так и поступали. Буковский, например. Солженицын.

А как бросить в человека обвинением "агент влияния"? Сам по себе факт, что Синявских выпустили, ничего не говорит. Воронелей тоже выпустили. Поэтому интересно то, что люди делают дальше. А дальше оказывается, что все ведут себя по-разному, что если предположить агентурную связь Марьи Синявской, то ее старания имеют вполне определенную цель - держать под наблюдением русскоязычных европейских интеллектуалов, и тогда ее истеричное и взбалмошное поведение теряет необъяснимость. И в семидесятые, и в восьмидесятые война между Россией и Западом продолжалась. России было необходимо поддерживать реноме борца за светлое будущее. И каждый человек, кто мог поддерживать такое реноме, должен быть на учете.

Можно простить Марье Синявской, Юзу Алешковскому, Шостаковичу – можно простить и сотрудничество с палачами, и доносительство, и подписание писем. Нельзя утверждать, что этого не было – хотя бы для того, чтобы знать, на что еще способны люди, когда их ласково спрашивают о здоровье близких, или когда грубо держат в тюрьме. О да, можно говорить, что хорошая память и есть Содом. А я скажу, что память это память, а вот как уж кто себя вел – вот оно-то или Содом, или Шамбала, или

спокойная совесть, или необходимость постоянно оправдываться.

Книга охватывает несколько областей человеческой деятельности: науку, общественную активность, театр, кино, литературу. И в каждой области мы встречаемся с людьми, которым мало своего мира, но необходимо, чтобы свой мир включал внимание и зависимость других людей. Вознесенский, Лимонов, Гробман - за ними замечена мотивация "посмотрите на меня", отличия потом. Если Гробман - более-менее безобиден (максимум, кого-то напечатает, а кого-то не напечатает), Вознесенский - пропагандист советской власти, а Лимонов уже держит в руках оружие. Нина Воронель приводит разбор его "Эдички", который ставит на свои места поведение Лимонова в дальнейшем. Сначала он говорит - "мне все принадлежит по праву рождения, ведь я такой красивый", а потом, когда оказывается, что это только его мнение, он требует своего, обзаведясь пулеметом. Кто бы мог предположить, что требование внимания к себе может так далеко завести? Ответ - тот, кто не знал, на что люди способны, и не поинтересовался.

Итак, имя человека складывается из его выбора: поведения, высказывания, поступка. Сама мысль о том, что поступки имеют последствия, огромному количеству людей невыносима, и каждый знает таких, кто признается, что задел чужие чувства, не говоря о более серьезных нарушениях границ, только под большим давлением. Чаше такое поведение наблюдается у подростков - что говорить о стране, которая из всех сил не желает знать детали собственной истории? Хотя бы на уровне поступков правительства своей страны? Этот вопрос имеет самое прямое отношение к власти: каким народом легче управлять? - об этом в "Содоме" имеется замечательное рассуждение. И теперь нельзя сказать, что никто не знает подробностей дела Синявского (например). Всех подробностей - да, может, и никто не знает. Но в "Содоме" достаточно сказано для решения многих загадок.

Конечно, "Содом" - еврейская книга. Что такое еврейская книга? В Танахе вполне честно изложены

обстоятельства жизни народа, и в этом еврейская традиция – не прятать голову в песок, а как минимум подробно изложить события.

За одно это некоторые люди могли бы назвать "Содом тех лет" скандальной книгой. Бывает, что люди не находят иной реакции на честный взгляд со стороны. Но и Нина Воронель не претендует на истину в последней инстанции. Она рассказывает, каким невероятным чудом была вся ее карьера, а это надо отметить особо: не каждого молодого переводчика заметит Корней Чуковский. Но ее переводы Эдгара По оказались точнее и глубже всех остальных, и Нина могла бы использовать открывшиеся двери для серьезного карьерного роста. Почему же этого не произошло? Отзыв обиженного конкурента "антисоветский диплом", кому-то в цензуре показалось неподобающим, что в пьесе Нины Воронель для детского кукольного театра царь грустит, что не получил в подарок футбольный мяч (царь должен о государстве печалиться!), вот и вся карьера перспективного советского писателя. И это был только первый эпизод в – казалось бы – абсурдной истории отношений Нины с советской властью.

Судьба автора – постоянная проверка на умение выслушать внимательно, что жизнь от него (неё) хочет, что предлагает, и умение узнать и принять подарок. Не обязательно ждать много лет, чтобы проверить силу произведения искусства, достаточно внимательно изучить его. Что же касается Нины Воронель - время показало, что ее наблюдения за современниками только подтверждаются. Но главный урок книги в другом: тайны мира ускользают от тех, кто пытается их хватать. Зато они приходят к тем, кто умеет терпеливо ждать, делать свое дело, и не гонится за мишурой.

Что бы я сказал, если бы писал аннотацию для книжного магазина?

Книга "Содом тех лет" издана 5 лет назад, но ее путь к массовому читателю только начинается. Написанная живым и острым языком, книга освещает захватывающие события и нетривиальные характеры. Для тех, кто хочет знать разные стороны российской истории XX века эта книга – незаменима. Для тех, кто любит окунуться в интригу и

тайну – она похлеще авантюрного романа. для тех, кто любит психологию – книга содержит настоящий букет человеческих страстей, сознательной маскировки и подсознательной мотивации.

Что я скажу о сути книги? Читатель, смотри на свою жизнь и на тех, кто вокруг тебя – волков в овечьих шкурах узнаешь по делам, а если власть над твоим миром для тебя вопрос, поставь в начале вопроса слово "зачем", и не бойся. Душа не подведет, а в мире есть и удача и помощь, и добрая воля; а когда ты знаешь, какого отношения ты хочешь к себе, то и выбор отношения к другим для тебя ясен. Сомневаешься? Почитай "Содом", там рассказано о том, как несмотря на все старания, настоящее желание человека осуществляется всегда. В этом и надежда, и обещание, и покой.



## Иосиф Рабинович

### Путешествие в край первоисточников



Святое апреля. Едем на автовокзал, предстоит освоить израильский междугородний автобус – почти единственный межгородской транспорт. Автовокзал впечатляет – конечно, осмотр и рамка, рысью проносимся по залам и попадаем на посадку- выход прямо из помещения. Нам не до самого Назарета – Люся назвала какую-то остановку, которой в интернете нет. Игорь понятно волнуется по этому поводу, задаёт шоферу вопрос на иврите – тот отвечает, даже по лицу видно, что всё в порядке – нас высадят на нужной точке. На всяк случай повторяю мысленно название, сейчас уже забыл, вроде Рокси. Трогаемся, и за окном поплыл Иерусалим и прелестные израильские пейзажи.

Автобус уже приблизился к Назарету, а нашей остановки нет как нет. Наконец въезжаем в Назарет. Город полностью арабский – надписи и вывески почти все вязью. Наш автобус пробирается по узким улочкам, останавливаясь на каждой остановке городских маршрутов. Чёрт побери – это очень удобно, но я напоминаю жестом водителю о себе. В ответ он добродушно кивает – мол, не паникуй, скажу.

И когда мне начинает казаться, что этому кружению по городу не будет конца, и автобус забирается наверх и снова кружит, раздаётся голос водителя – Рокси! или как там её...

Вылезаем на обычной остановке, половина моя чуть проголодалась, идём в магазин, прежде чем звонить Люсе. Что будем брать, спрашиваю благоверную. Печенье или как? Продащица улыбается и по-русски показывает ассортимент,

выходим, цветочный магазин рядом. Что угодно спрашивает по-русски женщина, сидящая у входа. Спасибо, отвечаю, цветы мы ещё в Иерусалиме купили... Она улыбается. Садимся на лавочку, набираю телефон Люси. Рядом сидит дед, курит «Литгет-Дукат» и громко ругает кого-то в мобильник; «Что вы там себе думаете? Что я таки должен век вас тут дожидаться?» И в этот же момент проходящая мимо молодая сдобная дама с малышом на руках говорит сынишке лет восьми: «Ну, Боренька, пойдёшь же к дяде Мише и купи-таки себе бананов!» Боже, да где я? В Одессе что ли?

Не успел я сигарету выкурить, как подъехала белая Mazda и вот мы уже обнимаемся с Люсей и здороваемся с её мужем – Мишей! И взбираемся ещё выше по улицам Верхнего Назарета (Нацрат Илит) русскоязычного города еврейской провинции. Он красив южной красотой этот город, приютивший многих моих соотечественников.

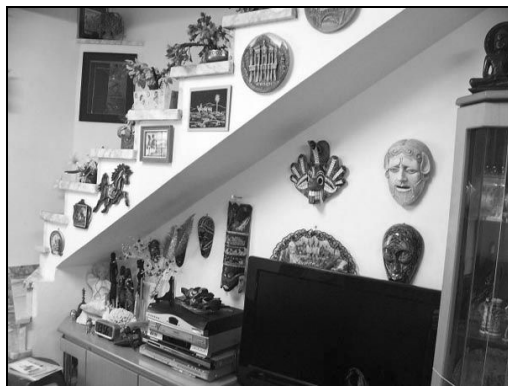
Живут Чеботарёвы в таунхаузе, но в отличие от наших равнинных образцов, назаретский расположен на склоне – каждая дом-квартира как бы ступенька лестницы вбегающей в горку, а сама лестница расположена между двумя рядами домов



А вот за этой дверью – жильё Люси и Миши и не только жильё, но и клуб песни и поэзии Чалма, тут выступают многие известные авторы и исполнители.

Вот в этой комнате, вернее в салоне всё и

происходит, она украшена многими сувенирами, привезёнными этой замечательной парой из многочисленных поездок по всему миру. А когда клуб – выносятся вся мягкая мебель и стол и гости сидят на стульях. Сцену Миша делает в углу, и каждый раз придумываются какие-то атрибуты и декорации – на выдумки Чеботарёвы неистощимы.



А это Мишин кабинет и мастерская на втором этаже, здесь он, спец по электронике колдует над спецэффектами. Люсин кабинет на первом этаже, именно там рождаются замечательные стихи, так радовавшие трамвайщиков.

На втором этаже, по-моему, три комнаты – отсюда же выход на балкон, где женщины оживлённо беседовали на флористические темы.

Интересные виды открываются с балкона – типичная средиземноморская красота. Дали манят, и не удивляешься, что именно тут родился человек-бог, изменивший историю Европы и мира.

Замечаешь и просто бытовые подробности – гляньте на последнюю картинку – это бойлер. Дело в том, что израильтяне живут по принципу: «Дело спасения замерзающих – дело рук самих замерзающих» Центрального отопления и горячего водоснабжения тут нет – пользуются по возможности солнечными подогревателями, а при отсутствии светила – электробойлером, вот таким установленным на крыше.

Обед понемногу перешёл в ужин, надо ведь



познакомиться – интернет хорош, не спорю, но хочется посмотреть людям в глаза. Посмотрели, и нам всё понравилось и хозяева и их весёлое жилище и заглянувшая на минутку дочурка студентка. Спать нас положили в Люсином кабинете – так что сон был вполне поэтический.



10 апреля. Разные мысли приходят утром, как проснёшься – сегодня 100 лет стукнуло бы моему папе, целый век – это не игрушки. Впрочем, и мои ровесники, те, что дожили и уверенно разменивают восьмой десяток, тоже уже раритет. Да, сегодня разменял восьмой же десяток Боря Горожанкин, дорогой наш Барбарис. И уже пять дней он в больнице – инсульт, выпьем сегодня за его юбилей, а главное за здоровье. Ну да он мужик настоящий – выкарабкается, ни минуты не сомневаюсь.

Сегодня прогулка по старому Назарету, спускаемся на машине и с трудом припарковавшись, идём в храм. Храм посвящён деве Марии, сооружение величественное и видное издалека. Богородица присутствует тут во всех видах.

На внутренней стороне ограды Люся обращает наше внимание на галерею подаренных собору образов богородицы, полюбуйте, как выглядит вьетнамская трактовка Божьей матери.

Внутри собора приятная прохлада полумрак и разношёрстная публика – верующие и просто туристы, всех

рас и народностей.



Внизу идёт некое действие, молитва, назначение которой мне не ясно. Но смотрится красиво.

А на дворе буйство красок и цветов.

Проходим к церкви Иосифа, уж если Мария, то где-то рядом и он должен быть. Меня это особо интересует – тѣзки как-никак! Конечно, эта церковь поскромней, да и роль Иосифа не сравнить с ролью Марии.

Осматриваем собор, археологические раскопки, сценки из повседневного быта священников и монахов.



И на улицу, на базар, как говориться – из храма на торжище! Становится жарко, пьём свежавыжатый сок грейпфрута, арбуза и т.д. А какие солидные священнослужители бродят по древним мостовым.

Базар, как и везде на востоке великолепен. Тут тебе и

кошерное мясо и украшения и антиквариат и всякая галантерея-парфюмерия, одежда на все вкусы и прочая, прочая, прочая... Покупаем новый чемодан вместо изуродованного украинскими грузчиками – воругами в Киеве, о продавщице не говорю – её надо видеть, берёшь в руки – маешь вещь, как гуторят в том же Киеве.

Ну, всё набазарились – накупили подарков детям и друзьям, вон сыну Мишке ковбойскую замшевую стетсоновку – точно обрадуется и размер его редкий – 62-й. После шопинга дамам есть всегда что обсудить, и даже большая разница в возрасте не помеха.

Обед, ох уж эти израильские обеды, медленно перетекающие в ужин с вином. Звонит Игорь, проверяет как мы и что... Люся с Мишей везут нас на остановку городского автобуса, к которой по хорошей традиции подкатывает междугородний Назарет – Хайфа, Звоним моему однокурснику Юле Лифшицу, жили в одной комнате в общежитии, он должен встретить нас на автовокзале в Хайфе. Миша переговаривается с ним, чтоб объяснить нам приедем, где и как состоится встреча с Лифшицем. Обнимаемся, целуемся на прощание, и автобус, пропетляв по назаретским улицам и, набрав пассажиров, вылетает на шоссе. До свидания Назарет, до свидания Люся и Миша, мы увозим самые лучшие воспоминания.

### **АЙ ГОУ ТУ ХАЙФА!**

10 апреля, вечер. Когда-то Кирилл Иванов подарил мне только что вышедшую книжку с таким названием и написал на ней: « Дарю тебе книжку про нас с тобой!» Подзаголовок то был «Иванов и Рабинович». Ну, нам не пришлось воспользоваться сложным путём Кунинских героев, мы следуем в Хайфу не на антикварной краснодеревяной яхте, а на добротном мерседесовском автобусе. Он, как и принято в Назарете, сначала кружит по улицам, собирая попутчиков, а потом вылетает на трассу и устремляется в ночь.

Ох, и заботливые у меня друзья – мобильник всё время звонит, Чеботарёвы спрашивают, правильно ли едем, Игорь интересуется как у нас дела, а Юля Лифшиц (с ним мы, еще, будучи козерогами-первокурсниками физтеха,

жили в одной комнате в общежитии) справляется, что мы проезжаем в данный момент – он уже выехал на автостанцию.

И вот россыпью огней вдали показалась Хайфа – важный порт Израиля и в некотором роде технологическая столица Израиля – здесь много научных учреждений и в первую очередь – знаменитый Технион, главный технический ВУЗ страны, нечто вроде Израильского Физтеха, но по обычаю западных университетов имеющий огромный научно-исследовательский центр. В котором и трудится Юлий. А вот и сам он мелькнул на краю одного из перронов автовокзала, и мы вылезаем из автобуса и здороваемся. Да время не прошло для нас бесследно. Бывшие брюнеты облондились, кроме тех, кто просто полысел. На светло-сером Опеле едем к Лифшицам домой. Не виделись мы лет 15, если не 20. С женой Юлией Лидой я вообще не был знаком. Знакомимся и тут же нас, конечно, тянут за стол, и Лида хлопчет на кухне.

Ужинаем в просторной гостиной (у Лифшицев, как и у Коганов – трёхкомнатная квартира.)

Не забываю позвонить Игорю, что мы в порядке. Беседа за столом затянулась, но пора и спать. Нас укладывают в кабинете хозяина, перед сном просматриваю почту и проваливаюсь – до чего сладко спится в обетованной земле.

11 апреля. В этот день, когда то мы с благоверной ходили на вечер встречи окончивших нашу школу. Помню, как полвека назад шли с этого вечера. Могли ли представить себе, что через 50 лет проснёмся в доме учёного аэродинамика и где? В Хайфе, в Израиле? Да ни за что на свете. Давно нет нашей школы, большинства наших учителей, да и ряды одноклассников поредели, а я вот, выхожу на улицу покурить и оглядеться: этот, в общем, то случайный вид весьма хорош – в красивом месте квартира моих друзей.

Выезжаем, наш путь лежит в монастырь, как я понял в монастырь кармелиток, в местечко Мухрака

СOLIDная статуя Ильи пророка в окружении чего-то более современного, но сработанного под старину встречается

нас.



Кстати, Илья на небесах отвечал за грозовые осадки, а на горизонте что-то подозрительно мутно. Но это совсем по другому ведомству – к жидкостям не относится. Это хамсин – как бы песчаный туман, взвесь мельчайших частиц песка в воздухе – подарок из Африки или из Аравии. Песок этот покрывает буровой сединой всё. Во время хамсина дышится труднее – ощущаю это своим штопаным организмом. Оглядываем сад вокруг Ильи – очень много кактусов всех видов и мастей.

Что из агавы делают текилу, я знал, но что на кактусах, похожих на нашу крымскую опунцию, растут ягоды – не имел даже и представления. Сорвал, попробовал – вкусно, чёрт возьми, кисло-сладкие, не терпкие, но роз без шипов не бывает – теперь колючка, ввевшаяся в палец и уже прижившаяся, больше месяца прошло, всегда будет мне напоминать о Хайфе. А с балюстрады открывается прелестный вид на Изреельскую долину, сосредоточение израильского сельского хозяйства.

Не успел заснуть, как из-за облаков вынырнула эскадрилья F-16 и пошла на посадку – сразу мирные галилейские пейзажи посуровели – истребители вернулись с

патрулирования, фронт конечно невидим, но незримо он всё время рядом. Снялись у перилл и направились прогуляться в рощицу, конечно тоже посаженную, но выглядит вполне подмосковно, пока не разглядишь что это оливы.



Мы невольно всегда и везде ищем аналогии с чем-то хорошо известным и близким, подумалось мне в машине по дороге обратно. Мысли эти были прерваны остановкой – идём на овощной базарчик, тут не комментирую, даже не озвучиваю названия, многие общеизвестны. Накупивши овощей фруктов и зелени, едем домой, устали находились по рощам и паркам. Дома неизменный ужин с коньяком, добрым вином и дружеской беседой, как-никак столько лет не виделись. Как водится, помянули тех с кем если и увидимся, то не на этом свете. Вспомнили физтеховскую молодость, профессоров любимых, обменялись сведениями о живых, многих однокорытников разметала судьба и жизненные коллизии – от Австралии до Канады можно встретить немолодых, и молодых людей с гордостью говорящих: Я – Физтех!

С этой мыслью засыпаю, и в смыкающихся глазах встают картины старой Долгопрудной и лица старых друзей почему-то в чёрно-белом исполнении.

12 апреля. Нынче день космонавтики. 49 лет назад мы с Юлей проходили практику в ЦАГИ в подмосковном Жуковском, именно там я услышал по радио про Гагарина. Это было романтическое время для науки – через два года я защищу диплом, тема которого «Оптимальные траектории

посадки на безатмосферную планету». Ишь ведь куда хватили, не хотели Луной ограничиться, а вот полвека прошло и о Марсе только думаем ещё, не уверен, что доживу до этого события, хотя хотелось бы. Но, пока ноги ходят, и голова не впала в маразм, надо успеть посмотреть всё что удаётся. Сегодня смотрим Хайфу, вчера видели только мельком. Улицы утреннего приморского города всегда хороши, опять припомнился Севастополь.

Едем в Технион, Юлию надо по работе, а мы осматриваем прекрасный университетский городок и исследовательские корпуса.

На обратном пути проезжаем мимо памятника жертвам, удивляться не приходится – жертв было столько...



И конечно и в Хайфе цветы, цветы и около памятника и просто на улицах – бугенвилея обычное дело, практически сорняк, хоть и красива очень.

Дальше едем к знаменитым садам на горе, запамятовал, как называются. Но они всё равно закрыты сегодня – смотрим их сверху.



И ещё один прекрасный вид на порт и море, на самую Хайфу, красивый всё-таки город.



Однако жара становится невыносимой, хоть по израильским меркам просто тёплая погода. Едем на пляж, не люблю я городских пляжей, но времени мало и окунуться хочется.

Окунаюсь, плаванием назвать это нельзя, а половина просто мочит ноги, отметилась всё-таки в Средиземном море.

По улицам Хайфы едем обедать. Обед сегодня не может перейти в ужин, потому хлебосольные хозяева решили отыграться на самом обеде, но мы ещё не знаем об этом.





Ресторанчик, в который мы приехали, принадлежит Юлиному племяннику – симпатичный ресторанчик – нас усаживают на террасе, и начинается гастрономическая оргия. Сначала овощи и горячие закуски, в частности горка отличных грибов, подобие жульена. На второе блюдо по рекомендации Юли беру не то антрекот, не то бифштекс. Размером он напоминает пляжный тапочек и толщина пальца полтора. Всё это запиваем отличным красным вином, по-моему, французским, но вкус отменный. Я-то по-мужски съедаю всё, хотя брючный ремень готов лопнуть, а половина моя с трудом осиливает половину. Несъеденное (мясо и грибы с овощами) ей упаковывают в пластиковый контейнер.

Появляется хозяин – племянник с женой, нам показывают, деток (у евреев без этого никак), девушки-двойняшки и правда очаровательны, хотя очень разные.

Вываливаемся из-за стола, благодарим за гостеприимство и на вокзал – пора домой в Иерусалим. Есть прямой автобус до Иерусалима, но поезд мне больше по душе – и размяться можно и покурить в отведённых местах, да и туалет после такого обеда – не роскошь. Едем с пересадкой в Тель-Авиве.

Билеты и тут пенсионерские. Осмотр перед посадкой

уже не удивляет, Лифшицы провожают нас до турникета, прощаемся, договариваемся о встрече в Москве. Выходим на перрон и... садимся на поезд на 5 минут раньше отходящий. Понимаем это во время и спрыгиваем на первой остановке. Приходит наш, успокаиваемся.

Поезд идёт вдоль моря, но темнеет быстро – юг как-никак...

В Тель-Авив приезжаем затемно. Полчаса ожидания, садимся на Иерусалимский и понеслись.

И тут же звонок заботливого Игоря, как дела? Да, нормально, говорю, а он объясняет к какой двери подъедет за нами к вокзалу. Господи, как с маленькими возятся с нами друзья, и от этой мысли становится сразу теплее.

А вот и Иерусалим, а вот и Игорь встречает нас в условленном месте. Четверть часа и мы дома. Верочка спрашивает про ужин, но об этом и думать не хочется. А пару рюмашек на сон грядущий – это святое. Завтра ответственный день – мой творческий вечер в Иерусалимской русской библиотеке. С мыслью о завтра и засыпаю.

А всё-таки здорово, что дошёл я до Хайфы!

### **Книги и евреи**

13 апреля. Ох, уж эта мне чёртова дюжина. Нет, не боюсь я её и в приметы не сильно верю. Напротив, с чёртовой дюжиной мне везёт – весь «Челюскин» и наши поиски этого легендарного парохода с ней связаны. Набрал себя в интернете и тут же вывалились десятки ссылок на «Челюскина» – Рабинович заявил, Рабинович считает...

А про стихи мои и прозу ссылки есть, но на порядок меньше. Вот и сегодня на вечере в Иерусалимской русской библиотеке придётся говорить о многом: и о «Челюскине», и о КВН, не только о литературе – «иерусалимский народ хочет знать». Даже в культурном приложении к Иерусалимской газете «Вести» проанонсировали моё сегодняшнее выступление.

Книги и евреи – тема особая. Превращение скотоводческого племени в народ книги – это одно из чудес человеческой цивилизации. Возможно в этом есть некий Божий промысел, не будем забывать, что иудаизм дал основу

двум крупнейшим мировым монотеистическим религиям – христианству и исламу.

Сколько себя помню – книги всегда окружали меня в детстве, и читать бабушка выучила меня рано. В далёком 42-м военном году купила в поселковом книжном магазине стихи Маршака (из дома в эвакуацию книг не захватили) и по этой книжке учила меня грамоте. Вот и сейчас комната моя завалена книгами – тут есть и прижизненный Толстой из дедовской библиотеки, и книжки моих коллег по литературному цеху, и остатки математической и технической литературы (когда ушёл из науки, раздарил друзьям и знакомым большую часть этих книг. А вот на крайней полочке приютились и четыре моих книжицы – не скрою приятно иногда бросить взгляд на их корешки. Нет, за ними не выстаивались в очереди в книжных магазинах – изданы они в основном на спонсорские деньги и большинство экземпляров раздарено мной друзьям и на творческих вечерах. Оценки своего литературного труда, как правило, выслушиваю устно, ни одной печатной рецензии не было в серьёзных изданиях, это организовывать надо, а мне противно. Зато получил огромное удовольствие от слов одной милой дамы, с которой учились вместе на Физтехе, правда, она года на два младше меня. Знаешь, сказала она, мы же с тобой не часто общались, и за столом общим не часто сидели и не приударял ты за мной. Ну, знала я, что есть такой Ося Рабинович, но тебя, в сущности, не знала. А вот прочла твою книжку и теперь ты для меня ясен полностью, ну мне так кажется!

Такая оценка дорогого стоит, лучше любой рецензии. Мои внутренние рассуждения на эту тему прерывает Игорь. Предлагает прокатиться на цветочный базар, развеяться перед выступлением, да и половины наши прикупят всякой рассады для сада и подоконника. Короткий бросок на машине и наши дамы осматривают «посадочный материал».

Обилие красок поразительное и конечно мои любимые орхидеи – самые женственные цветы.



После цветов заезжаем ещё в магазинчик, где торгуют комплектующими для бус подвесок и прочей самодельной ювелирки, дамы перебирают блестящие штучки и яркие камешки – глаза их горят и разбегаются, нет, женщина остаётся сорокой в любом возрасте. Увы, этого пира ювелирно-бжуутерной эстетики не удалось зафиксировать на камеру. Едем домой – обедать. И вот, наконец, Иерусалимская городская русская библиотека. Нас встречает директор – Клара Эльберт, очаровательная женщина, хлопотунья, для неё библиотека – вся жизнь.

Она говорит, что её библиотека – самая крупная русская библиотека за пределами СНГ. Нам показывают отдел редких книг и залы, где ещё только заканчивается расстановка – библиотека переехала на новое место сравнительно недавно. Дарю библиотеке свои книжки и комплект изданий Союза литераторов РФ. Всё принимается с благодарностью, в ответ получаю тоже книги в подарок. И наконец – начало. Народу не слишком много. С радостью вижу лица своих московских друзей Валеры и Тани Самохиных – они тоже гостят в Израиле и приехали на мой вечер, как и обещали.

Игорь представляет меня, и я начинаю программу. За моей спиной скульптура работы талантливой молодой израильянки – скульптора: традиционный семисвечник менора – но образованный руками с автоматами. Нет, никуда от этой темы не уйдёшь в земле обетованной, обетование приходится защищать, защищать денно и ночью.



Зрители реагируют по-разному – в одних глазах интерес, другие спят.

Подходит один из зрителей – он пришёл на встречу по рекомендации общей знакомой – жены моего московского друга Толи Шипилина, увы, вдовы. Снимаемся с ним на память – передам Любе Шипилиной привет и фото. Вопросов было немало – из многих следовало, что не все бывшие соотечественники понимают сегодняшние российские реалии, у них в головах модель 70-х и 80-х.

А в целом мне понравилась встреча – тепло и даже как – то по-домашнему. Зрителям думаю тоже, да и в прессе была статья – теперь уже в самих «Вестях», Игорь подначил меня по этому поводу: Старик, теперь о тебе узнают даже в Штатах, «Вести» в Нью-Йорке продаются...

Прощаюсь со всеми и вот уже уютная квартира Коганов и конечно же ужин с традиционными рюмашками.

### **ТЕРРИТОРИИ С ВИДОМ НА ИРОДИОН**

14 апреля. Нынче мы едем в гости. К Верочкиной дочке Лёле. Лёля – художник по театральным костюмам – сама уже юная бабушка – у старшего её сына Дани родился маленький Яша. Младшая дочка Маша отслужила в армии (с пулемётом дело имела девчушка) и сейчас кончает университет по специальности PR и реклама.

Путь наш лежит через территории – там царство палестинцев. Путь этот может быть опасным – были случаи обстрела, посему едем не останавливаясь. А вот и пропускной пункт – часовые израильской армии бегло

просматривают нас и кивают, арабов бывает, осматривают подтошнее и есть на то причины. Кстати, арабы, те, что граждане Израиля освобождены от службы в армии, где вообще-то служат все, кроме инвалидов. Это гуманная мера – в случае конфликта – им не придётся стрелять по единомерцам. А вот девчонки служат, и это произвело на меня неизгладимое впечатление.



Уже в Москве написались стихи.

### **ДЕВЧОНКА С АВТОМАТОМ**

Девчонка в розовой маечке,  
Серебряных блёсток ряд,  
Копна волос цвета ночи  
И вишенки глаз горят.

На плечике нежном девичьем  
Тяжёлый висит автомат,  
Бесстрашная дочь Израиля –  
Простой еврейский солдат!

Когда-то её прабабушку  
В печи сожгли. Холокост.  
Хотели целую нацию  
Вычеркнуть. Пепел. Погост.  
Ответьте мужчины, женщины,  
Товарищи и господа:  
Израильская военщина,  
Вот эта девчушка, да?

Когда в опасности Родина  
Свинцовые тучи висят,  
Пред силою этой девичьей  
Бессилен любой Арафат!

Года пролетят незаметно,  
И кудри посеребрят,  
Боже! Дай мира правнучкам,  
И заberi автомат...

Нет на фотографии не эта девочка – та в розовой маечке в автобусе ехала, видимо в отпуске была, темновато было, и снимать неловко тоже. Но ты читатель, наверное, понял, о чём речь.

А мы въезжаем на смотровую площадку, откуда видны и территории и Иродион – гора, на которой стоял когда-то дворец-крепость Ирода Великого, любил и умел строить дворцы-крепости этот царь иудейский.

Наконец добрались до посёлка Ткоа, в котором живёт Лёля. Это не дачный и не чисто коттеджный спальный посёлок – там есть и своя промышленность, конечно не металлургия, а компьютерные и программистские малые предприятия, часть жителей на них и трудится, но проблемы посёлкообразующих предприятий тут неизвестны. Дом у Лёли обширный удобный, а чай пьём в саду с необычайно вкусными творожными и маковыми плюшками – нет, любят всё-таки евреи сладости, любят и умеют их готовить, не сходя с ума по калориям.

На прощание вид Иродиона с Лёлиного крыльца. Игорь запечатлел меня на том же историческом фоне + какие-то ягоды, Возможно, это шосики – распространённая, почти сорная ягодка в Израиле, растёт дико и культурно, вкус приятный, но много крупных косточек и кожица толстая. Только по приезде, в Москве на базаре узнал, что это мушмула, которую раньше не видел, хоть слово такое мне знакомо.

И домой в ставший почти родным Иерусалим. По дороге подумалось: по этому небезопасному пути Лёля ездит хоть и не ежедневно, но часто и Машенька тоже домой попадает по нему. Видимо они устали бояться. Чтобы жить в

Израиле, нужно перебороть страх. Или, если угодно привыкнуть к нему. За ужином традиционные рюмашки выпиты за здоровье и спокойную жизнь. Будет ли она тут? Один Бог знает. Один на троих. Но он не открывает своих тайн.

### **У самого Мёртвого моря**

15 апреля. Скажите, вы читали Перельмана? Нет, не того чудаковатого гения, что от премии отказался, ещё Путин его в пример иным учёным ставил. Нет, того Перельмана, что «Занимательную физику» написал? Так вот - в этой физике картинка есть – лежит мужчина на воде и газету читает, и не тонет при этом. Дело в том, что происходит это на Мёртвом море в Израиле. Там вода как рассол, плотность такая, что не утонешь. Мне лично с детства хотелось искупнуться в этом море. А вам разве нет?

Так вот сегодня детская мечта сбудется. Что приятно, ибо таких «мечт», что не осуществлены, а в принципе возможны, немного у меня осталось.

Началось всё буднично – Игорь везёт нас на автовокзал и сажает в автобус на Беэр-Шеву. Автобус трогается и идёт по уже знакомым иерусалимским улицам и берёт курс на юг. Так на автовокзале нас встретит Лена Меркина, дочка моего Питерского приятеля – Паши Заборского. Лену я не видел ровно 40 лет, тогда это было очаровательное черноглазое создание с задраннным носиком и косичками с бантиком. Узнаем ли мы друг друга? Разберёмся, я думаю...

Автобус мчится сперва по средиземноморскому пейзажу.

По пути высаживаются пассажиры, самые разные и такие - тоже. Но постепенно пейзаж становится всё более и более пустынным, не удивительно – мы и едем в город стоящий посреди пустыни. По дороге заезжаем в маленькие, но благоустроенные оазисы - городки.

И вот, наконец, Беэр-Шева, автовокзал, звоним Лене на мобильник, говорит, иду. Вижу, навстречу энергично идёт дама брюнетка в солнечных очках. И только тут понимаю, насколько я постарел. Перед нами та самая второклассница, но в расцвете зрелой красоты.



Мы садимся в белый автомобиль, Лена интересуется, есть ли у нас солнечные очки, знаем ли мы что тут надо всё время пить воду, она врач-невропатолог и знает, что говорит. Мы едем пить кофе в кафе, принадлежащее приятелю Лениного сына Саши. Мы ещё не подозреваем что это завтрак, переходящий в обед, любят евреи покушать. Усаживаемся под зонтиком на свежем воздухе, правда уже нагретом, пустыня – она и есть пустыня. Я предусмотрительно ограничиваюсь чёрными гренками, а половина моя купилась на блинчики с соломоном, который вовсе не царь иудейский, а лосось. Блинчиков естественно принесли гору, пришлось помочь жене.

Встаём из-за стола, и Лена везёт нас к себе домой, по пути рассматриваем улицы Беэр-Шевы.

Лена с мужем проживают в очень красивом посёлке Омер, он существует давно и в нём живёт солидная публика: муж Лены, Володя – известный хирург, и она тоже опытный невропатолог, типичные представители квалифицированной израильской интеллигенции, у них двое сыновей. Вот такие люди и составляют интеллектуальный потенциал Израиля, страны, где нет ни нефти, ни газа, ни иных природных ресурсов – единственное и главное богатство – мозги его граждан.

Дом и сад супругов Меркиных очень хорош, там есть все, что необходимо для комфортной жизни: просторные комнаты, удобная мебель картины на стенах и даже бильярд.

Особенно хорош сад.

Дамам всегда есть что обсудить – цветы фрукты и любимых барбосиков.

Досматриваем Омер на обратном пути.

И вперёд – курс на Мёртвое море – надо же с газетой поплавать! И мы понеслись по пустыне, правда сейчас самое «зелёное» время в Израиле и выжженные участки сменяются островками зелени. Кстати иногда рукотворной, как и это буйство цветов фиалкового цвета. Попадались на дороге лошади, верблюды. Животные эти принадлежат бедуинам, оседлой их части, деревни которых расположены неподалёку. Наконец перестали попадаться следы цивилизации, и потянулся вдоль шоссе совершенно дикие

пейзажи – так было и при царе Ироде, а может и при Аврааме.



И вот, наконец-то показалось это самое море, где с газетамикупаются. Впечатление величественное, особенно с высоты перевала.



Там на дальнем берегу уже другая страна – Иордания, надо бы и туда съездить, но это уже в другой раз, коли доведётся посетить Израиль. А Лена уже гонит машину по побережью, вдоль ряда белых отелей.

Подъезжаем к пляжу какого-то отеля, быстро переодеваемся за машиной, так быстрее и вот оно море. Скажу сразу – ощущения необычные, вода выталкивает – устойчивости никакой, с непривычки запросто перевернуться можно. Глаза надо беречь – щиплет

неимоверно. Зашёл, поплескался, газет не читал, забыл купить в Беэр-Шеве. Люди на пляже не сразу идут под душ – для медицинского эффекта надо, чтоб соль выступила. Слышится русская речь. Пляжники обмениваются фактами чудесного воздействия воды, соли и местной грязи на кожу. Может именно поэтому так хорошо выглядит Леночка. Но думаю это от Бога.



Но нам пора, надо ещё успеть на Масаду, на последний рейс фуникулёра. Лена влетает минута в минуту, охранник при виде красивой женщины расплылся в улыбке и конечно пропустил нас и вот мы сели в кабинку. Но сперва о Масаде, дворце-крепости царя Ирода Великого. Слово историкам.

В 66 году новой эры, в начале Великого восстания против Рима, группа сикариев во главе с Менахемом Бен-Йегудой из Галилеи захватила Масаду, отбив ее у находившегося там римского гарнизона. Римский гарнизон составлял тогда от силы 40 человек. В годы восстания Масада стала убежищем для многих zelотов, которые бежали туда вместе с семьями, а также для членов общины ессеев. После убийства Менахема его противниками в Иерусалиме уцелевшие сторонники, в числе которых был его племянник Элизер Бен-Яир, ставший впоследствии командиром крепости, бежали в Масаду и заперлись там, практически безвыходно. После разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры последние мятежники укрылись в Масаде. Построенная как цитадель царя, крепость стала убежищем для простых людей, которые использовали различные части дворцов и тонкостенные комнаты казематной стены как жилые помещения. Были сооружены дополнительно синагога, школа, миква. Условия проживания определили общинное устройство жизни обитателей

Масады, включая системы обеспечения и религиозные отправления. В 72 году, через 2 года после того, как Тит захватил Иерусалим и разрушил Храм, римские войска под руководством прокуратора Флавия Сильвы попытались захватить крепость. Они установили длительную осаду, надеясь, что осажденные сдадутся, не выдержав голода и жажды. Лагерь Сильвы насчитывал от 10 до 15 тысяч человек, в то время как осажденных в Масаде было 967 человек, включая мужчин, женщин и детей. Осада продолжалась несколько месяцев, в течение которых римляне продолжали попытки сделать насыпь на западном склоне. Насыпь эта видна и сейчас, хотя ведутся споры среди археологов, какая ее часть естественная, а какая насыпана римлянами. Внизу с западной стороны горы стоят несколько реконструкций осадных орудий сделанные Голливудом для съемок фильма о Масаде и оставленные здесь в подарок. Римская армия включала десятый легион с обычными вспомогательными частями и тысячи пленных евреев используемых как неквалифицированная рабочая сила. Римляне расположились в 9 лагерях, окружающих гору и связанных валом. Крепость могла быть захвачена только прорывом стены и прямой атакой. Огромный земляной вал, построенный на западной стороне горы, открывал легкий доступ к стене. Легионеры использовали осадные машины и продвигались под прикрытием стрел и камней. После семи месяцев осады римляне сделали пролом в стене, что определило судьбу Масады и привело осажденных евреев к принятию их последнего страшного решения. В результате осады одна из стен была повреждена, осажденные сикарии соорудили новую, отчасти земляную стену с деревянными креплениями. Но когда римляне подожгли восточные сооружения, еврейские воины, понимая, что покинуть крепость невозможно, решили добровольно уйти из жизни, чтобы не быть пленными.

Вот так памятник выглядит с птичьего полёта.



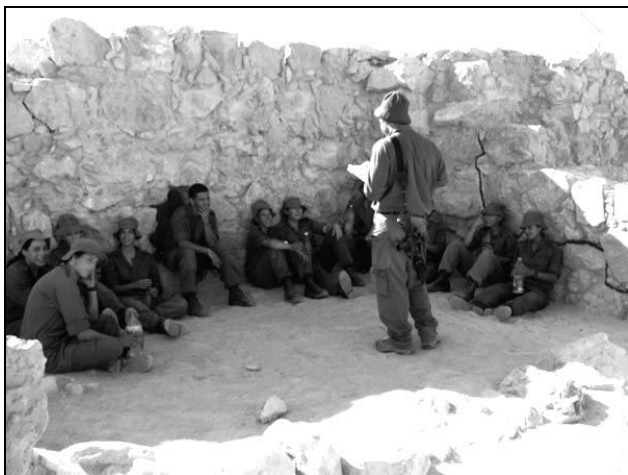
А вот и вид с фуникулёра.



Прогуливаемся по древностям. Дозорные башни  
остатки древней библиотеки (как же еврей без книги) и  
синагоги. Всё или почти всё отреставрировано.



Контингент посетителей разный: и туристы и  
молодёжь местная (ведут себя свободно, хочется  
передохнуть – могут прилечь и на землю) А вот и солдатики  
со своим «политруком» – впрочем, вид крепости и её  
история – самая лучшая политбеседа.



А вот и остатки римской насыпи – той, по которой и прошли войска Флавия Сильвы.



Осталось посетить магазинчик, где соль и грязь мёртвого моря представлена в виде различных кремов и прочей косметики. Лена руководит моей половиной, загариваемся, в том числе и подарками дамам.

И как финальный аккорд Мёртвого моря – ланч в местном ресторанчике (обильный как всегда) В который раз поражаюсь простоте и непринуждённости публики –

очаровательная сиеста рядом с нами на террасе ресторанчика.

Ну, вот программа выполнена на все 100%. Надо теперь успеть к последнему автобусу. Лена ведёт машину уверенно по-мужски.

Но впереди нас на узком участке, где обгонять нельзя, тащится грузовик. Быстро темнеет, и мчимся по улицам Беэр-Шевы уже при освещении. Не хватает каких-то 5-10 минут. Лена усаживает нас на лавочку и исчезает куда-то. Возможно она ищет маршрут с пересадкой. Через 10 минут появляется и ведёт к машине, но не своей, а к такси. Она подрядила его доставить нас прямо к Коганам. Мы прощаемся с нашей милой Леночкой. Она взяла ради нас выходной и посвятила нам целый день. Спасибо ей.

До Иерусалима добираемся без приключений, а там наш водила заблудился, несмотря на навигатор. Кое-как сориентировались и даже мы смогли ему кое-что подсказать – прижились уже в вечном городе.

Верочка с Игорем понятно ждали нас. Ужинать мы не стали, но уставные рюмашки, конечно, имели место, как же без этого. А ночью снился мне шторм на Мёртвом море и царь Ирод, осматривающий свои укрепления.

### **Были сборы недолги**

16 апреля. День прошёл сумбурно. Шопинг всех мастей – покупаем подарки, получаем какие-то документы, по которым выдадут деньги при вылете. Кое- что заказываем – доставят Игорю и Верочке. После чего посещаем базар в Иерусалиме – куда делись фото ума не приложу, а жаль – богатство овощей фруктов и восточных сладостей впечатляло. Дотащили до машины и привезли всё домой: и хумус – бобовую пасту с пряностями и какое-то блюдо вроде московской питы набитой различными овощами и пряностями с соусом, и всякие пахлавы... Подобие питы хорошо прошло под рюмашки вечером.

17 апреля. Половина собирается, пакует чемоданы, мешать ей в этом деле неприлично – тут она гроссмейстер. А я с Коганами еду в старый город я – побродить, а они выбрать подарок нашему общему другу. Запарковались под землёй, но возле ворот старого города у меня прихватило

сердчишко, мышца, будь она неладна! Уверяю друзей, что ничего со мной не станется, что посижу у ворот и подожду их – нет оснований для паники. Они уходят и всё время звонят, а я отвечаю что жив, пусть не волнуются. Сидя у стены на исторических камнях наблюдаю шумную жизнь вечного города: туристы и религиозные евреи, торговцы плюшками и ледяной водой, удивительная мешанина народов и обличий.

Возвращаются Верочка с Игорем, на лицах волнение. Что случилось, - спрашиваю. Как ты, - отвечают они. Отвечаю, что всё в порядке и едем домой. Они купили традиционный израильский сувенир – человеческую пятерню, (исполненную в технике эмали). Это своеобразный оберег. Дома окончательно прихожу в себя, к вечерним рюмочкам самочувствие отличное. Жена всё уложила. Спать легли рано, завтра маршрутка придёт в 4 утра, заказали заранее.

18 апреля. Встали в три утра. Перекусываем, кофе бутербродики и выносим чемоданы к подъезду. Маршрутка приходит вовремя, собирает ещё нескольких пассажиров по дороге и мчит нас в аэропорт Бен-Гурион.

Ещё вчера узнали, что исландский вулкан загадил небо над Европой, но сегодня вроде обещали, что улетим в 8.15. Но, как известно, обещать не значит жениться. По прибытии в аэропорт узнаем, что рейс отложен на три часа. Проходим контроль службы безопасности – проходим без особых хлопот – растения, выкопанные или сорванные женой в Хайфе, Беэр-Шеве и Иерусалиме и тщательно спрятанные в багаже никого видимо не интересуют.

Хуже другое – нет никакой ясности с рейсом и всё моя любимая Исландия виновата. Народ в порту уже злобится особенно те, кто должен был улететь на сутки раньше нас – они ждут тоже. Ситуация форс-мажорная, посему не положена ни гостиница, ни обед. Обед уж Бог с ним, а гостиница нам-то пока не нужна.

Понемногу знакомимся с товарищами по несчастью. Одна женщина летит в Нью-Йорк, как и мы через Киев. Мужчина едет от сына и ему на работу надо. Всё время звонит Игорь и беспокоится. Кабы знать, что улетим, к



примеру, завтра, можно было бы вернуться и переночевать у Коганов, но никто ничего не знает, ни представитель компании «Аэросвит», ни консул России, до которого дозвонились. Многие спутники наши запаниковали и купили билеты на прямой рейс «Трансаэро», решив, что он вылетит раньше. «Трансаэро» тут же поднял цену, чуть ли не вдвое, вот сволочи – бизнес на людских нервах аморален полюбому.

В этих муках, слухах и случайных перекусах проходит день. Наконец началась регистрация – ура! Прошли её, прошли личный досмотр, жена даже ухитрилась получить те доллары, что возвращают при вылете (мне два года назад в Исландии это не удалось) а я даже поменял оставшиеся шекели на рубли. И вот мы в накопителе. Время 21.00. Звоню Игорю, ты будешь смеяться, говорю ему, но мы уже улетаем. Он в ответ сообщает, что пьёт вечернюю рюмашку в компании с Юлей Кимом, тот вернулся с Мёртвого моря. Игорь подарил уже ему мою книжку. Телефон смолк, проговорен последний шекель на счету.

Самолёт взмыл в небо в 21.45. В Киев прилетели ночью, пришлось заполнять эмиграционные карты – наш-то московский рейс улетел. Ждать нам первого московского рейса два с лишним часа. Нашлось применение значенной полусотне гривен. Вместо того чтоб сидеть в зале пили кофе и курили в кафе с аквариумами. И купили в «дьюти фри» три бутылки любимого женой «Бейлиса». Московский рейс улетел во время и в 10 утра мы уже были в Шереметьево. Выбрали самого ненахального таксиста и через полчаса входили в квартиру.

## **ПРОЩАЙ ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ**

Ты уже далеко. За две недели мы успели полюбить тебя, родина моих пращуров, страна первоисточников, родина трёх мировых религий. Твою природу, твоих людей, их юмор, их несгибаемую волю к жизни и даже смешные на первый взгляд некоторые привычки и обычаи. Прониклись уважением к людям, создавшим цветущий сад в пустыне силой своего разума и своих мускулов. Мы увозим частичку

Израиля в своём сердце. И конечно образы наших друзей.

Спасибо вам дорогие мои друзья. Спасибо за то, что  
Вы подарили нам Израиль! Дай Бог, свидимся ещё!



## Об авторах



**Исаак Халатников** – российский физик-теоретик.



**Илья Ройзен** – профессор, доктор физико-математических наук.



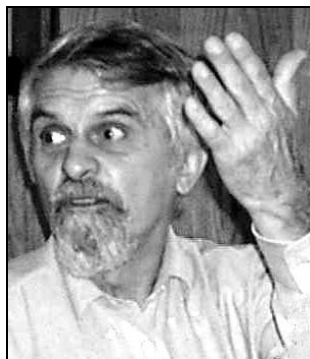
**Яков Костюковский** (1921-2011) сценарист, член Союза кинематографистов, член Союза журналистов.



**Владимир Рубин** – композитор, народный артист России.



**Борис Горобец** – доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических наук.



**Владимир Тихомиров** – российский математик, писатель и педагог, профессор МГУ, член Московского математического общества.



**Шуламит Шалит** – литератор и журналист. Автор книги «На круги свои...», Иерусалим, 2005.



**Соня Тучинская** – программист, публицист



**Лев Бердников** – кандидат филологических наук. Член Русского ПЕН Центра и Союза писателей Москвы.



**Нина Воронель** – писатель, переводчик.



**Борис Тененбаум** – автор исторических очерков и книг.



**Игорь Фунт** – редактор «Русской жизни», редактор изд-ва «Аэлита» («Уральский Следопыт»).



**Александр Журбин** – известный российский композитор.



**Владимир Фрумкин** – музыковед, журналист, эссеист.



**Артур Шильман** – скрипач, автор книг о музыкантах.



**Владимир Крastoшевский** – редактор русской газеты в Филадельфии.



**Марк Крымский** – инженер с ученой степенью, журналист.



**Лариса Миллер** – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.





**Михаил Фельдман** – израильский бард, поэт.



**Юлия Драбкина** – филолог, пишет стихи.



**Анатолий Добрович** – врач по профессии, поэт.



**Григорий Рыскин** – писатель, публицист, почетный член  
Союза писателей России.



**Лорина Дымова** – поэт, прозаик, переводчица.



**Римма Глебова** – литератор, член Союза писателей Израиля.



**Елена Мазур-Матусевич** – писатель, художник, филолог.



**Альберто Моравиа** – 1907-1990, итальянский писатель, новеллист и журналист.



**Моисей Борода** – композитор, писатель, поэт.



**Эвора Сезария** (1941-2011) – певица из Кабо-Верде (Островов Зеленого Мыса); исполнительница песен в стилях морна, фаду и коладейра (коладера).



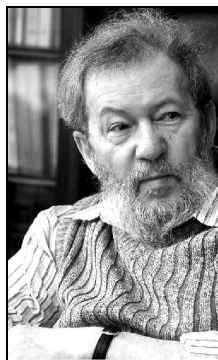
**Андрей Травин** – переводчик.



**Исанна Лихтенштейн** – врач, литератор.



**Исаак Юдовин** – преподаватель философии, кандидат психологических наук.



**Игорь Ефимов** – писатель, философ, издатель.

**Айвор Гест** – балетный историк, почетный член Королевской академии танца.



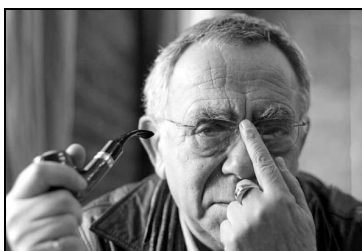
**Елена Тамаркина** – педагог, поэт, переводчик.



**Злата Зарецкая** – доктор искусствоведения.



**Эстер Пастернак** – поэт, журналист, прозаик.



**Виктор Каган** – доктор медицинских наук. Член  
Союза Писателей Санкт-Петербурга.



**Илья Кутузов** – писатель, переводчик, музыкант.



**Иосиф Рабинович** – физик, поэт, публицист.



Журнал «Семь искусств», февраль 2012  
ред.-сост. Евгений Беркович  
изд-во «Общества любителей еврейской старины»  
Ганновер 2012, 591 стр. 22,7 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое  
редактирование  
Изабеллы Побединой

Ганновер  
Общество любителей еврейской старины